

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

На правах рукописи

Шарапова Светлана Владимировна

**Население лесостепного Зауралья и Западной Сибири
в V в. до н.э. – III в. н.э.
(по материалам погребальных памятников)**

Том 1

Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук

специальность 5.6.3 – Археология

Москва – 2024

Содержание

Том 1

Введение	4
Глава 1. История изучения зауральско-западносибирских древностей и характеристика источников	21
§ 1. Сибирское бугрование и Сибирская коллекция Петра I.....	23
§ 2. Формирование научного знания	34
§ 3. Зауральско-западносибирская археология в XX веке: география полевых работ, культурно-хронологические схемы и научные концепции.....	42
§ 4. Культуры и общности лесостепного Зауралья и Западной Сибири в раннем железном веке	51
§ 5. Археологические источники.....	60
§ 6. Антропологический материал	72
Глава 2. Саргатская культура на археологической карте железного века	82
§ 1. Территория и особенности распространения археологических памятников.....	84
§ 2. Саргатская культура и саргатская общность.....	87
§ 3. Материальный мир и погребальная обрядность.....	95
Глава 3. Вопросы хронологии и тафокомплекса	170
§ 1. Периодизация	171
§ 2. Верхняя хронологическая граница.....	179
§ 3. Социальные и демографические характеристики саргатского тафокомплекса	206
Глава 4. Биоархеология лесостепного социума	227
§ 1. Морфологические типы и материалы погребений: поиск соответствия .	230
§ 2. Кольцевая деформация: социокультурный аспект	261
§ 3. Травмы в контексте социальной среды... ..	288
§ 4. Данные изучения палеоантропологического материала к оценке социальной стратификации населения саргатской культуры	307
§ 5. К характеристике элиты	326
Заключение	344
Список источников и литературы	357
Список сокращений	431

Иллюстрации3

Введение

Современная археология успешно сочетает методы гуманитарных и естественно-научных дисциплин, причем на всех стадиях – от полевых работ до камеральных и последующих лабораторных исследований. Стремление найти соответствие между археологическим фактом и событием прошлого стимулирует появление разнообразных гипотез. Особую сложность на этом пути имеют древние бесписьменные культуры, основным источником изучения которых являются археологические памятники – остатки поселений и жилищ, погребальные комплексы. Преодолевать субъективность «прочтения» фрагментарного источника, каковым является большинство таких объектов, во многом помогает междисциплинарная парадигма.

В отечественной археологии в конце XX в. интеграция усилий и возможностей различных областей науки реализовывалась активным внедрением статистического анализа. К настоящему времени накоплен значительный опыт обращения к систематике как разных памятников (например, погребальных) широкого территориального и хронологического диапазона, так и массового материала (например, керамики), с них происходящего [Каменецкий и др., 1975; Корякова, 1977; 1988; Федоров-Давыдов, 1987; Ольховский, 1991; Генинг, 1992; Статистическая обработка..., 1994; 1997; 2002; 2009 и т. д.]. Статистический метод позволяет в достаточной степени объективно установить своеобразие выделенных типов, обосновать почти все важнейшие характеристики и выявленные различия [см.: Шарапова, 2000. С. 12]. Имеющиеся публикации отражают разнообразие предлагаемых гипотез, в которых выделенные статистически группы чаще всего интерпретируются в социальном и хронологическом аспектах [Гуляев, Ольховский, 1999. С. 11–12]. Наибольшее развитие получили работы, анализирующие погребальные памятники и погребальную

обрядность [например, Генинг, Борзунов, 1975; Каменецкий, 1983; Бунятян, 1985; Корякова, 1977; 1988; Матвеева, 2000; 2005; Берсенева, 2005; Статистическая обработка..., 1994; 1997; 2002; 2009 и т. д.]. При этом важно признать статистическую природу закономерностей, проявляющихся в виде некоторых тенденций на определенном пространстве и на определенном отрезке времени при изучении массового материала [см.: Шарапова, 2000], что, к сожалению, во многих случаях не обсуждается. Справедливо замечено, что результаты статистической обработки погребальных памятников не тождественны реальной социально-демографической структуре древних коллективов. Вопреки кажущейся достоверности и объективности предлагаемых реконструкций, получаемые результаты все же являются отражением ранжирования совокупности погребений [Ольховский, 1995]. В то же время имеющиеся публикации, в которых учтены ключевые проблемы, обусловленные особенностями источника и исследуемых выборок, малочисленны.

Несмотря на высказанную сдержанность в оценке статистической информации [Гуляев, Ольховский, 1999], социальная проблематика в археологических исследованиях продолжает активно развиваться – круг объяснений дополнился изучением социальной стратификации, половозрастных структур и т.д. Этот уровень интерпретаций неизбежно повлек привлечение специального знания других областей науки, расширяя комплексный подход к анализу материалов погребений.

Несомненные успехи палеоантропологии в сочетании с археологическим материалом позволяют оперировать качественно новыми данными. Внедрение современных методик и подходов позволило дополнить отечественную исследовательскую практику анализом биологической и культурной специфики, позволив изучать связь между биологическими особенностями людей, «считываемыми» по скелетным останкам, и проявлениями социальной неоднородности и образа жизни, демографическими изменениями, динамикой культуры и т.д. [например,

Бужилова, 1995]. Признание эффективности и правомочности использования методов палеогенетики в археологических исследованиях важно и с фундаментальной, и с прикладной сторон [Молодин и др., 2013. С. 5–6]. Значимой вехой развития палеогенетики является создание высокопроизводительных методов, которые позволяют получить большой объем генетической информации о древнем человеке (вплоть до секвенирования полного генома индивида) [например, Пилипенко, 2013]. Получает распространение и изотопный анализ коллагена костной ткани, базирующийся на фундаментальных экологических закономерностях, которые связывают изотопный состав пищи и человека [например, Добровольская, 2005]. Иными словами, имеющиеся в арсенале археологов естественно-научные методы, включая молекулярную палеогенетику и изотопные исследования, позволяют рассмотреть миграционные потоки, провести филогенетические и филогеографические реконструкции, определить пищевые стратегии и т.п. С другой стороны, появляется возможность реконструировать историю жизни отдельно взятого индивида – особенности его происхождения, образа жизни, диеты и т.п.

Сейчас уже не вызывает сомнения, что залог успеха не столько в мультидисциплинарности с выраженным уклоном одного из направлений или разных отраслей по отдельности, а в развитии *междисциплинарности*, при которой для получения многомерной картины прошлого возможности разнообразных подходов интегрируются и взаимодополняют друг друга [Гуляев, Ольховский, 1999; Молодин и др., 2013; Цетлин, 2019; Шарапова и др., 2020; 2023 и т.д.]. Корректная постановка задачи, учет особенностей различных методов и грамотный отбор материала, предпочтительно с хорошим и/или сохранившимся контекстом, несомненно, слагаемые успеха.

Необходимо отметить, что в гуманитарной сфере, например в этнографии, в последнее время довольно активно обсуждаются значимость уже известных данных и их переосмысление сквозь призму современной методологии и теоретических положений [Тишков, 2003; 2011; Перевалова,

2017]. Рассматривая составляющие успешного развития археологии, Л. С. Клейн акцентировал значимость старого материала, который получает новое звучание при новых вопросах и новых методах или в силу того, что прежде он не был обработан должным образом [Клейн, 2012. С. 147–222]. Все вместе это позволяет ставить и решать новые научные задачи и проблемы.

В раннем железном веке в лесостепи Зауралья и Западной Сибири (рис. 1) обитало население, чьи древности в археологической систематике именуется саргатской культурой. Ее формирование происходило на местной основе при активном участии пришлых (предположительно, сакских) коллективов. В результате такого взаимодействия сформировались группы с новым обликом культуры, что отразилось в появлении степных форм погребальной обрядности, материальной атрибутики. Немногочисленное степное население привнесло в лесостепь основы своего мировоззрения и навыки подвижного скотоводства [Корякова, 1988. С.138–169]. В историческом аспекте совокупность многочисленных культурных образований (типов памятников) эпохи железа от восточных склонов Урала до Иртыша именуется саргатской культурно-исторической общностью [Корякова, 1991а; 1991б; 1993].

В настоящее время в археологии железного века Урала и Сибири признается, что саргатская общность являлась одним из самых крупных и долговременных из когда-либо существовавших социокультурных образований на данной территории до русской колонизации¹. Благодаря работам Л. Н. Коряковой, А. В. и Н. П. Матвеевых, В. А. Могильникова, Л. И. Погодина, Н. В. Полосьмак, В. Е. Стоянова и др. изучен материальный мир ее носителей. Основные направления исследований затрагивали широкий спектр научных тем: проблемы происхождения [Могильников,

¹ В Западной Сибири по своей территориальной и хронологической масштабности выделяется нижеобская культура, но она археологически более разнородна, уровень социальной организации ее носителей значительно уступал саргатскому [Зыков, 2012]. Ареалу распространения саргатских древностей соответствует и Сибирская окраина Золотой Орды – Сибирское ханство (постордынские государства лесостепи Западной Сибири), во временном отношении его история не столь продолжительна [Зыков и др., 2017].

1972а; Корякова, 1988; 1994б], вопросы хронологии [Корякова, 1981б; 1988; Культура зауральских..., 1997; Матвеева, 2017б], военное дело [Погодин, 1998а; Матвеева и др., 2005], социальная организация [Корякова, 1994б; Матвеева, 2000]. Реконструкция разнообразных аспектов жизнедеятельности саргатских коллективов включала изучение архитектуры и домостроительства [Берлина, 2010], хозяйства и быта [Чикунова, 2006в], рациона питания [Ражев, 2002; 2009; Матвеева и др., 2004], погребальной обрядности [Корякова, 1994б; Берсенева, 2005]. Не менее активно, с применением статистических методов прорабатывались палеодемографическая характеристика и социальные структуры населения [Матвеева, 1999а; 1999б; 2005; 2007; Берсенева, 2005; 2011б]. Заслуживающей внимания стала гипотеза о селективном принципе курганного обряда у лесостепного населения [Ковригин, Ражев, 1997; Культура зауральских..., 1997; Ражев, Ковригин, 1999 и т. д.].

Между тем количество нового фактического материала пополнялось по мере изучения древностей населения второй половины I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э., включенного в орбиту влияния саргатских коллективов [Борзунов, 1992; 2014; Бельтикова, 1997; Булдашов, 1998; Стефанов, 1998; Зимина, 2006; Ковригин, Ражев, 2007; Чаиркина, 2011; Daire et al., 2002]. Эти памятники или типы памятников: носиловские, баитовские, воробьевские, иткульские, гороховские, кашинские, прыговские – археологически разнородны, имеют различную степень представленности, характеризуются мозаичностью расположения [Викторова, 1969; Стоянов, 1969] и стилистической вариативностью керамики [Шарапова, 2000] (рис. 2). Однако очевидно, что их материалы не только отражают пестроту археологической ситуации эпохи железа и сложный процесс культурогенеза в западной части Тоболо-Иртышья, но и позволяют дать более точную оценку и характеристику как отдельных групп, так и обитателей лесостепи и ее окраин в целом.

Во многом новаторскими являются результаты палеоантропологического [Ражев, 2002; 2009] и набирающего обороты

палеогенетического [Пилипенко и др., 2009; 2013; 2017; 2018; Шарапова и др., 2019; 2020] и изотопного [Шарапова и др., 2023; Kiseleva et al., 2023] изучения населения региона. Их использование в сочетании с материалом погребальных памятников по объективным причинам обеспечивает эффективность биоархеологического направления, а главное, повышает достоверность получаемых интерпретаций.

В то же время следует признать, что в устоявшихся в литературе характеристиках погребальной обрядности и социальных интерпретациях саргатского общества [Полосьмак, 1987; Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 1993б; 1994; 1999б; 2000; 2005; Берсенева, 2005; 2011б] по ряду объективных обстоятельств был учтен ограниченный объем палеоантропологических сведений – определения пола и возраста. Попытки изучения индивидов во взаимосвязи с предметами сопроводительного инвентаря предпринимались на материалах саргатских погребений Прииртышья [Берсенева, 2005; 2011б]. В качестве инструмента для проведения социальных/гендерных интерпретаций был апробирован контекстуальный подход, который, однако, не включал соответствующий уровню выдвигаемых гипотез обзор обрядности и вещевого комплекса в динамике. Данный подход – существенный компонент активно развивающегося интерпретационного направления современной постпроцессуальной школы [Hodder, Hutson, 2003. P. 203–205]. Представляется, что весьма значимым дополнением контекстуального анализа необходимо признать такие критерии, как время и место (не обобщенный ансамбль артефактов, а наборы конкретных предметов и их типологические характеристики с учетом хронологической принадлежности анализируемых комплексов), поскольку археологическая культура, как производная человеческой деятельности, не статична, подвержена изменению во времени и в пространстве.

Перенос акцента на индивида, его взаимодействие с материальным миром раскрывает иные возможности, позволяя более предметно изучать социальные группы, вписывая биологические характеристики в социальный

контекст. В западной археологии такой подход интерпретационного направления получил определение *peopling the past* [Fowler, 2004. P. 4]. Дословный перевод – заселяя (очеловечивая) прошлое – в русском языке звучит неуместно. Поиск адекватного значения перевода привел к биоархеологическому направлению [Buikstra, 1977; Larsen, 1999; Бужилова, 1995; 2005; Бужилова и др., 1998; Медникова, 1995б; 2017; Козловская, 1996 и т. д.] с упором на исследование палеоантропологического материала в археологическом контексте [Шарапова, Ражев, 2013; 2016; Шарапова и др., 2014; 2019; 2020; 2023; Ražev, Šarapova, 2012; 2014]. Контекстуальный анализ, не будучи направленным на поиск статистических закономерностей, не исключает описательной канвы фактического материала и предполагает комплексный междисциплинарный подход к рассмотрению массива данных, в том числе в сравнительном аспекте [Hodder, Hutson, 2003; Hodder, 2007; Trigger, 2007; Agarwal, Glencross, 2011; Sharapova, 2016; Шарапова, 2018а; 2018б]. В этом отношении результаты новых исследований старых материалов с известными оговорками могут быть успешно использованы (ограничения вызваны сохранностью археологических объектов и коллекций, методикой исследований и т.п.). При таком ракурсе изучение материалов древних погребений, в том числе разрушенных, в ряде случаев позволяет получить оригинальную информацию, которая теряется при статистическом анализе. Именно комплексным междисциплинарным подходом к анализу археологических памятников обусловлена **актуальность темы**: биоархеологическая характеристика древнего населения через изучение остатков его материальной культуры и образа жизни, попытка уточнить его происхождение и связи. Более того, современные направления в биоархеологии предполагают разностороннее изучение останков человека, интегрируя биологический и культурный контекст погребального источника, в этом она созвучна социальному направлению в археологии [Knüsel, 2010. P. 62].

В русле таких исследований материалы раскопок погребений занимают совершенно определенное место, позволяя рассматривать особую форму адаптации населения определенной культуры или региона к внешним и внутренним условиям среды [Бужилова, 2005. С. 10–11]. При этом комплексное понятие среды включает не только природную, но и созданную человеком – социальную [Общая палеоэкология, 2000. С. 5–10]. Не лишена основания трактовка среды во взаимосвязи с системой жизнеобеспечения, т.е. «экологически обусловленных форм социального поведения, которые обеспечивают человеческому коллективу существование за счет ресурсов конкретной среды обитания» [Крупник, 1989. С. 15]. В общем виде можно говорить, что круг явлений образующих среду обитания представлен сопряженными природными (ресурсы и условия) и социальными факторами, включая удовлетворение потребностей индивида/группы индивидов посредством создаваемой им/ими материальной культуры [Маркарян, 1981. С. 151; Массон, 1990. С. 26; Крупник, 1989. С. 24–25; Прохоров, 2010. С. 41–42; Сатаев, 2017. С. 127–128].

Рассмотрению именно этого корпуса сведений и посвящена диссертационная работа. В ее основе – хорошо известный источник, который благодаря предпринятому междисциплинарному подходу получил новое содержание и интерпретации, где известные материалы рассматриваются по принципу от общего к частному и от частного к особенному. Между тем с момента исследовательского подъема в археологии саргатской культуры 70–90-х гг. прошлого века существенно увеличилась источниковая база, однако степень изученности саргатских древностей в пределах всего ареала оставалась прежней. Изучение памятников Притоболья проводилось в междисциплинарной парадигме [Культура зауральских..., 1997; Среда, культура..., 2009; Daire et al., 2002], что не только отнесло их к опорным для понимания исторических процессов в регионе в раннем железном веке, но и позволило в дальнейшем прорабатывать некоторые подходы и анализировать отдельные аспекты [Шарапова, 2018а; 2018б; Шарапова, Ражев, 2013; 2016;

Шарапова и др., 2014; 2019; 2020; 2023; Kiseleva et al., 2023; Sharapova, 2016; Sharapova, Razhev, 2011; Ražev, Šarapova, 2012; 2014]. Более того, активизация междисциплинарных проектов в урало-сибирской археологии способствовала успешной апробации биоархеологического подхода уже для памятников других территорий и эпох [Шарапова и др., 2016; Луайе, Шарапова, 2017; Корякова и др., 2018; 2019; Карапетян и др., 2019; Булакова и др., 2021; Карапетян, Шарапова, 2022; Blöcher et al., 2023 и т. д.].

Целью исследования является биоархеологическая характеристика населения лесостепного Зауралья и Западной Сибири в раннем железном веке на основе комплексного анализа материалов курганных захоронений.

Исходя из этого, ставятся следующие **задачи**: 1) систематизация, анализ и обобщение материалов раскопок погребальных памятников раннего железного века в пределах ареала распространения саргатской культуры; 2) формирование информационных блоков (электронных таблиц) по погребениям локальных серий саргатской культуры для всех возрастных групп с учетом половозрастной и морфологической принадлежности изучаемых индивидов, результатов палеопатологических определений, данных палеогенетического анализа; 3) дополнения к существующей характеристике погребальной обрядности с привлечением данных полевой антропологии; 4) ревизия и уточнение существующих датировок погребальных комплексов саргатской культуры; 5) обоснование верхней хронологической границы саргатской культуры; 6) сопоставление результатов палеоантропологического и палеогенетического изучения скелетных останков и археологического контекста; 7) поиск вероятных объяснений выявленным палеопатологическим проявлениям сквозь призму социальной среды; 8) обобщение и интерпретация полученных данных, их оценка с позиций социальной археологии.

Объектом исследования является население раннего железного века в границах лесостепной зоны Зауралья и Западной Сибири.

В качестве *предмета исследования* выступают материалы археологических раскопок погребальных памятников изучаемого региона.

Источниковая база работы представлена материалами раскопок 41 могильника раннего железного века (208 курганов и восемь бескурганных погребений), исследованных с конца 1960-х гг. до 2021 г. Эти памятники картографированы (рис. 1), общие сведения о них даны в таблице 1 (гл. 1, § 5). Обработаны полевые отчеты о раскопках, хранящиеся в архивах Института археологии РАН и Института истории и археологии УрО РАН, фондах и архиве Археологического музея УрФУ (прежде архив Кабинета археологии УрГУ), Музейного комплекса ОмГУ, публикации памятников². Анализируемая выборка включает 674 погребальных комплекса, из них девять кенотафов. Поскольку наличие палеоантропологических определений является принципиальным, единицей анализа является индивид, а не погребение. Изученная серия представлена останками минимум 694 индивидов, обследованных по аналогичным системам признаков [Ковригин, Ражев, 2007; Ражев, 2009; Чаиркина, 2011; Зубова и др., 2014; Чикунова, 2017; Шарапова, 2021]. Материалы десяти могильников Притоболья получены автором или при участии автора в составе Зауральской лесостепной археологической экспедиции (сначала УрГУ, затем ИИиА УрО РАН); учтены результаты раскопок кургана Новопокровка 16 в Среднем Прииртышье [Шарапова, 2021; Шарапова и др., 2023]. Корпус источников дополнен данными по поселенческим памятникам, раскопанным широкими площадями и изученным наиболее полно.

² Искренняя благодарность адресована коллективу российско-французского проекта: Л.Н. Коряковой, М.-И. Дэйр, А.А. Ковригину, П. Курто, Л. Лангвету, Ж.-П. Потро, Д.И. Ражеву, М.-С. Юже, в тесном контакте с которыми отработан не один полевой сезон в Зауралье. Выражаю глубокую признательность Л.Н. Коряковой, В.И. Молодину, Л.В. и С.Ф. Татауровым, А.Я. Труфанову за возможность использования материалов из отчетов; А.С. Пилипенко за информацию по палеогенетическим исследованиям; Д.В. Киселевой за проведение анализа соотношения изотопов стронция. Самые теплые слова симпатии обращены моим друзьям и коллегам из научных центров Берлина, Бреста, Волгограда, Екатеринбурга, Киева, Кракова, Москвы, Новосибирска, Омска, Сургута, Тюмени, Уфы, Франкфурта-на-Майне, Челябинска, Энема за их неподдельный интерес, многочисленные обсуждения и помощь с литературой. Доброжелательная атмосфера работы в архивах и библиотеках создавалась сотрудниками Археологического музея УрФУ, Евразийского отдела Германского археологического института, ИА РАН, Института археологии и этнологии ПАН в Кракове, ОмГУ, Франкфуртского университета.

Хронологические рамки исследования определяются периодом существования саргатской культуры на территории лесостепи Зауралья и Западной Сибири – V вв. до н.э. – III в. н.э. Традиции материальной культуры и обрядности аборигенных групп предсаргатского времени (впоследствии включенных в сферу влияния саргатского населения), не только обусловили специфику западного ареала, но и позволили проанализировать древности саргатской общности. Верхняя дата определяется исчезновением основных (диагностических) черт саргатской культуры в границах лесостепи [Шарапова, 2020; Шарапова и др., 2020; Шарапова, Малашев, 2022].

Географические рамки работы охватывают лесостепную зону Зауралья и Западной Сибири: бассейны рек Иртыш, Ишим, Тобол и их притоков. Это соответствует современным Новосибирской, Омской, Курганской, Тюменской и Свердловской областям РФ, а также Северо-Казахстанской области РК. Данная территория известна как основной ареал распространения как саргатских древностей, так и стереотипов культуры на его окраинах (саргатская общность).

Методологической основой исследования являются принципы историзма, системности и объективности, традиционно используемые в отечественной археологии как исторической науке, изучающей историю человечества по материальным остаткам. Они обеспечиваются интегрированием разнообразных методов (синтеза, сравнительно-типологического, датированных аналогий) и отвечают комплексному анализу материалов археологических раскопок, определяются поставленными задачами и состоянием корпуса источников. В рамках междисциплинарного подхода в работе широко привлекаются естественно-научные данные: палеоантропологические, палеогенетические, радиоуглеродного датирования, археологического почвоведения. Такой способ реализации в общем русле отечественных исследований реконструирует среду обитания, включающей и материальную культуру, и социальные отношения. В работе использованы результаты изучения тафономических трансформаций,

неспецифических маркеров стресса, реконструкция физической активности, предпринятых на палеоантропологическом материале [Бужилова и др., 1998; Бужилова, 2005; Ражев, 2009; Шарапова, Ражев, 2013; 2016; Шарапова и др., 2014; 2020; 2023; Луайе, Шарапова, 2017; Карапетян и др., 2019 и т. д.]. Сопоставление результатов палеопатологического обследования скелетных останков из могильников в археологическом контексте и поиск соответствия разным данным в диссертационном исследовании опираются на интерпретационное направление западной постпроцессуальной археологии, с выбором социального, кросс-культурного и контекстуального подходов [Shanks, Tilley, 1987; Hodder, 1989; Hodder, Hutson, 2003; Trigger, 2007; Pikiрайi, 2009; Hales, Hodos, 2010; Agarwal, Glencross, 2011 и т. д.], активно используемые в современной российской археологии [Крадин, 1992; 2001; Корякова, 1998; 2006; 2007; Васютин и др., 2005; Koryakova, Epimakhov, 2007; Kradin, 2011 и т. д.].

Научная значимость диссертации заключается не только в анализе и обобщении значительного по объему массива данных, полученных в ходе полевых, камеральных и лабораторных междисциплинарных исследований материалов археологических памятников раннего железного века лесостепной зоны Зауралья и Западной Сибири, но в развитии биоархеологического направления в изучении саргатской культуры. Введена в научный оборот новая информация, раскрывающая особенности погребальной обрядности населения региона, его образа жизни, социальных отношений. Обосновано уточнение верхней хронологической границы саргатской культуры. Тщательная ревизия материалов старых раскопок позволила скорректировать существующие интерпретации. Результаты многолетних исследований в русле разных дисциплин (археологии, палеоантропологии, палеогенетики и др.) не только демонстрируют возможности различных подходов по отдельности: сведенные вместе, они представляют многомерную характеристику древнего социума, подчеркивая научный потенциал и перспективы биоархеологических реконструкций не

только в масштабах саргатской культуры, но и древнего населения Евразии в целом.

Научная новизна обусловлена широким пространственно-хронологическим диапазоном и контекстом. Саргатские древности впервые стали предметом междисциплинарного изучения в масштабах всей культуры, которое опирается на максимально доступный круг источников, включая хорошо документированные результаты полевых работ Зауральской лесостепной археологической экспедиции в Притоболье и раскопки автора в Среднем Прииртышье. Новое осмысление материалов обеспечивается комплексным источниковедением. Привлечение результатов палеоантропологического анализа в качестве отправной точки исследования не только сформировало источник, равноценный археологическому, но и позволило дать всестороннюю характеристику древним обитателям региона, в том варианте, в котором она реконструируется по археологическим и антропологическим данным. Биоархеологические аспекты исследования, рассмотренные в контекстном археологическом ракурсе, относятся к категории новаций. Часть материала впервые включена в обобщающую работу по саргатской культуре. На сравнительном фоне обсуждаются вопросы хронологии, возрастные и социальные аспекты, материальная атрибутика погребений.

Практическая ценность. Результаты могут быть использованы при изучении древней истории населения Урала и Сибири, при написании обобщающих трудов по археологии и истории, в разработке лекционных курсов, при создании учебных пособий для студентов, в музейной работе. Материалы исследования могут привлекаться для дальнейшего изучения древностей саргатской культуры, полученных в ходе новых полевых работ.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были изложены в докладах на российских и международных научных конференциях: I–III Северных археологических Конгрессах (Ханты-Мансийск, 2002, 2006, 2010); Грязновских чтениях (Омск, 2006, 2017);

всероссийской конференции «Человек и Север: антропология, археология и экология» (Тюмень, 2012); всероссийском научно-практическом семинаре «Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Урал и Западная Сибирь)» (Челябинск, 2013 г.); IX–XI международных научных конференциях «Проблемы сарматской археологии и истории» (Оренбург, 2016; Севастополь, 2019; Волгоград, 2023); IV научной конференции «Археологические источники и культурогенез» (Санкт-Петербург, 2017); международной конференции «Вещь в контексте погребального обряда» (Москва, 2020); ежегодных конференциях Европейской Ассоциации археологов (Санкт-Петербург, 2003; Краков, 2006; Задар, 2007; Гаага, 2010; Хельсинки, 2012; Берн, 2019); междисциплинарной конференции «Serica-Da Qin. Over 2000 years of Sino-Western relations» (Вроцлав, 2009); археологических семинарах Жешувского университета (Жешув, 2009) и Института археологии и этнологии ПАН (Краков, 2009, 2013); международных конференциях «Contact zones of Europe from the 3rd mill. BC to the 1st mill. AD» (Москва, 2017), VI Нижневолжской «Волго-Уральский регион от древности до средневековья» (Волгоград, 2021), «Евразия в энеолите – раннем средневековье (инновации, контакты, трансляции идей и технологий)» (Санкт-Петербург, 2022), «Современные решения актуальных проблем евразийской археологии» (Барнаул, 2023). Отдельные главы и диссертационная работа в целом были представлены на заседаниях Центров археологии и этнографии ИИиА УрО РАН, Отдела теории и методики ИА РАН, кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Итоги многолетних исследований и основные положения автора по социальной археологии и междисциплинарному изучению материалов бронзового и раннего железного веков обобщены в 67 печатных работах на русском, английском, немецком и французском языках, включая 35 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях (Перечень изданий МГУ, WoS, Scopus, RSCI, Перечень ВАК), авторскую монографию и главы (разделы) в восьми

коллективных монографиях, изданных в России и за рубежом, а также 56 статьях и тезисах, не включенных в автореферат.

Представленная диссертация – самостоятельное законченное научное исследование. Для получения результата автором были лично проанализированы источники (материалы археологических раскопок), различные публикации в отечественных и зарубежных изданиях, дана оценка состояния проблемы, определен круг обсуждаемых вопросов, предложены варианты решения и интерпретации. Полевые материалы, полученные в ходе многолетних экспедиционных работ в Зауралье и Западной Сибири, обрабатывались и вводились в научный оборот совместно с Л.Н. Коряковой, А.А. Ковригиным, Д.И. Ражеевым, М.-И. Дэйр, П. Курто или самостоятельно. Автором реализованы все последующие этапы изучения полевых материалов и коллекций, включая написание отчетов о раскопках, статей и монографий в качестве основного автора или одного из соавторов и представление результатов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Устоявшиеся представления о хронологических рамках саргатской культуры охватывают интервал V в. до н.э. – IV-V вв. н.э. Исследования последних лет, как на основной территории, так и за пределами саргатского ареала, дают основания для уточнения поздней даты. Комплексы, маркирующие верхнюю хронологическую границу культуры, известны в семи могильниках в Притоболье и Приишимье: Савиновском, Тютринском, Гаевском 1, Абатском 3, Ипкульском, Покровском и Явленка 1. Судя по имеющемуся материалу, во второй половине III в. н.э. происходят угасание и размывание основных черт саргатской культуры, она отсутствует на большей части лесостепи к востоку от Урала, что выглядит довольно резким. Археологическим проявлением этого является исчезновение ярких выразительных комплексов, определявших облик саргатской социокультурной системы.

2. Различия в отношении маркеров физической активности в совокупности с маркерами питания и состояния здоровья, разделившие разнополых взрослых саргатской курганной выборки на две морфологические группы, условно названные «активный» и «спокойный» морфотипы [Ражев, 2009], находят соответствие в археологическом материале.

3. В саргатском обществе социальные маркеры наряду с другими представлены и обычаем кольцевой деформации головы. Несмотря на малочисленность, что позволяло бы говорить о принадлежности к группе «избранных», захоронения людей с деформированными черепами располагались на периферии подкурганной площадки, заметно уступая погребальным комплексам, устроенным с особой пышностью и огромными трудозатратами. Совокупность археологических данных – узкие могильные ямы, наличие нишеобразных расширений для установки заупокойных даров, погребальный инвентарь – позволяет синхронизировать эти комплексы с позднесарматскими Южного Приуралья II–III вв. н.э.

4. Небольшое количество травматических повреждений, относимых к разряду боевых, не позволяет признать саргатское общество воинственным. Согласуются с этим единичное количество боевых ранений у женщин и отсутствие в саргатской курганной выборке останков детей со следами насильственных травм, а также материалы раскопок саргатских городищ, где не зафиксированы сколько-нибудь заметные следы пожарищ, нет и следов опустошительных вторжений и их жертв. «Изобилие» оружия следует считать социальным маркером. Состав репрезентативных инсигний универсален и связан с мужской субкультурой.

5. Материалы раскопок курганных могильников лесостепи не позволяют принять гипотезу о существовании в саргатском обществе женщин-воительниц [Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 2000; 2005; Берсенева, 2005; 2011а; 2011б; Berseneva, 2008]. Единичные находки наконечников стрел, кинжалов, элементов сбруи в погребениях не отражают

участия женщин в воинских формированиях в качестве лучниц. Конская сбруя может быть интерпретирована как часть воинского набора, но только во взаимосвязи с предметами вооружения.

6. Захоронения женщин старшей возрастной группы сопровождались несколько бóльшим количеством ритуальной пищи, остатки которой зафиксированы в погребениях в виде костей животных (от двух-трех частей туши) и сосудов (до пяти емкостей).

7. Материалы могильников отражают социальную легитимацию погребального обряда населения саргатской культуры. Родственные связи, несомненно, были одним из условий захоронения в кургане. Существование практики отсроченных похорон позволяет утверждать сложный и разносторонний характер мотивов погребения и/или подхоронения в кургане. В их числе – сезонный характер захоронений, а также социальное родство, когда умершие не являлись близкими родственниками по материнской и отцовской линиям. Другая возможная причина – более отдаленные варианты родства. Факт достижения «социальной взрослости» определялся уровнем физического развития ребенка.

Структура работы. Диссертация состоит из двух томов. Том 1 включает введение, четыре главы, заключение, список использованных источников и литературы. Том 2 содержит иллюстративный материал.

Глава 1. История изучения зауральско-западносибирских древностей и характеристика источников

Интерес к древностям раннего железного века лесостепного Зауралья и Западной Сибири имеет долгую историю, а проблемы археологии региона преимущественно связаны с изучением саргатской культуры. Библиография исследования саргатских древностей довольно обширна: помимо публикации результатов раскопок, она включает и первые попытки формирования научного представления о прошлом, и систематизацию археологических материалов, и собственно историю изучения. Безусловно, при ее изложении не избежать повтора предложенных ранее историографических сюжетов, описанных весьма подробно и обстоятельно как во времена исследовательского «бума» зауральско-западносибирской археологии [Стойнов, 1969; Корякова, 1982; Могильников, 1992а], так и позже – при обращении к проблемам истории науки [например, Матющенко, 1992; Жук, 1995; Корякова, 1997; Шилов, 1997 и т. д.]. Совершенно очевидно и то, что подобные издержки неизбежны. В то же время некоторые публикации, особенно 1990-х гг., издавались малым тиражом, на бумаге плохого качества и давно уже стали библиографической редкостью. Более того, с момента выхода последних обобщающих работ в литературе появились новые данные, раскрывающие неизвестные ранее факты биографии археологов-профессионалов и любителей сибирской старины. Собранные воедино из различных источников, все эти сведения позволяют не только выстроить в хронологическом порядке сам процесс изучения, но и рассмотреть развитие региональной и отечественной археологической мысли в целом.

Уже неоднократно было подмечено, что различные факты, имена, термины не менее интересны и дидактичны, чем новые открытия [Клейн, 2011; Trigger, 1989]. Демонстрируя ценность опыта и напоминая о том, что сделано предшественниками, они создают определенное эмоциональное воздействие на

результаты прошлых поколений и в конечном итоге вводят в мир археологического знания. Вместе с тем многие введенные нашими предшественниками понятия, типы и археологические культуры остаются актуальными до сих пор [Клейн, 2011. Т. 1. С. 9, 12], сохраняя накал проводимых дискуссий.

Прежде чем перейти к биоархеологическим реконструкциям населения, история которого не нашла полного отражения в текстах древних авторов, но хорошо представлена ископаемой культурой (археологическим материалом), представляется целесообразным дать характеристику источников. Размышления об информационных возможностях археологии не новы, так же как и очевидность практического значения археологических материалов. Изучаемые памятники содержат уникальные сведения о жизни древних коллективов, для большинства бесписьменных культур получаемые археологами остатки – сохранившиеся части прошлого (останки людей, материальные свидетельства событий и процессов и т.п.) – являются основой исторической информации. Опыт развития археологии убедительно показывает, что коллизии, возникающие на интерпретационном уровне, связаны не только с прочтением источника: немалую роль играет сам процесс его получения – раскопки. Для последующего формирования археологических данных в полноценный источник применяется широкий спектр специальных методик. На этом пути соотношение теории и методики – необходимое условие, позволяющее правильно подойти к исторической информативности памятников материальной культуры [Клейн, 1978; Массон, 1989]; их выбор позволяет воссоздать утраченное или дошедшее в археологизированном виде – образы людей далекого прошлого [Викторова, 1989; 2017].

Ископаемые объекты, формирующие археологические источники, доступны в виде отчетов о полевых исследованиях и их публикаций. Являясь своеобразной отправной точкой для дальнейших размышлений и понимания, они обладают и возможностью практического приложения, и способностью стать приемлемыми. При этом важно учитывать, что в них неизменно присутствует как объективная

информация в виде открывающейся перспективы прошлого, так и субъективная, обусловленная методическим уровнем проводимых работ, неточностями фиксации, произвольными критериями систематики и последующими объяснительными моделями.

Все сказанное в полной мере справедливо и по отношению к саргатской культуре, которая, подобно многим гетерогенным культурам древности, впитала взаимовлияние местных и пришлых групп, а также – подобно многочисленным бесписьменным культурам Евразии – представлена только археологическими свидетельствами, которые являются единственным и основным источником. Раскопки поселений дают информацию о том, как жили, в каких условиях, чем занимались носители той или иной археологической культуры, но оставляют за рамками исследований основной вопрос о людях. Этот требующий специального рассмотрения аспект дополняется результатами изучения могильников, а получаемые данные дают возможность восстановить внешний облик и происхождение древних популяций и конкретных индивидов, мировоззрение и образ жизни, то, как они связаны с создателями поселений и городищ в пределах той или иной территории или с ближними и дальними соседями и т.п.

§ 1. Сибирское бугрование и Сибирская коллекция Петра I

Накопление знаний о прошлом региона – процесс, растянутый во времени. На начальной стадии основной движущей силой было любопытство по отношению к прошлому, стимулировавшее интерес к изучению древней культуры. Однако уже тогда выдвигались первые гипотезы о населении края в далеком прошлом. Этот интерес, выражавшийся часто в варварских формах и приведший к появлению профессиональных «грабителей-бугровщиков», возник фактически вместе с началом русской колонизации Урала и Западной Сибири, возросшие масштабы приобрел уже в период освоения восточных земель

Российской империи в XVIII в. [Руденко, 1962; Жук, 1990; Матвеев, Маслякова, 1991; Матвеев, Матвеева, 1991а; Корякова, 1997; Алексеев, 2012 и т. д.].

Благодаря особому отношению к кладам, базировавшемуся на верованиях, первые насельники Сибири вскоре после походов Ермака начинают осваивать новый промысел, заманчивость которого подогревалась местными преданиями и сказаниями о кладах и сибирских богатствах [Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 298]³. Административное подчинение Российскому государству сибирских земель в XVII в. послужило катализатором начала повальных и порой неконтролируемых грабительских раскопок зауральско-западносибирских курганов. В дневниках и сочинениях иностранных путешественников, а также ученых⁴, специально приглашенных в Россию для проведения экспедиций и обращавших внимание на древности края, появляются первые замечания о древностях, тогда как сибирские летописи практически не содержат таких сведений. Обращаясь к истории бугрования в Сибири, Л. Н. Корякова привела редкие упоминания в документах того времени фактов кладоискательства [Корякова, 1997. С. 77]. Несколько раньше А. В. Жук обнаружил у Е. В. Кузнецова-Тобольского описания, которые позволяют датировать «первыми годами 17 столетия начало кладоискательства в Сибири» [Жук, 1990. С. 32–33; см. также: Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 298–300].

Особое внимание государственной власти к археологическим древностям относится ко времени появления Петровских указов 1718 г. и 1721 г., в соответствии с которыми были предписаны розыск и описание древних предметов, а также составление первичной документации. В какой-то мере

³ Известный некогда историк, краевед, публицист Е. В. Кузнецов-Тобольский, занимаясь исследованиями сибирской старины, печатался в «Тобольских губернских ведомостях», в 1896 г. опубликовал отдельной брошюрой «Кладоискание и предания в Западной Сибири» [Кузнецов-Тобольский, 1896]. Усилиями администрации ХМАО – Югры этот фактически забытый очерк был переиздан в серии «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого» в разделе «Библиографическое наследие» [см. подробнее: Кузнецов-Тобольский, 2014].

⁴ К сожалению, их научное наследие иногда ожидала незавидная участь. В частности, находки из дневника руководителя первой научной экспедиции в Сибирь Даниэля Готтлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messerschmidt) были выборочно опубликованы его сподвижником и другом, шведским офицером Филиппом Иоганном Таббертом фон Страленбергом (Philipp Johann Tabbert von Stralenberg). Путевые листы Мессершмидта оставались неизданными, извлечения из дневника были напечатаны позднее И. Г. Георги, П. С. Паласом, В. В. Радловым. Собранные им археологические и этнографические материалы сгорели при пожаре в Кунсткамере в 1747 г., и только два столетия спустя дневники Мессершмидта вышли в свет в Берлине [подробнее об этом см.: Борисенко, 2012].

изданные государем циркуляры знаменовали начало процесса сохранения старины. Своего рода побочный эффект выразился в том, что они фактически открыли дорогу к раскопкам дилетантам и авантюристам. Последствия оказались насколько непредсказуемыми, настолько и плачевными: санкционированный сверху промысел сибирскими древностями был поставлен на поток.

Таким образом случайное вскрытие курганов местным населением, которое, например, практиковало переплавку металлических изделий и их повторное использование в обрядах, приобрело умышленный характер, став своеобразным ремеслом и массовым явлением для края. Изучая архивные материалы, А. В. Жук нашел заслуживающие внимания свидетельства о заинтересованности власти на местах к фактам бугрования [Жук, 1990. С. 35]. О существовании подобных документов свидетельствует эпистолярное наследие того времени. Распоряжение губернатора Тобольска М. П. Гагарина, адресованное шадринскому воеводе князю Мещерскому, упоминается в обобщающей работе Н. Н. Бортвина «Доисторическое прошлое Курганского округа» [Бортвин, 1930]⁵. Это сообщение интересно еще и тем, что в нем содержится наказ реальным исполнителям – бугровщикам – с указанием их имен «как знатоков, отставного драгуна Михаила Слободчикова и крестьянина Михаила Лобова с товарищами по прииску... золота, серебра, меди и иных вещей в недрах насыпей для казны государевой» [Там же. С. 3]. Кроме того, в нем фигурирует упоминание конкретного географического района – берега р. Исети. Такая детализация весьма примечательна сама по себе, но еще более – в связи с происхождением предметов из собраний «бугрового» промысла [Матвеев, Маслякова, 1991. С. 38]. М. П. Завитухина, воссоздавая историю формирования знаменитой коллекции Петра I, приводит выдержки из переписки все того же сибирского губернатора Гагарина и тюменского коменданта Воронцового, которому были предписаны «сбор

⁵ В научном наследии Н. Н. Бортвина данная публикация уникальна тем, что она является прижизненной и основная часть статьи содержит материалы его раскопок в лесостепном Зауралье; многие десятилетия она была единственным источником информации по археологии и краеведению Курганской области. Другая, также относящаяся к Уралу и посвященная находкам на горе Азов, вышла уже после его смерти [подробнее см.: Маслюженко, Мягкая, 2016].

археологических предметов из золота и серебра и сдача их в государственную казну за вознаграждение» [Завитухина, 1977а. С. 63].

Тему ограбления древних могил затрагивал в своих описаниях В. В. Радлов. Так, со ссылкой на Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, Дж. Белла он приводил данные о численности артелей бугровщиков и последствиях их деяний [Радлов, 1896. С. 8–11]. Разрушение было многократным, опустошению подверглись курганы на обширном пространстве: «Могилы на Иртыше, Тоболе, Оби и Енисее стали впервые подвергаться раскопкам русских крестьян в начале нашего столетия, после того, как отсюда удалились калмыки и киргизы. Я застал в Сибири еще многих лиц, которые в прежнее время кормились такой работой, хотя в мое время никто этим уже не занимался, потому что все могилы, в которых надеялись найти клады, были уже раскопаны. Подобно тому, как отправляются партиями на соколиную охоту, так и они собирались здесь большими группами, с целью, разделив между собой работу, скорее покончить с несколькими могилами за раз...» [Там же. С. 10]. Столь объемная цитата отражает драматизм той ситуации, которая складывалась в лесостепной зоне Зауралья, на Ишиме и Иртыше, и далее к востоку⁶.

Между тем масштабы добычи и новые поступления в столичные и не только собрания сибирского «бугрового» золота довольно скоро начинают убывать. Как удалось установить А. В. Матвееву, к концу XVIII в. «бугровый» промысел на территории Сибири значительно сократился, перестав быть массовым явлением [Матвеев, Маслякова, 1991. С. 40]. М. П. Завитухина приводит еще один архивный документ, который вносит определенные разъяснения. Изданию Тобольской губернской канцелярией указа от 27 сентября 1727 г., по которому запрещался розыск кладов, предшествовали трагические события, вызванные набегами кочевых племен (в документе они названы «казачьей ордой») на артели

⁶ Несомненный интерес представляет тот факт, что в сочинениях путешественников содержатся и первые интерпретации: «...находится в степи большое количество могил и кладбищ древних героев, которые по всем вероятностям пали в бою. Эти могилы легко распознаются, благодаря насыпанным над ними земляным холмам и камням... Они находят также украшения седел и уздечек и прочие части лошадиного убранства и даже кости лошадей... Из сего, казалось бы, когда хоронился какой-либо полководец или знатная особа, то вместе с ним хоронились в той же могиле все его оружие, его любимый конь и служители» [прим. переводчика см.: Радлов, 1896. С. 10].

бугровщиков, которых грабили, брали в плен или убивали. Очевидно, что эти же события описывались и Е. В. Кузнецовым-Тобольским: «...казацья орда киргизы, и взяла их в полон всех 8 человек, и повезла к Иртышу; и один из них ушел с дороги ночью, а четырех человек она казацья орда на станове убила до смерти; и с того места разъехались, и их Ямышевской крепости солдаты и служилые люди отбили» [Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 306]. По этому делу Сибирской губернской канцелярией было определено воздаяние: трем отбитым у киргизов кузнецким крестьянам, «которые были на бугрованье, учинить наказанье – бить батоги нещадно за то, что они ездили в степь без отпуска, и по учиненьи наказания выслать в Кузнецк, а в Кузнецке и в уезде о том публиковать, дабы никто под жестоким наказанием в степь для бугрования не ездил» [Костров, 1876. С. 42]. Позднее, 3 июля 1764 г., последовал уже особый указ Сената о запрете на розыск в древних могилах сокровищ, который, впрочем, плохо исполнялся кладоискателями [Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 306]. Такие объяснения использовал И. Д. Чичерин – губернатор Сибири времен Екатерины II, – отвечая на запрос императрицы, почему прекратилось поступление золотых вещей из Сибири [Завитухина, 1977а. С. 67–68]. Более того, «разрытия» курганов крестьянами случались и позже, иногда пресекались местным начальством. Однако последовавшие наказания в некоторых случаях были за преступления против веры, а не по факту разрушения [подробнее см.: Костров, 1876. С. 42–43]. Известно также, что вплоть до рубежа XIX–XX столетий из любопытства или из-за корысти, для личного обладания или просветительских целей местные чиновники сами предпринимали раскопки сибирских древностей [например, Вдовин, 1998. С. 17–18; Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 302–306 и т. д.].

Истоки формирования знаменитого собрания древностей из Сибири восходят к личной коллекции Петра I (рис. 3). Она включала пересылаемую ему добычу бугровщиков из сибирских древних курганов и стала первым российским музейным собранием, впоследствии получив название «Сибирской коллекции

Петра Первого»⁷ [Алексеев, 2012. С. 17]. М. П. Завитухина определила 1715–1717 гг. временем формирования основной части коллекции [Завитухина, 1977а. С. 63]. В какой-то мере этим событиям предшествовали подношения императорской чете со стороны местных элит. Между тем цели, которые преследовала знать на местах, были различны – это и чинопочитание, и угодничество, и исполнение предписаний свыше. Вот лишь несколько хорошо известных фактов, наглядно иллюстрирующих сказанное. Так, в 1715 г. уральский заводчик А. Н. Демидов направил Екатерине Алексеевне по случаю рождения сына «богатые бугровые золотые сибирские вещи», что породило у Петра острое любопытство [Руденко, 1962. С. 11]. Кроме того, князь М. П. Гагарин в бытность губернатором Сибири, исполняя повеление Петра I, собранные в Тобольске золотые и серебряные вещи также отсылал в столицу [Завитухина, 1977б. С. 42–51]. Затем и преемник М. П. Гагарина князь А. М. Черкасский продолжил поставлять в столицу «куриозные вещи» [Руденко, 1962. С. 11–12; Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 305].

Добытое артелями бугровщиков «могильное золото» продавалось на рынках сибирских городов. Таким путем некоторые находки попадали и в частные собрания, например к картографу и собирателю сибирских древностей Н. К. Витзену. Е. В. Кузнецов-Тобольский приводит выдержки из сочинения знаменитого голландца «Северная и Восточная Та[r]тария» («Noord en Oost Tartarye»), изданного в 1692 г.: «...недалеко от Тоболя встречаются под горами особого рода весьма древние могилы, в которых, кроме костей покойников, была находима металлическая утварь из серебра, меди и железа» [Кузнецов-Тобольский, 2014. С. 299]. На протяжении многих лет Витзен сохранял постоянные связи с Россией и обладал широкими познаниями о русской культуре, очевидно, еще и потому, что он отчетливо осознавал культурно-историческое значение этих предметов. Возможно, что Витзен скупал их, как отметила

⁷ Название «сибирская» она получила в конце XIX в. от А. А. Спицына. В личном архиве Петра I он установил, что многие древние золотые изделия были собраны в Тобольске, бывшем тогда столицей Сибирской губернии. Название коллекции прочно утвердилось и сохраняется на протяжении столетий [Спицын, 1906б. С. 227–248; Завитухина, 1977б. С. 44].

М. П. Завитухина, «чтобы уберечь их от бесследного исчезновения» [Завитухина, 1999. С. 103]. «Могильное золото» поставлялось ему в Голландию через специальных агентов, но большая часть предметов до него не дошла; знаменитая коллекция Витзена представлена только опубликованными им гравюрами [Руденко, 1962. С. 7; Матвеев, Маслякова, 1991. С. 39]. Печальна и судьба этого собрания: известна безуспешная попытка Петра I приобрести его у вдовы ученого в 1717 г., позже проданного с аукциона [Завитухина, 1999. С. 113].

Архивные материалы легли в основу поиска места находок из Сибирской коллекции, предпринятого А. А. Спицыным. Он первым отметил, что в собрании голландца Витзена содержатся вещи, парные с находками из Сибирской коллекции, полученными из грабительских раскопок курганов в среднем течении Ишима, а также близ слияния Оми и Иртыша [Спицын, 1906б. С. 228–229]. Позднее история формирования Сибирской коллекции достаточно подробно была изложена С. И. Руденко [Руденко, 1962], свои соображения и гипотезы высказывал Л. С. Клейн [Клейн, 1976], авторству М. П. Завитухиной принадлежит несколько специальных публикаций как о самой коллекции, так и о предметах из собраний М. П. Гагарина и Н. К. Витзена [Завитухина, 1974; 1977а; 1977б; 1991; 1999]. Так, описывая происхождение Сибирской коллекции Петровской кунсткамеры, С. И. Руденко заключает, что «она в основном состояла из подношения Демидова, вещей, представленных Гагариным и присланных Черкасским» [Руденко, 1962. С. 11–12]. В какой-то мере согласуется с этим и высказанная Л. С. Клейном идея, в которой он обозначил Прииртышье и Поишимье местами сбора предметов, сформировавших коллекцию [Клейн, 1976. С. 231]. А. В. Матвеев предложил выделить основную часть вещей, поступавших Петру I в 1715(1716)–1718 гг. от губернатора М. П. Гагарина, которую «можно было бы назвать собранием М. П. Гагарина» [Матвеев, Маслякова, 1991. С. 38]. Сравнивая предметы из Сибирской коллекции и аналогичные им из собрания Н. К. Витзена, М. П. Завитухина заключила, что часть находок из двух коллекций объединяет район происхождения, а также хронологическая и культурная принадлежность [Завитухина, 1999. С. 109–112. Рис. 5].

К настоящему времени связь некоторых предметов из Сибирской коллекции с саргатскими курганами не вызывает сомнения. Это стало возможным благодаря кропотливым усилиям и развернутой аргументации А. В. и Н. П. Матвеевых [Матвеев, Матвеева, 1987; 1991а; 1991в], которая была поддержана М. П. Завитухиной [Завитухина, 1999]; история саргатских материалов как части Сибирской коллекции была рассмотрена и Л. Н. Коряковой [Корякова, 1997]. Представляется уместным изложить собранные воедино из различных, порой весьма небольших публикаций доводы и этих исследователей, и их предшественников.

Анализируя предметы Сибирской коллекции, С. И. Руденко определил западную границу происхождения находок (по р. Ишим), однако основной ареал был очерчен им к востоку (Алтай) и несколько к югу (Семиречье) [Руденко, 1962. С. 37]. Им было отмечено стилистическое сходство сюжетов и образов с находками на Алтае и в Южной Сибири, а также с известными в сарматских комплексах степной части Восточной Европы⁸. Это обстоятельство значительно расширяло географию обнаружения уникальных изделий, но поскольку сарматские и сибирские предметы все же отличались своеобразием, они были им разграничены. Тем не менее еще в конце XIX в. И. И. Толстой и Н. П. Кондаков объединяли сибирские и донские вещи в одну нераздельную группу, «взаимно дополняемую и связанную одним стилем» [цит. по: Мордвинцева, 2003. С. 5].

М. И. Ростовцев предпринял первую попытку систематизации, предложив гипотезу о синхронности и стилистическом единстве сарматских и сибирских находок. К сарматскому, или срединно-азиатскому, стилю (под Срединной Азией подразумевалась обширная территория от Тобола до Инда) были отнесены поясные пластины Сибирской коллекции и аналогичные находки из Новочеркасского клада. М. И. Ростовцев датировал их I в. н.э. и связал с приходом на юг России с востока кочевых племен (юэчжей) [Ростовцев, 1993. С. 46].

⁸ В настоящее время термин «полихромный звериный стиль» употребляется как синоним «сарматскому полихромному звериному стилю» и «золото-бирюзовому звериному стилю» [Мордвинцева, 2003. С. 5].

Значительно позже Л. С. Клейн фактически допустил разделение Сибирской коллекции Петра I на западную часть, представленную предметами, собранными от Урала до Исети, Тобола, Ишима, и восточную – с находками в верховьях Иртыша и Алтая [Клейн, 1976. С. 232–233. Рис. 2].

Со временем интерес к этой теме не только не угасал, но и постоянно поддерживался, в том числе и новыми открытиями, которые требовали своего объяснения. Раскопки курганов Тютринского могильника [Матвеев, Матвеева, 1983; 1984; 1985] явили научной общественности «ряд ювелирных изделий, идентичных имеющимся в коллекциях Петра I и Н. К. Витзена» [Матвеев, Маслякова, 1991. С. 37]. Первым шагом в этом направлении была атрибуция уже известных и обнаруженных в погребениях тютринских курганов предметов саргатской культуры. В то же время авторы раскопок не отрицали возможности происхождения части вещей коллекций XVIII в. из памятников других культур, а также импортный для Западной Сибири характер рассматриваемых древностей [Матвеев, Матвеева, 1985; 1987].

Кропотливая работа по картографированию сибирского «бугрового» золота и совмещение ареала саргатской культуры позволили исследователям очертить территорию западной части Сибирской коллекции. Она установлена в пределах преимущественно лесостепной полосы, где размещается основной массив саргатских памятников – от низовьев р. Тавды, Туры, Пышмы, среднего и нижнего течения р. Исети в Зауралье и до Барабы в Западной Сибири [Матвеев, Маслякова, 1991. С. 40]. Максимальное приближение к ареалу саргатских древностей стало возможным после сопоставления данных различных документов, и прежде всего переписки Н. К. Витзена. Первым шагом на пути формирования этой гипотезы стало установление 60-й параллели Витзена, к которой он привязал «собрание сибирских редкостей» [Радлов, 1894. С. 134]. В своем поиске А. В. Матвеев обнаружил ошибку, допущенную Н. К. Витзеном при нанесении градусной сетки [Матвеев, Маслякова, 1991. С. 39–41]. Это открытие развенчало критическое отношение к сообщениям голландского географа и путешественника.

Позднее М. П. Завитухина нашла обоснованным и поддержала это уточнение [Завитухина, 1999], суть которого сводится к следующему. Хорошо известно, что, указывая происхождение раритетов из своего собрания, Н. К. Витзен в письмах упоминал Верхотурье, Тюмень, Тобольск⁹. На составленной им карте Сибири местоположение курганов, из которых происходят золотые вещи, проходит на 10° к югу, на что и указал А. В. Матвеев. Сопоставление географических названий из сообщений Витзена и современных позволило установить, что 60-я параллель пролегает по лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири, пересекая р. Тобол южнее г. Ялуторовска, а р. Иртыш – выше его притоков, уходя на территорию Барабинской лесостепи [например, Матвеев, Маслякова, 1991. С. 40–41; Матвеев, 1992. С. 171–172 и т. д.].

Предложенная на материалах Тютринского могильника в лесостепном Зауралье научная гипотеза обрела новое содержание с учетом уже других ярких находок на саргатских памятниках Среднего Прииртышья – Сидоровка [Матющенко, Татаурова, 1997] (рис. 4) и Исаковка 1 [Погодин, 1989]¹⁰. Завершая изложение этого частного сюжета, стоит процитировать заключение М. П. Завитухиной, которое конкретизирует все выше сказанное: «Однако не вся Сибирская коллекция сопоставима с витсеновским собранием, с одной стороны, и с материалами раскопок археологов Западной Сибири, с другой. Сопоставлена может быть только поздняя группа предметов Сибирской коллекции III в. до н.э. – первых вв. н.э. Находки из трёх собраний объединяются между собой не только их происхождением из одних и тех же районов, но и принадлежностью к одному и тому же времени и, вероятно, к одной, саргатской, культуре» [Завитухина, 1999. С. 112].

Вместе с тем относительно всего собрания Сибирской коллекции Петра I уместно дополнить, что практически все исследователи саргатских древностей

⁹ В эпистолярном наследии Н. К. Витзена, большая часть которого не опубликована и не переведена на русский язык [подробнее см.: Завитухина, 1999. С. 113], выделяют письмо от 10 января 1715 г., в котором и была указана 60-я параллель [Радлов, 1894. С. 134; Матвеев, Маслякова, 1991. С. 40; Завитухина, 1999. С. 112].

¹⁰ К сожалению, материалы раскопок Л. И. Погодиным могильника Исаковка 1 не были своевременно опубликованы, а его скоропостижная кончина лишила возможности увидеть авторскую публикацию этого уникального памятника.

указывали на стилистическую близость сибирских, сарматских и бактрийских предметов, при этом ограничиваясь лишь общими ссылками. Интуитивно отмечались признаки сходства, однако не были определены его причины. Лишь относительно недавно был проведен разбор небольшой части находок Сибирской коллекции Петра I в контексте сарматского полихромного (золото-бирюзового) стиля. Привлекая конкретный материал, В. И. Мордвинцева предложила несколько стилистических групп, проследила происхождение и линию их развития, отнеся большое количество находок из Сибирской коллекции к центрально-азиатской группе [Мордвинцева, 2003. С. 33–52, 79].

Факторы, определившие причины попадания золотых и серебряных изделий в погребения саргатской элиты, были отмечены Л. Н. Коряковой: саргатские племена оказались участниками сложного процесса взаимодействия древних государств и окружавшей их варварской периферии [Корякова, 1997. С. 86–87]. Очевидно, что сокровища Сибирской коллекции недвусмысленно демонстрируют не только уровень социального развития древнего населения региона, но также масштабы и направления этнополитических контактов – прямых и опосредованных – в раннем железном веке на обширном евразийском пространстве.

Несмотря на достигнутые успехи в атрибуции предметов, составляющих Сибирскую коллекцию Петра I, с древностями, относимыми к саргатской культуре, часть вопросов еще далека от своего разрешения и, к сожалению, едва ли будет решена. Безусловно определен ареал, совпадающий с территорией распространения саргатских памятников. Однако контекст (конкретная привязка к кургану и месту) и хронология изделий неизвестны. В отличие, например, от хорошо документированных раскопок Тилля-Тепе [Сарианиди, 1989], многие курганы, особенно в Зауралье, попросту уничтожены варварскими раскопками бугровщиков, сnivelированы многолетней распашкой и иным антропогенным воздействием периода хозяйственного освоения края. Не исключено также, что вопросы датировки и археологический контекст вещей могут быть скорректированы по аналогиям при сравнении с другими предметами звериного

стиля и последующими находками, которые будут сделаны в ходе уже качественно новых исследований (рис. 5).

§ 2. Формирование научного знания

Справедливости ради стоит отметить, что история изучения сибирских древностей – это не только бугрование и даже не только археология железного века и саргатская культура. Первичное накопление знаний включало порой весьма разрозненный материал, сведения о котором в разном объеме дошли до потомков. Кроме того, анализ археологического наследия такого явления, как саргатская культура, невозможен без учета материальных свидетельств той культурной среды, которая определила и типичность, и своеобразие саргатских памятников.

Археологическое изучение на просторах зауральской и западносибирской лесостепи было начато в разное время, восточнее Тобола – значительно позднее, и этот период растянулся почти на два столетия. Ниже приводится общая характеристика процесса формирования археологического знания в Зауралье и Западной Сибири, предпочтение отдано сведениям, так или иначе связанным с древностями раннего железного века.

Освоение Российским государством территорий к востоку от Уральских гор требовало большого количества специалистов и грамотного выстраивания политики промышленного развития обширного региона. Среди направляемых на Урал специалистов часто оказывались люди неординарные, которые, помимо выполнения непосредственных профессиональных задач, стали новаторами в создании большинства музейных коллекций и первых попытках описания старины. В конечном счете все это способствовало не только изменению образа жизни населения в масштабах империи, но привело к возрастанию потребностей в развитии образования и культуры. Одним из таких ярких культурных феноменов стало Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), появившееся в

Екатеринбурге. Среди многих десятков подобных обществ, созданных в разных городах России в конце XIX – начале XX в., УОЛЕ выделялось не только самой большой численностью своих рядов, но и размахом научно-исследовательской, собирательской, культурно-просветительской, издательской деятельности, просуществовав более полувека [Зорина, 1996].

На начальном этапе становления уральской горнозаводской промышленности, когда шла разработка старых выработок, были получены и первые археологические находки. К сожалению, с момента их обнаружения рудокопами минуло не одно столетие, сохранилась лишь малая часть и небольшие записи со слов тех рабочих об условиях, в которых были обнаружены древние предметы. Первые скудные сведения относятся к началу XVIII столетия и связаны со временем, когда начальником уральских заводов был В. Н. Татищев. В его научном наследии практически не содержится фактов, свидетельствующих о систематическом занятии археологией. Однако помимо своей непосредственной служебной деятельности, ему доводилось организовывать сбор зауральских древностей для центральных государственных собраний [Борзунов, 1992. С. 6].

В 70-х гг. XVIII в. академики П. С. Паллас и И. И. Лепехин, будучи проездом на Урале, обследовали ряд древних городищ, селищ и рудников. Картографируя археологические памятники в окрестностях Свердловска, Е. М. Берс отмечала, что наибольшей известностью пользовалось Гумешевское месторождение [Берс, 1951. С. 182]. К. В. Сальников, описывая памятники лесной полосы Зауралья, также приводит сведения о находках из Гумешевского рудника, которые были представлены приезжим академиком во время посещения заводчиком Турчаниновым Сысертского завода. К. В. Сальников, со ссылкой на записи И. И. Лепехина, перечисляет среди тех предметов горные инструменты из меди и кожаную сумку. Находки обнаруживались в шахтах на протяжении многих лет, по мере разработки рудника [Сальников, 1952. С. 127]. Забегая вперед, можно лишь отметить, что много позднее сравнительный анализ медно-бронзовых орудий и приспособлений для плавки руды, предметов вооружения позволил К. В. Сальникову отнести эти древности к «сармато-ананьинскому»

времени [Там же. С. 129]. Кроме того, именно на материалах Гумешевского месторождения лучше всего реконструирована техника рудного горного дела [Берс, 1951; 1963].

В 30–50-е гг. XIX в. в различных местах горного Урала находили медные идола, бронзовые, серебряные и золотые чаши, гривны и другие изделия. Эти вещи послужили стимулом к первым археологическим изысканиям. Заметную роль в изучении древней истории Зауралья сыграли любители-краеведы, вольноотпущенные потомки крепостных служащих Нижнетагильского завода, принадлежащего роду Демидовых, И. М. Рябов и Д. П. Шорин. С их именами связывают начало стационарных раскопок на Среднем Урале [Борзунов, 1992. С. 6–7].

Основным археологическим центром в Зауралье становится Екатеринбург. Первые находки в его окрестностях были обнаружены в 1827 г. у д. Палкино. Здесь при раскопках с целью поисков клада далматовский купец С. С. Сигов нашел медные человекообразные и птицевидные идола и подвески, покрытые сверху оловом. Однако планы в ходе работ не составлялись, находки не документировались, а большая часть керамики была утеряна. Разновременные предметы С. С. Сиговым были отосланы в Петербург [Берс, 1963. С. 47]. Кладоискательство имело негативные последствия, к которым В. А. Борзунов отнес разграбление палкинских памятников местными жителями, собиравшими медные вещи для продажи любителям старины и скупщикам меди [Борзунов, 1992. С. 7].

После создания УОЛЕ в 1870 г. началось изучение археологических памятников по р. Исети и Туре. Выявление древних курганов и городищ в среднем течении р. Исети, их раскопки проводились А. Н. Зыряновым, В. Я. Толмачевым, В. П. Бирюковым, Ю. П. Аргентовским. Их сборы и небольшие раскопки составляли коллекции музеев УОЛЕ, Шадринска, а также Эрмитажа. Это была одна из первых попыток формирования сведений об археологических памятниках региона. При поддержке Императорской археологической комиссии Н. А. Зыряновым были осмотрены курганы и

городища в пределах бывшего Шадринского уезда Пермской губернии [Сальников, 1956. С. 189; Стоянов, 1969. С. 5; Зорина, 1996. С. 61]. В числе объектов, затронутых его работами, могут быть названы курганы и городища в окрестностях с. Далматово и Замараевского, г. Шадринска. Позже курганы у с. Замараевского копал Н. Ю. Зограф [Стоянов, 1969. С. 3–4]. В 1887 г. экспедиция под руководством Д. Н. Анучина и Ф. А. Уварова вновь продолжила раскопки Замараевских курганов [Талицкая, 1953. С. 314–315]. Находки, свидетельствующие о древнем металлургическом производстве (следы плавилен, шлаки, бронзовые птицевидные фигурки и т.п.), сообщаются графом Ф. А. Уваровым и Д. Н. Анучиным в отчетах о раскопках на горе Караульной близ Северского завода и на Думной горе около Полевского завода [Берс, 1951. С. 229; Сальников, 1952. С. 130].

На рубеже XIX – начала XX в. Среднее Зауралье и северная часть Южного Зауралья подверглись сплошному археологическому обследованию членами и сотрудниками УОЛЕ: археологом Н. А. Рыжниковым, препаратором музея А. И. Геккелем, писателем Д. Н. Маминым-Сибиряком, краеведом К. И. Фаддеевым и др. Особую роль в изучении зауральских памятников бассейна р. Исети, Синары, Миасс сыграли В. Я. Толмачев и сотрудничавшие с ним В. П. Бирюков и Ю. П. Аргентовский, которые собрали подробные сведения о почти всех известных к тому времени на восточном склоне Урала и в Зауралье памятниках. Их обследования сопровождались зарисовкой подробных планов и небольшими раскопками [Стоянов, 1969. С. 5].

В этот же период появились первые работы, в которых делалась попытка изучения наиболее многочисленного материала поселений – керамики. Это прежде всего публикация О. Е. Клера и К. И. Фаддеева, где авторы анализировали представительную в количественном отношении керамическую коллекцию городища Палкино. Основное место отводилось рассмотрению орнамента. Кроме того, была предпринята попытка его анализа и проведения параллелей между орнаментацией керамики из слоя городища и той, которая известна из коллекций со стоянок Урала и России [Клер, Фаддеев, 1895]. Параллельно с полевыми

изысканиями О. Е. Клер и Е. Н. Коротков начали систематизацию собраний музея УОЛЕ, которую впоследствии завершил В. Я. Толмачев. Результатом полевых и камеральных работ стала публикация отчетов о раскопках, археологических карт и обобщающих исследований [Зорина, 1996. С. 121–128].

Работы по первичному осмыслению сведений о городищах и курганах левобережных притоков Тобола, Исети, Пышмы были предприняты А. А. Спицыным. В публикации 1906 г. «Зауральские древние городища» им собраны сведения о 32 городищах, даны описания памятников и находок на них. Кроме того, были включены краткие сведения о части объектов, обследованных В. Я. Толмачевым. Заслуживает внимания предположение А. А. Спицына о тесной связи поселений с расположенными на этой территории курганами. Также А. А. Спицын отметил недостаточность серьезных археологических изысканий в Западной Сибири [Спицын, 1906а. С. 212–226].

Архивные данные и публикации о раскопках в конце XIX в. саргатских курганов в Зауралье, в районе Ялуторовска и под Тюменью, а также и других памятников, исследованных до революции, весьма скудны. Сказывается и утрата полевой документации, преимущественно частичная публикация результатов работ, а также то, что многие материалы были недостаточно хорошо атрибутированы [Могильников, 1992а. С. 292].

Полевые изыскания того времени выполнялись как археологами (В. Я. Толмачев, Д. Н. Анучин, А. Ф. Уваров, А. Гейкель, Н. К. Минко), так и краеведами-любителями (А. Н. Зырянов, П. Ф. Первушин и др.). Это отразилось в количестве и качестве опубликованных археологических материалов, архивов и коллекций, поступавших главным образом в собрания Екатеринбурга, Челябинска, Шадринска и, в меньшей мере, в Москву и Петербург. Несмотря на нерегулярность, методическое и организационное несовершенство проводимых работ, нельзя исключать положительное значение, заключавшееся прежде всего в накоплении и некоторой первичной систематизации материалов. Основная заслуга в этом отводится В. Я. Толмачеву, энергичная деятельность которого приходится на период с конца 90-х гг. XIX в. до Октябрьской революции.

Раскопки В. Я. Толмачева сопровождались составлением качественной (по меркам того времени) документации [Стоянов, 1969. С. 7–11; Могильников, 1992а. С. 274]. После революции работы В. Я. Толмачева были продолжены В. П. Бирюковым, Н. П. Кипарисовой, К. В. Сальниковым. В целом, по справедливому замечанию В. А. Могильникова, составившего из доступных архивных материалов наиболее полный свод о деятельности краеведов, добытый до революции материал «представляет несомненный интерес для общей характеристики культуры, но, к сожалению, он плохо документирован и частично утрачен» [Могильников, 1992а. С. 292].

Зауральские древности привлекали внимание многих краеведов и археологов, некоторые из них были членами УОЛЕ. Их активной деятельности посвящена специальная публикация Л. И. Зориной [Зорина, 1996]. Вместе с тем в существующей литературе не столь широко освещены исследования древней истории Урала В. В. Гольмстен и ее работы на оз. Иткуль в 1915 г. [Кузьминых и др., 2007. С. 54–55, 99], а также полевые изыскания финского археолога А. М. Тальгрена близ Екатеринбурга в том же 1915 г. [Кузьминых и др., 2014. С. 9, 29]. Несмотря на то, что это были очень краткие эпизоды профессиональной биографии двух исследователей, они связаны общим научным интересом к находкам бронзовых предметов металлургов иткульской культуры.

Самоотверженную деятельность подвижников, научное наследие той уже далекой эпохи трудно переоценить. Значительный вклад в развитие археологического знания включает и те успехи, которые были достигнуты в систематизации первых коллекций. Ученый секретарь, председатель, действительный член УОЛЕ О. Е. Клер по праву считается разработчиком методически выверенного подхода научного исследования, которое успешно применяется и в современной археологии. Суть его подхода в следующем: от сравнительного анализа находок переходить к выделению типичных предметов, орнаментов керамики и фаунистических остатков группы памятников, а затем – к характеристике некогда существовавших человеческих коллективов и их истории [Клер, 1889. С. 17–18].

К сожалению, как и все дореволюционные исследования, они были несовершенны, что проявлялось в отсутствии достаточной теоретической и практической подготовки при проведении раскопок археологами-любителями. Полевые работы опережали темпы поисков рациональных методов извлечения, обработки и систематизации материалов [Борзунов, 1992. С. 9].

Обширная территория, простирающаяся от Уральских гор до Барабинской лесостепи (в административном отношении времен Российской империи – Тобольская и Томская губернии), впрочем, как и вся Сибирь, долгое время была мало изучена археологически. Исследование древностей Сибири, находившейся за тысячи километров от культурных и научных центров европейской части России, происходило по другой «схеме», нежели изучение памятников на юге России или в Центральной Азии, куда направлялись сотрудники Императорской археологической комиссии (ИАК). В Сибири ИАК контактировала с местными краеведами и отчасти корректировала их работу, выдавая разрешение на раскопки преимущественно непрофессионалам: чиновникам, офицерам, учителям, врачам и политическим ссыльным, – но также и художникам, писателям [Длужневская, 2011. С. 65–66].

В археологическом отношении вплоть до середины XX в. сведения о памятниках западносибирской лесостепи исчерпываются немногочисленными данными дореволюционных полевых работ. Наибольшую известность получили раскопки директора Тюменского реального училища И. Я. Словцова, который считается основателем западносибирской археологии. По предписанию Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества он проводил экспедиции в Кокчетавском округе Акмолинской области, на Андреевском озере в окрестностях Тюмени, а также разведки на р. Тобол, в низовьях р. Исети, Пышмы и Туры [Галицкая, 1953. С. 280–283 и др.]. Его коллекции сибирских древностей составили основу Омского и Тюменского музеев [Копылов, 1992; Вибе, 1993; Безбородова, Семенова, 1997].

В. А. Могильников, ссылаясь на отчеты ИАК, упоминает эпизодические раскопки А. П. Плахова в 1897 г. курганов у с. Николаевка вблизи Омска, а также

изыскания М. С. Знаменского, А. И. Дмитриева-Мамонова, В. Н. Пигнатти в окрестностях Тобольска. В ходе тех работ удалось добыть первый материал, характеризующий культуру племен лесостепного Прииртышья [Могильников, 1992а. С. 292].

Схожая ситуация характерна и для Барабы. В литературе приводятся упоминания раскопок Г. О. Оссовского и С. М. Чугунова [Полосьмак, 1987. С. 3]. Дорожный техник Сибирского почтового тракта в Томске Г. О. Оссовский проводил археологические исследования в Томской губернии в 1894–1896 гг. осенью, после завершения гидрогеологических работ [Герман, 2013. С. 117–118]. В отчете ИАК отдельным приложением им представлены результаты раскопок семи курганов близ оз. Мышайлы у с. Красноярка [Оссовский, 1896. С. 139–147], из которых позднее часть погребений была отнесена к саргатской культуре [Могильников, 1972а. С. 69. Рис. 1]. Прозектор Томского университета С. М. Чугунов в 1895–1896 гг. у с. Спасского провел раскопки могильников, основной целью которых было накопление палеоантропологических материалов [Багашев, 2006. С. 169].

Уже к концу XIX столетия в рамках «теории трех веков» произошло становление первых концепций, касающихся этапов развития отдельных регионов на большой территории в древности и «основанных на господствовавшем тогда эволюционном подходе» [Шарапова, 2000. С. 6]. Все-таки памятники железного века изучались попутно. По справедливому замечанию В. Е. Стоянова, «только в отдельных исследованиях и публикациях им уделялось некоторое внимание, пробужденное случайным по отношению к данной теме интересом или обстоятельствами» [Стоянов, 1969. С. 11].

Архивное наследие, старые музейные коллекции, анализ работ последующим поколением исследователей позволяют констатировать, что, как бы это ни было прискорбно, многие полевые работы в большинстве случаев сводились к поиску ценных и редких вещей. В полевых дневниках и отчетах фиксировались лишь самые общие сведения, существенная часть информации не была надежно документирована. Е. М. Берс ссылалась на редкие факты

произвольных раскопок и продажи, в том числе и сотрудниками музея, археологических находок частным лицам [Берс, 1947. С. 133].

В то же время, оценивая общенациональный масштаб изучения прошлого (старины), Л. С. Клейн подчеркнул, что «дореволюционная Россия имела весьма развитую археологическую науку, с мощной организацией работ» [Клейн, 2011. Т. 2. С. 4]. Описанные выше примеры свидетельствуют о процессе зарождения и становления археологических исследований на Урале и к востоку от него, являясь составной частью изучения как России вообще, так и Сибири в частности. Очевидно, что слабая правовая база в XIX – начале XX в., а также отсутствие научных учреждений, вузов¹¹, невысокий образовательный уровень большей части населения на огромной территории не могли препятствовать процессу многочисленных разрушений археологических памятников. Миссия УОЛЕ (одной из многих краеведческих организаций страны), закреплённая уставом [Устав УОЛЕ, 1872], – снаряжать «учёные экспедиции» для исследования богатств Уральского края – нашла продолжение в деятельности следующего поколения археологов.

§ 3. Зауральско-западносибирская археология в XX веке: география полевых работ, культурно-хронологические схемы и научные концепции

Революционные изменения в стране поначалу не внесли ничего нового в содержание археологических исследований, но, как отметил Л. С. Клейн, означали резкое их сокращение и полный слом старых структур; археология перестала быть «наукой богатых» [Клейн, 2011. Т. 2. С. 4]. Вступившая на культурно-историческую стадию вместе с мировой наукой российская археология изменила направление развития, прерванного революцией и гражданской войной.

¹¹ Например, первый университет на Урале был организован на базе Пермского отделения Императорского Петроградского университета в 1917 г. Уральский государственный университет был учрежден в Екатеринбурге в 1920 г.

Затем «пережив один из самых драматических моментов своей истории, отечественная археология в 30-е гг. постепенно вернулась на путь культурно-хронологических реконструкций, но уже на основе марксистской теории» [Шарапова, 2000. С. 6]. Подробный обзор работ начала XX в. уже неоднократно предлагался [Стоянов, 1969; Могильников, 1972а; 1972б; 1992а; Корякова, 1982; Борзунов, 1992]. Это обстоятельство позволяет пропустить детализацию, но не лишает возможности вновь обратиться к известным событиям. Вот их основная характеристика и значение.

Выпавшие на долю археологии испытания наносили сильный урон и в столицах, и в регионах. УОЛЕ как организация не прекратила своего существования и после череды перехода власти на Урале: будучи оплотом старой интеллигенции, оно имело лояльное отношение со стороны колчаковцев, также и новые органы в лице советской власти осознавали значимость Общества. Однако потери, с которыми столкнулось УОЛЕ, были нанесены обеими противоборствующими сторонами: в 1919 г. колчаковскими войсками перед их уходом из Екатеринбурга была расстреляна сотрудница Подвижного музея УОЛЕ Р. Полежаева; в 1919 г., накануне вступления частей РККА, Екатеринбург покидает В. Я. Толмачев; в 1920 г. умер бессменный руководитель УОЛЕ О. Е. Клер; в 1923 г. арестован президент УОЛЕ М. О. Клер; в 1929 г. УОЛЕ прекращает свое существование [Зорина, 1996. С. 149–164].

К востоку от Урала на переломе эпох Сибирь также испытала подавление краеведческого движения. Произошел ряд событий, отягощавших деятельность археологических центров: «чистка» Сибирских музеев, гонения на преподавателей, работавших в период действия белогвардейского правительства Колчака, реорганизация университетского образования и, как следствие, отток кадров из Сибири [Китова, 2017. С. 34–35]. Между тем это уже другая глава истории российской археологии [Китова, 2007].

В относительно короткий во временном отношении промежуток между второй половиной 20-х – началом 30-х гг. XX в. произошло обособление интереса к памятникам раннего железного века, что стало возможным благодаря быстро

развивавшимся исследованиям сарматских и скифских древностей. И во многом благодаря работам В. П. Левашевой, П. А. Дмитриева и Н. Н. Бортвина могильники превратились в объект серьезного анализа. Тогда же П. А. Дмитриев выделил группу погребений III в. до н.э. – I в. н.э. с устойчивым сочетанием специфических черт обряда и инвентаря [Дмитриев, 1928. С. 187–190]. Позднее усилия предшественников продолжил К. В. Сальников.

Воссоздавая хронологию полевых исследований в лесостепном Зауралье и Западной Сибири, В. Е. Стоянов обратил внимание, что на обширных пространствах восточнее р. Тобол изучение памятников эпохи железа началось только в советское время с самовольных раскопок Коконовских курганов, предпринятых сотрудником финансового отдела И. И. Матанасом в 1926 г. [Стоянов, 1969. С. 10]¹². Подобное деяние вызвало справедливый гнев В. П. Левашевой, которая, подав документы в суд, предприняла попытку расследования этого инцидента и привлечения И. И. Матанаса к ответственности [Конилов, 1991]. Можно сказать, что этот случай – один из первых подобного преследования за незаконные раскопки. В 1927 г. В. П. Левашева проводит собственные полевые исследования на втором Коконовском кургане, что позволило ей уточнить результаты, полученные И. И. Матанасом. В ходе работ на Коконовских и Саргатских могильниках в 1926–1928 гг. В. П. Левашевой были получены коллекции и материал, которые находили аналогии среди известных ранее памятников, но представляли более выразительный комплекс [Могильников, 1972а. С. 66]. Впоследствии они были частично опубликованы [Левашева, 1928; 1948], но получили ошибочную трактовку. В качестве основы для интерпретации В. П. Левашева взяла результаты раскопок Омской стоянки, в коллекции которой присутствовали железные и бронзовые изделия наряду с каменными, и сделала вывод об отсталости местной культуры [Конилов, 2013. С. 36]¹³. Стоит отметить, что фрагментарность имевшегося тогда материала не

¹² На бедную исследованность Омской области – очага саргатской культуры – задолго до В. Е. Стоянова указывал и В. Н. Чернецов, отмечая, что из старых изданий Западно-Сибирского отдела Русского географического общества известно лишь о случайных находках [Чернецов, 1947. С. 79].

¹³ В. Н. Чернецов тоже исключал многослойность этого памятника [Чернецов, 1947].

гарантировала успешного его обобщения не только В. П. Левашевой. Более того, оказавшаяся в Омске ученица В. А. Городцова на тот момент была еще слабо знакома с формирующейся археологией Западной Сибири [Конигов, 1991; Жук, 2002].

Полученным данным, вполне естественно, требовались объяснения, которые вскоре были предложены еще одним учеником В. А. Городцова – П. А. Дмитриевым. Ему не только удалось систематизировать и обобщить разрозненные сведения, его заслуга заключалась также и в том, что древности, позже объединенные под названием «саргатская культура», были синхронизированы с сарматскими. При этом он отметил, что по облику некоторых черт местная культура отличалась от соседствующей степной, представляя отдельную группу [Дмитриев, 1928. С. 188–189]. Примечательно, что позднее тезис о сходстве некоторых элементов саргатской и савромато-сарматских культур неоднократно находил применение в различных контекстах у разных поколений исследователей [см., например: Смирнов, 1964; Могильников, 1972а; Корякова, 1979; Корякова, Попова, 1987; Берсенева, 2009]. Л. Н. Корякова связывала формирование научного представления о саргатской культуре именно с деятельностью П. А. Дмитриева, который, несмотря на фрагментарность имевшегося в его распоряжении материала, «дал характеристику основных черт погребального обряда и его специфики», а также датировал известные могильники III в. до н.э. – I в. н.э. [Корякова, 1982. С. 113].

Нельзя не остановиться на вкладе П. А. Дмитриева и в развитие археологического изучения Восточного Зауралья, особенно в совершенствование методики полевых исследований. Для того времени уровень проводимых им раскопок был весьма высок. В частности, комплекс памятников Калмацкий брод, относящийся к эпохе железа, раскапывался в разные годы многими исследователями, в том числе и местными археологами. П. А. Дмитриев использовал основы, впоследствии сформировавшие базовые принципы методики полевых работ. Им была осуществлена разбивка раскопа на участки для фиксации

находок, оставались бровки для съемки профилей, велось вскрытие объектов сплошной площадью раскопа [Дмитриев, 1934. С. 11; Борзунов, 1992. С. 10].

Значительно позднее памятники правобережья Среднего Прииртышья изучались В. Н. Чернецовым [Чернецов, 1946; 1947]. В русле актуальных для 1940–1950-х гг. этногенетических/этнических реконструкций В. Н. Чернецов выделил древности региона в отдельную культуру типа Саргатских и Коконских курганов, полагая, что она была оставлена угорскими племенами – предками мадьяр. Кроме того, в самых общих чертах – границами лесостепной зоны – был определен ареал распространения ее древностей [Чернецов, 1953. С. 224–225, 240]. По итогам разведки в Омской области им был обозначен вопрос о заселении территории по Иртышу в районе Барабинской и Ишимской степей [Чернецов, 1947. С. 91]. Несомненно также и то, что данных для исследования этой проблемы на тот момент было явно недостаточно.

В 40–50-е гг. XX в. археологические изыскания в Зауралье приобретают системность и регулярность, в то время как обширная территория к востоку за Тоболом фактически еще пару десятилетий оставалась слабоизученной. К. В. Сальников и Е. М. Берс опубликовали серию работ по эпохе железа, благодаря которым на археологической карте восточных склонов Урала появляются *исетская, иткульская, гороховская культуры* [Сальников, 1947; 1951; 1956; Берс, 1951; 1963]. Раскопки К. В. Сальниковым городищ Чудаки, Больше- и Мало-Казакбаевских, Царева кургана в Зауралье выявили специфику домостроительства, фортификации, погребальных комплексов и керамики населения гороховской культуры.

Начало интенсивного научного изучения западносибирской лесостепи приходится на 60–70-е гг. XX в. и связано с деятельностью Уральской археологической экспедиции (УАЭ) под руководством В. Ф. Генинга, а также Иртышского отряда Западно-Сибирской экспедиции ИА РАН, возглавляемого В. А. Могильниковым. Обширные пространства бассейнов Иртыша, Ишима, Тобола были обследованы сплошными разведочными маршрутами.

В соответствии с решением II Уральского археологического совещания (1961), работа УАЭ была направлена на создание широкой источниковедческой базы для раскрытия важнейших проблем истории древнего населения Зауралья и Западной Сибири [Викторова, 1969. С. 5]. Массовые полевые исследования тех лет, открытие неизвестных ранее памятников обеспечили быстрый рост количества источников периода I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Работами В. Ф. Генинга, В. Е. Стоянова и их учеников был получен новый материал. За сравнительно небольшой промежуток времени была подготовлена основа для научного обобщения и систематизации. Кроме того, было открыто подавляющее большинство известных на сегодня памятников, некоторые из полученных тогда материалов опубликованы [Генинг, Позднякова, 1964; Стоянов, Ширяев, 1964; Стоянов, 1975].

Параллельно с процессом накопления шло осмысление источников. В центре внимания находились вопросы систематизации материала, происходившего из известных и новых памятников, создания и картографирования выявленных культурно-хронологических групп [Шарапова, 2000. С. 5–7]. Для уточнения относительной датировки памятников и определения их культурно-хронологической принадлежности привлекались керамические коллекции. Была предложена первая характеристика культуры населения лесостепи Зауралья и Западной Сибири от неолита до позднего средневековья [Генинг и др., 1970а; 1970б]. Предложенная В. Ф. Генингом и его учениками культурно-хронологическая периодизация отражала общую тенденцию развития историко-культурных процессов в лесостепном Прииртышье и Приишимье в эпоху железа [Генинг и др., 1970б]. Последующие исследования дополнили и уточнили некоторые позиции, однако основная канва – последовательная сменяемость археологических культур – остается значимым ориентиром в изучении древностей региона в рамках культурно-исторического подхода.

Пожалуй, нет ни одного археолога, занимающегося ранним железным веком зауральско-западносибирской лесостепи, кто хотя бы раз не обращался к

научному наследию В. Е. Стоянова. Используя методы типологического и статистического описания, картографирования, стратиграфии и аналогий, он предложил характеристику поселений, могильников и керамической посуды населения, обитавшего от Урала на западе до Иртыша на востоке. В его кандидатской диссертации, к сожалению, так и не опубликованной, успешно была решена задача упорядочения, систематизации археологического материала, накопленного к концу 60-х гг. на обширной территории [Стоянов, 1969]. Его схема классификации в принципиальных моментах остается актуальной до сих пор и служит своеобразным справочником по археологии региона. Анализ и корреляция керамических коллекций, поселений и городищ, жилищ и некоторых признаков погребального обряда легли в основу локально-хронологической характеристики древностей. Основываясь на сочетании признаков и учитывая их своеобразие, В. Е. Стоянов выделил группы памятников и связанные с ними типы керамики, что позволило определить и вероятный возраст анализируемых им древностей [Стоянов, 1969. С. 149–253; 1970]. По отношению к саргатской керамике в литературе тех лет можно встретить такие термины, как «речкинский», «розановский», употреблявшиеся для характеристики керамики поселений. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что В. Е. Стоянов впервые серьезно аргументировал различия между западным (зауральским) и восточным (затобольским) ареалами Тоболо-Иртышской лесостепи [Стоянов, 1970. С. 246].

Одновременно кропотливая работа по упорядочиванию археологических коллекций и памятников, расположенных в лесной полосе Среднего Зауралья, была проведена В. Д. Викторовой [Викторова, 1969]. По ее мнению, население бассейна р. Тавды на протяжении всего раннего железного века входило в этническую общность племен лесной полосы Урала и Западной Сибири. В то же время бассейн р. Туры являлся северо-восточной окраиной, где распространялись гончарные традиции лесостепного населения. Наряду с другими элементами материальной культуры, керамика стала основой выделения различных типов памятников, в той или иной степени

соответствующих, по мысли автора, определенным этнокультурным группам населения. Таким образом керамике отводилась роль этнического индикатора [Там же. С. 269].

Важный вклад в изучение проблем саргатской культуры и раннего железного века Западной Сибири принадлежит В. А. Могильникову, исследовавшему десятки памятников за Уралом. Предложенная им концепция и наработки предшественников позволили окончательно обособить гороховскую и саргатскую культуры [Сальников, 1962; Могильников, 1970; 1972а; Стоянов, 1970]. Выявляя истоки формирования саргатской и гороховской культур, В. А. Могильников указал, что они могут составлять единую этнокультурную общность и что саргатский культурный комплекс сформировался в Прииртышье и частично в Приишимье [Могильников, 1970. С. 177]. По его мнению, во второй половине I тыс. до н.э. саргатские древности распространились в Притоболье, на территории обитания родственного населения гороховской культуры [Могильников, 1972б]. Анализ материальной атрибутики позволил ему предположить, что саргатский этнос «на разных территориях и в разных количествах» сложился на основе трех компонентов – местного населения Прииртышья и Барабы с ирменскими и позднесузгунскими традициями при участии саргаринской линии развития. Отчасти эти факторы обусловили возникновение локальных вариантов культуры [Могильников, 1991. С. 9]. В работах В. А. Могильникова ярко проявился традиционно-интуитивный подход, свойственный культурно-исторической школе, блестящими представителями которой были прежде всего В. Н. Чернецов и К. В. Сальников [Шарапова, 2000. С. 7].

Отличительной чертой данного этапа стали широкие полевые работы. По существу, это был научный прорыв, основное достижение которого определялось целью исследований – получением источников и созданием периодизаций в качестве основ для изучения истории отдельных регионов в первобытности. Результатом стал необычайно высокий прирост фактического материала,

который, в свою очередь, вызывал осознанную необходимость его упорядочивания и систематизации.

Подобная задача решалась в рамках эволюционного подхода, который предполагал построение культурно-исторических схем. Большинство допущений и предположений базировалось на результатах исследования керамики, которой отводилась главная роль – этнического индикатора. К сожалению, гипотезы о культурной принадлежности разновременных комплексов, предложенные В. И. Мошинской после введения ею в научный оборот материалов дореволюционных раскопок Потчевашских и других курганов [Мошинская, 1953], не нашли подтверждения в более поздних исследованиях. В то же время профессиональная интуиция В. Н. Чернецова позволила ему не только отметить своеобразие культуры Среднего Прииртышья, представленной в могильниках типа Саргатки и Коконьки, но и выделить ее из группы древностей, оставленных сарматами [Чернецов, 1953]. Напротив, локально-хронологическое соотношение культур и типов памятников, предложенное В. Е. Стояновым, и некоторые идеи, высказанные В. А. Могильниковым, и по прошествии многих десятилетий не утратили своей актуальности. Позднее были подтверждены тезисы о продвижении саргатских племен с востока на запад, о соотношении саргатской и гороховской культур, о существовании восточного и западного ареалов Тоболо-Иртышской провинции в раннем железном веке.

Равным образом археологическая карта региона дополнилась и памятниками, которые были изучены раскопками и стали опорными в археологии железного века лесостепной зоны. Внушительная источниковая база легла в основу исследований как саргатской культуры в целом, так и отдельных аспектов, которые проводились в конце XX – начале XXI вв. [Полосьмак, 1987; Корякова, 1988; 1994а; 1994б; Погодин, 1991; 1997; 1998а; Погодин, Труфанов, 1991; Матвеева, 1993б; 1994; 1999; 2000; Довгалюк, 1995; Ковригин, Ражев, 1997; Ражев, Ковригин, 1999; Шарапова, 2000; 2010; Ражев, 2002; 2009; Берсенева, 2005 и т.д.]. Обращение к наработкам и наблюдениям моих современников – учителей и коллег – присутствует практически в каждом из разделов диссертации.

Отсутствие отдельного блока с их анализом в историографическом обзоре неслучайно. Ревизия и критическое переосмысление ряда существующих положений, предложенных на рубеже столетий, позволяют ставить и решать новые научные проблемы по мере обращения к материалам саргатской культуры в целом, так и отдельным сюжетам, что нашло отражение далее в тексте.

§ 4. Культуры и общности лесостепного Зауралья и Западной Сибири в раннем железном веке

Многолетними исследованиями разных поколений археологов установлено, что материальный мир населения лесостепной зоны от восточных склонов Урала до Барабинской низменности в эпоху железа является частью евразийских культур лесостепного и степного пояса. Это стало возможным благодаря работам В. Е. Стоянова, В. А. Могильникова, Л. Н. Коряковой, Н. В. Полосьмак, Н. П. Матвеевой, В. И. Матющенко, Л. И. Погодина. Материальная атрибутика и изменения в способе ведения хозяйства культурных образований южных районов Западно-Сибирской равнины характеризуют черты, которые на макроуровне маркируют скифо-сибирский мир или скифо-сибирскую культурную общность [например, Скифо-сибирский мир..., 1987; Троицкая, Новиков, 2004 и т.д.]. Большинство из упомянутых выше исследований основывалось на типолого-дифференцирующем методе, подчеркивающим больше различия, чем сходства. Этим объясняется чрезвычайное многообразие введенных в те годы в научный оборот терминов [Шарапова, 2000. С. 7].

Древности, оставленные обитателями обширной лесостепной зоны от Зауралья до бассейна Среднего Иртыша, по археологическим признакам и категориям объединены в различные культуры, некоторые, например саргатская и большереченская, в силу географической, хронологической и культурно-исторической масштабности – в общности. Другие – не столь крупные и хуже

представленные археологически – демонстрируют дробность культурных проявлений, фиксируемую прежде всего по керамике. Их появление стало возможным благодаря типолого-дифференцирующему методу, основное правило которого – разграничение во времени и пространстве. Изначально многие определения керамических типов строились на уровне субъективного восприятия, впоследствии это обстоятельство привело к типологическому несоответствию изучаемых коллекций [Там же. С. 6–8]. В качестве дополнительного аргумента чаще всего приводится факт признания керамики (даже в большей степени, чем погребального обряда) культурным индикатором. С другой стороны, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что культурно-типологическая номенклатура, которой оперируют археологи, – это осколки материального и духовного миров, оставленных тем или иным населением. Взаимодействие древних коллективов во времени и пространстве неизменно определяло фон формирования и развития культуры, которая дошла до потомков в археологизированном виде.

Все это в полной мере нашло отражение и в материалах саргатской культуры, демонстрирующей взаимовлияние пришлого и местного или кочевого и оседлого населения. Содержание и внешнее проявление процессов сложения различных культур определили пестроту лесостепных древностей, а их культурная принадлежность по-прежнему дискуссионна. Представляется целесообразным дать их краткую характеристику. В отличие от предыдущих разделов, где описание дано с запада на восток в соответствии с направлением хозяйственного и научного развития региона, многообразие культурных проявлений на археологической карте Зауралья и Западной Сибири дано с востока на запад. Такая последовательность обусловлена динамикой саргатской культуры.

В Барабинской лесостепи в переходный период от бронзового века к эпохе железа аборигенное население было представлено носителями позднеирменской культуры [Молодин, 1985]. Современные археологические и антропологические материалы, подкрепленные данными палеогенетических исследований, указывают на южное происхождение части населения при несомненном участии аборигенов Барабы [Молодин и др., 2013. С. 183–187]. Концом VII в. до н.э. –

первыми вв. н.э. датируются поселения и могильники саргатской культуры. На востоке она граничила с большереченской, материалы которой также обнаружены и в Барабинской лесостепи – в ареале распространения саргатских древностей [Полосьмак, 1987]. Считается, что в VI–I вв. до н.э. в лесостепных районах Верхнего Приобья обитало население каменной культуры¹⁴ [например, см.: Уманский, 1980], отдельные краниологические серии которого обнаруживают сходство с носителями саргатской культуры Притоболья, Приишимья и Прииртышья [Акимова, 1972. С. 152, 155; Багашев, 2000а. С. 124–125; Рыкун, 2013. С. 98]. Отмечая специфичность археологических материалов каменной культуры, исследователи по-разному трактуют уровень ее развития. Принимая факт явного влияния скифо-сибирского мира, большинство археологов относят каменную культуру к раннекочевому населению лесостепи Верхнего Приобья, которое представляло мощное этнокультурное образование раннего железного века [например, Шульга, 2003. С. 3, 122; Шульга, Уманский, Могильников, 2009. С. 4]. Н. П. Матвеева, анализируя социальную структуру обитателей Западной Сибири, реконструировала более низкий уровень развития носителей каменной культуры в сравнении с саргатской и гороховской. Кроме того, Наталья Петровна допустила и саргатское влияние на погребальный обряд населения каменной культуры [Матвеева, 1998. С. 18, 28–30].

В переходное время от бронзового века к железному на обширных территориях леса и лесостепи Западной Сибири появляются памятники красноозерской культуры с керамикой, для которой характерна крестовая орнаментация. Керамические комплексы VII–VI вв. до н.э. в лесостепном Прииртышье демонстрируют сочетание геометрических узоров, определявших

¹⁴ Сейчас в литературе по раннему железному веку Верхнего Приобья представлены две основные точки зрения, которых придерживаются новосибирские (Т. Н. Троицкая, А. П. Бородовский и др.) и алтайские (А. П. Уманский, П. И. Шульга и др.) археологи. Т. Н. Троицкая и А. П. Бородовский вслед за М. П. Грязновым отнесли все памятники лесостепного Приобья к большереченской культуре, в которой выделяются локальные варианты [Троицкая, Бородовский, 1992]. В. А. Могильников и его алтайские коллеги и соавторы определили самостоятельную каменную культуру [Могильников, 1997; Шульга, Уманский, Могильников, 2009]. Без углубления в детали существующей дискуссии в данном исследовании материалы каменной культуры упоминаются в сравнительном ключе, поскольку имеются опубликованные результаты палеоантропологического анализа [Рыкун, 2013] и данные изучения социальных аспектов [Матвеева, 1998; 1999а; 1999б], которые позволяют представить культурно-исторический фон и образ жизни саргатских групп.

облик красноозерских сосудов, и резных узоров, получивших развитие в саргатской традиции [Косарев, 1981. С. 181–205; Труфанов А. Я., 1984]. Некоторыми исследователями населению сузгунской культуры эпохи поздней бронзы отводится основная роль в сложении саргатской культуры в Прииртышье [Труфанов А. Я., 1990. С. 12–13; Полеводов, 2003. С. 19; Берсенева, 2016. С. 35]. Однако еще В. А. Могильников отмечал слабую исследованность памятников того времени [Могильников, 1992а. С. 275]. Стараясь заполнить лауну между памятниками поздней бронзы и саргатской культуры, он вначале ввел понятие ивановско-баитовской культурной общности, в которую предложил включить среднеиртышские памятники с керамикой, украшенной резным и жемчужным орнаментом, и известные ныне под названием журавлевских и богочановских [Данченко, 1991], а также памятники баитовского типа [Могильников, 1970. С. 172–173]. По предположению В. А. Могильникова, группы населения ивановско-баитовской общности вошли в состав племен саргатской культуры в качестве одного из составных компонентов. Позднее, отмечая неоднородность облика населения лесостепи в VII–VI вв. до н.э., он отказался от предложенных ранее гипотез [Могильников, 1985. С. 5–6], допустив определенное влияние в керамических традициях саргаринской линии развития [Могильников, 1991. С. 9].

К началу эпохи железа В. Е. Стоянов относил розановский тип керамики, картографированный на Иртыше, между устьями Тобола и Оми, и выявленный только на поселениях [Стоянов, 1970. С. 242, 246]. Позже памятники с речкинским типом керамики Притоболья, нашедшие повторение в курганах Прииртышья, были объединены с розановскими [Корякова, 1981а. С. 16]. Так, поселения и могильники с речкинским, розановским и саргатским керамическими комплексами были интегрированы и получили название саргатской культуры [Могильников, 1970. С. 177–179; 1985. С. 3; Корякова, 1981а], что в принципе допускал и В. Е. Стоянов [Стоянов, 1970. С. 251–253].

Принято считать, что переходный период от бронзового века к железному в лесостепном Приишимье был связан с угасанием бархатовской и сузгунской культур. Археологическим проявлением этого процесса М. Ф. Косарев считал

появление здесь красноозерских комплексов [Косарев, 1984. С. 42]. Началом эпохи железа датированы поселения с баитовской керамикой, ареал распространения которой охватывает Среднее Приишимье и Тоболо-Ишимское междуречье [Стоянов, 1970. С. 242]. На основании внешнего сходства керамических коллекций и малочисленности поселений и жилищ Н. П. Матвеева выделила баитовскую культуру, включив туда все памятники начального этапа железного века лесостепного Тоболо-Ишимья с керамикой носилового типа [Матвеева, 1987. С. 9–11; 1989а. С. 77–103]. Эта гипотеза была поддержана В. А. Могильниковым [Могильников, 1992а. С. 275–280] и не исключается в настоящее время тюменскими коллегами. Схожая модель была предложена и позднее при выделении кашинской культуры IV в. до н.э. – IV-V вв. н.э. в северной части приишимской лесостепи, объединившей памятники кашинского и прыговского круга [Матвеева, 1994; Чикунова, 2006а; 2006б;] (см. ниже).

В среднем течении Исети и Тобола В. Е. Стоянов локализовал поселения с воробьевской керамикой, а по периферии лесостепи – иткульские [Стоянов, 1970. С. 241]. Иткульские городища содержат объекты металлургии и металлообработки, производственные и производственно-жилые постройки [Бельтикова, 1977. С. 126–129; 1997]. Г. В. Бельтикова датировала иткульский очаг металлургии VII–III вв. до н.э. Масштабы иткульского металлургического производства обеспечивали монопольную поставку изделий горно-лесным и лесостепным культурам Зауралья и Западной Сибири, частично обеспечивали потребность кочевого и оседлого населения Южного Урала и Северного Казахстана, Средней Азии, Верхней Оби, Енисея, Саяно-Алтая [Бельтикова, 1997. С. 21]. Анализ нового круга памятников в северной лесостепи Нижнего Приобья позволил О. В. Зиминой рассматривать их в качестве восточного локального варианта иткульской культуры, датировав переходным временем от эпохи бронзы к железному веку [Зиминая, 2006]. С подобной трактовкой полемизирует В. А. Борзунов, усматривая в этом некое упрощение не столь однозначных процессов формирования культур начального этапа раннего железного века. По его мнению, эти древности разнородны, они различались по

генезису, территориям распространения и типам памятников, орудийному и керамическому комплексам, хозяйственной деятельности, по развитию и историческим судьбам населения [подробнее см.: Борзунов, 2014].

Мозаичность распространения древностей Приишимья и Притоболья, различающихся, как уже отмечалось, керамикой, и с появлением новых материалов не исключает путаницу в понятиях, характеризующих выделенные ранее группы древностей. Как видно, скудность имеющегося в распоряжении материала не позволяет проследить генетическую преемственность обитателей лесостепи переходного времени и раннего железного века. В то же время подобная связь неоднократно отмечалась и получала некое подтверждение при анализе системы расселения (картографирования поселенческих памятников) и в большей степени при сравнении керамических коллекций.

Археологическая карта лесостепного Зауралья была бы неполной без упоминания *гороховской культуры*. Как уже отмечалось выше, древности гороховского круга были выделены в самостоятельную археологическую культуру К. В. Сальниковым [Сальников, 1947]. Погребальная обрядность этой группы древнего населения неплохо изучена [Стоянов, 1973; Могильников, 1992а; Булдашов, 1998; Матвеева, 2000]. Обряд предполагал ингумацию под насыпью кургана, в том числе и с шатровым перекрытием [Сальников, 1962. С. 38–39; Стоянов, 1973. С. 46; Булдашов, 1998. С. 14], иногда могильные ямы были представлены подбоями [Daire, Koryakova et al., 2002. P. 58–95]. По основным характеристикам погребальная обрядность не только имеет схожую модель материальной культуры с саргатским миром, но и определила своеобразие западного (зауральского) ареала Тоболо-Иртышской провинции в раннем железном веке. Более того, эта специфика обусловила совместную встречаемость саргатских и гороховских керамических традиций и элементов обрядности в притобольских памятниках, что затрудняет определение принадлежности, выводя рассуждения о своеобразии черт уже в рамки общности, а не культуры.

Формирование памятников с гороховской керамикой относится к V в. до н.э. и охватывает территории распространения воробьевского и иткульского

керамических комплексов. Все эти гончарные традиции, характеризующиеся, помимо прочего, обильной примесью талька, в основном продолжают линию развития местной межовской (межовско-березовской) посуды при отсутствии бесспорного «переходного звена» между ними [см., например: Борзунов, 2014. С. 225]. По мнению В. Е. Стоянова [Стоянов, 1970. С. 250] и В. А. Могильникова [Могильников, 1992а. С. 283, 291], сложение гороховского населения происходило при участии южноуральских кочевников и местного субстрата, который вслед за В. Е. Стояновым [Стоянов, 1970. С. 252] Л. Н. Корякова определила «исетской ассоциацией» [Корякова, 1991а. С. 26, 30; 1993. С. 42]. Н. П. Матвеева исключала возможность пришлого (южного) компонента, усматривая корни в местных культурах керамики с примесью талька в формовочных массах [Матвеева, 1991. С. 157, 162]. Памятники с воробьевской керамикой она включила в ранний – VI–V вв. до н.э. – хронологический этап гороховской культуры, но объединив их с другими синхронными комплексами [Матвеева, 1987. С. 12–15; 1996. С. 83–96]. В настоящее время ею допускается взаимодействие пришлых (ираноязычных) и автохтонных лесостепных групп в сложении населения гороховской культуры [Матвеева, 2017а. С. 103]. Н. В. Полосьмак, анализируя саргатские материалы Барабы и сопредельных территорий, объяснила различия между саргатскими и гороховскими комплексами территориальными и хронологическими, но не культурными особенностями. Ею было предложено рассматривать гороховские древности как локальный (западный) вариант саргатской культуры [Полосьмак, 1987. С. 100–101]. Возможность выделения гороховской культуры еще раз была подвергнута сомнению Н. С. Савельевым при рассмотрении им лесостепных древностей западной части Зауралья. Допуская влияние южноуральских кочевников на формирование гороховской группы памятников, он включил их в качестве субстратной формы предсаргатских древностей юго-западных предгорий Урала [Савельев, 1998. С. 72; 2002. С. 24]. Очевидно, что эти гипотезы отражают специфику пограничного распространения гороховских традиций. Л. Н. Корякова объясняет феномен двух культур принадлежностью к единой культурной среде,

выразившейся в однонаправленности развития и тождественности систем, что на определенном этапе позволило их органичное соединение в одну общность [Корякова, 1994б. С. 149].

Некоторые расхождения имеют вопросы определения верхней границы гороховских древностей. Существующая в литературе точка зрения предполагает, что во II в. до н.э. (с незначительным омоложением или удревнением до одного столетия) гороховская культура прекращает свое существование [например, Матвеева, 1991. С. 160; Могильников, 1992а. С. 291; Булдашов, 1998. С. 14; Таиров, 2016а. С. 31]. Несколько иного взгляда придерживается автор этих строк, опираясь на хронологию саргатской общности, предложенную Л. Н. Коряковой, и результаты работ большого исследовательского коллектива на памятниках Притоболья [Культура зауральских..., 1997; Шарапова и др., 2003; Среда, культура..., 2009; Корякова и др., 2010; Daire et al., 2002]. Традиционному месту на шкале гороховских древностей соответствует период IV–III вв. до н.э. Комбинация радиоуглеродных дат из Прыговского 2 могильника, полученных по костям человека из погребения 2 кургана 2, дает интервал IV–II вв. до н.э. Однако состав предметов сопроводительного инвентаря (кашинский и саргатский сосуды, гороховская курильница, кулайская ажурная бляха) позволяет предположить, что нахождение сосудов гороховского облика с более поздними предметами может свидетельствовать о процессах консолидации различных традиций [Корякова и др., 2010. С. 70–71]. Однако «чистые» гороховские комплексы, датированные II в. до н.э., неизвестны¹⁵. Уже в IV–III вв. до н.э. гороховская культура находилась в стадии не только расцвета, но и активного поглощения групп и группами, характеризующими «исетскую» ассоциацию [Культура зауральских..., 1997. С. 143]¹⁶.

¹⁵ Самый поздний возраст гороховских погребений в аристократическом могильнике Скаты 1, раскопанном в Курганском Притоболье, по результатам радиоуглеродного датирования приходится на рубеж III–II вв. до н.э. [Daire et al., 2002. P. 95].

¹⁶ Немногочисленные источники о погребальном обряде населения, обитавшего в Среднем Зауралье, еще не дают убедительных данных. Относимый к гороховской культуре могильник Куртугуз I [например, Матвеева, 2017а. С. 103] в большей степени демонстрирует транскультурный характер, соответствуя ей только по ограниченному числу признаков. Сопроводительный инвентарь указывает на связи с местной средой (самым выразительным в нем является бронзовое зеркало, изготовленное в металлургическом центре иткульской культуры). В резком противоречии с гороховскими канонами находятся видовой состав животных (кости лося и медведя) и возможное

Продвижение саргатских племен на запад привело к окончательной нивелировке различных составляющих материальной культуры аборигенного (восточноруральского/исетского/иткульского) и гороховского населения [Шарапова, 2000. С. 25]. Процесс ассимиляции не сломал системы существовавших связей, а «орнаментальная и морфологическая непрерывность» явилась причиной появления переходных типов и пестроты керамических традиций» [Корякова, 1991б. С. 4].

Начало новых традиций принято связывать с кашинским типом памятников, который был выделен В. Д. Викторовой. Однако самих памятников крайне мало, да и те представлены поселениями [Викторова, 1970. С. 10]. Исследования последних лет на Исети и в Притоболье позволяют расширить ареал распространения кашинских древностей до подтаежной зоны Тоболо-Ишимья. Известные погребальные комплексы, на основании которых Н. П. Матвеева выделила кашинскую культуру, включают немногочисленные индивидуальные и коллективные захоронения в саргатских курганах, а сопроводительный инвентарь, помимо прочего, включал и сосуды кашинского облика [Матвеева, 1994. С. 130–139]. Кашинский тип керамики тесно связан с прыговским, являясь в некотором роде его ранним вариантом, их стилистический синкретизм находит объяснение во все той же «орнаментальной и морфологической непрерывности», но не имеет четких хронологических позиций [см.: Шарапова, 2000 С. 23–26]. Абсолютный возраст кашинско-прыговских древностей представлен несколькими датами, полученными для единичных комплексов, и определяется не древнее III–II вв. до н.э. [например, Среда, культура..., 2009. С. 165; Корякова и др., 2010. С. 70–71]. За неимением серии абсолютных дат культурно-стратиграфическая колонка зауральских типов керамики выглядит следующим образом: прыговские шнуровые комплексы располагаются выше иткульских, носиловских и гороховских, ранних саргатских и байтовских IV–III вв. до н.э., синхронны саргатским II–III вв. н.э. [Ковригин, Шарапова, 1998б. С. 70].

существование на Куртугузе I наземных захоронений [Ковригин, Ражев, 2007]. Все перечисленные факты и датировка памятника V–III вв. до н.э. позволяют его рассматривать среди древностей саргатской общности, в которые могут быть включены и отдельные комплексы, локализованные по северной кромке лесостепи.

В завершение предложенного выше обзора необходимо еще раз подчеркнуть, что, несмотря на разнообразие культурно-типологических массивов и терминов, которое может создавать впечатление запутанности, все они имеют набор орнаментальных и морфологических характеристик керамической посуды. Однако эти комплексы различаются не целиком, а одним-двумя признаками, которые формируют устойчивую непрерывность керамических традиций [Корякова, 1991а. С. 20; 1991б. С. 4; 1993. С. 14; Шарапова, 2000. С. 24–25]. Культурные стереотипы, определившие археологический облик эпохи железа в лесостепи от восточных склонов Урала до Барабы, связаны с саргатской культурой.

§ 5. Археологические источники

Информация о состоянии источников – это не только обязательная часть любого научного исследования. Она значима еще и потому, что используемые в работе археологические и антропологические материалы были получены в ходе раскопок и камеральных работ нескольких поколений археологов второй половины XX в., чьими усилиями формировалось и закреплялось содержание таксона «саргатская культура».

В лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири археологические памятники раннего железного века – наиболее многочисленные относительно других эпох. В. А. Могильниковым, а вслед за ним и Н. П. Матвеевой отмечается, что всего их известно порядка 600, среди которых большинство составляют саргатские древности [Могильников, 1992а. С. 291–311; Матвеева, 2000. С. 19]. Однако могильники не превышают и четверти указанного количества [Там же]. Такое соотношение обусловлено особенностями погребальной обрядности населения эпохи железа, о чем подробно будет изложено ниже, а также еще и тем обстоятельством, что далеко не все известные памятники изучены раскопками.

Кроме того, массив полевых работ, в ходе которых были получены основные сведения, приходится на теперь уже далекие 1960–1980-е гг. Но как показывают современные данные по разведочному обследованию, например в Омском Прииртышье, на археологической карте появляются новые названия [Булакова, 2019; Зотов, 2019]. Первоначально указывалось, что расположение и количественное соотношение поселенческих памятников и могильников отражают определенную тенденцию освоения саргатским населением лесостепных ландшафтов [Могильников, 1992а. С. 294–296]. Сейчас уже очевидно, что такая ситуация связана еще и со *степенью изученности* саргатских древностей.

Погребальные комплексы лесостепной зоны от Барабы до Притоболья составили источниковую базу данного исследования (рис. 6–46, 59–105)¹⁷. Собранные в единую базу сведения включают 41 памятник, которые сконцентрированы преимущественно вдоль крупных рек: Тобола, Ишима, Иртыша, – а также среднего течения Исети, Оми (рис. 1). В основном это курганные могильники, так называемые грунтовые или, что представляется более корректным, бескурганные погребения представлены немногочисленными захоронениями в могильниках Куртугуз I (рис. 78–81) [Ражев, 1998; Стефанов, 1998; Ковригин, Ражев, 2007], Сопининский 1 (рис. 46) [Шарапова и др. 2003; Среда, культура..., 2009], Скаты 1 (рис. 99) [Daire et al., 2002], Скворцовская Гора V [Чаиркина, 2011], во рву кургана 2 могильника Абатский 3 [Матвеева, 1994].

В плане культурной оценки, почти все анализируемые некрополи относятся к саргатским древностям. Единичные исключения составляют кашинские погребения в саргатском могильнике Абатский 3 в Приишимье (рис. 25–27); бескурганные погребения могильника Куртугуз I с гороховским, а точнее, местным компонентом (рис. 82, 83). В эту же группу входят немногочисленные объекты Скворцовской горы V с принадлежностью к гамаюно-иткульским

¹⁷ В иллюстративном приложении к диссертации рисунки планов и вещевого комплекса погребений из старых неопубликованных раскопок даны без технической обработки: без прорисовки линий, замены шрифта, то есть в оригинальной версии автора отчета (рис. 6–10, 12–22).

древностям, расположенные в Среднем Зауралье по северной кромке лесостепи, и гороховский могильник Скаты 1 в Притоболье (рис. 96–105).

Включение этих, казалось бы, весьма различных комплексов в анализируемую выборку обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, это выбранная исследовательская парадигма – наличие антропологических определений, а также участие антропологов в процессе раскопок (см. ниже). Более того, происходящий из этих объектов археологический материал демонстрирует аборигенные (Куртугуз I, Скворцовская гора V, Скаты 1) и синкретические (Ипкульский и в некоторой степени Абатский 3) (рис. 25–27; 92–95) черты культуры местного (зауральского) населения. В рамках диссертационного исследования это обстоятельство представляется также исключительно важным, поскольку местный субстрат в значительной степени формировал и определял специфику саргатской общности на разных этапах ее развития. Вместе с тем эти комплексы наглядно иллюстрируют немногочисленные примеры погребальной обрядности культур в районах, примыкавших к лесостепи и начиная с середины I тыс. до н.э. испытывавших саргатское влияние, в том числе и на погребальную обрядность. В основе этой гипотезы – археологический материал, демонстрирующий распространение саргатской «вуали», которая была определена для культур контактной зоны Тоболо-Иртышской провинции [Корякова, 1991а. С. 20; 1991б. С. 3–8; 1994б. С. 145]. Более того, на основании территориальной и хронологической близости к основному массиву анализируемых в диссертации могильников их включение обоснованно.

Анализируемая выборка составляет 674 погребальных комплекса VII-VI вв. до н.э. – II-III вв. н.э. (табл. 1), что совпадает с хронологией саргатской общности¹⁸. Используемые источники представлены материалами раскопок с 1967 по 2021 гг. на территории Новосибирской, Омской, Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Работы проводились экспедициями Института

¹⁸ Дискуссионные моменты хронологии будут подробно рассмотрены в соответствующем разделе главы 3.

археологии АН СССР (г. Москва), Института археологии и этнографии СО АН СССР (РАН) (г. Новосибирск), Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург), Института проблем освоения Севера СО РАН (г. Тюмень), а также Ленинградского, Уральского, Тюменского и Омского госуниверситетов. Информация о памятниках происходит из публикаций, но в большей степени из отчетов, хранящихся в архивах ИА РАН, УрФУ, ИИиА УрО РАН, ТюмНЦ СО РАН, фондов Музея археологии и этнографии ОмГУ.

Таблица 1

**Общие сведения о могильниках раннего железного века
в анализируемой выборке**

Памятник	Кол-во раскопанных курганов	Кол-во могильных ям	Годраскопок	Авторраскопок	Источник
<i>Бараба</i>					
Марково 1	28	45	1977, 1978	Молодин В. И., Полосьмак Н. В.	Отчеты; Полосьмак, 1987
Венгерово 1	1	2	1980	Савинов Д. Г.	Отчет; Полосьмак, 1987
Венгерово 7	2	19	1981	Савинов Д. Г.	Отчет; Полосьмак, 1987
Абрамово 4	16	34	1977, 1979, 1986	Молодин В. И., Полосьмак Н. В., Чемякина М. А.	Отчеты; Полосьмак, 1987
Яшкино 1*	1	1	2013 (кург. 5)	Молодин В. И.	Отчет
<i>Приштысье</i>					
Бешаул 2	6	19	1988	Погодин Л. И.	Отчет
Бешаул 3	2	18	1988	Погодин Л. И.	Отчет
Бешаул 4	2	4	1988	Погодин Л. И.	Отчет
Богдановка 1	5	50	1968, 1974, 1970, 1976	Могильников В. А.	Отчеты
Богдановка 2	7	22	1973, 1977	Могильников В. А.	Отчет
Богдановка 3	2	7	1976	Могильников В. А.	Отчет
Стрижево 1	8	21	1969 (кург. 2, 3, 5), 1991 (кург. 8–13)	Могильников В. А., Погодин Л. И.	Отчеты
Стрижево 2	8	28	1987	Погодин Л. И.	Отчет
Карташево 2**	7	37	1981	Могильников В. А.	Отчет
Коконовка 1***	11	13	1967, 1970; 1989, 1990	Могильников В. А., Труфанов А. Я.	Могильников, 1972а, 1972б Отчеты
Коконовка 2	4	25	1990	Труфанов А. Я.	Отчет
Исаковка 1	12	56	1976	Могильников В. А.,	Отчеты

			(кург. 1, 2), 1989, 1990 (кург. 3–12)	Погодин Л. И.	
Исаковка 3	3	19	1985	Матющенко В. И.	Погодин, Труфанов, 1991
Новооболонь	5	27	1977 (кург. 1, 5), 2008 (кург. 2), 2012 (кург. 6, 8)	Матющенко В. И.; Татаурова Л. В.; Татауров С. Ф.	Отчеты
Новопокровка 16	1	2	2021	Шарапова С. В.	Отчет; Шарапова и др., 2023
<i>Пришимье</i>					
Кокуйский 3	2	5	1989	Матвеева Н. П.	Матвеева, 1994
Абатский 1	3	27	1989	Матвеева Н. П.	Матвеева, 1994
Абатский 3	6	52	1988, 1989	Матвеева Н. П.	Матвеева, 1994
Покровский	2	2	1968	Зданович Г. Б.	Боталов, Гуцалов, 2000
<i>Притоболье</i>					
Прыговский 2	3	3	1993	Сергеев А. С.	Отчет; Корякова и др., 2010
Сопининский 1	2 и 1 захоронение без насыпи	14	2002	Шарапова С. В.	Отчет; Среда, культура..., 2009
Гаевский 1	5	21	1994	Булдашов В. А.	Культура зауральских..., 1997
Мурзинский 1	8	18	1991–1993	Булдашов В. А.	Daire et al., 2002
Мурзинский 3	1	1	1992	Корякова Л. Н.	Отчет; Daire et al., 2002
Куртугуз I	4 захоронения в скальном грунте	4	1996 (погр. 1–3); 2001 (погр. 2–4)	Стефанов В. И., Ковригин А. А.	Отчеты; Стефанов, 1998; Ковригин, Ражев, 2007
Карасье 8	2	4	2000	Шарапова С. В.	Отчет
Карасье 9	1	2	2000	Шарапова С. В.	Отчет; Ковригин и др., 2006
Щучье 1	3	8	2000	Шарапова С. В.	Отчет
Тютринский	5	34	1981, 1982	Матвеев А. В., Матвеева Н. П.	Матвеева, 1993б
Савиновский	7	14	1982	Матвеев А. В.	Матвеева, 1993б
Красногорский 1	5	5	1983, 1984	Матвеева Н. П.	Матвеева, 1993б
Красногорский 2	1	5	1986	Матвеева Н. П.	Матвеева, 1993б
Красногорский борок	2	5	1984	Матвеева Н. П.	Матвеева, 1993б
Ипкульский** **	15	24	2010, 2011 (кург. 4, 5, 7, 9, 13, 18–20, 22, 25, 23, 6, 40–43)	Чикунова И. Ю.	Отчет; Чикунова, 2017
Скаты 1	4	8	1996	Корякова Л. Н.	Отчет; Daire et al., 2002

Скворцовская гора V	2 наземных захоронения	2	2002–2003	Чаиркина Н. М.	Чаиркина, 2011
---------------------	------------------------	---	-----------	----------------	----------------

* А. В. Нескоровым в 1982 г. были раскопаны курганы 1, 2, археологические коллекции которых не опубликованы, также нет сведений и об антропологическом анализе полученных им материалов.

** В. А. Могильниковым в 1980 г. были раскопаны курганы 1, 3 в группе Карташево 1, в погребениях которых антропологический материал был плохой сохранности; вероятно, по этой причине Д. И. Ражевым позднее он не был верифицирован.

*** В. Н. Левашевой в 1927 г. раскопан курган 9, материалы которого не вошли в анализируемую выборку.

**** Л. Н. Коряковой в 1984–1985 гг. было раскопано 8 курганов, однако антропологические коллекции тех лет не были обработаны.

Материалы одиннадцати могильников получены автором или при участии автора в результате полевых работ 1992–2021 гг.: Зауральской лесостепной археологической экспедицией УрГУ, позднее ИИиА УрО РАН (раскопки В. А. Булдашова, А. А. Ковригина, Л. Н. Коряковой, А. С. Сергеева, С. В. Шараповой) в сотрудничестве с французскими коллегами из университетов Ренн 1 и Бордо 1 (Э. Гонсалез, М.-И. Дэйр, Л. Лангвет, П. Курто, Ж.-П. Потро, М.-С. Юже) и Западносибирского отряда ИИиА УрО РАН (раскопки С. В. Шараповой). Ареал полевых исследований Зауральской лесостепной археологической экспедиции охватывал Притоболье (Курганская, юг Тюменской и юго-восток Свердловской областей), когда в ходе международных российско-французских проектов реализовывались междисциплинарные по своим задачам исследования. Погребальные комплексы могильников Прыговский 2 (рис. 30–33), Сопининский 1 (рис. 34–46), Гаевский 1 (рис. 59–72), Мурзинский 1 и 3 (рис. 73–77), Куртугуз I (рис. 78–83), Карасье 8 и 9 (рис. 84–88), Щучье 1 (рис. 89–91), Скаты 1 (рис. 96–105) не только стали опорными в предлагаемой диссертационной работе, но и могут рассматриваться таковыми в целом для археологии саргатской культуры (общности). Новый уровень комплексного биоархеологического изучения представлен полевыми исследованиями автора в Среднем Прииртышье (курганы Новопокровка 16 и 10).

К сожалению, многие из анализируемых источников не опубликованы. К ним относятся могильники Карасье 8, Щучье 1 (Притоболье); Бещаул 2, 3, 4, Богдановка 1, 2, 3, Стрижево 1, 2, Карташево 2, Коконовка 1, 2, Исаковка 1, Новооболонь (Прииртышье). Некоторые публикации содержат краткую

информацию, как о могильниках Коконовка 1 в Прииртышье [Могильников, 1972а; 1972б] или Покровский в Приишимье [Боталов, Гуцалов, 2000. С. 58–60], либо дана только антропологическая часть – это, например, Яшкино 1 [Зубова и др., 2014]. Скаты 1 и Мурзинский 3 в Притоболье изданы только на французском языке, в силу чего недоступны большей части российской аудитории [Daire et al., 2002].

При отсутствии публикаций далеко не все необходимые сведения могут быть почерпнуты из бедно иллюстрированных отчетов старых раскопок, проведенных в соответствии с методическим уровнем того времени. Не исключено, что их развернутая публикация предполагалась, тем более что в хрестоматийном издании «Археология СССР» коллекции неопубликованных памятников даны для уточнения вопросов датировки комплексов, хронологии культуры и ее локальных различий и т.п. [Могильников, 1992а. С. 291–311].

Помимо несовершенства методики полевых работ и отчетной документации сказывается тот факт, что один и тот же памятник имеет различные названия, а курганы, раскопанные в разное время, уже в других исследованиях упоминаются без поправок, что неизбежно приводит к несоответствию изучаемых коллекций. Пожалуй, наиболее разноречива информация о могильнике Богдановка (рис. 11) в Среднем Прииртышье, период раскопок которого охватывает с 1968 по 1976 гг. [Могильников, 1968; 1970; 1974; 1976]. Первоначально описанный как Богдановские курганы [Могильников, 1968], позднее он именуется и как Богдановка, и как Богдановка 1 [Могильников, 1992а; Матвеева, 2000; 2005 и т.д.]. Сложнее оказалось разобраться с антропологическими определениями для кургана 6 могильника Богдановка 1, так как инвентарный номер 1275 краниологической коллекции кабинета антропологии ТГУ соответствует кургану Б могильника Богдановка 1 [Шарапова, Ражев, 2013. С. 149]. Работа с отчетами в архиве ИА РАН позволила установить, что подписи к планам погребений выполнены чертежным шрифтом, где написание цифры 6 аналогично прописной букве «Б», что и послужило причиной многолетней путаницы [Могильников, 1974].

Археологические коллекции саргатских могильников хранятся в Новосибирске, Омске, Тобольске, Тюмени и Екатеринбурге¹⁹. Количественное соотношение учтенных в работе комплексов по-прежнему отражает неравномерность изучения локальных районов, где картографированы саргатские древности. Еще несколько десятилетий назад Л. Н. Корякова отметила неравноценность источников [Корякова, 1988. С. 19]. И по прошествии времени ситуация мало изменилась. В плане представительности, как и прежде, численно доминируют прииртышские коллекции. Однако из-за слабой методической сопоставимости для предпринятого анализа они в большинстве своем качественно уступают зауральским, особенно тем, которые были получены в 1990–2002 гг.

Повторяясь, приходится отметить, что основной массив источников – это хорошо известные памятники. Большинство из них уже составляли источниковую базу различных исследований и неоднократно использовались моими предшественниками в их анализе и предложенных интерпретациях материалов саргатской культуры. Однако обобщение накопленной информации и опыта коллег позволяет утверждать, что результат предпринятого изучения во многом зависит и от того, насколько успешно преодолеваются трудности работы со старыми материалами.

Нельзя не отметить, что существенные проблемы связаны и с разграбленностью саргатских курганов, длительная история губительного опустошения которых была описана выше. Очевидно, что степень сохранности древних погребений влияет на информационный потенциал работы с источником, особенно статистическими методами (наиболее активно используемыми в археологии саргатской культуры). Однако в зависимости от целей и задач, а также применяемых подходов и методов можно получить различные по содержанию исследования и их результаты. В целях извлечения максимально возможной

¹⁹ После кончины В. А. Могильникова его архив, находки из коллекций раскопанных им памятников в Прииртышье были переданы из Института археологии РАН в сырьевой фонд Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Некоторые единичные предметы, например керамические сосуды, есть и в коллекции декоративно-прикладного искусства Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, но они не паспортизированы, и работа с ними затруднена, так как отсутствует информация о контексте находок; часть материалов находится в Музее археологии и этнографии ОмГПУ.

информации из существующего источника в предлагаемой работе учтены захоронения в могильниках всех локальных групп, на момент раскопок имевшие различную сохранность: непо потревоженные, разрушенные фауной и ограбленные (табл. 2). К сожалению, такая градация не всегда была отражена авторами раскопок. Осложняет работу и то обстоятельство, что для неоднократно грабленых захоронений по публикациям или отчетам порой практически невозможно определить контуры могильных ям или положение уцелевших костей. Это не позволяет установить, было ли рассматриваемое погребение индивидуальным вводным (в других терминах – «ярусным» или впускным) или коллективным. Потому можно наблюдать разное по сумме количество могильных ям в таблицах (такое несовпадение можно заметить и в других работах, при этом столь необходимые комментарии отсутствуют). Например, подобная ситуация наблюдается в погребении 1 кургана 3 могильника Кокуйский 3 (рис. 28). Взаиморасположение скелетов, сохранившихся разрозненных костей и зафиксированных контуров могилы не позволяют однозначно судить о коллективном захоронении в одной могильной яме. Не проясняет ситуацию и представленный в публикации план погребения, на котором отсутствуют и глубины залегания находок. Фактически он воспроизводит основную интерпретацию автора о коллективном и одновременном захоронении [Матвеева, 1994. С. 104–106. Рис. 63]. Однако анализ помертного положения костного материала относительно друг друга и границ объекта допускает наличие минимум трех могильных ям, ориентированных в северо-западном и северном секторах, и четыре последовательных индивидуальных захоронения. Такое количество объектов и индивидов было учтено в данной работе. Гипотетическая (поскольку отсутствуют необходимые фиксации) реконструкция выглядит следующим образом. Представляется, что скелет 2 был размещен поверх скелета 1 без изменения формы и северо-западного направления ориентировки ямы; позднее было совершено захоронение умершего ребенка (ск. 3), но уже головой на север; самой поздней является разрушенная могила индивида 4. В качестве еще одного примера можно привести материалы могильника Коконовка 1 [Могильников,

1967]. Судя по планам центральных захоронений в курганах 10 и 12 и количеству найденных в них длинных костей (более чем от одного индивида), центральные могилы содержали также и впускные погребения, и те и другие впоследствии были разграблены. К сожалению, из-за качества полевой документации и иллюстраций для большей части анализируемых в диссертации захоронений невозможны даже попытки какой-либо реконструкции размещения тел умерших.

Далее, многие небольшие курганы в лесостепной зоне Сибири и особенно в Зауралье были уничтожены распашкой в период сельскохозяйственного освоения региона. Это обстоятельство лишает возможности оценить реальное количество погребений и параметры некрополей. По этой причине анализ планиграфии и иерархии курганов разного размера в пределах одного могильника не проводился. Есть только результаты работы Л. Н. Коряковой, которая, оценивая динамику обрядности населения лесостепи, связала возведение крупных («царских») одномогильных курганов с появлением новой элитарной субкультуры на ранних этапах (около V в. до н.э.), которые позднее (III-II вв. до н.э.) сменяются многомогильными курганами с вводными захоронениями [Корякова, 1994б. С. 146–169]. Кроме того, возможности рассмотрения пространственного аспекта ограничивает то обстоятельство, что далеко не все памятники полностью исследованы раскопками, а многие из существовавших ранее курганов уничтожены задолго до археологического изучения.

Следующее замечание неслучайно, так как непосредственно связано с предыдущими соображениями. Очевидно, что существующие в отчетах и публикациях данные о количестве курганных насыпей в могильниках от Барабинской лесостепи до Притоболья далеки от реальных. Потому не совсем корректными представляются рассуждения о соотношении уцелевших и разрушенных могил в различных памятниках [например, Берсенева, 2011б. С. 41, 180]. По существу, такие замечания всего лишь декларация состояния источников. Куда красноречивей в такой ситуации лаконичность цифр, которые все же отражают общую, увы, неутешительную тенденцию (табл. 2).

Сведения о состоянии захоронений в анализируемой выборке

Могильник	Кол-во непо потревоженных захоронений	Кол-во разрушенных захоронений	Кол-во ограбленных захоронений
<i>Бараба</i>			
Марково 1	25	Нет сведений*	20
Венгерово 1	1	Нет сведений	1
Венгерово 7	13	6	–
Абрамово 4	20	Нет сведений	14
Яшкино 1	–	–	1
<i>Приштысье</i>			
Бешаул 2	10	Нет сведений	9
Бешаул 3	6	Нет сведений	12
Бешаул 4	1	Нет сведений	3
Богдановка 1	29	6	15
Богдановка 2	10	3	9
Богдановка 3	4	1	2
Стрижево 1	15	–	6
Стрижево 2	14	5	9
Карташево 2	14	4	19
Коконьовка 1	1	1	10
Коконьовка 2	15	–	10
Исаковка 1	16	3 (из них 1 вторичное?)	37
Исаковка 3	10	1	8
Новооболонь	9	6	12
Новопокровка 16	–	–	2
<i>Пришимье</i>			
Кокуйский 3	4** (из них 2 впускных)	–	4 (из них 1 впускное)
Абатский 1	3	–	24
Абатский 3	12	3	36
Покровский	2	–	–
<i>Притоболье</i>			
Прыговский 2	–	1	2
Сопининский 1	4 (из них 1 впускное)	1 (впускное)	9 (из них 3 впускных)
Гаевский 1	3	1	17 (из них минимум 3 впускных)
Мурзинский 1	4	7	7
Мурзинский 3	1	–	1 (впускное)
Куртугуз I	3	4 (из них 3 вторичных)	–
Карасье 8	–	–	4
Карасье 9	1	–	2 (1 из них впускное)
Щучье 1	2	2	4
Тютринский	6	6	22
Савиновский	3	–	11
Красногорский 1	–	1	4
Красногорский 2	–	1	4

Красногорский борок	–	1	4
Ипкульский	9	5 (из них 1 вторичное)	10
Скаты 1	2	1	5
Скворцовская гора V	–	2	–

* В некоторых источниках авторы не указывали характер повреждения захоронений – ограбление или следствие активности фауны.

** Поскольку в процессе раскопок авторы далеко не всегда разделяли разрозненные кости от нескольких скелетов, объединяя их в одно коллективное погребение, сведения о количестве могильных ям в одном кургане (табл. 1) и общее количество совершенных в этом же кургане захоронений могут отличаться. Однако уточнение характера (основное, впускное, парное или индивидуальное) по существующим публикациям и отчетам не всегда возможно из-за скудных описаний и планов. В то же время совершенно очевидно, что количество могильных ям и захоронений не может совпадать, так как зачастую «ярусные» погребения вводились в существующие могилы без изменения ее контуров.

В завершение анализа источников и вслед за предшественниками необходимо подчеркнуть, что сохранность курганных могильников эпохи железа на обширном пространстве от Барабинской лесостепи до Притоболья неизбежным образом определила довольно специфическую выборку. Как видно из таблицы 2, непо потревоженные погребальные комплексы западных районов саргатской общности малочисленны. В то же время на востоке территории, где в основном картографированы памятники, хронологически относимые к начальному этапу сложения культуры, их информационный ресурс несколько слабее. Заметное исключение составляют курганы Среднего Прииртышья. Однако основная трудность работы с этими коллекциями – слабая проработанность вопросов внутренней хронологии культуры, а также датировка отдельных памятников и комплексов. Ситуация, относительно недавно подмеченная Н. А. Берсеновой, существенным образом не изменилась и по прошествии полутора десятков лет после ее диссертационного исследования, посвященного погребальной обрядности этой локальной группы саргатского населения [Берсенева, 2005].

Прииртышские материалы, что называется, на слуху, однако, несмотря на всю их уникальность, они в большинстве своем не опубликованы, результатов абсолютного датирования также нет (исключение составляет могильник Исаковка 3 [Погодин, Труфанов, 1991]), отсутствие надежно документированного контекста для целого ряда комплексов тоже затрудняет работу с коллекциями и датировку памятников. В отчетах сведения о могилах, устроенных в насыпи,

противоречивы, а полевая документация не дает исчерпывающей информации о хронологии и характере захоронений. По этой причине предложенные авторами раскопок временные интервалы рассматриваемых комплексов очень широки, корректировки их затруднены, что, в свою очередь, создает определенную сложность при соотношении основных и впускных/вводных захоронений. Совершенно иные условия работы сложились с коллекциями из Притоболья: там даже при значительной археологической фрагментарности раскопанных погребений ситуация заметно отличается еще и в плане антропологической изученности материалов, что увеличивает количество и качество получаемой информации. В дальнейшем это обстоятельство будет неоднократно подчеркиваться.

§ 6. Антропологический материал

Поскольку одной из отличительных особенностей данной работы является широкое использование антропологических определений скелетных останков из анализируемых комплексов, представляется целесообразной краткая характеристика и этого вида источников. Прежде всего, обращает на себя внимание дисбаланс представленности и сохранности костных останков древних людей. С одной стороны, в результате многолетних раскопок могильников наряду с археологическим был получен и значительный антропологический материал. Так, Д. И. Ражев приводит довольно внушительное по численности костных останков число – не менее 1 тысячи индивидов [Ражев, 2009. С. 5]. С другой – именно антропологические коллекции более всего пострадали от несовершенства методики сбора и хранения, в результате чего обследование и анализ костей посткраниального скелета в ряде случаев не проводились. Автору диссертации совместно с Д. И. Ражевым уже доводилось отмечать особенности отечественной традиции сбора антропологического материала, согласно которой именно черепа

сохранялись с особой тщательностью и их коллекции в полном (максимальном) объеме характеризуют погребальные выборки [Шарапова, Ражев, 2013. С. 145]. Очевидно также и то, что саргатская курганная выборка в силу довольно веских причин не может адекватно отражать генеральную совокупность, которой в данном случае являлось население саргатской культуры. Д.И. Ражев определил антропологическую выборку из саргатских курганных погребений, соответствующей «небольшой части населения высокого социального статуса» [Ражев, 2002. С. 17]. Для дальнейшего изложения это замечание представляется принципиальным и исключительно важным.

Антропологические находки из саргатских погребений изучались С. М. Чугуновым, Г. Ф. Дебецем, М. С. Акимовой, В. А. Дремовым. Особо необходимо отметить вклад А. Н. Багашева в краниологию древних популяций региона [Багашев, 2000а; 2006; 2017]. Рассматривая локальную и хронологическую изменчивость саргатских групп, Анатолий Николаевич заключил, что «антропологический тип населения саргатской культуры с течением времени изменялся незначительно и в целом формообразовательный процесс во времени реконструируется по мужским и женским материалам в едином ключе» [Багашев, 2017. С. 193]. Однако в эту работу не были включены те палеоантропологические материалы Притоболья, которые были получены раскопками Зауральской лесостепной археологической экспедицией и обследованные Д.И. Ражевым и П. Курто [Ражев, 2009; Daire et al., 2002]. Между тем вывод А.Н. Багашева о многокомпонентности лесостепного западносибирского населения [Багашев, 2000а. С. 185–197] подкрепляет археологические наблюдения [см. § 4, а также Могильников, 1981; 1992а; Полосьмак, 1987; Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 1993б; 1994]. Заслуживающим внимания является заключение, что в период сложения саргатской общности имел место приток пришлого преимущественно мужского населения, для которого просматривается антропологическая близость с сакскими группами Приаралья (саки нижнесырдарьинского типа) [Багашев, 2000а. С. 194]. Эти работы проводились преимущественно по краниометрической программе,

что позволило получить описания антропологического состава лесостепного населения Западной Сибири в раннем железном веке, установить его генезис и многокомпонентность, а также провести половозрастные определения.

Однако за рамками таких исследований оставались вопросы, связанные с изучением различных аспектов жизнедеятельности саргатского населения, интерес к которым обозначился сравнительно недавно. Особенности морфологического строения скелетов, возможность установления которых появилась с внедрением новых методов работы с палеоантропологическим материалом, сформировали иной подход и обусловили необходимость проведения определений всех доступных коллекций заново. Эта задача была успешно решена Д. И. Ражевым в его диссертационном исследовании [Ражев, 2002], впоследствии опубликованном [Ражев, 2009].

Таким образом, источниковую базу диссертации составили материалы погребений саргатской культуры от Притоболья до Барабы с доступными антропологическими определениями, выполненными Д. И. Ражевым совместно с П. Курто, а также с верификацией Д. И. Ражевым прежних результатов обработки костного материала [Ражев, 2009. С. 29. Рис. 2.1]. К сожалению, приходится вновь повторять, что существовавшее некогда несовершенство сбора остеологических находок в процессе раскопок и связанные с ним особенности хранения антропологического материала некоторым образом сократили количество доступных для половозрастных и палеопатологических определений скелетных останков. Наиболее «пострадавшими» оказались коллекции, полученные коллегами в период наиболее интенсивного изучения саргатской культуры (1960–1980-е гг.). Не сохранился и/или не обнаружен для переопределений антропологический материал из могильников Исаковка 1 (кург. 11 и 12), Коконька 1 (кург. 14), Стрижево 1 (кург. 3 и 5) в Прииртышье. При составлении базы половозрастные определения (не более 2,6 % от общего количества анализируемых в диссертации индивидов) были взяты из соответствующих отчетов о раскопках [Могильников, 1969; Труфанов А. Я., 1989; Погодин, 1990]. Похожие трудности встретились и в материалах старых раскопок Иркульского

могильника (кург. 1–3, 6, 14, 24, 28, 39) [Корякова, 1984; 1985], из-за чего сведения о них не вошли в анализируемую выборку.

Потому, чтобы восполнить этот пробел, база данных дополнена новой, качественно иной информацией – опубликованными сведениями остеологического анализа О. Е. Пошехоновой по недавним раскопкам Ипкульского могильника в Притоболье [Чикунова, 2017] и группы под руководством Т. А. Чикишевой для могильника Яшкино 1 в Барабе [Зубова и др., 2014]. В диссертационную работу также включены неопубликованные результаты антропологических и палеопатологических определений для могильника Новооболонь в Прииртышье, выполненных С. М. Слепченко (кург. 2, 6 и 8) [Татаурова, 2008; Татауров, 2012], а также привлечены половозрастные определения В. А. Дремова (кург. 1 и 5) из полевого отчета [Матющенко, 1977]. Кроме того, работа содержит результаты изучения А. Н. Багашевым скелетных останков из могильника Исаковка 3 [Погодин, Труфанов, 1991] (табл. 3).

Для могильника Покровский нет информации по остеологическому и палеопатологическому анализу антропологической коллекции. В работе использованы сведения из публикации (рис. 29) [Боталов, Гуцалов, 2000. С. 58–60].

Таблица 3

Данные по количеству индивидов в анализируемых могильниках

Памятник	Датировка памятников	Кол-во курганов в могильнике	Кол-во раскопанных курганов*	Кол-во индивидов/ кол-во без определений	Автор/авторы антропологических определений
<i>Бараба</i>					
Марково 1	III–I вв. до н.э.	29	28	32/0	Ражев Д. И.
Венгерovo 1	I в. до н.э. – I в. н.э.	1 саргатский	1	1/0	Ражев Д. И.
Венгерovo 7	конец I тыс. до н.э.	2 саргатских	2	9/0	Ражев Д. И.
Абрамово 4	V–III вв. до н.э.	16 саргатских	16	26/0	Ражев Д. И.
Яшкино 1	РЖВ	5	1 (еще кург. 1 и 2)	1 (нет данных)/0	Зубова А. В., Ермолаева М. С., Поздняков Д. В.,

					Чикишева Т. А.
<i>Прииртыше</i>					
Бешаул 2	I в. до н.э. – I в. н.э.	6	6	19/6	Ражев Д. И.
Бешаул 3	I в. до н.э. – I в. н.э.	2	2	9/1	Ражев Д. И.
Бешаул 4	I в. до н.э. – I в. н.э.	2	2	3/2	Ражев Д. И.
Богдановка 1 (Богдановка, Богдановские курганы)	IV-II вв. до н.э. – I-II вв. н.э.	5	5	38/4	Ражев Д. И.
Богдановка 2	V-III вв. до н.э. – I в. н.э.	9	7	14/5	Ражев Д. И.
Богдановка 3	V-IV вв. до н.э. – I-II вв. н.э.	3	2	7/3	Ражев Д. И.
Стрижево 1**	IV-III вв. до н.э. – первые вв. н.э.	13	8	24/5	Ражев Д. И.
Стрижево 2	III-I вв. до н.э. – рубеж эр	9	9	28/4	Ражев Д. И.
Карташево 2	III в. до н.э. – II-I вв. до н.э.	7	7	32/6	Ражев Д. И.
Коконовка 1***	VI (?) в. до н.э. – I-II вв. н.э.	17	11 (еще кург. 9)	20 (нет данных)/11	Ражев Д. И.
Коконовка 2	VI (?) в. до н.э. – II-III вв. н.э.	4	4	26/3	Ражев Д. И.
Исаковка 1****	II-I вв. до н.э. – I – нач. II в. н.э.	12	12	60/15	Ражев Д. И.
Исаковка 3	конец III в. до н.э. – рубеж эр	3	3	22/4	Багашев А. Н.
Новооболонь	V-IV – III-II вв. до н.э.	12	5	21/3	Дремов В. А., Слепченко С. М. (кург. 2, 6, 8)
Новопокровка 1б*****	IV-III вв. до н.э.	не менее 8	1	2/0	Карапетян М. К. [Шарапова, 2021]
<i>Пришимье</i>					
Кокуйский 3	V в. до н.э. – IV-II вв. до н.э.	5 (1 эпохи бронзы)	2	10/0	Ражев Д. И.
Абатский 1*****	РЖВ – I-III вв. н.э.	5	3 (еще кург. 1 и 2)	23/3	Ражев Д. И.
Абатский 3	III-II вв. до н.э. – II-III вв. н.э.	8	6	73/7	Ражев Д. И.
Покровский	II-III вв. н.э.	нет данных	2	2/0	Нет данных

<i>Притоболье</i>					
Прыговский 2	VII–II вв. до н.э.	12	3	3/1	Ражев Д. И., Курто П.
Сопининский 1	IV–III вв. до н.э. – II в. н.э.	2 распаханых и 1 бескурганное погребение	3	17/0	Ражев Д. И., Курто П.
Гаевский 1	IV в. до н.э. – III в. н.э.	10 распаханых насыпей	5	28/9	Ражев Д. И., Курто П.
Мурзинский 1	IV в. до н.э. – II в. н.э.	14	8	19/7	Ражев Д. И., Курто П.
Мурзинский 3	III–II вв. до н.э.	4	1	2/0	Ражев Д. И., Курто П.
Куртугуз I	IV–III вв. до н.э.	4 погребения в скальном грунте	4	15/1	Ражев Д. И.
Карасье 8	IV–III вв. до н.э.	20	2	1/0	Ражев Д. И., Курто П.
Карасье 9	VII–VI в. до н.э. – II в. н.э.	11 распаханых насыпей	1	3/0	Ражев Д. И., Курто П.
Щучье 1	V–II вв. до н.э.	3	3	6/2	Ражев Д. И., Курто П.
Тютринский	I–II вв. н.э.	надежно 10	5	35/1	Ражев Д. И.
Савиновский	II–I вв. до н.э. – I–II вв. н.э.	8	7	15/1	Ражев Д. И.
Красногорский 1	V–III вв. до н.э.	18	5	5/0	Ражев Д. И.
Красногорский 2	РЖВ	11	1	2/0	Ражев Д. И.
Красногорский борок	I–II в. н.э.	10	2	5/0	Ражев Д. И.
Ипкульский	сер. – 2-я пол. III в. н.э. саргатские, рубеж эр – сер. III – 3-я четв. IV в. н.э. – остальные	>50	15	25/5	Пошехонова О. Е.
Скаты 1	IV–III вв. до н.э.	14	4	9/0	Ражев Д. И., Курто П.
Скворцовская гора V	VII–VI вв. до н.э.	нет данных	2	2/0	Святова Е. О., Ражев Д. И.

* В скобках указано общее количество раскопанных курганов, что может отличаться от количества анализируемых курганов.

** Антропологический материал из курганов 3, 5 и разрушенного кургана 9 не сохранился (не обнаружен).

*** А. Я. Труфанов в 1989 г. раскопал обнаруженные позже курганы 14 и 15, однако антропологический материал их не сохранился (не обнаружен).

**** Антропологический материал из кургана 11 не сохранился (не обнаружен).

***** Некоторые курганные группы в окрестностях с. Новопокровка в 1990-ые гг. были разделены на отдельные памятники. Представляется, что площадка, на которой находился курган

Новопокровка 16, образует единое могильное поле с расположенными на нем «царскими» курганами. Судя по современным данным, их количество не менее восьми.

***** В 1963 г. курганы 1 и 2 были исследованы М. Г. Мошковой [Мошкова, Генинг, 1972], антропологический материал не переопределялся (не обнаружен).

Возможность использования результатов определений преимущественно одного антрополога и, пусть и немногочисленных, данных других специалистов, выполненных по одной программе – с учетом неметрических остеологических признаков, – не только количественно увеличивает анализируемую выборку, делая гипотезы вероятными, но и расширяет спектр предлагаемых реконструкций и интерпретаций. Кроме того, известно, что в зависимости от комплектности скелетов существуют ошибки индивидуального определения пола. Так, Э. Чемберлен, суммируя существующие методики [например, Meindl et al., 1985a; 1985b], отмечает точность определения пола по черепу и тазовым костям взрослых индивидов в 92–96 % при условии, что работа ведется на известном для остеолога материале [Chamberlain, 2006. P. 97]. Для саргатской выборки правильность антропологической атрибуции составила около 85 % [Ражев, 2009. С. 34–37].

Таким образом, отправной точкой исследования явилась база данных остеологических и палеопатологических определений останков людей из погребений саргатской общности, которая была сформирована Д. И. Ражевым еще на стадии работы с антропологическим материалом [Ражев, 2002; 2009]. Впоследствии она не только была расширена за счет включения новых данных – это могильники Яшкино 1, Новооболонь, Ипкульский, Скворцовская гора V, курган Новопокровка 16, что было отмечено выше, но и дополнена археологическим контекстом (характеристикой погребальных сооружений и инвентаря). Всего анализируемая выборка представлена останками 694 индивидов (69 – барабинская, 325 – прииртышская, 108 – приишимская, 192 – притобольская локальные серии) с доступными антропологическими определениями и с различной степенью представленности их скелетов – от целых костяков до отдельных элементов: для 585 установлены пол и возраст, у 109 индивидов пол не определен из-за недостаточности данных. Последнее обстоятельство нельзя

рассматривать как полное отсутствие информации по этой части выборки, поскольку в ряде случаев для разрозненного костного материала были диагностированы травматические повреждения, периостит, гипоплазийные дефекты, а также установлено количество индивидов, чьи останки были расчищены в одной могильной яме.

Очевидно, что подобная работа предполагает не столь распространенный, но набирающий популярность синтез результатов археологического и антропологического изучения, реализуемого на одних и тех же материалах. Такой подход, несомненно, добавляет новизну в предлагаемое исследование. Как правило, археологи по завершении раскопок представляют полученный материал для антропологического анализа, затем включают половозрастные определения в свои социально-демографические реконструкции. В этой связи ситуация, когда источниковая база исследования формируется из доступных палеоантропологических (остеологических и палеопатологических) данных, не столь типична для археологии. Очевидно, что чаще мы наблюдаем обратное.

С другой стороны, данное обстоятельство (наряду с сохранностью и доступностью скелетных останков) также формирует весьма специфичную выборку, объем которой может отличаться (и не всегда в сторону увеличения) от известных археологических работ. Представляется, что подобная ситуация более характеризует общую проблему трудности работы с материалами старых раскопок. В то же время перспективность таких направлений очевидна.

Еще один заслуживающий внимания аспект информационных возможностей палеоантропологического изучения и в какой-то мере обоснования выбора корпуса источников – привлечение антропологов не только к камеральной обработке, но и к процессу получения и формирования источника. Участие в раскопках полевых антропологов не только позволяет избежать несоответствия археологического и антропологического определений пола погребенных: случай не частый, но известный по публикациям [Ражев, 2009. С. 47, 48]. Возможности полевой антропологии (*anthropologie du terrain / field anthropology*) уникальны еще и потому, что позволяют реконструировать особенности посмертных обрядовых

практик, пери- и постмортального воздействия разного рода разрушений или формирования тафокомплекса [Duday, 2009]. В частности, до недавнего времени случаи отсроченных захоронений в саргатской погребальной обрядности не были известны. Возможность установления факта их существования в саргатской среде появилась после работ П. Курто и Д. И. Ражева на притобольских памятниках в составе Зауральской лесостепной археологической экспедиции [Шарапова и др., 2001; 2003]²⁰.

Еще один вид посмертного обращения с умершими – вторичное погребение с последующим ритуальным воздействием огня – относительно недавно был определен полевыми антропологами для небольшого числа наземных захоронений досаргатского населения Зауралья [Чаиркина, 2011. С. 125–159]. К сожалению, подлинное количество таких погребений неизвестно.

Таким образом, анализ антропологических источников саргатской культуры позволяет выделить притобольскую группу среди других локальных серий. Во-первых, по части сохранности и доступности археологических и антропологических коллекций, то есть информационного потенциала источника. Во-вторых, в исследование включены результаты раскопок 17 притобольских могильников, что делает эту выборку одной из самых многочисленных среди других в ареале распространения саргатских древностей. В-третьих, в раскопках 12 погребальных памятников принимали участие полевые антропологи (П. Курто, Д. И. Ражев, О. Е. Пошехонова, Е. О. Святова), что обеспечило формирование надежно документированного, качественного источника.

Кроме того, для некоторых индивидов А. С. Пилипенко выполнены палеогенетические исследования (Гаевский 1, кург. 6, погр. 1 и 2; Карасье 9, кург. 11, погр. 2), их результаты опубликованы [Шарапова и др., 2019; 2020]. Не так давно появилась публикация результатов изучения одонтологических комплексов, в том числе могильников Притоболья (Прыговский 2, Гаевский 1,

²⁰ Впоследствии необходимость участия антрополога (М. К. Карапетян) была подтверждена в процессе раскопок кургана Новопокровка 16: уже на стадии полевых работ уточнено не только количество индивидов, но и исключена вероятность коллективного или «ярусного» погребения в разрушенной грабителями центральной могильной яме [Шарапова, 2021].

Сопининский 1, Карасье 8 и 9, Куртугуз I, Щучье 1, Скаты 1) [Слепцова, 2018а; 2018б; 2021]. Эти дополнительные аспекты изучения антропологического материала расширяют возможности внутригруппового сравнения и кросс-культурного анализа. Вкупе с изложенным выше, все это также позволяет рассматривать археологические памятники Притоболья в качестве опорных.

Глава 2. Саргатская культура на археологической карте железного века

В эпоху, известную в науке как скифо-сарматская, в лесостепном Зауралье и Западной Сибири обитало население, чье материальное наследие нашло отражение в разнообразных археологических проявлениях. Эти сходные по культурному облику и различные по археологической представленности образования (культуры, типы памятников) объединяются исследователями в саргатскую культурно-историческую общность, в которой доминирующая роль отводится группам саргатского населения [Могильников, 1973; Корякова, 1991а; 1991б]. К началу 80-х гг. была выявлена территория распространения памятников, предложены основные характеристики материальной культуры и погребального обряда, а также хронология и периодизация саргатских древностей [Могильников, 1972а; 1976; 1978; 1983; Корякова, 1977; 1981а; 1981б; 1982; 1984 и т. д.]. По существу, полевые работы того времени сформировали группу основных памятников, коллекции которых не только стали ключевыми для понимания культуры, но и составили основной корпус источников для предлагаемых и существующих поныне реконструкций.

Здесь также важно учитывать еще одно обстоятельство, которое в значительной мере влияет на формулировку предлагаемых предположений и обобщений. Как известно, имеющиеся в распоряжении археологов памятники отражают лишь степень изученности региона/эпохи/культуры. Реальность такова, что одни неизвестны, другие не сохранились. В то же время в распоряжении археологии появляется все больше возможностей как в плане выявления новых, ранее неизвестных памятников, так и в обработке материала.

Определенные затруднения вызывает то обстоятельство, что данная работа далеко не первая и не последняя по саргатской культуре. С одной стороны, опыт

предшественников в какой-то мере облегчает поставленную задачу – дать характеристику выделенного по археологическим материалам лесостепного населения середины I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. Поскольку история изучения – необходимая стадия любого исследования, то и работ, содержащих обзор и гипотезы разной степени доказательности, довольно много. Более того, существующие реконструкции саргатской культуры проводились на доступных фактических материалах, но диалектика неизбежна. Она свойственна различным уровням накопления эмпирического материала: при его недостатке можно обозначить основные этапы развития и дать хронологическую атрибуцию культуры, а по мере возрастания его количества происходят пополнение, уточнение и изменение в выстроенных ранее схемах. Это естественный научный процесс [Палагута, 2019. С. 30]. С другой стороны, подобная ситуация не так и рутинна: она диктует новизну не столько по форме, сколько по содержанию. Важнейшей частью этого процесса является работа с археологическими источниками [Клейн, 1978; 2012; 2013]. Извлекая из них максимальный объем информации, мы тем самым создаем достаточные основания для последующих обобщений и реконструкций развития культуры.

После подготовки и издания многотомной «Археологии СССР», в которой В. А. Могильниковым рассмотрены древности саргатской культуры [Могильников, 1992а. С. 292–311], в ходе относительно недавних раскопок получены новые материалы, существенным образом дополнившие источниковую базу. Небольшая их часть введена в научный оборот. Однако результаты раскопок некоторых поселений и могильников, исследованных несколькими десятилетиями ранее, все еще не опубликованы, хотя и коллекции, и отдельные находки этих памятников привлекаются для обсуждения вопросов культурной принадлежности, хронологии комплексов и культуры в целом. Предлагаемая ниже характеристика древностей саргатской культуры дана с учетом как относительно недавних, так и уже известных материалов, в ее основе – широко распространенная в археологии описательная канва. Материальный мир саргатской культуры весьма органично

отражает устоявшуюся в отечественной археологии трехчленную горизонтальную иерархию: локальный вариант – культура – культурная общность.

§ 1. Территория и особенности распространения археологических памятников

Известно, что свое название археологическая культура получила по курганам близ с. Саргатка в Среднем Прииртышье, раскопанным В. П. Левашовой [Левашова, 1928. С. 159; Могильников, 1992а. С. 293]. В 60-х гг. XX в. были сформулированы первые диагностические признаки культуры, получившие развитие усилиями В. А. Могильникова, К. В. Сальникова, В. Е. Стоянова. Позднее, с учетом вводимого в научный оборот массива данных, стал возможен углубленный анализ материальной культуры, хронологии, соотношения локальных вариантов, который был выполнен Л. Н. Коряковой, Н. П. Матвеевой, Н. В. Полосьмак. Все эти исследования оформили статус саргатской культуры как самой изученной в археологии лесостепного Зауралья и Западной Сибири. Однако, несмотря на существующую упорядоченность материала, сохраняются дискуссионные моменты и разнообразие мнений по ключевым вопросам, в числе которых, несомненно, хронология древностей и этапов развития, социальная организация и т.д.

Археологические памятники, оставленные населением саргатской культуры, представлены поселениями (неукрепленными и городищами) и могильниками (преимущественно курганными). Сведения о культовых сооружениях недостаточны. Как уже отмечалось выше, ареал распространения саргатских памятников в пределах всей территории лесостепи приходится на относительно неширокую полосу, протянувшуюся от Обско-Иртышского междуречья до восточных склонов Урала на расстояние немногим более 1000 км. Это

пространство географически соотносится с такими ландшафтными провинциями, характерными для зоны Западносибирской лесостепи, как Барабинская, Ишимская и Зауральская [Гвоздецкий, Михайлов, 1978. С. 220–223]. Подобное географическое разграничение естественным образом формировало и определяло особенности культуры, что впоследствии позволило исследователям выделить в этих районах локальные варианты. Археологические памятники этих территорий различаются между собой некоторыми особенностями погребального обряда, деталями орнамента керамики и конструкций жилищ, а также другими признаками, характеризующими динамику культуры [Полосьмак, 1987; Корякова, 1988; Могильников, 1992а; Матвеева, 1994; 2000].

Северная граница распространения памятников доходит до устья Тобола, частично захватывая юг лесной зоны по Иртышу (незначительное распространение саргатской керамики фиксируется и в археологических комплексах на кромке подтаежной зоны). Южная граница саргатской территории проходит в казахстанских степях примерно по 55° с.ш. На востоке поселения и могильники картографируются до среднего течения р. Оми в Барабинской лесостепи. На западе памятники встречаются вплоть до Месягутовской лесостепи в Башкирии.

Территориально поселения и могильники распределены неравномерно. Они концентрируются главным образом вдоль крупных рек: Тобола, Ишима, Иртыша, – а также по средним течениям р. Исети и р. Оми. В. А. Могильников, картографируя известные памятники, отмечал их различную концентрацию, на основании чего и сделал вывод о неравномерности заселения этой территории в саргатское время. По его мнению, активно шло освоение северной и центральной частей лесостепи, при этом значительно слабее были заселены междуречье Иртыша и Ишима, лесная зона по берегам Туры и Тары [Могильников, 1992а. С. 293]. Схожее суждение высказано Н. П. Матвеевой. Проанализировав расположение известных памятников, она отмечает, что их скопления, состоящие из десятка и более поселений и могильников, характерны в целом для основных

саргатских микрорайонов [Матвеева, 2000. С. 19–23]. Среди всех районов исследователи выделяют Притоболье и Прииртышье, где зафиксирована максимально высокая концентрация древностей [Корякова, 1988; 1994а; 1994б; Могильников, 1992а; Матвеева, 1994; 2000]. В. А. Могильников несколько обособлял лесостепь Прииртышья, полагая, что «плотность саргатского населения здесь превышала его концентрацию во все исторические эпохи, предшествовавшие освоению края русскими» [Могильников, 1992а. С. 293]. Более того, он справедливо обратил внимание на тот факт, что ареал распространения саргатской культуры не был неизменным на протяжении всей истории ее существования. Период формирования культуры отличается меньшей по охвату территорией. Хотя памятники, относимые к этому времени, и встречаются во всех локальных районах: в Барабе, Среднем Прииртышье, Среднем и Нижнем Приишимье, по северной кромке лесостепи Притоболья, – однако эта область значительно уже, да и количество известных ранних комплексов невелико. По существу, все отмеченные В. А. Могильниковым особенности распространения саргатских древностей отражают и развивают высказанную им ранее гипотезу о продвижении саргатских племен с востока на запад [Могильников, 1970; 1972б]. Дальнейшие его рассуждения, вероятно, следует рассматривать в этом же ключе. С одной стороны, севернее Омска он локализовал как наиболее ранние, так и наиболее поздние памятники. На этом основании им и был сделан вывод о наибольшей плотности населения в Среднем Прииртышье [Могильников, 1992а. С. 293–296]. С другой – это предположение также связано с его ранним утверждением о том, что здесь произошло формирование саргатского культурного комплекса [Могильников, 1970. С. 177].

Однако, как показывают результаты исследования системы расселения, проведенного Н. П. Матвеевой, помимо бассейна Иртыша, Притоболье также отличается довольно высокой концентрацией саргатских древностей: «число известных объектов достигает 200 в каждом районе», то есть и в Притоболье, и в Прииртышье. Заметно меньшее количество поселений и могильников пока

известно в Приишимье – около 60 – и в Барабе – 30 [Матвеева, 2000. С. 19–20. Рис. 2].

В целом можно констатировать, что такое соотношение саргатских памятников в разных ареалах может отражать объективную картину сложения и развития культуры. В то же время нельзя исключать, что потенциально новые исследования в Приишимье (а эта территория действительно наименее изучена) могут дополнить наши знания об особенностях функционирования здесь культуры.

§ 2. Саргатская культура и саргатская общность

Небольшое отступление от характеристики материального мира связано с уточнением понятий «саргатская культура» и «саргатская общность», используемых в данной работе.

На подсознательном уровне парадоксальность археологических заключений напрямую связана с вопросами хронологии, что было подмечено еще М. Б. Щукиным применительно к событиям начала I тыс. н.э. в Европе [Щукин, 2005. С. 12–19]. В одном из возможных вариантов наблюдаемая археологами сменяемость культур – это не только трансформация традиций и единства материальной культуры (в отношении вещевого комплекса в какой-то мере это перемена стилей в искусстве и орнаментике), но и изменение потребностей и переориентировка хозяйственных и политических связей. Насколько последнее сопоставимо с процессами культурогенеза и социокультурной динамичностью? В каких ситуациях сложение материальной (археологической) культуры вызвано природными факторами, а в каких – иными неслучайными процессами? Что, став привычным, переросло в традицию? Не выходя за пределы изучаемого территориально-хронологического локуса, вероятные объяснения можно найти,

если обратиться к понятиям «саргатская культура» и «саргатская общность». Их уточнение не только объясняет археологическую ситуацию, но и раскрывает содержание хронологических этапов.

Другая парадоксальная ситуация заключается в том, что археология изучает вещественные остатки некогда «живой» культуры, реконструируя ее историю по археологическому материалу. Такое положение дел особенно характерно для бесписьменных обществ или территорий, которые принято относить к далекой периферии и для которых мы не располагаем текстами древних авторов. Постепенно понятие «культура» приобретает массу значений, и вот уже археологические конструкты обретают описания, сопоставимые с группами населения, которые выступают основными действующими лицами прошлого, так появляются «саргатцы», «гороховцы», «баитовцы», «джетыасарцы» и т.п. Подобные рассуждения вновь обращают внимание на давние дискуссии о правомерности в целом и соответствии материальной (археологической) культуры неким этническим (?) группам в каждом конкретном случае [Корякова, 1991а. С. 5]²¹. Очевидно, что определенное перекрывание имен и названий с археологическими данными существует, что нашло отражение в соответствующих материалах Европы [Щукин, 2005] или Урало-Поволжья [Скрипкин, 2017]. Для носителей той или иной культуры или группы археологи не могут достоверно определить этническую принадлежность. Этот тезис выдержал испытание временем [например, Смирнов А.П., 1964; Яблонский 2007; 2010; 2013]²². Применительно к изучаемой территории в существующей литературе все же встречаются допущения о полиэтничности населения, равно

²¹ Примечательно, что они практически не нашли отражения в литературе. Начиная с замечаний В. Е. Стоянова о некорректной трансформации названий культур в названия групп населения, периодически такие обсуждения возникают только на площадках разного уровня конференций (XIV Уральское археологическое совещание, Челябинск, 1999; IV Северный археологический конгресс, Ханты-Мансийск, 2015 и др.). И по прошествии времени стремление дать этническую атрибуцию археологическим культурам эпохи железа сохраняется [см., например: Матвеева, 1989а; 2000; 2005; 2017а; Савельев, 2002; Чикунова, 2006в и т. д.].

²² Ссылка на этих авторов не случайна. С одной стороны, А. П. Смирнов отмечал, что понятие археологическая культура (АК) связано с изучением этнической истории [Смирнов А.П., 1964. С. 5], но при этом отводил АК роль терминологического инструментария [Там же. С. 9]. Весьма резко критиковал этногенетические построения археологов на археологическом материале Л. Т. Яблонский, в качестве альтернативы предлагая «создание временных междисциплинарных групп профессионалов-смежников» [Яблонский, 2013. С. 41]. Соглашаясь с Л. Т. Яблонским в целом, трудно принять его критику по форме.

как и констатация разнородности облика материальной культуры северной и южной лесостепи [Могильников, 1985; Корякова, 1991а; 1991б; Матвеева, 1993б; 2000; Таиров, 2016б].

Еще в ходе изложения отдельных сюжетов по истории археологии региона стало очевидным, что отправной точкой анализа саргатских древностей было признание факта существования в лесостепной зоне от Барабы до Притоболья группы памятников, которые исследователи объединяли по нескольким признакам. Такие конгломераты различных родственных или даже неродственных групп населения улавливаются археологами под вводимыми ими конструктами, называемыми археологическими культурами [Клейн, 1970; Щукин, 2005. С. 13–15 и т. д.]. Свойственная им дробность, проявляемая в характерных чертах материальной культуры (прежде всего в керамике, затем в домостроительстве, погребальной обрядности и т. п.), формирует одну систему, объединяющую сходство в пределах одной территории и времени. Зародившись более столетия назад, понятие «археологическая культура» претерпело и пересмотр, и критику (активные обсуждения, то спадая, то возобновляясь, пришлись на 1960–1970-е гг.), но остается действенным инструментом на уровне анализа, систематизации материала. В задачи данного исследования не входит обоснование определения «культура», поскольку оно неминуемо приведет к теоретическому анализу толкования термина. Не вдаваясь в детализацию множества дефиниций, в основе которых все же предполагается четкое определение характерных признаков, времени и территории [см., например: Смирнов А. П., 1964; Шер, 1966; Монгайт, 1967; Клейн, 1970; Массон, 1989 и т. д.], замечу, что ядро данного диссертационного исследования образует предложенная Л. Н. Коряковой трактовка саргатской культуры [Корякова, 1981а]. Обобщив разнообразные варианты толкований и опираясь на конкретные источники, Л. Н. Корякова представила археологическую культуру в качестве «системы определенных моделей, построенных на археологическом материале, содержащем информацию о древнем обществе» [Корякова, 1988. С. 16]. В то же время она допускает, что

археологическая культура является «неким, весьма искаженным образом этого общества» [Корякова, 1991а. С. 6]. Вместе с тем из числа существующих версий актуальными представляются еще и те утверждения, которые выводят на восстанавливаемую археологией систему отношений материального мира и социальных групп. И вот культура уже предстает не статичной данностью, а живым механизмом, своеобразным кодом социальности. Необходимыми условиями функционирования этой системы становятся: стремление к воспроизводству самой себя, к развитию и к расширению своих структур [Черных, 1982. С. 8–9]. Происходит своеобразное отождествление культуры и человеческой деятельности в целом с разными стереотипами поведения и спецификой материального мира [Щукин, 2005. С. 14]. Как видно, археологическая культура воплощает несколько стадий исследовательского процесса – от первоначального открытия, фиксации и описания памятников с объективно существующим сходством признаков до явления, основными действующими лицами которого становятся люди и их история как часть общей культуры [Черных, 1982. С. 8]²³.

С археологической культурой тесно связано, но не всегда синонимично ей (поскольку более отображает макроуровень) некое сходство или общность, которое позволяет отличать лесостепной зауральско-западносибирский мир от соседних образований. Так на археологической карте региона появился новый таксон – общность [Корякова, 1991б. С. 4]. Его вполне логичное появление произошло, когда сведение археологического многообразия к одному понятию тормозило понимание культурно-исторических процессов эпохи раннего железа и объяснительные модели потребовали привлечения новых аналитических конструкций. К тому времени во многом родственная дисциплина – этнография – составила предметную область археологического дискурса, стимулируя поиски закономерностей. Допустив возможное сопоставление археологических и

²³ Спустя десятилетия можно наблюдать, что теоретическое поле охватывает и предметную область этноистории при условии взаимного дополнения концепций конструктивизма и примордиализма – реконструкции общества и его истории [Перевалова, 2017. С. 7].

этнографических классификаций, а также следуя физико-географическому районированию (или ареальному подходу)²⁴, Л. Н. Корякова дополнила характеристику культурной изменчивости в раннем железном веке, введя новое понятие и обоснование саргатской общности [Корякова, 1991а; 1991б; 1993]. В основных чертах ее определение сводится к следующему.

Значимый критерий – сходство основных материальных и духовных стереотипов культуры в пределах определенной территории (Урало-Иртышской провинции) и конкретного исторического отрезка времени (ранний железный век). Формирование общности обусловлено единством экологических и исторических причин. Обязательное условие – археологическая и хронологическая непрерывность материала, которая была заложена генетическими связями и устойчивостью местных групп населения, восходящих к эпохе бронзы. В силу социальных и исторических причин границы общности были подвижны [Корякова, 1991а. С. 13–16; 1991б. С. 3–8].

Однако чаще при интерпретации материалов лесостепного населения и населения, охваченного его влиянием, привычно используется понятие культуры [Матвеева, 2000; 2005]. Впрочем, термин «общность» также встречается в некоторых публикациях других авторов, в которых оценивается историческая роль саргатского населения [например, Могильников, 1973; 1992а; 1998; Матющенко, 1991] или рассматриваются отдельные аспекты социальной организации [Погодин, 1997].

Понятие «саргатская общность» состоятельно еще и потому, что включает в себя разнообразные типы памятников и керамики, большинство из которых были систематизированы В. Е. Стояновым [Стоянов, 1969; 1970]. Как уже было отмечено в предыдущей главе, все они датированы началом железного века, археологически плохо представлены и мало изучены. В то же время эти типы (или

²⁴ Литература по проблемам районирования обширна и представлена публикациями и этнографов, и археологов [см., например: Левин, Чебоксаров, 1955; Андрианов, Чебоксаров, 1975; Косарев, 1984; Алексеев, 1986 и т.д.]. В развернутом виде основы культурно-исторической общности – применительно к палеолитическим культурам с большим территориальным охватом – были даны А. А. Формозовым [Формозов, 1959].

исследовательские конструкты) характеризуют непродолжительные периоды, предшествующие появлению и утверждению или угасанию признаков, отличающих собственно саргатскую культуру. Из этого можно заключить, что под саргатской общностью следует понимать совокупность всех образований в пределах Тоболо-Иртышской провинции [Корякова, 1991а. С. 20]. Все эти образования, которые характеризуются не только схожей атрибутикой, мозаичностью распространения, но и наложением границ, маркируются близкими формами культуры, хозяйственной деятельностью и ее результатами. Подобное соседство могло иметь и иное выражение – локальные варианты, диалектные различия [Корякова, 1991б. С. 8]. Очевидно, что в рамках общности сопоставительные интерпретации конкретизируются стилистическими особенностями, что нашло наглядное отражение в керамической посуде. Непродолжительные по времени культуры и типы памятников демонстрируют линии развития, для которых отмечается парадоксальная похожесть различных выделенных типов керамики [Стоянов, 1969]. Невысокие показатели коэффициента различия зауральской керамики были выявлены как по формообразующим, так и по орнаментальным признакам [Шарапова, 2000. С. 20–25].

Оба термина нельзя безоговорочно признать удачными [Корякова, 1988. С. 15–18; 1993. С. 12]²⁵. Однако на содержательном уровне, когда культура рассматривается в динамике со свойственными ей периодами формирования, стабилизации и распада и оставленной людьми, оба понятия работают. Более того, выходя на уровень интерпретаций и поиска закономерностей, представляется более продуктивным не ограничиваться только изучением отдельных культур и связанных с ними памятников. По крайней мере с того момента, как Л. Н. Корякова обозначила данную проблему в археологии железного века региона, альтернатив в литературе не появилось, варианты «саргатская культура» и «саргатская общность» представлены в археологическом лексиконе. В целом оба понятия – культура и общность – широко употребляемы в

²⁵ В разное время на это указывали В. Ф. Генинг [Генинг, 1983. С. 32] и М. Б. Щукин [Щукин, 2005. С. 14].

иерархии социумов [Викторова, 2017. С. 9]. Тем не менее не стоит забывать, что используемые археологами понятия тип, культура, общность и т.п. все же рабочие конструкты. Они необходимы в исследовательском процессе, а реально существовавшие в древности группы могли иметь иные границы распространения, самоназвания и т.д. Стилистические возможности археологического лексикона и связанного с ним описания несовершенны. Применительно к бесписьменным культурам прошлого они ограничены, поэтому даже на страницах данной работы «культура» и «общность» используются в ряде случаев как синонимичные понятия, равно как небезупречно употребляемое сочетание «саргатское население».

Последнее замечание влечет упоминание о концепции «культурных миров», оформившихся на просторах Евразии в раннем железном веке и определявших специфику эпохи и ход исторических процессов [Щукин, 1994. С. 11–25]²⁶. Несмотря на то, что данная тема активно обсуждалась, сам термин едва ли можно считать устоявшимся. В изложении М. Б. Щукина культурный мир в определенной мере он близок понятию «хозяйственно-культурный тип (ХКТ)», однако предлагал снять ударение со слова хозяйственный [Там же. С. 14]. Термин, предложенный М. Г. Левиным и Н. Н. Чебоксаровым, предполагает единство, обусловленное конкретными условиями среды обитания [Левин, Чебоксаров, 1955]. Впрочем, в этнографии в некоторых ситуациях – по отношению к традиционным, или доиндустриальным, обществам – допускается применение «системы жизнеобеспечения» в качестве производной ХКТ как обобщенной характеристики этноэкосистем [Ямсков, 2017. С. 42]²⁷.

Оценивая предпосылки формирования системы контактов, обмена и политических связей, связанной с распространением железа, Л. Н. Корякова

²⁶ «Каждый со своей спецификой материальной культуры, своим способом ведения хозяйства и социального устройства, с особым менталитетом преобладающей части населения. Первый – это мир античной греко-римской цивилизации, второй – кельтский, третий – мир культуры Центральной и Северной Европы... Затем два особых мира населения лесной зоны Восточной Европы, потом мир степных кочевников сарматов и наконец – фрако-гето-дакийский Карпатского бассейна и Нижнего Подунавья» [Щукин, 2005. С. 14].

²⁷ В то же время в современных условиях разные этносы могут относиться к одному ХКТ и у одного этноса могут встречаться разные ХКТ.

расширила географию [Koryakova, Erimakhov, 2007. P. 201. Fig. 5.6] и номенклатуру культурного мира. В силу ряда причин экономического, географического и исторического характера «мир» представляет некое внутреннее единство структуры и культурной модели. Эта модель имеет одну и ту же значимость (ценность) для некоторой общности людей и существенно отличается от других подобных систем, которых придерживаются другие общности. Саргатская культура и местный лесостепной субстрат являли еще один мир лесостепных культур²⁸. Полярными проявлениями этой системы были развитые государственные образования, как центры экономического, политического и культурного влияния, и рыхлые социальные структуры лесной зоны Восточной Европы и Сибири [Щукин, 1994. С. 15–16; Koryakova, 2003. P. 265–266].

Таким образом, рассмотренные здесь понятия, принятые одними археологами и не поддерживаемые другими, являются всего лишь аналитическим инструментом исследования. Их значимость не столько в точности предложенных определений: они не бесспорны, далеко не всегда отражают прошлое ископаемой культуры. Их состоятельность, как удачно заметил А. М. Хазанов, заключается в том, насколько адекватны выбранные методологические подходы поставленным целям [Хазанов, 2002. С. 13]. Переход к феномену культурной сложности с его широким понятием культурного позволяет современным языком объяснять мир древнего социума. Для этого, по словам В. А. Тишкова, необходимо отказаться от одержимости групповыми категоризациями [Тишков, 2003. С. 33]. В сложном процессе историко-культурного развития фактор среды, природной/географической и социальной, является довольно устойчивым индикатором изучаемых групп населения.

²⁸ Фрагмент пленарного доклада IV научной конференции «Археологические источники и культурогенез» (г. Санкт-Петербург, 14-18 ноября, 2017 г.), тезисы см.: Корякова, Шарапова, 2017.

*§ 3. Материальный мир и погребальная обрядность*²⁹

Обозначив территорию распространения саргатских древностей, можно перейти к характеристике культурного комплекса. Материальный мир лесостепного населения региона рассматриваемой эпохи неоднократно удостоивался специального внимания и подробно описан [Стоянов, 1969; Полосьмак, 1987; Корякова, 1988; Могильников, 1992а; Матвеева, 1993б; 1994]. В целом эти исследования не претерпели серьезных изменений и используются до сих пор. Морфология керамики, приемы ее орнаментации, типология вещевого комплекса, домостроительство и архитектура, погребальная обрядность сформировали основы археологии саргатской культуры. Кроме того, появившиеся после обобщающих работ старших коллег новые данные, особенно по Притоболью, дополняя существующие гипотезы, полнее раскрывают древнюю культуру зауральско-западносибирского населения, ее многообразие и уникальность. Важность рассмотрения культуруопределяющих признаков обитателей лесостепи определяется еще и тем обстоятельством, что характер существования человеческих коллективов на определенной территории связан с системой жизнеобеспечения. Современные исследования отводят жизнеобеспечению социумов способность формировать специфическую среду во взаимодействии природных и социальных факторов [Сатаев, 2018. С. 81]. Между

²⁹ При подготовке этого раздела диссертации учтены следующие публикации, подготовленные в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Шарапова С.В., Ражев Д.И. Погребения саргатской культуры: новый взгляд на известные факты // Российская археология. – 2016. – №3. – С. 60–72. (JCI 0,27) (доля автора 0,5 п.л.);

Шарапова С.В., Пилипенко А.С., Ражев Д.И., Трапезов Р.О., Черданцев С.В. Два мужских погребения из кургана саргатской культуры: биоархеологический и палеогенетический обзор // Stratum Plus. – 2020. – №3. – С. 353–378. (JCI 0,25) (доля автора 1 п.л.);

Шарапова С.В., Малашев В.Ю. Хроноиндикаторы I–III в. н.э. из лесостепных памятников Тоболо-Иртышья // Нижневолжский археологический вестник. – Т. 21. №1. – 2022. – С. 171–192. (SJR 0,28) (доля автора 1 п.л.);

Шарапова С.В., Бачура О.П., Грачев М.А., Карапетян М.К., Киселева Д.В., Косинцев П.А., Костомаров В.М., Окунева Т.Г., Шагалов Е.С., Якимов А.С. Информационный потенциал разрушенных погребений саргатской культуры: курган Новопокровка 16 в Среднем Прииртышье // Нижневолжский археологический вестник. – 2023. – Т. 22. №2. – С. 65–96. (доля автора 0,5 п.л.).

тем древние и/или бесписьменные культуры представлены фрагментарными материальными остатками. Следовательно, еще и поэтому их рассмотрение в контексте изучения древнего населения и его среды обитания не лишено основания.

Результаты раскопок поселенческих памятников, особенно в русле междисциплинарных исследований, позволяют получить разнообразную информацию о том, как жили, в каких условиях, чем занимались люди, населявшие лесостепь к востоку от Урала в железном веке. Помимо разноплановых лабораторных исследований, в немалой степени этому способствует изучение вещевого комплекса поселений и городищ – керамики и иных бытовых предметов (ножи, пряслица, проколки, шилья, тупики и т.п.). За рамками таких проектов остается основной вопрос о людях, некогда обитавших там: каков был их образ жизни и как они связаны с создателями курганов, которые исследовались археологами. Однако с учетом выбранной парадигмы в центре внимания оказываются данные погребальных памятников, что не означает полного отсутствия информации по изучению поселений.

Несмотря на существующие трактовки бинарности «материальное» – «духовное» [Клейн, 2013. С. 198–208], термин «материальная культура» используется здесь в традиционном для археологов понимании, имеющем широкий смысл и включающем характеристику жилищ, орудий труда, утвари, оружия, одежды, регалий и т.п. Кроме того, именно вещественные компоненты культуры нашли отражение в саргатских древностях. Известно, что погребальный источник в ряде случаев используется при характеристике духовной культуры. Однако материалы раскопок саргатских памятников не содержат данных, обеспечивающих содержание основных форм сознания, а следовательно, и достоверность излагаемых суждений. Таким образом, исходя из функционального различия материальной и духовной культур, «правильнее будет считать материальной культурой те вещи, орудия, навыки, знания, которые являются

продуктами материального производства или обслуживают материальную жизнь общества» [Соколов, 1972. Цит. по: Клейн, 2013. С. 202].

Поселения и жилища. Как уже упоминалось выше, первое основательное обобщение было сделано В. Е. Стояновым [Стоянов, 1969]. Систематизация материалов поселений была выполнена с учетом отдельных объективно фиксируемых признаков с последующим картографированием в пределах территории между Уралом и Иртышом. Со временем разработанная им типология стала активно применяться для анализа археологических объектов отдельных культур, некоторые ее положения становились основой новых схем, воссоздавая архитектурный облик древних поселений. В частности, это работы Г. В. Бельтиковой для памятников иткульского очага [Бельтикова, 1977], В. А. Борзунова для гамаюньских памятников [Борзунов, 1992; 1994], Л. Н. Коряковой, И. Ю. Чикуновой и С. В. Берлиной для саргатской культуры [Корякова, 1988; 1994а; Чикунова, 2006в; Берлина, 2010].

Далее в тексте диссертации среди многочисленных примеров, демонстрирующих жилую среду лесостепных групп, предпочтение отдано материалам Павлинова городища (рис. 34, 47–58) [Среда, культура..., 2009]. Основная причина состоит не только в том, что этот памятник на протяжении нескольких лет исследовался Зауральской лесостепной археологической экспедицией, но еще и в том, что с этим поселенческим комплексом связан и раскопанный могильник (полученный антропологический материал включен в анализируемую выборку) (рис. 34–46). Так, последующая биоархеологическая реконструкция саргатской популяции предваряется характеристикой объектов гипотетического проживания группы, оставившей сопининские курганы. Кроме того, памятник наглядно демонстрирует особенности хронологического локуса и смешение разных культурных традиций. Эти замечания справедливы и по отношению к результатам исследований Прыговского городища [Daire et al., 2002] и одноименного могильника [Корякова и др., 2010].

Еще на рубеже бронзового и железного веков наметилась тенденция к перемещению значительной части долговременных поселений на естественно укрепленные места. Но в целом система расселения продолжает сформировавшуюся еще в предшествующий период основу. Несколько позднее произошло массовое распространение простейших укреплений – предшественников городков средневековья [Борзунов, 1994. С. 203]. В. Е. Стоянов определял большинство лесостепных поселенческих памятников региона как долговременные, наличие или отсутствие укреплений позволило разделить их на селища, городища и поселения [Стоянов, 1970. С. 239–243]. Современная типология, предложенная для жилой и оборонительной архитектуры на материалах саргатской культуры, включает два вида – укрепленные (городища) и неукрепленные поселения. По расположению на местности они делятся на мысовые и береговые [Берлина, 2010. С. 6–7].

В канун железного века строительство лесостепных городищ было вызвано социально-экономическим развитием местных сообществ: совершенствование отгонной формы скотоводства сопровождалось экспансией на территории населения с традиционно присваивающими отраслями хозяйства [Борзунов, 1994. С. 235–236; Корякова, 1994а. С. 262–263]. Фортификации аборигенов лесостепи и групп пришельцев демонстрируют схожие элементы, что, возможно, объясняется их развитием в условиях определенной зависимости друг от друга [Борзунов, 1994. С. 235–236; Корякова, 1994а. С. 264]. Наиболее сложными в плане оборонительных сооружений считаются городища гороховской культуры (V–III вв. до н.э.), где акцент делался на возводимую систему укрепления [Стоянов, 1970. С. 241–242; Борзунов, 1994. С. 238]. Еще одной значимой формой производящей экономики эпохи железа являются металлургическое производство и формирование Зауральского (иткульского) очага (VII–III вв. до н.э.), функционировавшего в зоне высокой активности соседей – савромато-сарматских и сакских, гороховско-саргатских, ананьинских групп [Бельтикова, 1997]. Производственные сооружения на иткульских поселениях представлены

металлургическими печами, кузнечными горнами, площадками для металлообработки [Бельтикова, 1986; 1988; 1993]. Защита производственных центров была вызвана необходимостью охраны технологических секретов металлургов и производимого ими продукта [Борзунов, 1994. С. 236], что повлекло строительство укреплений иткульских городищ.

Отсутствие четкой территориальной дифференциации культурных образований раннего железного века Западной Сибири неоднократно подчеркивалось коллегами. Вследствие этого начинают появляться поселки со смешанным населением, что наглядно подтверждается составом керамических коллекций раскопанных памятников. Открыт вопрос о носиловских городищах (конец бронзового – начало железного века), многослойность большинства зауральских поселений также не позволяет установить точное число памятников баитовского типа (не ранее VII и не позднее IV вв. до н.э.). В Притоболье некоторые крупные и раскопанные большими площадями городища содержат слои и объекты, в том числе оборонительные, соотносимые с ранними образованиями: Рафайловское [Матвеева, 1993а], Баитовское, Прыговское [Шарапова, 1999; Daire et al., 2002. P. 147–243], Павлиново (рис. 49-А, 51, 52) [Корякова и др., 1995; Среда, культура..., 2009]. Есть и «чистые» поселенческие комплексы. Например, в Притоболье – Гороховское (Чудаки) и Малоказакбаевское городища, откуда происходит только гороховская керамика, или в Приишимье – Лихачевское с баитовской керамикой [Шарапова, 2000. С. 14–19]. Н. В. Полосьмак привела сведения о поселенческих памятниках Барабинской лесостепи, где были получены керамические комплексы саргатской культуры [Полосьмак, 1987. С. 6–9]. Саргатские поселения Прииртышья исследовались небольшими по площади раскопками, датируются очень широко, материалы практически не введены в научный оборот: Богдановское [Могильников, 1966], Инберень IV (Батаково VI) [Корякова, Стефанов, 1981], Батаково XIX [Погодин, 1999].

Усложнение планировки за счет увеличения числа площадок по большей части исключение. Такие городища известны в ареале распространения иткульских памятников – Иткульское II (двухплощадочное), Большегорское (четырёхплощадочное). Многоплощадочные городища гороховской культуры усложнены башнями и башнеобразными выступами – двухплощадочное Гороховское (Чудаки), трехплощадочное Воробьевское [Борзунов, 1994. С. 236–239]. Среди саргатских выделяется Богдановское городище с двумя смежными площадками [Могильников, 1992а. С. 297]. Однако применение низковысотной съемки в ходе полевых обследований позволило выявить третью линию укреплений Богдановского городища (рис. 11). Между тем вопрос их соотношения пока открыт.

Сведения о поселениях в лесостепной Барабе обрывочны. Есть данные В. А. Борзунова о городище Новочекино 4 – «оно круглое, диаметром 50 м» [ср.: Полосьмак, 1987. С. 6; Борзунов, 1994. С. 243]. В Прииртышье к крупным городищам В. А. Могильников относил Богдановское, однако точная его площадь неизвестна: памятник разрушается высоким берегом Иртыша [Могильников, 1992а. С. 297]. Лучше изучены поселения западного ареала Тоболо-Иртышской провинции. В Среднем Зауралье иткульские городища небольшие – от 250 до 1000 кв. м, в Южном Зауралье и Притоболье – до 3600 кв. м [Борзунов, 1994. С. 237]. Среди гамаюнских поселений значительно преобладают укрепления площадью до 1000 кв. м [Там же. С. 36–37]. Поселения саргатской культуры разнообразны по площади: есть относительно небольшие – до 250 кв. м, средние – 1200–2000 кв. м и 3300–4400 кв. м [Берлина, 2010. С. 7], а также большие – до нескольких десятков тысяч кв. м [Корякова, 1994а. С. 263; Матвеева, 2000. С. 84]. Площади поселений с кашинской и прыговской керамикой определялись по количеству жилищных впадин – до 10 000 кв. м [Викторова, Кернер, 1988. С. 129–130].

Разница в размерах саргатских поселений позволила говорить о существовании городищ-центров с обширным примыкающим посадом (округа,

слобода). К таковым отнесены Рафайловское [Матвеева, 1993а] и Павлиново [Среда, культура..., 2009].

Многолетние раскопки Павлинова городища показали, что посад вокруг крепости со временем разрастался, однако это не было непрерывным процессом. На начальном этапе (IV-III вв. до н.э.) крепость застраивалась местным, зауральским населением, для которого характерны традиции «тальковой» (иткульская, воробьевская, главным образом гороховская) керамики, при саргатском присутствии (рис. 49-А, 51, 52). Начиная со II в. до н.э. здесь господствуют саргатские стереотипы, в русле которых происходят значимые для данного контекста изменения: появление импортной (среднеазиатской) и кашинской посуды (рис. 53, 54). Кости верблюда происходят также из постройки поздней группы с территории посада (рис. 57, 58) [Среда, культура..., 2009. С. 163–169]. Небольшие размеры укрепленной площадки (рис. 48) не позволяют принять в качестве единственной исключительно военную функцию городища. Состав коллекций крепости и посада не дает прямых доказательств различий в статусе их обитателей: архитектурные решения жилищ стилистически и конструктивно близки (рис. 49-Б, 50, 57); доли фрагментов импортной керамики внутри и за пределами укреплений практически одинаковы. Обнаружена разница в видовом соотношении домашних животных, представленных остеологическим материалом из разных частей поселения. На городище отмечено явное преобладание костей лошади, а на посаде – крупного рогатого скота. Исходя из этого можно допустить, что неоспоримое преобладание лошади на территории крепости отражает большую степень подвижности скотоводства и, следовательно, более высокий статус ее обитателей [Там же. С. 262–266]. Известно, что в силу разных причин³⁰ лошадь всегда ценилась выше других видов домашнего скота, а в стадах скотоводов, не имевших возможности кочевания, преобладал крупный рогатый скот [Руденко, 1961. С. 2–8]. При этом пищевые ресурсы восполняются

³⁰ Специфика природных условий засушливой зоны Евразии определила разведение животных, умеющих тебеневать, то есть лошади и в меньшей степени овцы [Першиц, 1994. С. 139].

большим количеством молока и молочных продуктов, заготавливаемых впрок [Антипина, 1997. С. 24]. Говоря о степени подвижности скотоводства, стоит вспомнить, что еще В. Е. Стоянов отметил доминанту лошади в памятниках гороховской культуры, что позволило говорить о большом удельном весе кочевничества в хозяйстве ее представителей [Стоянов, 1977. С. 156–158]. На существование определенной социальной неоднородности среди обитателей Павлинова городища указывают и материалы раскопок могильника [Шарапова, 2002], что будет рассмотрено в заключительной главе. В любом случае наличие каких-то не распознанных нами или несохранившихся символов определенных социальных различий двух частей поселения исключать нельзя.

В существующей литературе скопления памятников или микрорайоны интерпретируются как места проживания различных племенных групп [Корякова, 1988. С. 33–34] или связываются с особенностями экономического освоения территории [Матвеева, 2000. С. 29–37]. Оригинальная гипотеза принадлежит С. В. Берлиной: выделившиеся среди других, доминирующие поселения стали центрами микрорайонов, именно там происходили торгово-обменные процессы и накопление ресурсов [Берлина, 2010. С. 6]³¹. Однако иерархия разнотипных поселков не изучалась. Есть только наблюдение Л. Н. Коряковой, что городища располагаются выше, чем неукрепленные поселения [Корякова, 1994а. С. 263].

Характеристики жилищ достаточно подробно даны В. Е. Стояновым [Стоянов, 1969], Л. Н. Коряковой [Корякова, 1988; 1994а], С. В. Берлиной [Берлина, 2010]. Все известные на сегодняшний день постройки различаются формой (округлая, прямоугольная, многоугольная и т.п.), различной глубиной котлована (наземные или полуземляночного типа), количеством камер (от одной до нескольких) и, соответственно, площадью. Например, на территории крепости Павлинова городища исследованы жилые сооружения различной площади – от

³¹ К сожалению, С. В. Берлина не приводит конкретных фактов (данных раскопок), подтверждающих эту гипотезу. Очевидно, что подобная интерпретация восходит к признанию караванной торговли отраслью экономики лесостепного населения – предположению, сделанному в том числе и на основании находок костей верблюда от восьми особей на Рафайловском селище [Матвеева, 1993а. С. 118; 2014].

25 кв. м (постройка 1) до 154 кв. м (постройка 3) (рис. 49) [Среда, культура..., 2009. С. 35, 41]. Размеры объектов, исследованных на территории посада (рис. 57), практически аналогичны тем, что реконструируются для укрепленной площадки (рис. 48, 49-Б, 50) [Иванова, Батанина, 1993; Среда, культура..., 2009. С. 74–75].

С. В. Берлина выделила несколько вариантов жилых сооружений: конические, двух- или четырехскатные каркасно-столбовые, или срубы, и без следов конструкций [Берлина, 2010. С. 8–11]. Для однокамерных жилищ ранней группы (носиловских, байтовских) В. Е. Стоянов допускал также существование односкатной или плоской крыши [Стоянов, 1969]. Входы оформлялись в виде проема в стене (чаще для ранних построек) либо коридорами-тамбурами. Причем различной формы коридорами соединялись и камеры жилищ. Иногда вдоль стен фиксируются небольшие по размеру нишеобразные выступы, в некоторых из них зафиксированы следы хозяйственной деятельности. Очаги, с канавками или без них, располагались преимущественно в центре сооружения, но известны случаи, когда пятна прокала находились у стен. Особенности расположения остатков интерьера (следы нар, столки) и бытового «мусора» (керамики и костей) позволили исследователям разделить пространство внутри на хозяйственное и спальное [Могильников, 1992а. С. 298; Корякова, 1994а. С. 272–273; Берлина, 2010. С. 7–11].

Участие в культурогенезе лесостепного населения различных групп не могло не отразиться на архитектурном разнообразии жилой среды. Но поскольку эти процессы проходили в одинаковых природных условиях на всем пространстве Тоболо-Иртышской провинции, данное обстоятельство и определило бытование близких типов жилищ, истоки которых усматриваются и в предшествующих эпохах и других культурах [Корякова, 1994а. С. 274]. Весьма специфической для раннего железного века считается традиция многокамерного строительства гороховской и саргатской культур. Так, сочетание двух типов домостроительства отмечается для построек 3, 5 и 9 (рис. 48, 49-Б, 50), раскопанных в пределах

укрепленной площадки Павлинова городища [Среда, культура..., 2009. С. 34–67]. Гороховские традиции обнаруживаются в объединении жилой и хозяйственной камер в единый комплекс и наличии многоочажности, а саргатские – в размещении по периметру жилищ многочисленных пристроек и выступов различной конфигурации. В целом подобное решение характерно для оседавшего кочевого и полукочевого населения [Неразик, 1982. С. 166].

Сведений о населенности лесостепных поселений крайне мало. Попытки демографических расчетов предпринимались на материалах двух из трех крупнейших памятников саргатской культуры – Рафайловского [Матвеева, 2000. С. 80–95; Чикунова, 2006в. С. 11] и Павлинова [Среда, культура..., 2009. С. 260–262] городищ, локализованных в Притоболье. Для других культурных образований и локальных вариантов сведений нет.

На примере Рафайловского городища, включив примыкающее к нему селище, Н. П. Матвеева определила примерное количество населения поселка, численность и состав стада. Условные нормы площади, которые применяла автор в своих расчетах, изложены Л. Н. Коряковой и А. С. Сергеевым [Корякова, Сергеев, 1989. С. 168–169]. В результате гипотетическая численность населения, проживавшего в условных 160 жилищах Рафайловского комплекса, составила около 1600-1800 человек [Матвеева, 2000. С. 85]. И. Ю. Чикунова скорректировала предложенные ранее показатели за счет вычета жилой площади и соотнесла эти данные с этапами функционирования поселка: на раннем этапе существования – 450-500 человек, на среднем – 950-980 человек, на завершающем – 350-400 человек. Оптимальное число обитателей Рафайловского городища и селища она определила в 550-560 человек [Чикунова, 2006в. С. 11]. Потенциальная экономическая зона имела радиус 10-12 км вокруг поселка [Матвеева, 2000. С. 87]. Экологическая емкость экономической зоны влияния Рафайловского комплекса установлена И. Ю. Чикуновой в 1270 голов стада, которое, в свою очередь, «могло прокормить от 50 до 115 семей или 250–575 человек» [Чикунова, 2006в. С. 11].

Другой сценарий реализован на материалах раскопок Павлинова городища, для которого используются те же условные нормы площади – 4 кв. м [Корякова, Сергеев, 1989. С. 168–169; Матвеева, 1989б. С. 46]. В ходе раскопок выяснилось, что сооружения первого хронологического горизонта (IV–III вв. до н.э.) в значительной мере уничтожены более поздними постройками. Это обстоятельство не позволило достоверно установить площади некоторых ранних строений. Более того, за вычетом фортификаций на площадке городища вскрыто чуть более 47 % внутреннего пространства (рис. 48), из них 21,5 % приходится на три неразрушенных жилища второго горизонта – постройки 3, 5 и 9 (площади которых без учета выходов и привходовых тамбуров составляют 154, 110 и 40 кв. м соответственно). Потому выбор собственно городища для проведения демографических расчетов наиболее оправдан. Также площадка внутри укреплений – это обдуманное и преднамеренно ограниченное пространство для расселения коллектива или какой-то его части. Следовательно, без риска большей ошибки реконструкция численности обитателей может быть выполнена только для этой наиболее полно археологически изученной части. Численность обитателей раскопанных жилищ, то есть на 47 % площади внутри укреплений, установлена в 68 человек. Таким образом, население всего городища могло бы составлять 145 человек. С учетом поправок на норму площади пола [Евдокимов, 1984. С. 17], соответствующую 5,5 кв. м на одного человека для таких больших жилищ, изменится общая оценка количества жителей. Для трех раскопанных построек второго горизонта (II – середина I в. до н.э.) она составит 56 человек, а для всего городища – 120 [Среда, культура..., 2009. С. 260–261]. Оценка численности населения обширного посада затруднена как недостаточной изученностью этой части памятника, так и многочисленными наложениями одних жилищных впадин на другие, что отчетливо определяется по аэрофотоснимку. При допущении, что застройка на посаде могла быть более свободной, чем на крепости, ориентировочная численность жителей посада могла составлять около 900 человек [Там же. С. 261–262]. При всей гипотетичности этих цифр

несомненно одно: в период расцвета (конец I тыс. до н.э. – рубеж эр) на поселении проживали многие сотни человек, при этом крепость из-за своей малой площади не могла быть убежищем для многочисленных обитателей посада. Следовательно, группа людей, оставившая курганы Сопининского 1 могильника, могла проживать в крепости Павлинова городища [Шарапова и др., 2003].

Культовые площадки. Н. П. Матвеева включает в погребальные памятники саргатской культуры и культовые сооружения – земляные ограды и жертвенные столпы – со ссылкой на данные раскопок Савиновского могильника в Притоболье [Матвеева, 2000. С. 29; Матвеев, Матвеева, 1991б. С. 34–39]. Однако их количество неизвестно. Допуская вероятность таких объектов в лесостепи, Н. П. Матвеева ссылается на описания курганов, сделанные авторами XVIII–XIX вв. [Матвеева, 1994. С. 117–118]. В настоящее время известны подобные сооружения только в памятниках на Тоболе (Савиновский мог., кург. 3), Ишиме (мог. Абатский 1) и Иртыше (Андреевка-V). Культовая площадка в составе Савиновского могильника остается пока единственным в своем роде полностью раскопанным объектом. Принадлежность к кругу саргатских древностей определяется по керамике, фрагменты которой содержат характерный фестончатый орнамент [Матвеев, Матвеева, 1991б. С. 34]. Данные по Прииртышью ограничиваются разведочным обследованием. Указанные сооружения находятся в пределах курганных некрополей. Например, в могильнике Андреевка-V их планировка близка к прямоугольной, с перемычками в северной и южной сторонах. Заслуживает особого упоминания их местоположение: каждая из трех площадок находится к северу-западу от каждого из трех самых больших курганов в могильнике [Зотов, 2019]. В целом по основным характеристикам – ограды как кольцевые, так и прямоугольные (с одной или двумя перемычками-входами) – эти памятники вызывают ассоциации с южноуральскими комплексами могильников Лебедевский IV–VI и Покровка 10 (кург. 30, 63, 122), известным для позднесарматского времени [Мошкова, 1984. С. 197–200; Малашев, Яблонский, 2008. С. 23–24; Малашев, 2013. С. 30–32]. В

свою очередь, южноуральские сооружения обнаруживают соответствие комплексам, исследованным на Устюртском плато Чаш-тепе [Рапопорт, Трудновская, 1979; Мошкова, 1984. С. 200]. Отмечая масштабность и планиграфическую сложность комплекса Чаш-тепе, В. Ю. Малашев предположил вторичность кольцевых и прямоугольных валообразных насыпей Южного Приуралья и Зауралья по отношению к сооружениям Чаш-тепе [Малашев, 2013. С. 31–32]. Что касается рассматриваемых площадок на саргатской территории, то, несомненно, любые интерпретации возможны только после раскопок (например, неисследованного прежде могильника Андреевка-V, предпочтительнее с захватом в сетку раскопа кургана и культовой площадки).

Погребальная обрядность. Прежде чем перейти к характеристике погребальной обрядности населения лесостепной зоны от Урала до Барабы – носителей саргатской культуры, представляется целесообразным привести немногочисленные сведения о захоронениях представителей местных групп еще и потому, что эти данные малоизвестны. Сейчас уже не вызывает сомнения, что аборигенное население региона имело систему разнообразных культурно-хозяйственных связей, установившихся с момента появления здесь раннесаргатских коллективов. В то же время может быть не столь продолжительно, но существовала и самобытность, фиксируемая нами в немногочисленных материалах, в том числе и погребальных памятниках.

Парадоксально, но с момента выхода обобщающей публикации по обрядности [Корякова, 1994б] мы практически не имеем новых данных по восточному ареалу саргатской культуры. Диссертационная работа Н. А. Берсеновой по Среднему Прииртышью [Берсенева, 2005], лишенная хронологического контекста, представляет культуру статичной, хотя очевидно, что наблюдаемая вариативность имеет не только территориальную, но и временную специфику. Исследование Н. П. Матвеевой содержит хронологические особенности развития обрядности саргатских коллективов, но в нем исключены локальные отличия [Матвеева, 2005]. В то же время для западной

части Тоболо-Иртышской провинции наблюдается прирост пока немногочисленных, но абсолютно новых данных, в том числе и для начальной стадии эпохи железа [Стефанов, 1998; Ковригин, Ражев, 2007; Корякова и др., 2010; Чаиркина, 2011].

Еще В. Е. Стоянов отмечал, что генетические процессы на востоке и западе протекали своеобразно. В Зауралье почти не выражены андроновские традиции, где фиксируются черты предшествующих эпохе железа культур севера лесостепи и леса. Со временем различия между ареалами менялись, обозначив основную тенденцию – от многообразия к относительному однообразию [Стоянов, 1970. С. 249–251].

По имеющимся на сегодняшний день данным, нет возражений тому, что в раннем железном веке для лесостепной зоны Зауралья курганный обряд погребения не практиковался, его распространение связано с гороховской и саргатской традициями (рис. 5, 96-Б). В могильниках Зауралья саргатская лепная посуда составляет наборы вместе с гороховской, кашинской, прыговской (рис. 32, 39). На востоке отличающиеся по своим изначальным традициям кулайские и саргатские сосуды изредка находят в одних и тех же погребениях (например, мог. Старый Сад 1, кург. 33, погр. 6), либо в саргатских погребениях известна керамика, сочетающая саргатские формообразующие черты и кулайские орнаментальные мотивы (мог. Венгерovo 7) [Полосьмак, 1987. С. 42. Рис. 34-6, 67-2]³².

Археологические данные демонстрируют отсутствие погребений у населения, оставившего поселения с керамикой носиловского, баитовского, воробьевского типов. Возможно, что ими практиковался обряд, альтернативный ингумации под курганом – аналогичный тому, что мы наблюдаем в материалах иткульской культуры. Например, существовало мнение, что могильники гамаюнской и иткульской культур в массе своей однозначно неизвестны.

³² Кулайская керамика в небольшом количестве есть и в слое саргатских городищ. По крайней мере, Л. Н. Корякова упоминает об одном таком эпизоде их совместного нахождения на Розановском городище [Корякова, 1988. С. 112. Рис. 31-11].

Отмечалось только, что погребения с иткульскими материалами гипотетически могут входить в их число [Бельтикова, 2005. С. 162; Чаиркина, 2011. С. 157]. Относительно недавно появились новые данные о единичных погребениях, для которых принадлежность к иткульской культуре установлена по ряду неоспоримых фактов. Так, два захоронения, выявленные на Скворцовской горе V в Зауралье, по типологии металлических вещей, наличию керамики иткульского типа и радиоуглеродному датированию отнесены к иткульским [Чаиркина, 2011. С. 125–154]. Более того, местоположение сопроводительного инвентаря и сохранность антропологического материала позволили предположить практику наземных погребений и кремации на стороне. Несомненно, этот комплекс заслуживает внимания, поэтому он был включен в анализируемую выборку. Не менее уникальным является и могильник Куртугуз I, материалы которого также демонстрируют сохранившиеся элементы обрядности местного населения (рис. 79–83) [Стефанов, 1998; Ковригин, Ражев, 2007]³³.

Расположение этих памятников в пространстве показывает их приуроченность к водоемам (рис. 78), а прилегающие к ним участки осваивались еще и в предшествующие железному веку эпохи. Скворцовская гора V занимает мысовидную площадку Шигирского палеоозера, Куртугуз I – южный берег одноименного озера. Поскольку географически эти объекты расположены в горно-лесной зоне, на всех присутствуют выкладки камня, а захоронения на берегу оз. Куртугуз вообще совершались в скальном грунте. Тем не менее все останки находились в могильных ямах овальной или прямоугольной форм, ориентировка скелетов – преимущественно головой в северный сектор. Размеры камеры зачастую не соответствовали размеру тела погребенного. Помимо индивидуальных (одиночных) захоронений, есть случаи коллективных (склепы) с последующим подхоронением умерших в более раннюю могилу. Так, в

³³ Среди известных погребений с иткульским инвентарем опубликованных материалов очень мало, большая часть их происходит из плохо документированных раскопок, для которых нет исчерпывающей информации о контексте (разрушенное погребение на оз. Иткуль, Шайдурихинский мог.), сохранившегося антропологического материала и, следовательно, соответствующих определений (погр. 10 Прыговского мог., Березки VIIIA). Сводка по этим комплексам представлена в монографии Н. М. Чаиркиной [Чаиркина, 2011].

могильнике Куртугуз I, погребении 2 (яма 1), достоверно определяется следующая последовательность: скелет 5 → скелет 1 → скелет 3 → скелеты 9, 7–8 → скелеты 6 и 2 (рис. 79, 80-А). Для большинства случаев зафиксирована ингумация вытянуто на спине, когда труп был обернут в пелены, предположительно из бересты (Куртугуз I, погр. 2 (яма 2), ск. 1, 2, 3, 6, 9) (рис. 80-Б, 81). Полученные в ходе раскопок материалы могильника Куртугуз I свидетельствуют о фактах нарушения анатомической целостности скелета, а также о последующем формировании скоплений из человеческих останков. Так, анализ положения костей скелета 1 из погребения 2 (яма 1) позволяет интерпретировать данное захоронение как парциальное, поскольку на момент похорон череп отсутствовал, а тело без головы было обернуто упругим материалом. В некоторых случаях имела место практика вторичных захоронений (Куртугуз I, погр. 2 (яма 2), ск. 4, 7, 8) (рис. 81-А,В). Данное обстоятельство может указывать на сезонность, то есть эпизодически возникавшие затруднения в доступе к месту и в совершении обряда погребения, что могло быть вызвано дальними расстояниями, промерзанием грунта, снежными заносами и т.п. Наблюдаемые в нескольких случаях следы воздействия огня демонстрируют как частичное обгорание трупа в могилах (Куртугуз I, погр. 2, ск. 6, и погр. 4, ск. 2; Скворцовская гора V, погр. 3 и 4), так и скопления, состоящие из костей со следами воздействия огня (Скворцовская гора V, участки за пределами погребений). Не исключается практика наземных или воздушных захоронений в среде местного населения, как минимум для групп, оставивших могильник Куртугуз I и погребально-культурную площадку Скворцовская гора V [Ковригин, Ражев, 2007. С. 173; Чаиркина, 2011. С. 154–155]. Иных удовлетворительных объяснений обнаружению в культурном слое этих памятников многих десятков разрозненных костей человека нет. Приведенные данные малочисленны, но тем не менее наглядно демонстрируют вариативность погребального обряда в местной среде в первой половине раннего железного века.

Керамика представлена настолько незначительно, что можно говорить о ее весьма скромной роли в сопроводительном инвентаре. Во всех случаях, даже когда типологическая атрибуция сосудов затруднена, это местная посуда с характерной примесью талька (рис. 83). В составе вещевого комплекса доминирует металл (в основном петельчатые бляхи, ножи, фрагменты зеркал) (рис. 82-7,8). Иные находки представлены подвесками (амулетами) и костяными наконечниками стрел. Могильник Куртугуз I отличает использование в обрядовых действиях дикой фауны – медведя, лося и косули. Примечательно, что для погребально-поминальных практик использовались главным образом части черепа (челюсти и зубы медведя, рога лося), что недвусмысленно свидетельствует о преднамеренном отборе туш этих животных.

Доступный для анализа тафокомплекс включает останки взрослых мужчин и женщин (Скворцовская гора V), а также детей и подростка наряду со взрослыми (Куртугуз I). Ввиду малого количества и фрагментарности материалов любая корреляция инвентаря, способа захоронения с полом и возрастом погребенных без риска углубиться в область недоказуемых догадок едва ли возможна. В целом авторы исследований не оспаривают принадлежность погребений к стационарным кладбищам местного (восточноуральского) населения, пограничное обитание которого в районах на стыке географических и культурно-хозяйственных зон и определило специфику рассматриваемых комплексов [Ковригин, Ражев, 2007. С. 174; Чаиркина, 2011. С. 157].

Таким образом, известные на сегодняшний день погребения местного населения некуранные. При этом оба некрополя располагаются на возвышенности, что в представлении древних людей семантически могло соответствовать кургану. Гипотетически оба представляют собой своеобразные склепы, формирование которых было обусловлено определенными резонами: в условиях плотного скального грунта происходило подхоронение в уже существующие могилы, сезонность предания земле умерших или иные социально-ритуальные причины обусловили отсроченность, парциальность

обряда ингумации или появление скоплений из кремированных останков. Однако ввиду малочисленности данных целостного представления о погребальной обрядности аборигенов Среднего (горно-лесного) Зауралья все еще нет.

Большинство используемых в данной диссертации материалов саргатских могильников уже неоднократно входило в основу источниковой базы аналитической работы по изучению погребально-поминальной ритуальности в масштабах как всей культуры [Корякова, 1988; 1994б; Могильников, 1992а; Матвеева, 2000; 2005], так и ее локальных проявлений [Полосьмак, 1987; Матвеева, 1993б; 1994; Берсенева, 2005]. Всесторонняя характеристика погребальной обрядности гороховской культуры дана В. А. Булдашовым [Булдашов, 1998] и Н. П. Матвеевой [Матвеева, 2000], отдельные ее элементы рассматривались Л. Н. Коряковой [Корякова, 1994б].

Поскольку реконструируемая обрядность имеет схожее выражение и у саргатского, и у гороховского населения, представляется целесообразным дать ее общую характеристику с детализацией специфических элементов. Тем более что по ходу изложения взаимосвязь саргатских и гороховских групп, определивших облик западной части Тоболо-Иртышской провинции, неоднократно упоминается.

Основные диагностические черты, вошедшие во все публикации, сводятся к следующему: курганный способ погребения, труположение вытянуто на спине, ориентировка головой в северный сектор, применение древесины для обустройства погребальных камер и для надмогильного перекрытия. Также отмечается разнообразное использование огня в ритуальной практике. Высокотемпературному воздействию с разной степенью интенсивности подвергались и конструкции, и умершие. Остатки напутственной пищи фиксируются в виде костей животных и сосудов. Прочий сопроводительный инвентарь включал предметы вооружения и быта, украшения, разнообразный импорт (там, где он обнаружен). В целом можно говорить о каноничности курганного способа погребения и его устойчивых чертах на протяжении веков.

Практически всеми без исключения признается, что саргатские курганы располагаются группами, цепочками или одиночно (рис. 5, 11, 24, 59, 73, 76, 84-В, 92). Однако в этом нельзя исключать фактор фрагментарности или сохранности дошедших до наших дней курганов, казуальности их выявления. Очевидно, что варианты объяснений могут быть различными. На это косвенно могут указывать данные по разведочному обследованию в окрестностях с. Новопокровки Горьковского района Омской области [Булакова, 2019; Зотов, 2019]. Топографически фиксируемые отличия в расположении разных по величине и количеству курганов нуждаются в проверке археологическими раскопками для уточнения их гипотетически возможной иерархии и/или одновременности. С большой долей осторожности можно предположить существование иерархически организованных кладбищ, однако подобные допущения возможны лишь для отдельных районов Среднего Прииртышья³⁴. Для Притоболья необходимо иметь в виду и масштабы антропогенного разрушения древних некрополей. Барабинская и Ишимская серии крайне малочисленны, что накладывает еще большие ограничения, сводя любые гипотезы к домыслам.

В зависимости от объема насыпи различают малые, средние и большие курганы [Стоянов, 1973. С. 45. Табл. А, Б; Корякова, 1977. С. 138–139. Табл. 1]. Несмотря на то что насыпи многих курганов разрушены распашкой, выявленная в расчетах В. Е. Стоянова и Л. Н. Коряковой тенденция позволяет объективно различать курганы. Вслед за ними В. А. Могильников также отмечал, что количественно большие и средние курганы (диаметром от 20 м) преобладают на Иртыше; средние – в Барабе; средние и мелкие – в Приишимье; мелкие и большие – в Притоболье [Могильников, 1992а. С. 299]. Помимо локального своеобразия и динамики, а также социального статуса погребенного в центральной яме, в какой-то мере наблюдается разная археологическая

³⁴ Предварительные результаты раскопок автора в Среднем Прииртышье курганов Новопокровка 16 и 10 (насыпи разной величины и находившиеся в составе различных групп курганов) демонстрируют их хронологические различия и не исключают вероятность социальной дифференциации погребенных (полевые материалы автора).

представленность, вызванная еще и сохранностью, в меньшей мере степенью изученности памятников в разных районах.

Сейчас уже не вызывает сомнения, что курган – это сложное по своей архитектуре погребальное сооружение. Насыпь выкладывалась из кусков дерна и имела пирамидальную, ступенчатую форму [Корякова, 1988. С. 47]. Примечательно, что аналогичные выводы были получены и для курганов степного пояса, в том числе и с более сложным архитектурным решением – сооружением вертикальных элементов конструкции, оставлением проходов [например, Зданович и др., 1984; Балабанова и др., 2014. С. 64–67, 71–79; Кривошеев, Борисов, 2017. С. 113; Borisov et al., 2019]. Анализ почвенного профиля, предпринятый для Сопининского 1 могильника, детализирует устоявшуюся в литературе технологию сооружения курганов. В частности, во время досыпки кургана 1 и возникновения погребения 9 на образовавшуюся поверхность выравнивания вблизи курганной насыпи выкладывался дерн. Снятые с поверхности его куски величиной 20 × 15 см размещались в один слой. Образовавшиеся позднее зазоры увеличивались, края их разрушались, однако к моменту раскопок в них все еще сохранялись многочисленные полуразложившиеся корешки травянистой растительности. Более того, они сохраняли ненарушенную структуру с высокой естественной влагоемкостью. Такие участки медленнее высыхают, благодаря чему выделяются на фоне переотложенного материала, который насыпался следом на поверхность дерна, заполняя все зазоры и полости. Последним из ям извлекался выброс, который со временем проникал по трещинам в переотложенный материал и межблочья дерна. Небольшая толщина слоя выброса, в несколько сантиметров, может указывать на его разравнивание на расстоянии 2-3 м от погребения 9. Вероятно, подновленный курган представлял собой сооружение с крутыми склонами. По результатам почвенных исследований установлено, что «позднее произошло значительное обрушение кургана ливневыми потоками, сносившими к подножью рыхлый материал насыпи» [Иванов, Табанакова, 2003; Среда, культура..., 2009. С. 206].

Для больших курганов могильника Скаты 1 истощение гумусового горизонта отмечено в радиусе до 1 км (рис. 96) [Daire et al., 2002. P. 94]. Таким образом, эти наблюдения согласуются с предложенной ранее гипотезой Н. П. Матвеевой, что пласты дерна могли нарезаться на территории могильника [Матвеева, 1993б. С. 136]³⁵.

Схожая ситуация была отмечена для кургана Новопокровка 16 в Среднем Прииртышье [Шарапова, 2021; Шарапова и др. 2023]. Морфологическое строение насыпи демонстрирует, что курган был сложен почвенно-дерновыми блоками, а его сооружение происходило в несколько этапов. Так, в разрезах ровика зафиксированы материковые прослойки, разделяющие три гумусированных слоя. Их количество маркирует начальные этапы почвообразования и указывает на функционирование в качестве открытой системы не менее трех сезонов [Шарапова и др., 2023. С. 72]. Полученные сведения подтверждают поэтапное возведение кургана, факт которого допускался по стратиграфическим данным [Матвеева, 1993б. С. 136], так и разной глубиной залегания остатков различного рода приношений [Корякова, 1994б. С. 153]. Более того, на электромагнитных разрезах, выполненных для кургана Новопокровка 16, определяются особенности прохождения сигнала, связанного с заполнением ровика и его конфигурацией, что свидетельствует о его более раннем сооружении, нежели самой могилы [Шарапова и др., 2023. С. 69]. Такая интерпретация геофизических измерений согласуется с выводами Н. П. Матвеевой по Притоболью [Матвеева, 1993б. С. 136]. Между тем существует иная точка зрения, согласно которой ограждения сооружались только для законченных погребальных конструкций [Корякова, 1977. С. 141]. Еще раз такие случаи будут рассмотрены ниже.

Л. Н. Корякова отметила, что около трети курганов Прииртышья и Приишимья содержат площадки из глины или песка [Корякова, 1994б. С. 138]. По планам старых отчетов довольно трудно установить конструктивные особенности

³⁵ В ходе раскопок кургана Новопокровка 10 было зафиксировано искусственное понижение уровня материка за пределами ровика по всей окружности, что, согласно почвенным исследованиям, может свидетельствовать об использовании дерна на возведение кургана непосредственно у его подошвы (полевые материалы автора).

многих сооружений, но эта информация может быть дополнена новыми данными. В кургане Новопокровка 16 прерывистое кольцо выкида представляло собой плоскую глиняную платформу, размещенную поверх подрезанной погребенной почвы [Шарапова, 2021]. В большинстве других известных случаев, фиксируется материковый грунт из ямы, который выкладывался вокруг могилы. Линзы или полукруглые платформы суглинка встречаются в разных курганах (рис. 8, 35, 43, 59-Б, 62, 70, 74-1, 85), но их почти нет в малых (например, мог. Щучье 1, кург. 1, и Карасье 8, кург. 6) [Шарапова и др., 2001]. В остальных же они зафиксированы над перекрытием центрального погребения (мог. Карасье 9, кург. 11; Гаевский 1, кург. 3, 5–7; Сопининский 1, кург. 1 и 2) [Культура зауральских..., 1997; Ковригин и др., 2006; Среда, культура..., 2009]. Различные сооружения из древесины или иной растительности подобны тем, что обнаружены в комплексах гороховской культуры (рис. 97, 99, 103). В. А. Могильников вслед за другими [например, Смирнов К.Ф., 1964. С. 273; Стоянов, 1970. С. 251–253] отмечал, что шатровые перекрытия (рис. 19) имеют юго-западное происхождение, восходящее к савроматским истокам [Могильников, 1992а. С. 299]. Внушительное по своим размерам и устройству двухслойное (бревенчатое со слоем бересты) перекрытие, превышающее по своим размерам могильную яму, было расчищено в кургане 2 гороховского могильника Скаты 1 (рис. 97). Более того, конструкция была обожжена [Daire et al., 2002. P. 64–68. Fig. 33]. Такие сооружения в целом характерны для курганов V–III вв. до н.э. Прииртышья, Приишимья и Притоболья [Корякова, 1977. С. 138; Матвеев, Матвеева, 1985. С. 71]. Радиальная конструкция из березовых бревен венчала материковую подушку выкида вокруг центрального погребения 1 кургана 2 могильника Новооболонь [Татаурова, 2008]. В. А. Могильников на примере кургана 1 в Богдановке 3 допустил, что два разнотипных перекрытия, «...вероятно, отражают сочетание местной (поперечный накат) и привнесенной (шатер) традиций в конструкции погребальных сооружений» [Могильников, 1992а. С. 299]. Л. Н. Корякова

связывала появление курганов с большими по размерам и форме конструкциями с явлениями, имевшими социально-этническую основу [Корякова, 1988. С. 48].

Около половины раскопанных курганов окружены ровиками – замкнутыми или прерывистыми, которые могли быть округлыми, овальными или многоугольными [Там же]. Между тем в Прииртышье наличие двух перемычек округлого ровика зафиксировано в кургане 7 Могильника Богдановка 2 [Могильников, 1977], кургане Новопокровка 16 [Шарапова, 2021]. Подобные ограждения погребальных площадок не связаны с размером кургана. Например, в могильнике Щучье 1 курган 2, диаметром 11 м, был оконтурен довольно глубоким (около 1 м от уровня древнего горизонта) замкнутым ровиком [Шарапова и др., 2001]. В некоторых случаях погребальная площадка была окружена несколькими ровиками, что свидетельствует о разных этапах совершения захоронений. Например, вокруг кургана 3 в Гаевском 1 могильнике было выявлено два ровика (рис. 59-Б) [Культура зауральских..., 1997. С. 13]. Среди всех известных выделяется курган 3 могильника Исаковка 1, вокруг которого находилось четыре ровика [Погодин, 1989]. В кургане 2 Сопининского 1 могильника было зафиксировано, что ровики – один округлый, другой прерывистый – сооружались через какой-то промежуток времени (рис. 43) [Среда, культура..., 2009. С. 192]. Своеобразные следы подновления рва – добавление еще одного сегмента после совершения впускного захоронения – зафиксированы дважды в Притоболье. Вероятно, с поздним погребением 9 кургана 1 Сопининского 1 могильника связана небольшая канавка, продолжающая ров и находящаяся рядом (рис. 35) [Там же. С. 173. Рис. 8.1б]. В кургане 3 могильника Щучье 1 восточнее ровика, со стороны погребения 3, на незначительном удалении от него была зафиксирована полоса, плавно соединяющаяся с ровиком. На этом участке абрис дополнительного ровика повторял контур основного [Шарапова и др., 2001]. Данные факты не обособляют эти некрополи от других, они лишь иллюстрируют отмечаемую всеми вариативность.

Процесс сооружения кургана и его последующее функционирование как кладбища сопровождались различного рода поминальными тризнами. Их следы в виде костей животных и керамики встречаются как на уровне древнего горизонта, так и в слоях насыпи и заполнении ровиков. Остатки шести хорошо сохранившихся костных скоплений найдены в кургане Новопокровка 16: одно – в северной перемычке на уровне погребенной почвы, остальные пять – в заполнении ровика [см.: Шарапова и др., 2023]. В ходе проведенного анализа археозоологических материалов определяются кости лося в составе ритуального тафокомплекса, но основным видом жертвенного животного была лошадь, причем забивались как молодые (определены жеребцы 5–6 лет), так и взрослые особи (10–12 лет). В некоторых случаях головы животных были разделены на два приношения (череп и нижняя челюсть), совершенных на удалении 2–3 м, то есть на каком-то этапе поминальных церемоний могло быть не менее двух³⁶. Способ их размещения – исключительно в восточной половине – сближает курган Новопокровка 16 с курганом 2 могильника Бещаул III [Погодин, 1988]. Присутствие дикой фауны в составе «жертвенного стада», в целом, не выходит за рамки погребально-поминальной обрядности населения саргатской культуры: кости лося, а также косули обнаружены как в слоях насыпи курганов (мог. Гаевский 1, кург. 3, 4, 5), так и в захоронениях (мог. Стрижево I, кург. 5, погр. 1; Сопининский 1, кург. 1, погр. 9) [Могильников, 1969; Культура зауральских..., 1997. С. 115–116; Шарапова, 2002]. Однако эти аспекты все еще остаются изученными слабо.

По старым материалам мало что можно сказать о подготовке погребальной площадки. Пожалуй, наиболее пригодным источником для подобных реконструкций могут служить данные раскопок Сопининского 1 могильника [Среда, культура..., 2009. С. 170–206, 244–269].

³⁶ На то, что кости не перемещены в процессе археологизации, указывают их местоположение относительно границ ровика и глубина залегания, а также отдельно найденная нижняя челюсть от особи 10–12 лет. Иными словами, остатки тризн зафиксированы *in situ*.

Все исследованные там объекты – два кургана и одно бескурганное захоронение – располагались на краю или вблизи едва заметных возвышений террасы (рис. 34). В процессе раскопок не зафиксировано сколько-нибудь отчетливых следов сакрализации пространства, напротив, местами отмечалась несрезанная дернина. По аналогии с погребальными комплексами культур скифо-сибирского облика можно допустить, что сначала маркировались центр площадки и ее внешняя граница в виде ровика (там, где он сооружался). Центральная могила перекрывалась деревянной конструкцией, которая располагалась на древней дневной поверхности. При этом проход к центру подкурганного пространства осуществлялся по погребальной дорожке, которая вела по перемычке ровика (рис. 35, 43). Такой вариант – доступ по дорожке через разрывы в выкиде к входу в погребальное сооружение – реконструирован, в частности, В. С. Ольховским [Ольховский, 1999. С. 124–125. Рис. 4]. Представляется, что незамкнутость границ рва, наблюдаемая нами в кургане 1 (рис. 35), а по аналогии с ним и в других случаях, могла отвечать именно этим целям. Л. Н. Корякова, подсчитав коэффициенты сходства по основным обрядовым признакам, заметила, что многие признаки погребальной обрядности вне зависимости от локального варианта саргатской культуры фиксируются уже с раннего времени [Корякова, 1988. С. 132–134. Табл. 12]. Эти выводы подтверждают высказанное ранее В. Е. Стояновым допущение [Стоянов, 1970. С. 249].

В сопининских курганах ровики выкапывались от поверхности погребенной почвы, прорезая гумусовый горизонт, и были углублены в материковый грунт. Выкид из ровика мог складываться как по обе, так и только с одной стороны. По заключению почвоведов, ровики подвергались замыву: интенсивное почвообразование шло в хорошо увлажнявшемся понижении, по бокам рва гумусированность не достигла такого состояния, какое было выявлено для непереотложенной почвы у полы кургана [Среда, культура..., 2009. С. 205]. Затечный характер заполнения ровика (без дополнительного сегмента) был отмечен для кургана 1 в этом могильнике. С учетом участков с хорошо

сохранившейся стратиграфией можно допустить, что именно такой вид ровик имел к моменту совершения самого позднего в кургане погребения 9 (рис. 35). С другой стороны, погребальная практика саргатского населения представлена и иными примерами. В частности, Н. П. Матвеева на материалах исследованных ею притобольских могильников определила обратную последовательность: ровик выкапывался после процесса захоронения и сопутствующих обрядов (поминальные тризны, архитектурное завершение кургана) [Матвеева, 1993б. С. 136]. Таким образом, ограждения могли появляться как на начальной стадии сооружения кургана, так и позднее.

Саргатские курганы представлены одно- и многомогильными усыпальницами. Анализ составленной базы по памятникам разных локальных вариантов культуры не обнаружил каких-либо отклонений от выявленной ранее тенденции. Однако материалы раскопок могильников, не вошедших в прежние выборки, некоторым образом дополнили ее, по крайней мере, наличием максимально известных на сегодня количеством могильных ям в одном кургане. При этом важно учитывать существенное обстоятельство: количество вводных в контуры ямы («ярусных») захоронений под одной насыпью могло быть и больше³⁷. Но неоднократно упомянутые разграбленность захоронений и трудности работы со старыми, плохо документированными отчетами, а также отсутствие публикаций в данном контексте подчеркивают определенную условность этого критерия. Курганы с одним погребением есть во всех локальных районах. Далее по количеству могил в одном кургане выделяются следующие комплексы: в Барабе – Венгерово 7, кург. 1 (10 ям) (рис. 6); на Иртыше – Новооболонь, кург. 6 (12 ям), Богдановка, кург. В (13 ям), и Бещаул 3, кург. 1 (14 ям) (рис. 8); на Ишиме – Абатский 1, кург. 3 (11 ям), Абатский 3, кург. 2 (18 захоронений вместе с кашинскими); на Тоболе – Сопининский 1, кург. 1 (9 ям³⁸)

³⁷ Для кургана Новопокровка 10 на основании антропологических определений и данных археологии допускается пять впускных захоронений в центральную могилу (полевые материалы автора).

³⁸ В норе в юго-западном секторе кургана было расчищено несколько костей скелета, принадлежащих ребенку 1–3 лет. Допускается, что это были остатки впущенного в насыпь захоронения, впоследствии разрушенного [Среда, культура..., 2009. Табл. 10.4].

(рис. 35). Как правило, все многомогильные курганы демонстрируют признаки планировочной структуры: погребения располагаются группами в ряд (Венгерово 7, кург. 2) или по кругу (мог. Бещаул 3, Гаевский 1) (рис. 8, 59-Б, 70). Известно небольшое количество погребений в ровиках (Исаковка 1, кург. 6; Новооболонь, кург. 1 и 5; Абатский 3, кург. 2 и 5; Сопининский 1, кург. 2 (рис. 44), а также между ровиками (Абатский 3, кург. 4).

Анализируя динамику обрядности, исследователи отмечали, что для ранних этапов (V–III вв. до н.э.) характерны курганы с одним погребением в центральной части площадки, но с III в. до н.э. распространяется обычай размещения впускных погребений вокруг основного, и уже со II в. до н.э. он становится доминирующим [Могильников, 1992а. С. 299]. Несколько раньше Л. Н. Корякова детализировала основные черты погребальной обрядности, рассмотрев их не только в динамике, но и в пространстве. Также она отметила уменьшение к III в. до н.э. доли шатровых курганов, которые в Притоболье сохранялись дольше. Кроме того, многие признаки в западном ареале сохранялись дольше, чем в восточном. Так, например, наличие одной могилы как массовое явление на Иртыше затухает к концу III в. до н.э., в то время как в Приишимье и Притоболье такие курганы еще существовали и во II в. до н.э. [Корякова, 1988. С. 134–135]. В какой-то мере этому выводу не противоречит курган 3 Мурзинского 3 могильника: одна центральная яма, в которой последовательно были погребены женщина 40-50 лет, а затем мужчина 30-50 лет. Датировка кургана определяется II-I вв. до н.э. (рис. 76-Б, 77) [Daire et al., 2002. P. 37, 53].

Случаи наложения могил без изменения контуров ямы (так называемые ярусные) известны, но они довольно редко надежно документированы, так как в массе своей разрушены грабителями. В этой связи вновь целесообразнее обратиться к материалам Сопининского 1 могильника, в ходе изучения которого археологически фиксируемые свидетельства (такие как параметры ям и разнообразный инвентарь) подкреплены антропологическими данными (идентификация разрозненных костей по индивидам). В кургане 1 факт введения

впускной могилы в более раннюю без изменения контуров первоначальной ямы установлен для неоднократно ограбленных могил: центральных погребения 1 кургана 1 (ск. 2, мужчина, старше 30 лет → ск. 1, женщина 40-50 лет) (рис. 36) и погребения 1 кургана 2 (ск. 3, мужчина, старше 35 лет → ск. 1, женщина, 30-45 лет), а также для бокового погребения 2 кургана 2 (ск. 1, мужчина, 40-50 лет → ск. 2, мужчина, взрослый → ск. 3, женщина, старше 25 лет). Рассмотренные данные позволяют говорить, что хронологический разрыв между разновременными «ярусными» захоронениями в одной могиле мог составлять до двух столетий (с возможным уменьшением или увеличением интервала в каждом конкретном случае). Так, например, это было определено для разнополых захоронений в центральной яме (погр. 1) кургана 1. Вместе с тем для этого же кургана установлено, что временной интервал между ранним центральным (ск. 1 погр. 1) и поздним впускным (последним) (погр. 9) захоронениями мог исчисляться несколькими столетиями [Среда, культура..., 2009. С. 230–231]. Схожие данные приводит Н. П. Матвеева для погребений абатских курганов Приишимья [Матвеева, 1994. С. 118–119, 139–142].

Основной вид захоронения – ингумация в ямах. В единичных случаях зафиксированы следы воздействия огня: состояние костей – от слегка обугленных до почти полностью сожженных (мог. Щучье 1, кург. 3, погр. 2). Ямы углублены как в материковый слой, так и в древнюю дневную поверхность. Последнее справедливо по отношению к впускным погребениям, для которых зачастую контуры могилы не «читаются» в гумусовом горизонте (например, Прыговский 2, кург. 2, погр. 2) (рис. 30-Г).

Принято считать, что размеры могильных ям связаны с социальным статусом, возрастом и количеством погребенных. В ходе статистического анализа Л. Н. Корякова вывела закономерность, согласно которой увеличение пространства могилы происходило за счет ее расширения, в меньшей степени – удлинения, а богатые погребения имеют максимальные отношения ширины и длины камеры [Корякова, 1994б. С. 141]. Как правило, будучи основными,

центральные погребения – самые большие в кургане. Например, так называемые золотые могилы Прииртышья – могильники Сидоровка, курган 1, погребение 2 [Матющенко, Татаурова, 1997], и Исаковка 1, курган 3, погребение 6 [Погодин, 1989]. Погребальные камеры этих боковых захоронений исключительны по своим трудозатратам и убранству, содержали разнообразный и богатый инвентарь.

Сводка типов могил с учетом локальных особенностей была составлена Л. Н. Коряковой [Корякова, 1988]. Эта информация мало изменилась и с появлением новых данных. Барабинскую серию отличают простота и неприхотливость убранства, погребения с использованием дерева относительно редки (рис. 6, 7) [Полосьмак, 1987. С. 94–95]. Установлено, что на Иртыше основной тип могил представлен ямами с отвесными и наклонными стенками, с перекрытиями и облицовками, с наличием срубов и деревянных ящиков (рис. 9, 13-Б, 15, 21) [Корякова, 1988. С. 49]. В Приишимье захоронения чаще совершались в узких и неглубоких ямах, отличающихся еще и сложным устройством – заплечиками (до четырех), ступеньками для спуска, канавками [Матвеева, 1994. С. 115]. В Притоболье в могильных камерах использовалось большое количество конструкций с использованием столбов в могильных ямах саргатской и гороховских культур (рис. 36, 74-5, 104-А) [Корякова, 1988. С. 49; Матвеева, 1993б. С. 135–136].

Могильные ямы с нишами в торцевой или продольной стенках не столь типичны для саргатской культуры. Среди учтенных в работе могильников известно всего *три* – все с территории Притоболья (Гаевский 1, кург. 6, погр. 1; Карасье 9, кург. 11, погр. 2; Тютринский, кург. 2, погр. 2) (рис. 63, 86). Во всех случаях ниши находились непременно вблизи головного края погребальной камеры. Л. Н. Корякова, а вслед за ней и В. А. Могильников включили в зону распространения таких погребений Прииртышье и Приишимье, однако без указания комплексов, что не позволяет оценить реальное количество таких объектов [Корякова, 1988. С. 49; Могильников, 1992а. С. 299]. Анализ погребений и поиск аналогий позволили допустить, что этот внешний для саргатской среды

элемент появляется довольно поздно [Шарапова и др., 2020]. В дальнейшем изложении этот сюжет будет рассмотрен специально.

Большинство саргатских погребений одиночные (индивидуальные). Сведения о парных или коллективных захоронениях приводятся в литературе, однако их характер трудно определить однозначно, равно как и количество. Л. Н. Корякова указывала, что такие погребения на всей территории саргатской культуры составляют 12 % [Корякова, 1994б. С. 142]. Данные для отдельных локальных групп распределяются следующим образом: Бараба – примерно 24 % от всех определенных (рис. 6) [Полосьмак, 1987. С. 30], Притоболье – 5,18 % [Матвеева, 1993б. С. 136]. Работа с отчетами по раскопкам могильников Прииртышья, в ходе которой бесспорность такого рода захоронений устанавливалась еще и с учетом сохранности, однонаправленности костяков, их залегания, выявила не такое уж и большое количество могил в непо потревоженных ямах: Коконовка 1, кург. 14, погр. 1 (останки пяти индивидов) (рис. 21, 22); Богдановка, кург. 2, погр. 5 (останки пяти индивидов) (рис. 13-А); Богдановка, кург. 3, погр. 1 (женщина + ребенок). Не исключено, что таких могил могло быть и больше. Однако во многих случаях, особенно для ограбленных захоронений, бывает довольно трудно определить их реальное количество, а также отделить одномоментные парные/коллективные от разрушенных «ярусных». Так, например, в центральном погребении 13 кургана В могильника Богданово сохранившиеся *in situ* находки (кости стоп и фрагменты сосудов) и их расположение в пространстве камеры ставят под сомнение, что это была одномоментная коллективная могила. Вполне возможно, что она содержала останки четырех человек, погребенных последовательно один над другим (по аналогии с курганом 2 в Сопининском 1 могильнике).

В целом, как можно судить по приведенным примерам, в саргатской погребальной практике существовали захоронения мужчины и женщины с ребенком, мужчины с ребенком и однополые погребения, как женские, так и мужские. В Барабе зафиксированы скелетные останки разновозрастных мужчины

и женщины, захороненных лицом друг к другу (Венгерово 7, кург. 1, погр. 7) [Полосьмак, 1987. С. 30. Рис. 24-5]. В Притоболье надежно документирован случай парного разнополого погребения только в Мурзинском 1 могильнике (кург. 8, погр. 1), где обнаружены комплексы как с гороховской традицией, так и с саргатской. Возможно, именно в синтезе укладов двух культур и стоит искать гипотетические объяснения парных захоронений. Не исключено, что одномоментные неиндивидуальные могилы – это некий временной признак. Культуры степного пояса демонстрируют близкое соотношение, если не динамику, одиночных и иных могил [Мошкова, 1989а. С. 171; 1989б. С. 179; 1989в. С. 191. Табл. 63, 73].

Помимо погребений мужчин, женщин и детей, из анализируемых саргатских курганов происходят девять кенотафов. В большинстве своем (шесть из девяти) происходящий из них инвентарь сопоставим с мужскими комплексами. Они известны во всех районах, кроме Барабинской лесостепи. Их небольшое количество дает возможность указать здесь все имеющиеся: Прииртышье – пять (Богдановка, кург. 1, погр. 4, кург. 2, погр. 7, кург. 6, погр. 2; Новооболонь, кург. 6, погр. 6 и 8); Приишимье – один (Абатский 3, кург. 6, погр. 8); Притоболье – три (Сопининский 1, кург. 1, погр. 4; Мурзинский 1, кург. 12, погр. 1 и 2). В некоторой степени это соотношение пропорционально количеству раскопанных объектов в каждой локальной группе. В обобщающей работе по гороховской культуре о количестве кенотафов ничего неизвестно [Булдашов, 1998]. Раскопками Зауральской лесостепной археологической экспедиции обнаружен кенотаф в гороховском могильнике Большеказакбаевский – курган 1, погребение 2 [Daire et al., 2002. P. 95–108]. Судя по размерам и наборам сопроводительного инвентаря из неразрушенных ям, все известные примеры подобных символических могил соотносятся с индивидуальными/одиночными захоронениями индивидов *мужского* пола (рис. 38, 39-1,3,4, 40-1–3).

Завершая обзор основных разновидностей могильных ям, нельзя не упомянуть захоронения в подбоях, известных в зауральских лесостепных

могильниках. Данный вид не является отличительной чертой обрядности саргатского населения, однако единично они встречаются в саргатских курганах, сохраняя отголоски традиции, отмеченной для гороховской культуры (например, Скаты 1, кург. 1, погр. 10, и кург. 3, погр. 2) (рис. 100) [Ibid. P. 58–95]. Их обустройство в курганах саргатской общности нетипично: они представляют собой своеобразные ниши, которые, возможно, стоит рассматривать в качестве имитации подбоя. К таковым, например, относится захоронение новорожденного (ск. 3) в стенке ямы погребения 1 Сопининского могильника (рис. 36-Л). Совпадение ориентировок камер – «попадание» в контуры конструкции – позволило объединить его и погребенного на дне могилы взрослого мужчину (ск. 2) в рамках одной (ранней) хронологической группы раскопанных объектов, датированных IV–III вв. до н.э. [Среда, культура..., 2009. С. 206]. Иной вариант размещения представлен в исследованном А. В. и Н. П. Матвеевыми Гаевском 2 могильнике – в стенке рва (кург. 19, погр. 2) [Матвеев, Матвеева, 1996]. В кургане 1 на посаде Павлинова городища могильная яма 3 также оформлена в виде подбоя [Иванова, Батанина, 1993. С. 116–118. Рис. 10-3]. Такие исключения вновь иллюстрируют и специфику западного ареала культуры, и влияние соседних культур, и социальные различия. Хотя и эти объяснения далеко не исчерпывают все возможные варианты, когда ситуация могла быть иной и быть связанной, допустим, со специфическими обстоятельствами смерти.

В существующих исследованиях саргатской погребальной обрядности основной акцент сделан на типы могильных ям. Все же не менее интересным представляется вопрос, какой инструмент применялся для их сооружения? Достоверных сведений крайне мало, однако единичные данные по Прииртышью позволяют приблизиться к ответу. В частности, в разграбленном центральном погребении кургана Новопокровка 16 на ровной поверхности материкового дна и вдоль стенок пестрели многочисленные следы-зарубки, грунт в которых по своим свойствам отличался от основного заполнения могильной ямы [Шарапова и др., 2023. С. 72]. В. А. Могильниковым были отмечены аналогичные следы вдоль

стенок камеры в погребении 5 кургана 1 могильника Богдановка 1 и интерпретированы как оставленные тесловидными орудиями при копке могилы [Могильников, 1968]. Более того, в совокупности с археотанатологическими наблюдениями и неповрежденностью стенок и дна могильной камеры подобные зарубки с большой долей вероятности позволяют допустить, что разрушения западносибирских курганов совершались еще задолго до сибирского бугрования; возможно, современниками населения саргатской культуры. Конечно же, губительные последствия деятельности бугровщиков не отрицаются.

В пользу интерпретации саргатских курганов как семейных кладбищ не раз высказывались различные исследователи [Корякова, 1994б. С. 167; Культура зауральских..., 1997. С. 95, 137; Матвеева, 2000. С. 253 и др.], что предполагает некий доступ внутрь кургана-усыпальницы. Археологические допущения в некоторых случаях подкрепляются антропологическими и палеогенетическими данными, о чем подробно будет изложено ниже. Очевидно, что фиксируемая вариативность являет собой разнообразные примеры его возможного существования, они уже были описаны по материалам могильников Прииртышья [Погодин, 1988] и Притоболья [Матвеева, 1993б. С. 136]. Раскопки сопининских курганов дополнили сделанные ранее наблюдения. В частности, в кургане 1 возможность объединить погребения 1 (центральное) и 8 (боковое) сделана на основании планиграфии (расположение почти в одну линию с центральной ямой) и стратиграфии выявленных объектов (материковый выкид и перекрытие лежали на древней поверхности) (рис. 35). Синхронность этих комплексов подтверждается и датировками сохранившегося инвентаря. Иное проявление доступа в могилы демонстрируют и «ярусные» погребения. Надмогильная конструкция, вероятно, разбиралась, затем совершалось захоронение и проводились трапезы. Со временем в насыпь вводились новые погребения, а площадка снова могла быть окружена рвом. Как правило, большинство периферийных погребений – поздние. Такое соотношение центральных и боковых захоронений в целом типично для саргатских могильников [Корякова, 1988;

Могильников, 1992а; Матвеева, 1993б]. В пользу этого свидетельствует и погребальный инвентарь, в том числе и керамика.

Все приведенные выше факты относятся к курганному обряду. Сравнительно небольшое количество захоронений, над которыми не зафиксированы насыпи, наводит на мысль, что существовал альтернативный способ погребения. Л. Н. Корякова приводит сведения о 12 таких погребениях: три – на Иртыше, семь – на Ишиме, два – в Притоболье [Корякова, 1977. С. 142]. Однако по доступным данным довольно трудно однозначно говорить о том, имеем мы дело с особым погребальным обрядом или это остатки могильников с насыпями. Так, из этого числа были исключены комплексы, находящиеся рядом с остатками саргатских курганов, поскольку могли представлять следы позднее разрушенных насыпей. Более того, включенные в притобольскую группу погребения Перейминского могильника в последнее время все чаще относятся к кругу древностей эпохи Великого переселения народов [Викторова, Морозов, 2000. С. 407–408; Матвеева, 2016. С. 8, 114–120].

Работы Зауральской лесостепной археологической экспедиции в Притоболье не только дополнили перечень таких объектов новыми памятниками, но и обеспечили стратиграфическими наблюдениями возможность бескурганых захоронений.

Гороховский могильник Скаты 1, курган 3, погребение 3 [Diare et al., 2002. P. 68–69. Fig. 34, 37-2] (рис. 99, 102-1). Захоронение женщины 50–60 лет было выявлено за пределами насыпи – на расстоянии чуть более 2 м от северо-западного края полы кургана. Могильная яма была углублена в материковый слой на 20 см (с учетом погребенной почвы не более полуметра), имела прямые стенки и относительно ровное дно. Располагавшийся на дорсальной поверхности костяк представлен поясом верхних и нижних конечностей, находившихся тем не менее в полном анатомическом соответствии. Тело умершей было вытянуто, ориентировка головой в северо-западный сектор, руки покоились вдоль корпуса тыльной стороной вверх. Забегая вперед, стоит отметить, что скудный

сопроводительный инвентарь, состоявший из половинки глазчатой бусины из синего стекла, кусочков бесформенного железа и бронзы, позволил впоследствии, наряду с другими фактами, говорить о селективном принципе формирования курганных некрополей.

Грунтовое (бескурганное) погребение Сопининского 1 могильника (рис. 46) [Среда, культура..., 2009. С. 200–202]. Обнаружено на естественном микровозвышении, могильная яма прорезала дневной горизонт. Примечательно, что вместе с двумя исследованными курганами этого могильника погребение без насыпи составляло одну группу, вытянутую по линии северо-восток – юго-запад. Глубина могилы в материке около полуметра, дно ровное, стенки вертикальные. Скелет мужчины, умершего в возрасте 25–35 лет, располагался на спине, с выпрямленными вдоль корпуса руками и ногами, головой на северо-восток. В стратиграфическом разрезе ямы и прилегающих к ней участков представлены только слои заполнения, верхняя часть которых содержала включения желтого грунта, и погребенная почва. Никаких следов перекрытия и разрушения обнаружено не было. Тем не менее в положении костей скелета наблюдались отклонения от правильного анатомического порядка, которые выражались в смещении большинства костей верхнего отдела скелета к продольной стенке. Кроме того, отмечалась малочисленность ребер и позвонков. Возможная реконструкция, проведенная полевыми антропологами, предполагает отсроченное захоронение. Вероятно, умершего по каким-то причинам не могли похоронить сразу и сохраняли достаточно продолжительное время до проведения надлежащего обряда. При этом тело было завернуто в мягкие пелены, достаточно надежно фиксирующие положение головы, таза, коленей и голеностопных суставов. Труп находился в положении, при котором ноги оказались ниже головы, а левая сторона – чуть выше правой. В ходе разложения незафиксированные и уже не сочлененные скелетные элементы перемещались вниз. Погребение состоялось, когда тело уже частично разложилось. Это объясняется тем, что сместились внутри предполагаемого кокона именно те скелетные элементы,

соединения которых наименее устойчивы к разложению: ключицы, кости грудной клетки, позвонки, нижняя челюсть. Кости ног к моменту похорон еще сохраняли связки, поскольку они обладают наиболее прочным соединением тканей. Поясная застежка находилась в заполнении могилы над головкой правого бедра. Такое положение позволяет допустить ее принадлежность к фиксирующим элементам погребального свертка [Ражев, Курто, Зайцева, 2005; Шарапова и др., 2003].

Приведенный пример бескурганного погребения примечателен еще и практикой отсроченного захоронения. Кроме него еще один пример был выявлен несколько ранее при раскопках в Тюменском Притоболье.

Могильник Карасье 9, курган 11, погребение 2 (рис. 85-А, 86, 87, 88-4,5) [Шарапова и др., 2001; 2019; Ковригин и др., 2006]. В периферийной неграбленной могиле были расчищены скелетные останки женщины, умершей в возрасте 40–50 лет, череп которой был прижизненно деформирован. Погребение зафиксировано на уровне материка, следов выкида вокруг него не обнаружено – могила впускная. Прямоугольной формы яма была ориентирована длинной осью по линии восток–северо-восток – запад–юго-запад, то есть параллельно направлению рва на этом участке. Отличительной чертой являются низкие асимметричные заплечики и узкая погребальная камера. Обряд отсроченного захоронения реконструирован на основании выявленных посмертных изменений: череп находился ниже анатомически правильного положения, налегая на грудные позвонки; шейные и грудные позвонки, образуя единый ансамбль, находились в положении, обратном физиологическому; верхние концы плечевых костей и кости ног в области коленных суставов были неестественно сближены. Такое положение указывает на то, что до помещения в могилу мягкие ткани уже успели частично разложиться. При этом тело умершей было завернуто в мягкий материал (возможно, в войлочную кошму) с фиксацией головы, плеч, верхней части бедер и стоп. Особенности залегания костей черепа и позвонков позволяют предположить, что в период разложения мягких тканей головной конец свертка располагался выше ножного, что возможно, например, при транспортировке, которая могла занять от

нескольких недель до нескольких месяцев [Судебная медицина..., 2009. С. 321, 322]. Вероятны два не исключающие друг друга сценария похорон. Согласно первому, захоронение было совершено с наступлением теплого времени года. Так, существование отложенных весенних похорон зафиксировано на пазырыкских материалах [Полосьмак, 2001. С. 241], также нашло отражение в материалах культур лесного круга [Зайцева, 2005. С. 24] и подтверждается наблюдениями, сделанными почвоведом на основе ряда раннесарматских памятников Волго-Уральских степей [Демкин, Демкина, 1998]. При принятии второго варианта допускается подхоронение тела после доставки к месту погребения, что, в свою очередь, может указывать на степень родства между индивидами из центральных и впускных могил.

В приведенных выше единичных примерах представлены попытки реконструкции посмертных покровов, основанные с учетом возможностей археотанатологии [Duday, 2009]. Как известно, в саргатских погребениях факт использования деревянных внутримогильных конструкций и гробовищ устанавливается по находкам фрагментов древесины, различным ямкам и канавкам на дне камер [например, Корякова, 1988. С. 49]. Определенные трудности вызывают фрагментарность получаемой информации из-за разграбленности и специфика сохранности материалов из органики. В ряде случаев на дне могилы удавалось зафиксировать следы некоей подстилки из бересты или травы, иногда берестой были накрыты тела погребенных [Корякова, 1994б. С. 142; Могильников, 1992а. С. 299–300]. В этой связи навыки полевой антропологии позволяют восполнить недостающие звенья при характеристике посмертных обрядовых действий и тафономических процессов. Особенности расположения костяков в неграбленных могилах позволили допустить наличие погребальных покровов из мягких (ткань, войлок) или более грубых (кожа, древесина) материалов. Возможные варианты не исчерпываются упомянутыми выше двумя случаями, ниже приводятся частные случаи иных проведенных реконструкций для непотревоженных захоронений.

Гаевский 1 могильник, курган 3, погребение 5 (рис. 60) [Культура зауральских..., 1997. С. 18–20, 21, 90]. Периферийная прямоугольная яма прорезала древний дневной горизонт на глубину 30 см, ориентирована по линии запад – восток. На дне обнаружен скелет женщины, возраст смерти которой составлял 40–60 лет. Положение костяка – вытянуто на спине, череп слегка наклонен к груди, что позволяет говорить о наличии органической «подушки»³⁹ под головой; руки покоились вдоль корпуса – правая вытянута, находясь ладонью вниз, левая согнута в локте; ноги выпрямлены. Внутри погребения скелет был окружен древесным тленом со всех сторон, исключая головной отдел. Однако никаких существенных остатков дерева над и под ним обнаружено не было. Предположение о том, что тело было обложено досками по бокам более вероятно, чем то, что оно было помещено в ящик. Наблюдаемое легкое сжатие на уровне плеч может объясняться тем, что покойник был слегка вдавлен в дно камеры. С этим согласуется и положение позвоночника, который находился ниже боковых частей скелета, как это бывает, когда могила имеет вогнутое дно. Поскольку некоторые кости смещены за пределы объема тела, можно допустить, что покойник какое-то время находился в пустом пространстве.

Гаевский 1 могильник, курган 6, погребение 1 (рис. 63) [Культура зауральских..., 1997. С. 37–38]. Прямоугольной формы боковая могила с трех сторон имела заплечики. Небольшое расширение глубиной 5–7 см в головном конце ямы выполнено путем подкопов в прилегающих северо-западной торцевой и северной продольной стенках, что по форме находит соответствие в своеобразных ямах-нишах для установки заупокойных даров; там же фиксировался маломощный древесный тлен (короб?). Глубина в материковом грунте – 1,40–1,45 м. На дне был расчищен костяк подростка 10–12 лет, ориентировка – головой в северо-западный сектор. Перед захоронением умерший

³⁹ Помещение под голову покойного земляных «подушек» или растительного происхождения встречается в захоронениях среднедонского населения раннего железного века [например, Либеров, 1965; Пузикова, 2001]. Остатки песка и растительности от смеси, которой была набита «подушечка» под головой умершей, зафиксированы в погребении 4 кургана Новопокровка 10 (полевые материалы автора).

был уложен на спину с вытянутыми вдоль корпуса руками, ладони были обращены вниз, а ноги выпрямлены. Затем тело было обернуто плотным, но гибким покровом (кожаным/текстильным?), который был скреплен в области плеч, таза и коленных суставов. На то, что это был скрывающий покров, а не просто локальная фиксация тела, указывает неконтролируемое положение нижних отделов рук, одна из которых оказалась поверх корпуса, а другая – под ним. Ниже коленей ноги не были закреплены. На них была надета свободная обувь, возможно высокая, сохранившая элементы костей в анатомическом соответствии и не сблизившая их плотно друг с другом. Обернутое тело было уложено в могилу и придвинуто к западному краю ямы. В нишу в головном отделе был установлен деревянный/берестяной короб (при условии, что зафиксированный там тлен – его остатки) и положены заупокойные дары. Слева от умершего свободное пространство было занято сложносоставным луком, от которого сохранились парные концевые накладки. Голова покойного была приподнята высокой «подушкой». После захоронения погребальная камера какое-то время оставалась незаполненной грунтом, была лишь перекрыта деревом, которое со временем истлело. Именно в таких пустотах происходило разложение мягких тканей, что привело к повороту влево ступней и распадению их костей. Покров корпуса, по всей видимости, сохранял относительную целостность до заполнения пространства вокруг тела в процессе археологизации объекта [Шарапова и др., 2020. С. 356].

Гаевский 1, курган 6, погребение 2 (рис. 65) [Культура зауральских..., 1997. С. 38–40]. Могила располагалась на периферии подкурганной площадки, в юго-восточном секторе, также бесспорно впускная. Конструкция погребального сооружения по основным параметрам схожа с предыдущим: прямоугольная яма имела заплечики с трех сторон, за счет чего дно камеры было уже верхнего уровня. На заплечики было уложено продольное перекрытие из досок, его остатки фиксировались полосками древесного тлена шириной 10 см. К элементам внутримогильного убранства относится и вертикально стоящий деревянный

столбик диаметром около 10 см, находившийся у северо-восточной торцевой стенки ямы. Глубина в материковом грунте – 1,3 м. На дне расчищен скелет мужчины, умершего в возрасте 20–25 лет, ориентировка – головой в юго-западный сектор. Костяк располагался вытянуто на спине, руки вдоль корпуса, ноги распрямлены. Умерший был облачен в облегающую тугую (кожаную?) рубаху (о чем свидетельствует «закрытая» грудная клетка) и плотные штаны. Одежда в нижней части корпуса была перехвачена поясом, от которого сохранились металлические элементы. На ступни были надеты облегающие чулки или мягкая обувь. Погребенный покоился вытянуто на спине. Слева лежал меч рукоятью на уровне ребер умершего. Обе руки были уложены раскрытыми ладонями вниз, левая кисть – поверх ножен клинка. Между голеней был помещен колчан со стрелами. Функцию гробовища выполняло мягкое покрывало (кожаное/войлочное/текстильное?), в которое был обернут труп вместе с оружием. В области плеч пелены были плотно закреплены, менее тугая фиксация была на уровне таза и коленных суставов. Не исключено, что некоторые металлические находки связаны с элементами покрывала (застежки?). Погребальный сверток был помещен вплотную к юго-восточной стенке могильной ямы на неровную поверхность таким образом, что правое плечо оказалось выше левого, позвоночник неестественно изогнулся. Стопы принудительно вытянуты по линии тела и зафиксированы. Заупокойная пища размещалась в западном углу ямы, у черепа и у ног. Слева от умершего был положен лук. Зафиксированное после расчистки прерывистое положение верхнего отдела скелета возникает при помещении корпуса в недостаточное по длине пространство или на неровную поверхность (складки покрывала?), при этом спина изгибается, а после разложения тканей позвоночник частями опускается на горизонтальную поверхность. После захоронения камера была перекрыта деревянными досками [Шарапова и др., 2020. С. 363–366].

Сопининский I могильник, курган 1, погребение 1, скелет 3 (рис. 36) [Среда, культура..., 2009. С. 176]. Захоронение новорожденного младенца было

совершено в нишеобразном подкопе, имитирующим подбой, в северо-западном углу центральной ямы. Кости располагались в анатомическом порядке, часть в сочленении. В сочленении находились также кости черепа, грудной отдел, ребра, правые лучевая и локтевая кости. В анатомическом соответствии были правая часть нижней челюсти, левая лопатка и левая ключица. Скелет располагался на правом боку, по линии юго-запад – северо-восток. Головной отдел направлен на юго-запад. Череп и позвоночный столб почти вплотную прижаты к стенке. Череп лежал на правой стороне, левые ребра – на правых ребрах. Правые плечевая, лучевая и локтевая кости находились под грудной клеткой в анатомическом сочленении. Плечевая кость направлена вдоль длинной оси скелета. Элементы предплечья образовывали с плечевой костью острый угол. Левая плечевая кость найдена вблизи скелета в яме. На основании положения элементов скелета реконструируется следующий процесс погребения: умерший ребенок был завернут в мягкие пелены и положен на правый бок с согнутыми в локтях руками (об этом свидетельствуют малые посмертные движения элементов, обнаруженных *in situ*). Затем погребальный сверток был плотно вложен в созданную в стенке центральной могилы нишу, закрыт грунтом. В пользу последнего говорит то, что разрозненные кости недалеко удалены от тех, что расположены *in situ*.

Могильник Щучье 1, курган 3, погребение 3 (рис. 89, 90) [Шарапова и др., 2001]. Периферийная прямоугольной формы яма прорезала гумусовый горизонт, ориентирована в северный сектор. На уровне древней дневной поверхности была перекрыта продольно-поперечной конструкцией из бересты и деревянных плах. В слоях перекрытия обнаружено шесть обугленных деревянных стерженьков, которыми, по-видимому, она и крепилась – при помощи таких «гвоздиков». Следы огня фиксировались на бересте и плахах. Тем не менее на костях скелета следов воздействия огня нет. Останки принадлежат взрослому человеку. По сопутствующим артефактам пол определяется как женский. Костяк располагался на дорсальной поверхности, руки вытянуты вдоль тела, ноги выпрямлены.

Погребенная была уложена свободно, без фиксирующих приспособлений. Размеры погребальной конструкции существенно превосходили размеры тела.

Важно иметь в виду, что погребальные сооружения все же могли быть более сложными, чем это кажется на первый взгляд. В целом все приведенные описания из материалов работ Зауральской лесостепной археологической экспедиции в Притоболье примечательны еще и тем, что они не только дополняют примеры, альтернативные курганному обряду, но и снабжают новыми данными о вариантах посмертного обращения с телом. В их число входят отсроченные захоронения и использование погребальных свертков (саванов, пелен), что прежде отсутствовало при характеристике обрядности населения саргатской культуры.

Вещевой комплекс. Анализ вещевого материала и хронология основных категорий из коллекций памятников саргатской культуры был проведен Л. Н. Коряковой [Корякова, 1981а; 1981б; 1988]. Необходимо признать, что и сейчас в археологии железного века региона это основное справочное пособие для установления вероятных временных интервалов тех или иных предметов и их типологических особенностей. Вносимые исследователями корректировки предлагаются с учетом аналогий, поскольку материал пополнялся новыми находками как с собственно саргатской территории, так и за пределами саргатской ойкумены. Существуют работы, посвященные отдельным категориям инвентаря, например бусам [Довгалюк, 1995], предметам вооружения [Погодин, 1998а], керамике [Шарапова, 2000; Кобелева, 2009]. Поскольку в данной работе активно используются археологические коллекции саргатских памятников, представляется целесообразным дать общую характеристику по основным категориям. Этот краткий обзор включает практически все доступные публикации саргатских древностей, однако используются те, где тот или иной признак получен эмпирическим путем. Инвентарь многих захоронений саргатской общности значительно разнообразнее поселенческого, наряду с керамикой включает предметы вооружения, воинской амуниции, принадлежности костюма, разнообразный импорт и т.д. Вещевой комплекс, как правило, представлен

широко распространенными образцами, находящими соответствие в типологическом контексте материальной культуры железного века Евразии. Иное дело – керамика, которая легко узнаваема и, отличаясь заметным своеобразием, даже в большей степени, чем погребальный обряд, является культурным индикатором. Кроме того, по ходу изложения обозначаются частные сюжеты о некоторых предметах, их сочетаниях с иными категориями инвентаря (например, как это будет при описании пряслиц). Так, небольшие отступления в тексте отражают многоаспектность вещи в погребальном обряде и разнообразие ее трактовок.

Все саргатские сосуды лепные, изготовленные из сырья с добавлением органики, шамота. Притобольская керамика отличается большей концентрацией песка (поскольку этот район характеризуется запесоченной глиной), а также включением слюды и талька (устойчивое локальное своеобразие западного ареала). Морфологически все экземпляры соотносятся с вертикально-эллиптическими, шаровидными и горизонтально-эллиптическими формами (рис. 32-4,7, 37-1,3,4,5, 39-1-3,5,6, 42-1,2, 45-1,2,4, 53, 58, 61-8,9,11,12, 64, 72-1-5, 75-12, 77-Б:1-3,5,6,8,11-13, 91-1,2,4,5). Чаще всего вертикально-эллиптическим сосудам свойственны широкое горло, отогнутая шейка. Прямая шейка встречается у шаровидных и горизонтально-эллиптических емкостей [Корякова, 1988. Табл. 6; Корякова, Федоров, 1993; Культура зауральских..., 1997. С. 71–85; Шарапова, 2000]. Саргатская посуда круглодонная, по сохранившимся экземплярам можно говорить, что обычно формовалось приостренное или уплощенное дно.

Различная керамика баночных форм и курильницы встречаются в коллекциях стабильно от V в. до н.э. до рубежа эр, но в небольших количествах (например, Прыговский 1 мог., кург. 2, погр. 2; Сопининский мог., кург. 1, погр. 1; Щучье 1, кург. 3, погр. 3) (рис. 32-1, 37-2, 91-3).

В коллекциях разных памятников представлены плоскодонные емкости (рис. 37-3, 58-6, 88-3). Анализ доступных материалов из отчетов и публикаций позволил выявить довольно интересную деталь. Большая часть таких сосудов

происходит с территории Прииртышья: семь из 14 учтенных в работе могильников (Бешаул 2, кург. 4, погр. 1; Богдановка, кург. 2, погр. 3, кург. 3, погр. 4, кург. В., погр. 7, 10; Богдановка 2, кург. 2, погр. 2, кург. 5, погр. 1; Исаковка 1, кург. 1, погр. 1, кург. 2, погр. 1–3, кург. 3, погр. 1, кург. 8, погр. 2, кург. 10, погр. 8; Исаковка 3, кург. 1, погр. 2, кург. 2, погр. 2, кург. 3, погр. 2, 3, 6, 9; Коконька 1, кург. 3, погр. 1–3; Стрижево 2, кург. 1, погр. 1, кург. 2, погр. 7, 9, кург. 3, погр. 2, 3, кург. 7, погр. 1). На Тоболе таких могильников всего три: Сопининский 1, кург. 1, погр. 9; Карасье 9, кург. 11, погр. 1; Тютринский, кург. 2, погр. 2, кург. 10, погр. 4. На Ишиме еще меньше – Абатский 3, кург. 2, погр. 5. Близкий по стилистике экземпляр, декорированный фестонами, находился в погребении 6 кургана 1 Абатского 1 могильника [Мошкова, Генинг, 1972. С. 93. Рис. 4-12]. Л. Н. Корякова указывала, что фрагменты плоских днищ встречаются в слое многих поселений [Корякова, 1988. С. 107]. Целый сосуд с горизонтальными линиями и зигзагом по плечу происходит из постройки 4 на посадке Павлинова городища (рис. 58-б) [Корякова и др., 1995. С. 27. Рис. 7; Среда, культура..., 2009. С. 111. Рис. 5.6-б].

Приведенные примеры показательны в контексте гончарных традиций древнего населения. Как отмечал А. А. Бобринский, приемы формообразования (субстратные навыки) относятся к числу наиболее консервативных и любое изменение формы свидетельствует о контактах с носителями иных технологических традиций [Бобринский, 1978. С. 242–244]. Очевидно, что из-за небольшого количества саргатская плоскодонная керамика демонстрирует лишь частичное изменение, отражая в целом довольно типичную ситуацию в гончарстве. В этом же ключе может быть интерпретирована и датировка комплексов с плоскодонной керамикой. Возраст перечисленных выше объектов, установленный исходя из хронологической оценки комплексов, укладывается с явным преобладанием от рубежа эр до II–III вв. н.э. То есть плоскодонная посуда собственно горшечных форм получает распространение одновременно с кувшинами (рис. 88-4), параллели которым обнаруживаются вне саргатской

территории, в частности в лепной керамике и сосудах-подражаниях керамическим импортам из курганов Урало-Казахстанских степей [Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 9–12], а также Поволжья [Скрипкин, 1990. Рис. 49, 50] и Южного Приуралья [Малашев, Яблонский, 2008. Рис. 196]. Очень близкие по стилистике экземпляры имеются и среди посуды джетысарской культуры в Восточном Приаралье [Левина, 1992. Табл. 21]. Однако есть и такой кувшин, который, сохраняя формообразующие (шаровидное тулово с узким горлом и отогнутой шейкой) и орнаментальные (поясок резных фестонов) признаки, имеет дугообразную, прямоугольную в сечении ручку, орнаментированную ямками [Матющенко, Татаурова, 1997. С. 40. Рис. 49]. Хотя речь не идет о полном соответствии, этот экземпляр из погребения 1 кургана 3 элитарного могильника Сидоровка 1, очевидно, можно рассматривать в качестве подражания лепной и/или гончарной керамике позднесарматской культуры Нижнего Поволжья и Подонья [Мошкова, 1989в. Табл. 83-2, 84-9]. В целом саргатская погребальная посуда «узнаваема» благодаря треугольным фестонам (рис. 37-3,4, 42-1,2, 45-1,2, 53-7, 58-3, 64-6, 77-Б:б). Доля сосудов, украшенных узором с фестонами, среди саргатской керамики составляет от 25 %. Начиная с III-II вв. до н.э. происходила стандартизация этого элемента, дополненного ямками, насечками, елочкой [Корякова, 1988. С. 102].

Приспособительные навыки зауральских гончаров демонстрируют определенную близость, которая наблюдается в распространении следующих основных элементов узора: горизонтальных елочек, наклонно поставленных отрезков или столбиков, фестонов, различных насечек. Наличие неорнаментированной посуды характерно для всех коллекций. Довольно устойчивый показатель – техника орнаментации (резная, накольчатая, гладкий штамп) [Шарапова, 2000. С. 21–22]. В погребениях Притоболья и Прииртышья часто встречаются горшки, изготовленные наспех, без следов использования.

Кроме того, в материалах почти всех локальных групп присутствуют керамические блюда и чаши, деревянные сосуды. На этом фоне заметно

выделяются коллекции барабинских памятников, для которых достоверных сведений о таких находках нет.

Ножи относятся к весьма распространенной категории бытовых находок. Они известны в коллекциях как поселений, так и погребальных памятников (рис. 10-6, 25-17, 26-Б:1, 33-2, 55-21,23, 61-7, 67-15, 69-20, 72-12, 77-9,14,16, 94-II:3). Ножи однолезвийные, с прямой или горбатой спинкой. Помимо описанных в литературе экземпляров [Корякова, 1988. С. 71; Могильников, 1992а. С. 302], интерес представляет костяная трубочка с сохранившимся железным стерженьком из Сопининского 1 могильника, кургана 1, погребения 9 (рис. 42-7). Она, судя по размерам, вероятно, является костяной рукоятью узкого ножа. Изделие было в деревянных ножнах, покрытых красным лаком. Ножи изготавливались из сырцово-красной стали, но есть и образцы из высоко- и низкоуглеродистой стали. В качестве дополнительной технологической операции, которая позволяла улучшить рабочие качества, отмечается закалка в холодной воде. Все изученные В. Н. Зиняковым изделия (24 экз.) произведены методом свободнойковки металла в горячем состоянии [Зиняков, 1991; 2019. С. 38]. В погребениях ножи встречаются с остатками мясной пищи (кости животных). На селище Дуванское II на полу жилища 1 был найден серповидной формы нож, в слое также обнаружены обломки литейных форм, тигля, сопел, в большом количестве встречались куски лимонита и железный шлак. Эти находки позволили говорить о развитой металлургии у саргатского населения [Корякова, Сергеев, 1989. С. 174–175]. Позднее анализ технологии кузнечного ремесла в целом подтвердил это предположение [Зиняков, 2019]. Различные категории изделий: орудия труда и оружие, узды, принадлежности костюма – изготавливались из исходного сырья, в котором преобладала сырцовая сталь. Исследования Н. М. Зинякова установили, что «... уже на начальном этапе освоения железа кузнецы саргатской культуры имели в своем распоряжении железоуглеродистый сплав (сырцовую сталь), превосходивший по своим свойствам простое железо». Такая сталь характеризовалась высокими показателями твердости ... применение

мягкого железа и других сортов стали было незначительным » [Зиняков, 1991. С. 60]. Однако расчищенные среди выявленных хозяйственных объектов остатки металлургической печи вблизи постройки 3 так и остаются пока единственным подтверждением существования металлургии [Корякова, Сергеев, 1989. С. 174. Рис. 1]. К сожалению, масштабы ее носят вероятностный характер. Известно, что уже с III в. до н.э. происходит смена общеупотребимых предметов из бронзы на изготовленные из железа. На поселениях действительно довольно часто встречаются лимонит и шлак при практически полном отсутствии бронзовых сплесков и тиглей⁴⁰.

Пряслица – керамические и каменные – представлены на поселениях и в погребениях (рис. 10-2, 16-Б:4, 17-А:4, Б:8, 25-7,10, 32-2,3, 41-2,8, 55-5–14, 61-1, 77-7, 102-20,21). Бронзовые пряслица единичны. Среди первых известны лепные и выточенные из стенок сосудов, иногда из фрагментов среднеазиатской посуды. Изделия отличаются разнообразием форм: дисковидные, шарообразные, цилиндрические, конические. В. А. Могильников полагал, что в погребениях каменные пряслица обычно являли собой импорт, «поскольку на территории саргатской культуры не было камня, пригодного для их изготовления» [Могильников, 1992а. С. 302]. Еще Л. Н. Корякова отмечала, что не все погребения с пряслицами однозначно женские [Корякова, 1988. С. 54]. Л. И. Погодин допускал, что пряслица в саргатских погребениях являлись едва ли не обязательной принадлежностью поясного набора мужчин [Погодин, 1998а. С. 31]. Н. П. Матвеева полагала, что захоронения мужчин с пряслицами без оружия и других предметов мужского труда отражают занятия мужчин прядением и ткачеством [Матвеева, 2000. С. 267]. Несколько позднее она связала обычай «класть пряслице со знатными мужчинами, помимо оружия и предметов роскоши», с мифологическим сюжетом обучения людей ткачеству первоначально

⁴⁰ Устная информация А. П. Зыкова о замещении металлургии бронзы, связанной с деятельностью иткульского (зауральского) очага, на железную. В целом в первой половине раннего железного века для памятников гороховской и саргатской культур заметен металл уральского происхождения – это в основном «чистая» медь, выплавленная металлургами иткульской культуры [Кузьминых, 2015. С. 128].

[Матвеева, 2007. С. 145]. Попытка разобраться с функциональным назначением пряслиц в саргатских погребениях Прииртышья неоднократно предпринималась Н. А. Берсеновой [Берсенева, 1999; 2004; Берсенева, Берсенев, 2002; 2004]. Однако объяснение помещать их с умершим только с позиций гендерного символизма не увенчалось успехом: роль пряслиц в погребальном обряде населения саргатской культуры осталась неопределенной.

Следует признать, что основная проблема, вероятно, кроется в ошибочной интерпретации округлых дисковидных или биконических, цилиндрических находок (до 6 см в диаметре) с отверстиями *исключительно* пряслицами и стремлении традиционно связывать их с ткачеством и, как следствие, полудиagnostирующим атрибутом женских погребений. Последнее тем не менее не лишено оснований, так как закономерности, полученные в ходе статистического анализа, позволили включить их в так называемый женский набор, отделив его от мужского набора вещей [Корякова, 1988. С. 54]. Гендерные различия в составе инвентаря просматриваются и в значительной доле сарматских погребений [например, Мошкова, 2012. С. 339].

Поскольку нахождение пряслиц в женских погребениях практически лишено двусмысленности, представляется интересным рассмотреть возможные варианты интерпретаций обычая помещать их в могилы мужчин. Как правило, материалы раскопок впускных, к тому же ограбленных могил затрудняют определение принадлежности разрозненного инвентаря тому или иному индивиду, поэтому мною были выбраны только *неграбленные погребения*. Их принадлежность к мужским захоронениям подтверждена антропологическими определениями Д. И. Ражева. Количественно такие комплексы в локальных группах распределились следующим образом: Бараба – один (Абрамово 4, кург. 22, погр. 5, два мужчины, возможно «ярусное» погребение); Прииртышье – пять (Бещаул 2, кург. 2, погр. 7, мужчина 35-50 лет; Богдановка, кург. В, погр. 11, мужчина, 25-45 лет; Исаковка 1, кург. 3, погр. 6, мужчина 30-35 лет; Коконетка 2, кург. 2, погр. 6, мужчина 35-50 лет; Стрижево 2, кург. 8, погр. 1, пол неопределим,

инвентарь схож с мужским набором); Приишимье – неграбленных мужских нет; Притоболье – один (Савиновский, кург. 5, погр. 4, мужчина 25-35 лет). В целом получилась совсем малочисленная выборка.

Материал, из которого изготовлялись эти семь предметов, называемые в отчетах или публикациях пряслицами, представлен двумя видами: камень (Исаковка 1, кург. 3, погр. 6) и керамика (выточенное из стенки сосуда – Коконовка 2, кург. 2, погр. 6, лепные – пять остальных). Достоверно форма изделий указана для находок из Савиновского могильника, кургана 5, погребения 4 – биконическое глиняное изделие [Матвеев, Матвеева, 1991б. С. 23. Рис. 17] – и погребения 1 кургана 8 Стрижево 2 – дисковидное из гончарной стенки [Погодин, 1987]. Их положение внутри могилы распределилось следующим образом: на правой тазовой кости – Исаковка 1, курган 3, погребение 6; у левого плеча – Савиновский, курган 5, погребение 4; отдельно от инвентаря (в области черепа, у голени или стоп) – все остальные. Керамические сосуды есть во всех захоронениях, кроме погребения 5 кургана 22 Абрамово 4. Большинство захоронений содержало нейтральный набор инвентаря: Бещаул 2, кург. 2, погр. 7 (курильница + терочник + каменный жертвенник + стеклянный предмет); Богдановка, кург. В, погр. 11, и Коконовка 2, кург. 2, погр. 6 (бусы). Отдельные элементы ремной амуниции найдены в могильнике Стрижево 2, кургане 8, погребении 1 (наконечник ремня + наконечник стрелы); в Абрамово 4, кургане 22, погребении 5 (бляшки + кольцо). На этом фоне выделяются два комплекса, абсолютно различные по богатству содержащегося в них инвентаря, который тем не менее содержит репрезентативные инсигнии, количественный и качественный состав которых различен: Савиновский, кург. 5, погр. 4 (мел + браслеты + перстень + железное изделие со следами красной краски (лак?)); Исаковка 1, кург. 3, погр. 6 (металлический и керамический импорт, оружие и т.д.).

Разбираясь с причинами помещения пряслиц в мужские погребения у сарматов, М. Г. Мошкова обратила внимание на малочисленность таких примеров, а также на то, что иногда эти предметы находились отдельно от

остального инвентаря, что позволило ей исключить их из категории подношений. Рассмотренные ею данные по материалам кочевников раннего железного века, населявших степи от Южного Приуралья до Дона, а также по населению Северного Кавказа скифского времени позволили предположить возможность использования пряслиц в могиле в качестве амулетов или амулетов-оберегов [Мошкова, 2012]. Вероятно, некоторые из рассмотренных примеров позволяют допустить, что в этих погребениях пряслица играли роль своего рода амулетов. С другой стороны, обращает на себя внимание нахождение в некоторых из этих могил наконечников ремней, пряжек или колец. Такая комбинация позволяет отнести предметы, называемые пряслицами, к декоративно-функциональным элементам крепления оружия. В этом контексте вполне узнаваемы стеклянные или каменные бусы и дисковидные предметы (пряслица из стенок сосудов), находимые в саргатских погребениях. Основанием этому являются представленные в литературе исследования о культурном контексте длинных мечей и способах их ношения [Хазанов, 1971; Безуглов, 2000; Симоненко, 2009; Голдина, Липина, 2015].

Среди рассмотренных выше комплексов длинный меч находился в составе инвентаря элитного воинского захоронения наряду с другими вещами, большая часть из которых – импорт (Исаковка 1, кург. 3, погр. 6). Другой весьма близкий по контексту пример представлен в богатом мужском захоронении могильника Сидоровка (кург. 1, погр. 1). Примечательно, что в обоих погребениях «пряслице из белого непрочного камня» (Исаковка 1, кург. 3, погр. 6) [Погодин, 1989. С. 27] и «крупная глазчатая бусина» (Сидоровка, кург. 1, погр. 1) [Матющенко, Татаурова, 1997. С. 13. Рис. 9] находились вблизи меча и кинжала.

Существует несколько гипотез использования крупной бусины, найденной рядом с мечом. А. М. Хазанов интерпретировал подобные изделия «привесками, украшениями кистей, темляков и т.д.» [Хазанов, 1971. С. 25]. С. И. Безуглов, используя большой массив данных, включая иконографию, допустил, что «нет никакого сомнения в том, что у сарматов южнорусских степей роль фиксатора и

украшения застежки портупейного ремня могли выполнять крупные бусы, находимые рядом с мечами» [Безуглов, 2000. С. 177–178]. Сарматы Северного Причерноморья могли иметь мечи и кинжалы, у которых темляки украшались бусинами или ворворками. Кроме того, крупные бусины, пронизи, пряжки и раковины, найденные в районе рукоятей, могли служить своеобразными фиксаторами, препятствовавшими скольжению меча на портупейном ремне [Симоненко, 2009. С. 61–69]. Однако скудность описания, отсутствие публикации исаковских (есть только отчет) и низкий уровень фиксации сидоровских (нет данных о нахождении меча в могиле [ср.: Матющенко, Татаурова, 1997. С. 12–13 и Рис. 9]) материалов не позволяют предложить какой-то один вариант.

Очевидно одно: предмет из «белого непрочного камня» в исаковском комплексе не является пряслицем (в традиционном функциональном понимании этого артефакта). Да и сам Л. И. Погодин позднее, вероятно, склонился к иной интерпретации этого предмета: «крупная алебастровая бусина» [Погодин, 1998а. С. 31] могла быть навершием меча. Однако, согласно приведенному в отчете плану погребения, находка была зафиксирована на правой тазовой кости (не более 20-30 см от рукояти), что позволяет ее отнести к детали портупейного ремня (украшение темляка), которым, в частности, крепился и меч (рис. 23). Из-за отсутствия публикации материалов раскопок отчет по-прежнему остается единственным и основным источником для этого уникального комплекса. В такой неоднозначной ситуации все остальные возможные варианты, кроме одного, что это не пряслице, сводятся к разряду суждений.

В этой связи обращает на себя внимание малочисленность погребений мужчин, где были обнаружены предметы, ассоциируемые с пряслицами. В Притоболье, по материалам раскопок Зауральской лесостепной археологической экспедиции, таких находок нет среди десяти могильников, в которых были определены мужскими останки 41 индивида. А совместная встречаемость пряслиц/бусин с клинковым оружием вообще единична и происходит, как отмечалось выше, из двух непо потревоженных элитных комплексов

Прииртышья. Если допустить связь этих предметов, то их небольшое количество вполне понятно: наличие дорогого оружия у представителей мужской части саргатской элиты имело в немалой степени знаковый характер [Шарапова, Ражев, 2013. С. 153]. Длинные мечи, к тому же в ножнах, покрытых смолой лакового дерева, несомненно, являли собой репрезентативные инсигнии и могли отражать доминирующее положение их обладателей в социальной и гендерной структуре общества. Допускаю, что подобное манифестирование военного или иного лидерства, овеществленного погребальным инвентарем, определялось смыслом и содержанием существовавшей в саргатском социуме иерархии.

Завершая это довольно пространное изложение, нельзя не упомянуть о данных письменных источников. В частности, в германских сагах бусины, крепившиеся к рукояти меча или верхней части ножен, назывались «камнем жизни». Эта магическая подвеска придавала силу оружию, оберегала его владельца, исцеляла раны [Окшотт, 2004. С. 121, 122]. Именно к такой интерпретации крупных стеклянных или каменных бусин, крепившихся к верхней трети деревянных обшитых кожей ножен, известных по материалам Прикамья, склоняется А. П. Зыков [Зыков, Ковригин, 2008. С. 70]. Однако Е. В. Голдина, проанализировав бусины различного размера, обнаруженные рядом с мечами, допустила возможными в традиции прикамских народов все рассмотренные выше варианты их применения в оформлении предметов вооружения [Голдина, Липина, 2015. С. 293].

Очевидно также и то, что факт нахождения пряслиц и предметов, ассоциируемых с ними, в погребениях различных половозрастных групп требует более пристального рассмотрения общего контекста находки. Погребения детей, среди которых доля с пряслицами в отдельных сериях составляет чуть более 13 % [Берсенева, 1999. С. 116], также не поддаются однозначной интерпретации. Среди возможных гипотетических вариантов: подношения и амулеты-обереги, а в комплексе с другими предметами – свидетельство об изменении социального/гендерного статуса, основанного на возрасте [Шарапова, Ражев,

2016. С. 67–69; Шарапова, 2018а. С. 336], атрибуты игры или игрушки⁴¹. В определенной мере наблюдаемая неоднозначность в толковании таких находок справедлива и по отношению к женским захоронениям, что уже рассматривалось [Корякова, 1988. С. 65; Мошкова, 2012. С. 347–349]. Среди предметов, бесспорно относимых к пряслицам, шаровидная форма встречается довольно редко. Подобный экземпляр с остатками древесного тлена расчищен у правой голени женщины в погребении 5 кургана 3 Гаевского 1 могильника (рис. 60, 61-1) [Культура зауральских..., 1997. С. 21, 56).

Предметы вооружения и конской упряжи. В типологическом контексте данные категории инвентаря аналогичны материалам, известным за пределами изучаемой территории [Смирнов К.Ф., 1964; Корякова, 1988; Скрипкин, 1990; Могильников, 1992а; Погодин, 1998а и т.д.]. Однако ряд комплексов плохо документирован, и состав предметов не поддается точному учету. Поэтому характеристика этой группы инвентаря более других базируется на работах предшественников. Ниже приведены примеры из погребений лучшей сохранности, а также хорошо документированных материалов опорных памятников.

Все наконечники стрел хорошо описаны в литературе. Существующие классификационные схемы, предложенные различными авторами, позволяют определить хронологические рамки бытования среди евразийских древностей эпохи железа. Наиболее распространенными находками в этой категории являются наконечники стрел, которые преимущественно происходят из погребений, но встречаются и на поселениях. По материалу, из которого изготовлены, они разделяются на бронзовые, железные и костяные.

Бронзовые наконечники стрел включают втульчатые трехгранные и трехлопастные экземпляры, которые встречаются в наборах V–IV–III вв. до н.э. в

⁴¹ Такая возможность не исключается после обнаружения различных пряслиц в неграбленных захоронениях детей кургана Новопокровка 10 (полевые материалы автора). Подобные интерпретации редко рассматриваются археологами, чаще всего предлагается культовая или утилитарная функция предмета. Очевидно также и то, что в большинстве случаев мы не можем установить их назначение и отдать предпочтение одному из вариантов.

гороховских и саргатских могильниках (рис. 40-9, 56-1-14, 69-1-4, 72-7, 75-11, 101-1-4, 102-4-6) [Могильников, 1992а. С. 302. Табл. 122; Культура зауральских..., 1997. С. 48; Среда, культура..., 2009. С. 84-86. Рис. 4.1, 9.7-4]. Л. И. Погодин допускал их использование более длительное время, вплоть до II-IV вв. н.э. [Погодин, 1997. С. 118]. Однако это предположение не находит подтверждения в материалах опорных памятников Притоболья. Более того, выше уже отмечалось, что с III в. до н.э. в саргатских комплексах предметы из бронзы сменяются железными, что в полной мере справедливо и по отношению к стрелам. В коллекции Павлинова городища на всех бронзовых наконечниках есть следы использования, некоторые погнулись от удара о твердую поверхность [Среда, культура..., 2009. С. 84].

В Притоболье в коллекции Прыговского 2 могильника есть довольно представительная серия бронзовых наконечников стрел и сбруйных блях (рис. 31), типичных для раннесакских памятников, при полном отсутствии стрел иткульского производства. Эти находки происходят из объектов ранней группы, отражающих процесс формирования местных культур раннего железного века [Корякова и др., 2010].

Среди железных наконечников стрел наиболее распространенными являются трехлопастные черешковые экземпляры, которые встречаются почти во всех саргатских могильниках [Мошкова, Генинг, 1972; Корякова, 1979; Погодин, Труфанов, 1991; Могильников, 1992а; Матвеева, 1993б; 1994; Культура зауральских..., 1997; Матющенко, Татаурова, 1997; Среда, культура..., 2009], оставаясь ведущей формой на протяжении всей эпохи железа. Трехгранное сечение головки таких стрел рассматривается как ранний признак (рис. 18-А:11,12, Б:3,4) [Культура зауральских..., 1997. С. 48].

Костяные наконечники стрел также относятся к типам, широко распространенным в саргатских могильниках, и отличаются разнообразием форм и пропорций. Втульчатые экземпляры (рис. 40-7, 56-26,27, 82-6, 102-9,10) принято рассматривать в качестве подражаний бронзовым изделиям, поскольку в первой

половине железного века они были распространены в пределах практически всего ареала саргатских древностей [Погодин, Труфанов, 1993; Матвеева и др., 2003; Среда, культура..., 2009]. Часто наряду с бронзовыми аналогами они составляли один колчаный набор [Корякова, 1988. С. 63]. Черешковые костяные наконечники стрел различаются по степени выраженности от пера к черешку, большим разнообразием выделяются экземпляры без резко выраженного перехода: листовидные, удлинённый треугольник, ланцетовидные (рис. 16-А:4-7, 18-А-9,10, 29-В:2, 40-4-6,8, 41-10,12,21,25, 42-4,5,8, 45-14-16, 46-3,4, 66-6-13, 68-8-27, 75-1-8, 82-5, 95-II:1). Именно такие образцы представлены в материалах Притоболья [Культура зауральских..., 1997. С. 50-52; Среда, культура..., 2009. С. 217-218]; есть они и в Барабе [Полосьмак, 1987. С. 39, 43-44], но в опубликованных материалах хорошо выделяются экземпляры довольно малых размеров [Там же. Рис. 33-5-33-15, 37-10-37-13, 38-5, 38-6, 38-8, 38-9]. Примечательно, что почти все известные находки саргатских костяных наконечников стрел индивидуальны, среди них нет абсолютно одинаковых изделий. Интересная деталь была подмечена в ходе трасологического анализа костяных стрел из погребений Сопининского 1 могильника. Из 15 экземпляров в коллекции все, кроме одного, имеют следы применения: их острия хранят следы неоднократной заточки. Наконечники ланцетовидной формы могли использоваться чаще остальных, так как следы заточки на их остриях более многочисленны. Не исключено также и то, что в результате такой многократной заточки листовидные и треугольные наконечники приобрели ланцетовидную форму пера [Среда, культура..., 2009. С. 218]. В коллекции Павлинова городища, которое, повторюсь, связано с сопининскими погребениями, костяные наконечники в основном происходят из крепости (рис. 56-15-29). Так, более половины – из нижнего заполнения постройки 5, часть других вместе с заготовками залегала одним скоплением в постройке 3 [Там же. С. 86].

Металлические крючки как детали экипировки (колчаные или принадлежности иной поясной фурнитуры) представлены вариантами различных

конструкций (рис. 41-1, 55-22, 69-13,14,16, 77-15, 105-2). Они известны в саргатских памятниках разного времени. Их активное распространение отмечается в IV–II вв. до н.э. [Корякова, 1988. С. 69; Могильников, 1992а. С. 303].

Костяные накладки кибити сложносоставного лука (так называемого гуннского типа) встречаются на саргатской территории повсеместно, однако в некоторых коллекциях их нет (например, мог. Стрижево 1 в Прииртышье). Чаще всего это концевые накладки, обнаружены в захоронениях могильников Исаковка 3, Гаевский 1 (рис. 66-17,18, 67-22–25), Сопининский 1 (рис. 40-1–3, 41-13, 42-6). Срединные накладки имеются в могильнике Покровка и поздних комплексах Абатского 3 могильника. На этом фоне по частоте встречаемости этих изделий выделяется коллекция Сопининского 1 могильника, где парные комплекты концевых накладок лука были найдены в шести погребениях из двух курганов. Для сравнения, в притобольских материалах, опубликованных Н. П. Матвеевой, детали лука отсутствуют [Матвеева, 1993б; 2001], в пяти курганах Гаевского 1 могильника комплекты накладок были найдены всего в двух могилах; в Прииртышье накладки были обнаружены только в девяти могильниках. Л. Н. Корякова отмечала, что находки накладок приходятся на каждое десятое погребение [Корякова, 1988. С. 65].

В. А. Могильников допускал появление сложного лука у населения саргатской культуры в конце III в. до н.э. [Могильников, 1992а. С. 302], что несколько резонирует с существующими датировками за пределами саргатской территории. Большие луки этого типа характерны для азиатской части степи и лесостепи, к западу от Урала они попадают намного реже и появляются там позже – в I в. н.э. [Мошкова, 1989б. С. 184]. В частности, в позднесарматской культуре Южного Приуралья костяные накладки происходят из пяти комплексов. Более того, всего из шести погребений известна небольшая серия железных и костяных наконечников стрел. В кочевой среде этот факт (малочисленность предметов стрелкового оружия), по мнению В. Ю. Малашева, видимо, был связан с регламентацией данной группы вещей в обряде [Малашев, 2013. С. 88]. В

классическом варианте такой лук должен иметь семь накладок – по две пары концевых и три срединные. При спущенной тетиве длина такого лука могла достигать 1,2–1,6 м [Хазанов, 1966. С. 34]. В могильнике Гаевский 1, кургане 6, погребениях 1 и 2, длина лука, реконструируемая по взаиморасположению концевых накладок, составляла 1,3 и 1,35 м соответственно. В непо потревоженных погребениях вместе с луками встречаются колчаные наборы. Проведя корреляцию совместного нахождения накладок, костяных и бронзовых наконечников стрел, Л. Н. Корякова выявила слабую статистическую связь бронзовых стрел и накладок лука, ограничив их интервал существования до первой половины II в. до н.э. Накладки «тесно связаны с предметами более позднего времени» [Корякова, 1988. С. 65–66]. Однако, как демонстрируют материалы погребений Гаевского 1 и Сопининского 1 могильников, накладки тесно связаны не только с предметами более позднего времени (удила с крупными кольцами, кашинская керамика), но и с устройством могил (наличие канавообразных углублений) (рис. 38, 40-1–3, 63, 66-15–18) [Среда, культура..., 2009. С. 231; Шарапова, 2020; Шарапова и др., 2020].

Мечи и кинжалы, известные в саргатском ареале, типологически представлены экземплярами (рис. 15, 23-А,Б, 26-Б:6, 27-1,27, 46-1, 66-14, 68-28, 69-15, 93), которые были распространены у кочевников Приуралья, Казахстана и Средней Азии [Корякова, 1988; Могильников, 1992а]. В основе типологии изделий из саргатских комплексов – форма навершия, реже – материал, что в конечном счете определило количество типов – от шести до четырех [Корякова, 1988; Матвеева, 1993б; Погодин, 1998а], в основе которых типологическая схема А. М. Хазанова [Хазанов, 1971]. Однако, как показали современные исследования предметов вооружения на сарматской территории, основной недостаток существующих разработок основан на «стремлении любой ценой преодолеть объективную дискретность материала» [Безуглов, 2000. С. 170]. К сожалению, целых экземпляров мечей и кинжалов крайне мало, чаще всего они сильно разрушены. Для зауральско-западносибирских коллекций Л. И. Погодин привел

данные о семи клинках с серповидным, трех с антенновидным (волютным), трех с кольцевым навершиями и 60 с рукоятью-штырем [Погодин, 1998а]. Несмотря на то что автором в большинстве случаев не указаны паспорта находок, данная публикация остается самым полным изложением типологических и культурно-хронологических наблюдений. В действительности доступных сведений значительно меньше, поскольку опубликованы далеко не все материалы саргатских памятников. Старые отчеты не содержат необходимый уровень фиксации и достоверных сведений: на планах не указано местоположение клинков, нет их графических изображений и т.п., – что не позволяет характеризовать каждый экземпляр в отдельности. Коллекции находок разрозненны и также в основной массе недоступны.

Наиболее ранними экземплярами клинкового оружия являются изделия с серповидным навершием и прямым перекрестием [Корякова, 1988. С. 66]. Хорошей сохранности железный двулезвийный кинжал размером 30,5 см был расчищен в погребении 4 кургана 6 Гаевского 1 могильника (рис. 69-15) [Культура зауральских..., 1997. С. 53]. Образцы такого оружия относятся к группе классического прохоровского типа, датируются от рубежа IV-III вв. до н.э. [Хазанов, 1971. С. 8; Мошкова, 1989а. Табл. 65-51–65-54].

Более распространенной формой на территории саргатской культуры являются мечи и кинжалы без навершия и перекрестия, ассоциируемые с позднесарматским временем [Хазанов, 1971. С. 17–18]. Некоторые изделия, как правило мечи, имеют перекрестие, например длинный двулезвийный меч из погребения 3 кургана 1 Ипкульского могильника (рис. 93) [Корякова, 1988. Рис. 16-27а]. Допускается, что какие-то мечи могли иметь перекрестие из органического материала. Так, у образца из погребения 2 кургана 6 Гаевского 1 могильника зафиксирован негатив истлевшего широкого кожаного ремня, обмотанного в несколько оборотов вокруг пяты (рис. 68-28) [Культура зауральских..., 1997. С. 53]. Клинки в сечении линзовидной формы, штыри для рукояти – треугольной или прямоугольной. На многих клинках – целых мечах и

фрагментах – фиксировались деревянные ножны (Гаевский 1, кург. 6, погр. 1 и 2 (рис. 66-14, 68-28), Сопининский 1, кург. 1, погр. 9 и бескуранное погребение (рис. 46-1)). Для некоторых ножен определяется наконечник из кожи, в частности, остатки такого наконечника, придававшего острию меча копьеобразную форму, были расчищены в могильнике Гаевский 1, кургане 6, погребении 2. Длина кинжалов не превышала 25 см (Гаевский 1, кург. 6, погр. 1; Сопининский 1, грунтовое погребение), мечей – 95, 100, 140 см (Гаевский 1, кург. 6, погр. 2; Исаковский 1, кург. 3, погр. 6; Сидоровка, кург. 1, погр. 2), но есть и короткие мечи, длиной 55–80 см (Ипкульский, кург. 1, погр. 3; Абатский 3, кург. 5, погр. 8).

Н. П. Матвеевой в погребении 10 кургана 6 Абатского 3 могильника, наряду с другими предметами вооружения (железное тесло, колчаный набор, бронзовое зеркало), обнаружены два клинка – кинжал без навершия и перекрестия (рис. 27-27) и меч без навершия с бронзовым перекрестием узкой ромбической формы (рис. 27-1) [Матвеева, 1994. С. 93–96. Рис. 59-1]. Последний предмет заслуживает особого внимания еще и потому, что он входит в небольшую по количеству группу длинных мечей, своеобразие которым придает вероятность китайского (ханьского) происхождения. Образцы в этой группе сближают между собой не только характерные бронзовые перекрестия, но и сравнительно узкие клинки, а также длинные (до 20 см) рукояти [Ковригин, 2007. С. 195].

Как правило, кинжал находился справа от погребенного. В.Ю. Малашевым справедливо замечено, что морфологические особенности меча и его положение в могиле отражают как способ ношения оружия при жизни, так и характер использования. Длинный меч, помещенный слева от умершего, мог использоваться как всадническое, преимущественно рубящее оружие [Малашев, Яблонский, 2008. С. 59; Малашев, 2013. С. 89]. Подобное суждение вполне справедливо и подкрепляется, например, материалами погребения 2 кургана 6 Гаевского 1 могильника (рис. 65), погребения 3 кургана 1 Ипкульского могильника (рис. 93), погребения 10 кургана 6 Абатского 3 могильника [Матвеева, 1994. С. 94. Рис. 58-22; Шарапова, 2007. С. 60. Рис. 1; Шарапова и др.,

2020. С. 364. Рис. 4]. Дополнительным аргументом могут рассматриваться детали конской узды, найденные в могиле, а также выявленные на костях скелета патологические изменения, относимые к остеологическим признакам всадника [Ражев, 1996; Шарапова и др., 2020. С. 368–369].

Иное расположение мечей зафиксировано в элитных комплексах могильников Исаковка 1 (кург. 3, погр. 6) и Сидоровка (кург. 1, погр. 2). Судя по планам захоронений [Погодин, 1989; Матющенко, Татаурова, 1997. Рис. 9], длинный меч находился не вдоль корпуса, как это отмечено для большинства неграбленных могил, а наискосок – от линии правого предплечья к левой голени (Сидоровка, кург. 1, погр. 2) или через тазовые кости к левой части погребальной камеры (Исаковка 1, кург. 3, погр. 6). Можно предположить, что такое положение символизирует больше подношение/дар умершему, чем способ ношения оружия при жизни. В пользу этого говорит и тот факт, что в исаковском погребении меч находился поверх покрывала из золотных и красных нитей (нити пряденого золота располагались как под костями скелета, так и поверх [Погодин, 1996. С. 126]).

Некоторые кинжалы, по мнению Л. И. Погодина, могли быть votivными или детскими. В частности, к таковым он отнес клинки из погребения 6 кургана 12 могильника Исаковка 1, где были расчищены останки ребенка 10–12 лет, и женщины 50–60 лет из могильника Красногорский борок, кургана 1, погребения 3. Общая длина этих предметов, изготовленных из железа слабого качества, не превышала 14–15 см [Погодин, 1998а. С. 14].

Еще А. М. Хазанов реконструировал систему ношения длинных мечей на портупейном ремне [Хазанов, 1971. С. 26–27]. В последние годы появились исследования, основанные как на большом корпусе источников [Безуглов, 2000; Малашев, 2013. С. 89–90; Симоненко, 2009. С. 61–69], так и на материалах отдельных погребений [Погодин, 1998а. С. 33–36; Голдина, Липина, 2015]. При этом отмечалось, что существовали и археологически не документированные у сарматов деревянные скобы [Хазанов, 1971. С. 27; Мошкова, 1989в. С. 197;

Безуглов, 2000. С. 178]. По материалам работ Зауральской лесостепной археологической экспедиции в Притоболье А. А. Ковригин допустил, что наряду с применением нефритовых и халцедоновых импортных скоб (например, рис. 23), в портупейных конструкциях могла использоваться и кожа [Культура зауральских..., 1997. С. 53]. Так, на второй трети длины одного из мечей, поверх ножен, сохранилась кожаная накладка овальной формы размером 5 × 9 см, толщиной около 0,5 см, а на оборотной стороне изделия – след поперечной перетяжки (рис. 68-28) [Там же. Рис. 21].

Не стоит забывать и о находках следов отделки клинкового оружия шелком и лаком, для которых установлено восточное происхождение – Ханьский Китай или Восточный Туркестан [Погодин, 1998а. С. 28; 1998б. С. 37]. Вопрос о происхождении длинных мечей в позднесарматское и позднескифское время по-прежнему остается открытым. Однозначная оценка их появления в саргатской среде – в результате собственного производства или внешнего влияния – также едва ли возможна⁴².

Копья представлены весьма небольшим количеством железных наконечников. На востоке ареала известно пять целых экземпляров, все происходят из прииртышских комплексов: Богдановка 1, кург. 1, погр. 5; Коконовка 2, кург. 2, погр. 8 [Могильников, 1992а. С. 303. Табл. 122-30, 122-59]; Исаковка 1, кург. 3, погр. 6 [Погодин, 1998а. С. 48–49. Рис. 6-2]; Новооболонь, кург. 2, погр. 1 [Татаурова, 2008]; Сидоровка, кург. 1, погр. 2 [Матющенко, Татаурова, 1997. С. 13. Рис. 16-2]. Для западной части Тоболо-Иртышской провинции Н. П. Матвеева приводит упоминание о подобной находке из Куртамышского кургана [Матвеева, 1993б. С. 107]. Возможно также, что фрагментом копья или дротика является втулкообразный предмет из Гаевского 1

⁴² С. Т. Кожанов, исследуя организацию военного дела в Китае в конце I тыс. до н.э., допустил, что в ходе боевых действий разные виды китайского оружия в большом количестве попадали в руки кочевых соседей Китая, а попытки введения запрета на вывоз оружия из страны не всегда были достаточно эффективными [Кожанов, 1990. С. 84]. Несколько ранее М. Н. Погребова отметила, что в древности «оружие вообще распространялось и заимствовалось довольно широко, причем основным критерием, определявшим быстроту распространения, было, как правило, преимущество в боевых качествах» [Погребова, 1984. С. 48].

могильника, кургана 5, погребения 1 [Культура зауральских..., 1997. Рис. 13-19]. Втулка железного копья с остатками деревянного древка (рис. 98-1) была найдена в полностью разграбленной центральной могиле гороховского некрополя Скаты 1 (кург. 2, погр. 1) [Daire et al., 2002. Fig. 41-1]. Все целые экземпляры с округлой втулкой, листовидным или ромбическим пером [Погодин, 1998а. С. 48]. Судя по описанию в отчете, самым массивным является образец из Новооболони: общая длина изделия 42 см при длине пера 16 см [Татаурова, 2008]. По внешним признакам (длинная втулка, короткое перо) это копьё схоже с находкой из Богдановки, кургана 1, погребения 5, датированной Л. Н. Коряковой IV в. до н.э. [Корякова, 1988. С. 68].

Металлографический анализ выполнен для единственного образца копья из Сидоровки [Зиняков, 2019]. Сложная технология предполагала на начальном этапе пластическую обработку, в ходе которой из мягкой железной заготовки формовались перо и втулка наконечника, затем производилась односторонняя поверхностная цементация. Последней операцией была закалка изделия в холодной воде. Изготовление наконечника копья по рассмотренной схеме отвечало основным требованиям, предъявляемым к этому виду оружия: происходило образование твердых режущих граней и достаточной продольной упругости, необходимой при частых изгибающих нагрузках [Там же. С. 40].

Все находки копий происходят из погребений взрослых мужчин (в тех случаях, когда антропологические определения были затруднены, инвентарь или его остатки представлены мужским наборами). Судя по элитарным комплексам из Сидоровки и Исаковки 1, копия могут рассматриваться в качестве репрезентативных инсигний.

Находки тесел немногочисленны. Известные по публикациям экземпляры происходят с территории Притоболья и Приишимья, они изготовлены из железа, имеют несомкнутые втулки (рис. 27-26, 69-18) [Матвеева, 1993б. Рис. 6-4; 1994. Рис. 10-5, 59-26; Культура зауральских..., 1997. Рис. 22-17]. Н.П. Матвеева включила их в категорию универсальных орудий труда, атрибутировав теслами-

мотыжками, которые использовались «при обработке дерева, копки могил и т.д.» [Матвеева, 1994. С. 110]. В анализируемых памятниках Прииртышья тесла есть в двух непо потревоженных мужских захоронениях (мог. Карташево 2, кург. 1, погр. 5 и кург. 4, погр. 2), где находились в составе воинских наборов, состоящих из меча, лука и колчана. В сохранившемся инвентаре разрушенного мужского погребения 3 кургана 6 Гаевского 1 могильника помимо тесла есть костяная проколка (рис. 69-19). В большинстве своем эти предметы происходят из мужских могил, имеют достаточно широкий диапазон распространения. В материалах Барабы находки тесел не упоминаются [Полосьмак, 1987].

Сохранившиеся детали доспеха представлены костяными пластинами от наборного панциря и железным пластинчатым панцирем. Последний лучше всего представлен в элитных неграбленных погребениях Исаковки 1 и Сидоровки, которые подробно описаны Л. И. Погодиным [Погодин, 1998а. С. 53–57]. Из-за доступности материала костяной доспех был широко распространен в раннем железном веке. Так, в погребении 1 кургана 4 могильника Богдановка 2 расчищен сохранившийся костяной наборный панцирь, насчитывавший 350 пластин. В аристократическом могильнике Скаты 1 костяные пластины были найдены в детских погребениях (рис. 102-11–19, 105-4–8) (кург. 3, погр. 1, и кург. 4, погр. 1) [Daire et al., 2002. Fig. 42-11–42-19; 46-4–46-8]. Считается, что лесостепное Зауралье – один из основных районов распространения костяных наборных панцирей, которые широко применялись населением гороховской и саргатской культур в V–II вв. до н.э., после чего сменились железными [Корякова, 1988. С. 68].

Элементы боевого железного пояса происходят из захоронения полугодовалого младенца в подбое (рис. 100, 101-5,6) (Скаты 1, кург. 3, погр. 2) [Daire et al., 2002. Fig. 44-5, 44-6].

Предметы конской упряжи в неграбленных захоронениях представлены полными комплектами удил с псалями (рис. 18-А:8, 25-8, 29:В-1), а также наборами сбруйных обойм (рис. 18-А:3, 67-7–12). Все описанные в литературе

удила являются двусоставными, кольчатыми, изготовленными из кованных стержней образцами. В лесостепном Тоболо-Иртышье они известны на протяжении всего периода существования саргатской культуры [Корякова, 1988. С. 69; Матвеева, 1993б. С. 107]. Использовались с прямыми стержневидными двудырчатыми псалиями из железа и кости [Могильников, 1992а. С. 303]. В коллекции Сопининского 1 могильника есть два парных стрежневидных псалия, изготовленных из бронзы (рис. 41-3,4). Они происходят из разрушенного захоронения мужчины (ск. 1) в центральном погребении 1 кургана 1 (рис. 36-И). Предметы имеют округлое сечение и длину 9 и 8 см [Среда, культура..., 2009. С. 223. Рис. 9.15-3, 9.15-4]. Уникальность сопининских экземпляров заключается в том, что они бронзовые и могут рассматриваться в качестве ранних примеров таких псалиев. Более того, единый комплекс с ними составляет керамическая банка (рис. 36-И, 37-2)⁴³. Как известно, бронза в лесостепи к востоку от Урала широко применялась до III в. до н.э.

Прежде было подмечено, что «в саргатской культуре в целом были распространены удила простейшей конструкции без зажимов и диаметром колец до 4 см» [Шарапова, Малашев, 2022. С. 177]. Такие экземпляры известны, например, в могильниках Ипкульский, кург. 1 из насыпи; Абатский 1, кург. 3, погр. 10; Абатский 3, кург. 6 из бровки [Корякова, 1988. Рис. 20-4; Матвеева, 1994. Рис. 10-1; 54-1,11]. В Прииртышье фрагмент железного кольца большого диаметра (от удил?) происходит из погребения 7 кургана 2 могильника Исаковка 3 [Погодин, Труфанов, 1991. Рис. 12-21]. Датировка памятника концом III – началом I в. до н. э. авторами явно занижена [Погодин, Труфанов, 1991. С. 125], но и фрагментарность изделия не позволяет надежно атрибутировать находку. В двух случаях удила отличаются кольцами бóльшего диаметра (5–6 см), происходят из впускных захоронений в курганах Прииртышья (Богдановка 1, кург. 1, погр. 5 и Богдановка 2, кург. 2, погр. 2) [Могильников, 1968; 1977; 1992а.

⁴³ Найдена *in situ* на дне могилы у находившихся в сочленении костей левой ноги умершего (ск. 1), который был погребен в кургане первым. Изготовленная из глины с обильной примесью талька, эта емкость представляет собой типичный образец гороховской гончарной традиции.

Табл. 123-1,13]. Им аналогична находка в позднем погребении 8 кургана 6 Абатского 3 могильника на Ишиме [Матвеева, 1994. С. 99–100. Рис. 57-2]. Позднее они становятся самым распространенным типом удила, оканчивающихся кольцами, и известны на территории от лесостепи до северной тайги вплоть до XVIII столетия [Зыков и др., 2017. С. 204].

Особый интерес представляют экземпляры, имеющие, кроме бóльшего диаметра, дополнительные детали для крепления ремня поводаев в виде зажимов или прямоугольной петли (рис. 66-20, 67-21). Они известны в поздних погребениях 1 и 2 кургана 6 Гаевского 1 могильника [Культура зауральских..., 1997. С. 55. Рис. 18-20, 19-21], для которых отмечены признаки позднесарматской культуры Южного Приуралья [Шарапова, 2020. С. 226; Шарапова и др., 2020]. Более подробно гаевские удила будут рассмотрены в следующей главе при обсуждении верхней хронологической границы саргатской культуры.

Помимо уздечных наборов, ременная гарнитура в материалах саргатской культуры представлена всевозможными пряжками (рис. 18-Б:5, 41-7, 66-4,5, 67-13,17,18, 95-И:2, 106) и наконечниками ремней (рис. 18-А:1, Б:2, 69-6, 72-8,9). Из-за разграбленности большинства могил и плохой сохранности самих изделий типологические признаки лесостепных образцов в литературе даны обобщенно [Корякова, 1988. С. 75–77; Могильников, 1992а. С. 304; Матвеева, 1993б. С. 108]. В существующих публикациях погребальных памятников Притоболья и Приишимья хронологическая оценка этой категории предметов приведена с учетом образцов, распространенных на широкой территории [например, Матвеева, 1993б. С. 108; 1994. С. 109–113; Культура зауральских..., 1997. С. 56–58; Среда, культура..., 2009. С. 226–227; Daire et al., 2002. P. 11–161]. Корректировка существующих схем не проводилась. В то же время для культур юга Восточной Европы появились исследования, в которых периодизация ременных гарнитур основана на признаках (например, для пряжек – рамки, щитки, язычки), отражающих в первую очередь эволюционные изменения этих вещей. Такой подход позволил, в частности для позднесарматских древностей,

создать дробную хронологическую схему [Малашев, 2000; 2013; Малашев, Яблонский, 2008 и т.д.]. Уточнение датировок пряжек с подвижным язычком выявило довольно редкие образцы [Шарапова, Малашев, 2022], показательные для хронологической оценки лесостепных комплексов. Исходя из этого, представляется целесообразным привести их характеристику.

В погребениях лесостепного Тоболо-Иртышья в небольшом количестве обнаружены застёжки с дуговидной формой рамки (рис. 106-1) (мог. Исаковка 1, кург. 12, погр. 4 и Бещаул 3, кург. 1, погр. 3) [Погодин, 1990; Шарапова, Малашев, 2022. Рис. 1-1,2]. Между тем они хорошо представлены в европейских древностях и восходят к римским образцам, на что указывает шарнирная конструкция оси язычка. Большая часть таких застёжек происходит из комплексов в некрополях Крыма, датированных I в. до н.э. [Труфанов А. А., 2004. С. 162, 168]. При этом за пределами Крыма – в европейской степи – их ранние находки представляют собой морфологические имитации, отличающиеся конструктивно. Совместно с В.Ю. Малашевым было предложено считать, что «распространение данной разновидности пряжек у степного населения Восточной Европы происходит позднее и приходится на вторую половину I в. до н.э.; на Северном Кавказе подобная пряжка встречена в комплексе I в. н.э.». Пряжки из саргатских памятников могут иметь несколько более позднюю хронологическую оценку, связанную уже с I в. н. э. [Шарапова, Малашев, 2022. С. 173].

Еще одной разновидностью римских образцов являются лировидные или восьмерковидные застёжки (рис. 106-2–4) (мог. Богдановка 1, кург. 1, погр. 5 и Бещаул 3, кург. 1, погр. 3) [Погодин, 1988; Могильников, 1992а. Табл. 124-29; Шарапова, Малашев, 2022. Рис. 1-3,5], находя соответствие в комплексах Центральной Европы и Крыма от финала предримского времени – рубежа эр до середины I в. н. э. [Madyda-Legutko, 1986. S. 18–20; taf. 1, 2; Труфанов А. А., 2004. С. 163–164, 168; рис. 2-10–12]. Аналогии и имитации предметов данной формы (вплоть до отделенных вариантов) широко представлены в среднеазиатских древностях и Южной Сибири. Причем находки из Богдановки имеют высокую

степень сходства с экземплярами, известными в могильниках Северной Бактрии – Тулхарском, Бабашовском и Аруктауском [Мандельштам, 1966. Табл. XLV-1–6; 1975. Табл. XV-9; XXXIII-4–6; Шарапова, Малашев, 2022. С.173–174], что возможно только при существовании непосредственных контактов населения саргатской культуры и южных районов Средней Азии. Такое предположение подкрепляется присутствием в элитном захоронении могильника Сидоровка (кург. 1, погр. 2) [Матющенко, Татаурова, 1997. Рис. 7-1–3] их отдаленных морфологических реплик (рис. 106-5,6), который выражается механическим переносом подвижного язычка на местную форму пряжки.

Еще одна морфологическая разновидность представлена пряжками с поперечной переключиной (рис. 106-7–9) (мог. Савиновский, кург. 5, погр. 3; Бещаул 4, кург. 2, погр. 1А; Исаковка 1, кург. 6, погр. 10) [Погодин, 1988; 1989; Матвеева, 1993б. Рис.10-12; 1994. Рис. 14-6; Шарапова, Малашев, 2022. Рис. 1-8–11]. По форме рамок они находят соответствия на более ранних ременных застежках с выступом в передней части рамки в среднеазиатской и южносибирской культурной среде. Это позволяет их рассматривать результатом синтеза – местная форма и установленный на ней подвижный язычок [Шарапова, Малашев, 2022. С. 174]. Часть предметов (рис. 43 – 7,8) близка пряжкам кургана 2 Орлатского могильника [Никаноров, Худяков, 1999. Рис. 1-21], датировка которого не выходит за рамки I–II в. н.э.

Пряжки, имеющие небольшой прогиб боковых сторон с расширенной и скругленной передней частью рамки (рис. 43-10,11) (мог. Бещаул 4, кург. 2, погр. 1А и кург. 1, погр. 2; Исаковка 1, кург. 5, погр. 2; Абатский 3, кург. 1, погр. 5) [Погодин, 1988; 1989; Матвеева, 1994. Рис. 29-2; Шарапова, Малашев, 2022. Рис. 1-12–14], находят отдаленные параллели рассмотренным выше находкам. Близкие по форме экземпляры из памятников европейской части степного пояса относятся к среднесарматскому времени (I – первая половина II в. н.э.) [Максименко, 1998. Рис. 63–2,3; Труфанов А. А., 2004. Рис. 2-5–9 и др.].

Пряжки с округлой рамкой и подвижным язычком (рис. 43-12) скорее всего, являются результатом изменения конструкции ременных застежек на местной основе под влиянием импортных образцов [Шарапова, Малашев, 2022. С. 174. Рис. 2-1–9]. Они известны в погребениях всего ареала саргатской культуры.

Таким образом, приведенные сведения позволяют рассматривать бóльшую часть пряжек (исключение составляют дуговидные) производными от восьмерковидных или лировидных застежек, и созданными в местной культурной среде. Их степень сходства/отличия от исходных образцов определялась региональными особенностями. В Южной Сибири образцы с подвижным язычком появляются из Средней Азии. Показательно, что химический состав пряжек «лировидной» формы из суннских памятников свидетельствует об их изготовлении в бактрийских центрах [Миняев, 1976. С. 109–110]⁴⁴. Очевидно, что наиболее ранние образцы ременных застежек с подвижным язычком на территории Средней Азии и Южной Сибири, включая ареал саргатской культуры, могли появиться не ранее второй половины I в. до н.э., а широкое распространение данной конструкции, вероятно, относится к первым векам н.э. [Шарапова, Малашев, 2022. С. 176].

В саргатских могильниках находки ложечковидных наконечников-подвесок представлены как бронзовыми, так и железными экземплярами (иногда в одном комплексе, например, Исаковка 1, кург. 3, погр. 6) с рельефными зооморфными изображениями и без орнамента; при этом декорированы как бронзовый (Марково 1, кург. 24, погр. 2 [Полосьмак, 1987. Рис. 37-7]), так и железный (Исаковка 1, кург. 3, погр. 6 [Погодин, 1989]) предметы. Остальные известные образцы ложечковидных подвесок (мог. Богдановка 2, кург. А, погр. 8; Сидоровка, кург. 2, погр. 3 и кург. 3, погр. 3; Савиновский, кург. 5, погр. 3; Абатский 3, кург. 6, погр. 9) не имеют зооморфный орнамент [Могильников, 1992а. Табл. 124-23; Матвеева, 1993б. Рис. 10-15; 1994, рис.58-21; Матющенко, Татаурова, 1997. Рис. 36-11; 53-6].

⁴⁴ Пряжка из Савиновского могильника (рис. 106-7), согласно проведенному М. М. Проконовой исследованию, изготовлена из свинцовой латуни, что, по ее мнению, указывает на бактрийское происхождение застежки [Проконова, 2021. С. 233].

Однако их небольшое количество позволяет только привести данное наблюдение, любые утверждения на имеющемся материале преждевременны.

Происхождением связаны с древностями сюнну и культур, находившихся в зоне их влияния. Для Забайкалья и Монголии неизвестны комплексы, в которых эти предметы датируются ранее II в. до н.э. [Давыдова, 1985. С. 50; Могильников, 1992б. Табл. 106-72,73; Миняев, 2007. Рис. 18-31-34]. Синхронно ложечковидные наконечники появляются в памятниках Тувы [Семенов, 2003. С. 76-78], Минусинской котловины [Савинов, 2009. С. 78] и Алтая [Матренин, 2017. Рис. 19-5-7,21-26], тогда же попадают в Среднюю Азию [Мандельштам, 1966. Табл. XLV-12,13] и Восточную Европу [Шарапова, Малашев, 2022. С. 176]. У населения европейских степей данные предметы появляются во II в. до н.э. [Скрипкин, 2010. С. 205-206; рис. 5-12-16] и используются в среднесарматское время вплоть до середины II в. н.э. [Максименко, 1998. Рис. 20-6; Пуздровский, 2007. Рис. 91-1,2; 104-II и др.]. Наконечники из погребения 8 кургана А могильника Богдановка 2 и погребения 3 кургана 5 Савиновского могильника, судя по пряжкам, относятся, скорее всего, к I в. н.э. [Шарапова, Малашев, 2022. С. 176].

Одночастные наконечники-подвески с прорезью в верхней части (рис. 72-8,9) известны в памятниках западного ареала, из разрушенных погребений (мог. Савиновский, кург. 5, погр. 3; Гаевский 1, кург. 7, погр. 3; Абатский 3, кург. 1, погр. 5) [Матвеева, 1993б. С. 24. Рис. 10-3,14; 1994. С. 53. Рис. 30-39; Культура зауральских..., 1997. С. 45. Рис. 28-3,4]. В погребениях восточной части ареала саргатской культуры подобные предметы представлены парой экземпляров из золота (мог. Исаковка 1, кург. 3, погр. 6) [Погодин, 1989]. Наконечники ремней без металлического зажима с прорезью в верхней части в европейских степях встречаются в комплексах среднесарматской культуры [Симоненко, Лобай, 1991. С. 52. Рис. 11-3,4; 27-1,3-6; Ильюков, Власкин, 1992. Рис. 13-5; 20-9; 23-11]. Одними из наиболее ранних являются наконечники из Прииртышья. Их датировка определяется по найденным в том же погребальном комплексе

округлой пряжке с подвижным язычком и северокавказскому керамическому кувшину [Шарапова и др., 2022] – не ранее второй половины I в. до н.э., скорее всего, около рубежа эр.

В саргатских могильниках есть небольшое количество бронзовых котлов, которые, наряду с бронзовыми зеркалами, отражают ассортимент металлического импорта в местной среде. Л. Н. Корякова указала их количество – не менее шести [Корякова, 1988. С. 78]. С учетом материалов могильников Тоболо-Иртышья, раскопанных в 1980-1990 гг. и позднее, набирается серия в 15 археологически целых экземпляров⁴⁵, дополненная двумя фрагментами стенок котлов. Отсутствие публикаций прииртышских коллекций затрудняет и характеристику этих находок (рис. 19, 20), и их сравнение в типологическом и культурном контексте с другими детально проработанными экземплярами [например, Демиденко, 2008]. В лесостепи Зауралья бронзовые котлы известны еще и в комплексах гороховской культуры. В раскопанном Зауральской лесостепной археологической экспедицией Большеказакбаевском могильнике кенотаф (погр. 2, кург. 1) содержал бронзовый котел с полусферическим туловом и дуговидными ручками с выступами. Судя по сохранности, предмет был длительное время в употреблении: кроме имевшихся следов ремонта был утрачен поддон. Инвентарь включал также железный кинжал с прямым перекрестием и серповидным навершием, аналогичный клинку из могильника Гаевский 1, кургана 6, погребения 4 [Daire et al., 2002. P. 95–99. Fig. 51]. На дне дочиста ограбленного центрального погребения 1 кургана 2 могильника Скаты 1 зафиксирован отпечаток ножки бронзового котла [Ibid. P. 67].

⁴⁵ Типологически эти котлы различны [ср.: Матвеева, 1994. Рис. 68–9; Матющенко, Татаурова, 1997. Рис. 16-1, 71; Daire et al., 2002. Fig. 51]. Более того, в 2023 г. в непо потревоженном погребении 4 кургана Новопокровка 10 был обнаружен бронзовый котел с многочисленными следами ремонта и утраченным поддоном (тип VI.9.A [Демиденко, 2008]) (полевые материалы автора), поиск аналогий которому выявил интересную деталь. Некоторые экземпляры из могильников Сидоровка [Матющенко, Татаурова, 1997. Рис. 16-1, 71], Богдановка 3 и Исаковка 1 имеют вертикальный литейный шов, горизонтальные ручки и в сохранившихся случаях – прорезные поддоны. По словам С.В. Демиденко они образуют своеобразную типологическую группу, отличную от котлов из Семиречья, сочетанием специфической формы тулова и прорезного поддона (устная информация С.В. Демиденко, материалы готовятся к публикации).

Большая часть украшений саргатской культуры отлита из сплавов с лигатурой олова и цинка. Заметную часть среди них составляют импорты из приаральских (джетыасарских), южноказахстанских и среднеазиатских мастерских (прежде всего зеркала), а также из Китая, Индии и с Ближнего Востока [Кузьминых, 2015. С. 128]. Типологически монолитной представлена коллекция бронзовых зеркал Абатского 3 могильника – два с рельефным валиком по краю диска и одно с менее выраженным валиком (рис. 25-18, 27-9) [Матвеева, 1994. С. 112]. Иные зеркала также подобны образцам, распространенным у сарматов [Полосьмак, 1987. С. 39, 83; Матвеева, 1993б. С. 113].

Из центральной могильной ямы могильника Карасье 9 (кург. 11, погр. 1) происходят обломки железного, инкрустированного серебряной фольгой фалара небольшого диаметра (рис. 88-1) [Шарапова и др., 2001; Ковригин и др., 2006. Рис. 5-1]. Орнаментальное поле покрыто серебряным листом, на котором проработан сильно пострадавший от коррозии узор из разнонаправленных завитков. Прием аппликации железной, реже бронзовой основы тонкой золотой фольгой известен в сарматских древностях со II-I вв. до н.э. и получил наибольшее распространение в первые вв. н.э. [Безуглов, 1988. С. 111; Гугуев, Безуглов, 1990. С. 172; Симоненко, Лобай, 1991. С. 49].

Помимо рассмотренных выше предметов разных групп, вещевой комплекс содержит различного рода костяные и керамические лоцила (рис. 35-5,6), металлические и выполненные из кости проколки и шилья (рис. 10-17,105-3), точильные камни (рис. 77-10), бронзовый крючок, размер которого не позволяет отнести к категории колчаных (рис. 41-1). В заполнении постройки 9 Павлинова городища был найден каменный пест [Среда, культура..., 2009. С. 100].

Украшения представлены разнообразными предметами, изготовленными из металла, кости, стекла. В погребениях нередки серьги, кольца, браслеты и гривны⁴⁶. Однако самая массовая категория – бусы и бисер (рис. 10-15,16,18, 17-

⁴⁶ Допускаю, что в большинстве случаев гривны могут рассматриваться в категории атрибутов власти, а не украшений. На это недвусмысленно указывают массивные экземпляры из золота в богатых погребениях

Б:3,4, 25-1,2, 55-17, 69-5, 72-6, 75-9, 91-6, 102-1,23-26, 104-Б:3-5). Большая часть этих находок типична для саргатской территории и учтена в существующей литературе по археологии раннего железного века региона [Корякова, 1988. С. 79–83; Матвеева 1993б. С. 108–114; 1994. С. 112–113; Могильников, 1992а. С. 304; Полосьмак, 1987. С. 79–83]. Представляется целесообразным отметить лишь те, характеристика которых была дополнена новыми исследованиями.

Большое типовое и вариантное разнообразие бус чаще всего затрудняет их идентификацию и не гарантирует от возможных ошибок при определении. За неимением подробной морфологической классификации стеклянных изделий, распространенных в саргатской среде, для датировки комплексов коллеги вписывают лесостепные находки в схемы Е. М. Алексеевой [Алексеева, 1975; 1978]. Поэтому, несомненно, заслуживающей внимания является серия работ Н. П. Довгалюк о стеклянных украшениях из саргатских могильников [Довгалюк, 1993; 1995; 1997; 1998 и т.д.]. Автор с учетом морфологии, технологии и химического состава стекла не только сравнила наборы бус из разных ареалов культуры [Довгалюк, 1993; 1995], но и определила основные центры производства стеклянных изделий и пути их поступления на территорию саргатской культуры [Довгалюк, 1997; 1998]. В силу широкого диапазона бытования различных импортов, которые депонировались в саргатском погребальном источнике, многие из них не могут служить установлению хронологии, но обозначают временной тренд и задают вектор поиска закономерностей их распространения. Бусы населению саргатской культуры поступали из Египта, прибрежной Сирии, внутренних районов Передней Азии и Китая [Довгалюк, 1998. С. 72]. Например, в коллекции могильника Исаковка 1 присутствует большое количество образцовых комбинаций бус. Они составлялись самим производителем или связанным с ним

Сидоровки и Исаковки 1. Дополнительным аргументом может рассматриваться факт нахождения бронзовой проволочной гривны на шее подростка, для которого определена кольцевая деформация черепа, из кургана Новопокровка 10. Сопроводительный инвентарь из этого погребения включал два лепных саргатских сосуда, серебряную спиральную пронизку, глиняное пряслице и массивный фрагмент стенки гончарного сосуда (вероятно хорезмийского) (полевые материалы автора). Последний наглядно иллюстрирует прием *pars pro toto* – часть вместо целого.

торговцем, что предполагало минимальное количество посредников, осуществлявших прямую торговлю [Довгалюк, 1993. С. 54]. Примечательно, что для саргатского ареала на протяжении всего периода существования культуры характерны бусы в составе образцовых комбинаций [Довгалюк, 1995. С. 11]. Для памятников Прииртышья отмечается большое количество бус из стекла, изготовленного из золы растений пустынной зоны, предположительно переднеазиатского происхождения. Доля бус из калиевого стекла, считающегося одной из статей китайской торговли на большие расстояния, примерно одинакова для Прииртышья и Притоболья. Многоцветные подвески и глазчатые бусы сине-фиолетового цвета из разных памятников саргатской культуры могут иметь египетское происхождение. Некоторые находки в могильниках Притоболья, в частности изготовленные из содового стекла, связаны с мастерскими средиземноморского побережья Сирии [Довгалюк, 1998. С. 71–72].

Также представляется весьма интересным еще один частный сюжет, связанный с мелкими стеклянными бусами с внутренней позолотой, которые являются одной из наиболее многочисленных их разновидностей. Например, в Гаевском 1 могильнике они собраны в погребениях трех из пяти раскопанных курганов [Культура зауральских..., 1997. С. 60. Табл. 2]. Эффект «внутренней позолоты» достигался древними стеклоделами по-разному. Чаще металлическая прокладка была изготовлена из соединений золота и серебра. В некоторых случаях, как установила Н. П. Довгалюк, такой прокладки не было вообще: иллюзия «внутренней позолоты» достигалась путем двойной сборки полупрозрачных и прозрачных стекол желтого/белого и оранжевого/желтого цветов [Довгалюк, 1998. С. 70]. Результаты, полученные Н. П. Довгалюк, весьма показательны в плане оценки и уточнения хронологии изделий из прозрачного стекла. Известно, что белое прозрачное стекло появляется лишь в 50-е гг. I в. до н.э. [Сорокина, 1988; 1989]. В могильнике Коконовка 2 в Прииртышье большая часть бус в коллекции представлена именно такими образцами [Довгалюк, 1998. С. 70]. Принимая во внимание факт появления изделий из прозрачного стекла в

Западной Сибири, можно полагать, что, формируя свои потребности, элитарные слои довольно быстро отреагировали на технологические новшества.

Серьги представлены проволочными простыми и более сложными с подвесками экземплярами из бронзы и золота (рис. 16-Б:5, 17-А:1,2, Б:1,2, 25-5,6, 61-2-6, 67-6, 75-10, 91-7). Различные варианты кольчатых и кольчато-петельчатых проволочных сережек известны в коллекциях саргатских погребений всех этапов культуры [Корякова, 1988. С. 81–82]. На этом фоне выделяются многоэлементные золотые серьги Тютринского могильника, состоящие из стрежня, щитка со вставкой, колечка и пирамидок зерни [Матвеева, 1993б. Рис. 30-19, 31-32, 31-33]. Ближайшие аналогии этим изделиям авторы раскопок усматривают в собрании украшений Сибирской коллекции Петра I [Руденко, 1962. Табл. 20-1, 20-2, 20-4, 20-15, 20-16, 20-19; Матвеева, 1993б. С. 113].

Перстни в небольшом количестве происходят из погребений всех локальных групп. Бронзовые и железные перстни имеют широкий хронологический диапазон бытования – со второй половины I тыс. до н.э. и позднее [Матвеева, 1993б. С. 112–113]. В неопубликованных материалах богдановских курганов упоминается минимум пять золотых щитковых перстней, однако условия их нахождения не совсем ясны. Неизвестны аналогии золотому перстню из витой в несколько сложений проволоки с утерянной вставкой из могильника Стрижево 1, кургана 2, погребения 5.

Среди прочих предметов стоит упомянуть две костяные ложечки из коллекции Павлинова городища (рис. 55-1,2) [Среда, культура..., 2009. С. 100. Рис. 4.4-4]. Уникальность им придает их довольно редкая, если не единичная, встречаемость в ареале саргатской культуры (ранее была известна только одна из Лихачевского могильника [Корякова, 1988. С. 79]). Гораздо лучше костяные ложечки разных форм и с различным декоративным оформлением представлены в погребениях савроматов и ранних сарматов (прохоровская культура) Южного Урала [Смирнов К.Ф., 1964. С. 160–161]. Случаи обнаружения ложечки в колчанах ранних кочевников связываются с ее использованием, наряду со

стрелами, в погребальном ритуале, по завершении которого этот предмет занимал место в колчане или вблизи него [Федоров, 2013. С. 58]. Между тем при всем разнообразии форм наличие петельки у предмета из постройки 5 Павлинова городища [Среда, культура..., 2009. Рис. 4.4-5] выглядит редким, что отличает эту находку от остальных.

Керамические подвески каплевидной/миндалевидной формы, называемые сурьматаш, выточены из фрагментов красноглиняных сосудов. Они предназначены для сурьмления бровей и хорошо известны в Средней Азии с середины I тыс. до н.э. [Литвинский, 1978. С. 133. Табл. 35]. На территории саргатской культуры они встречаются в поселенческих и погребальных памятниках Притоболья и Приишимья [Мошкова, Генинг, 1972. Рис. 4-3; Матвеева, 1993б. Рис. 31-13, 31-31; 37-10; 1994. Рис. 40-18]. В материалах Зауральской лесостепной археологической экспедиции есть два образца: один – с территории Павлинова городища (рис. 55-19), другой – из погребения 7 кургана 1 близлежащего Сопининского 1 могильника (рис. 41-9) [Среда, культура..., 2009. Рис. 4.5-6; 9.15-7]. В Барабе и Прииртышье находки подвесок сурьматаш мне не известны.

В заключение необходимо подчеркнуть, что приведенные описания включают основные категории инвентаря, распространенного в памятниках саргатской культуры. Доступный материал дополнен здесь новыми сведениями, появившимися позднее. Однако даже такая обобщенная характеристика материального мира и погребальной обрядности населения изучаемого региона позволяет представить все многообразие культуры и снабдить гипотетические реконструкции археологическим контекстом. Более того по мере накопления фактического материала, а также в ряде случаев при изменении традиционного взгляда на археологический предмет появляется возможность получить новую информацию как относительно датировки изучаемых комплексов, так и половозрастной специфики древнего социума.

Глава 3. Вопросы хронологии и тафокомплекса

Предложенная в 1970–1990 гг. систематизация саргатских древностей и последующее их осмысление заложили основу исследований, в том числе и социальной направленности. В большинстве случаев вещеведческий анализ сопровождался широким использованием статистических методов. И, конечно же, неслучайно именно выборки погребений использовались в качестве исходного материала для реконструкции социальной структуры саргатского населения [Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 2000; 2005; Берсенева, 2005; 2011б].

При этом важно учитывать, что и могильники, и археологические памятники в целом содержат информацию различного уровня. Способы ответа на поставленные вопросы зависят и от опыта предшественников, сформировавших багаж знаний, и от конкретных задач, определяемых для конкретных исследований. Более того, фрагментарность ископаемой/древней культуры усиливается неоднократной разграбленностью погребальных памятников, что делает любые выводы еще более гипотетическими. Это отнюдь не означает, что археология вообще бессильна в воссоздании прошлого. Как писал М. Б. Щукин, «для каждого расследуемого случая одним из наиболее существенных моментов является время <...> от этого многое зависит, зависит выбор версии» [Щукин, 2005. С. 16]. Помимо классификации и типологии упорядочение материала устанавливает последовательность, то есть отражает время, которое еще в большей мере линейно и направлено [Клейн, 1991. С. 3–10; 2012. С. 292–294; Щукин, 2005. С. 16–19]. В диссертационной работе вопросы хронологии обсуждаются еще и потому, что они позволяют рассмотреть население региона в хронологическом контексте.

Проведя анализ и синтез материалов общекультурной выборки, Л. Н. Корякова предложила периодизацию саргатской культуры [Корякова, 1988. С. 59–127; 1994б. С. 129; Культура зауральских..., 1997. С. 138–154]. По ее

мнению, отдельные различия отражали локальные особенности групп родственного населения. Кроме того Л. Н. Корякова отметила, что зафиксированные различия больше характерны для раннего этапа, позднее они менее заметны [Корякова, 1994б. С. 129]. Изучая коллекции Притоболья, Н. П. Матвеева пришла к схожему заключению. Однако она исключила выделение локальных вариантов саргатской культуры, допустив возможность этнических различий [Матвеева, 1993б. С. 141].

Необходимо признать, что существующая схема периодизации саргатских древностей выстроена преимущественно с учетом относительной хронологии. В ней все еще доминирует осознание того, что могло быть раньше, а что позже. Увы, наши знания относительно того, как все это могло соотноситься с реальным временем, крайне ограничены, поэтому временные интервалы зачастую очень широки, поскольку отражают общую тенденцию с учетом результатов изучения синхронных культур и/или соседних территорий. Однако за последние два десятилетия наблюдается прирост данных по радиоуглеродному датированию, хотя и они не лишены широких диапазонов [например, Культура зауральских..., 1997; Среда, культура..., 2009; Матвеева, 2017б].

§ 1. Периодизация

Достигнутые успехи в археологии саргатской культуры не сняли остроты проблем внутренней периодизации и датировки памятников. Несмотря на хорошую представленность источниками и довольно длительную историю изучения, некоторые вопросы хронологии все еще остаются дискуссионными. Наиболее обсуждаемыми являются ранние и поздние этапы. В определенной мере это связано с тем, что археологически эти периоды представлены хуже, а неразрушенных комплексов, содержащих находки-хроноиндикаторы, не так уж и много. Археологическое выражение почти тысячелетней истории саргатского

социума становилось основой различных вариантов хронологии культуры. В своих гипотетических построениях исследователи чаще придерживаются правила о последовательной сменяемости археологических культур.

Мнения коллег расходятся в определении границ и названии периодов саргатской культуры [Могильников, 1970; 1992а; Корякова, 1991а; 1994б; Матвеева, 1993б и др.], что и составляет основу практически всех существующих в настоящее время дискуссий. В предыдущей главе рассматривалось, что Л. Н. Корякова предложила различать понятия собственно саргатской культуры и общности (последняя совпадает с ареалом распространения саргатских стереотипов на окраинах и в разные хронологические периоды) [Корякова, 1991б]. В истории саргатской общности выделены этапы формирования (предсаргатский – VII–VI вв. до н.э.), подъема (саргатско-гороховский – V–III вв. до н.э.), стабилизации (саргатский – II в. до н.э. – II–III в. н.э.) и трансформации или распада (позднесаргатский – IV–V вв. н.э.) культуры [Корякова, 1991а. С. 33–47; 1994б. С. 129].

Напомню, источниковая база предпринятого исследования представлена, в том числе и материалами раскопок саргатских памятников в Притоболье, которые отнесены к опорным для археологии железного века лесостепной зоны к востоку от Урала. Их хронологическая атрибуция устанавливалась в соответствии с периодизацией, разработанной Л. Н. Коряковой [Корякова, 1991а; Культура зауральских..., 1997. С. 138–154], что нашло отражение в публикациях [Культура зауральских..., 1997; Ковригин и др., 2006; Ковригин, Ражев, 2007; Среда, культура..., 2009; Корякова и др., 2010; Daire et al., 2002 и т.д.].

Время, предшествовавшее появлению и сложению диагностических признаков саргатской культуры, приходится на *VII–VI вв. до н.э.* [Корякова, 1991а. С. 33–47; 1994б. С. 129], по другим данным – VIII–VII вв. до н.э. [Матвеева, 2015; 2017б]. Л. Н. Корякова определила этот этап развития предсаргатским [Корякова, 1994б. С. 119–125]. Считается, что его основным археологическим содержанием было преобладание в лесостепи традиций, восходящих к местным культурам эпохи бронзы [Культура зауральских..., 1997.

С. 138–141]. В целом погребений этого времени очень мало, что закономерно и объяснимо: происходило зарождение культурных традиций и трансформация местного компонента в новую культуру пока еще не нашла отражения в обрядности. Среди находок основным хроноиндикатором этого периода является керамика, относительная шкала для которой была предложена В. Е. Стояновым [Стоянов, 1969]. Исключение составляет зауральский очаг металлургии, функционировавший на базе металлоносной иткульской культуры [Бельтикова, 1997].

Именно В. Е. Стоянов отметил очевидную тенденцию начального этапа – переход от многообразия к относительному однообразию [Стоянов, 1970. С. 249]. При этом он подчеркнул, что сложение черт и/или признаков, определивших саргатскую культуру, на востоке и на западе протекало самостоятельно и своеобразно. Активных взаимодействий между зауральской линией, которая характеризуется древностями с тальковой керамикой: иткульскими, воробьевскими, гороховскими, и затобольскими типами памятников не отмечается. Их ранние стадии фиксируются на удаленных и обособленных территориях [Там же. С. 251]. Консолидация различных групп лесостепного (для некоторых районов к востоку от Урала – горно-лесного) населения в саргатскую общность постепенно обретала характерные признаки. Заметное исключение представлено упомянутыми ранее комплексами с иткульским металлом и керамикой на Скворцовской горе V [Чаиркина, 2011. С. 125–129]. Чаще всего невыразительные наборы предметов (фрагменты керамики, металлических изделий) происходят из разрушенных погребений, подобно погребению 1 (ск. 2) кургана 11 могильника Карасье 9 [Шарапова, 2000; Ковригин и др., 2006. С. 191–192, 201]⁴⁷.

В то же время немногочисленные данные свидетельствуют о начале проникновения внешнего культурного компонента, фиксируемого и в обрядности,

⁴⁷ В заполнении ямы 1 и вокруг нее, в частности под выкидом, были расчищены фрагменты обгоревшей черепной коробки взрослого мужчины, а также обломки лепных сосудов с орнаментом в ямочно-жемчужной технике и железных предметов. Сопоставление этих находок и тех, что относились к захоронению ребенка, позволило предположить, что до возведения саргатского кургана его площадка содержала погребение, которое по керамике относится к носилковским или баитовским древностям.

и в материальной атрибутике. На это первым обратил внимание В. Е. Стоянов [Стоянов, 1970. С. 250]. Выразительный пример представлен в материалах Прыговского 2 могильника на р. Тобол (рис. 30–32). Полученные в результате раскопок данные отражают процесс формирования нового образования, который происходил на местной основе, но с участием и под влиянием южных кочевников. Время основания курганов 1 и 2 определено в рамках VII в. до н.э. (VII–VI вв. до н.э.) по комплексу бронзовых наконечников стрел и сбруйных блях (рис. 30–31) [Корякова и др., 2010. С. 70]. Присутствие в ритуале таких черт, как ингумация в центре подкурганной площадки на дневной поверхности или в слабоуглубленной яме, наличие следов огня, прерывистые оконтуривающие ровики, малое количество сосудов или их отсутствие, обнаруживает сходство с сакскими некрополями Уйгарака [Вишневецкая, 1973. С. 61–63; Яблонский, 1996. С. 24].

На территории Барабинской лесостепи Н. В. Полосьмак отнесла ранние черты саргатской культуры, «носители которой контактировали с населением позднеирменской культуры», к VII в. до н.э. [Полосьмак, 1987. С. 90]⁴⁸. Н. П. Матвеева, проанализировав материалы как старых, так и новых раскопок памятников переходного времени, подчеркнула, что они не дают свидетельств саргатского культурогенеза, соглашаясь в целом с тем, что VIII–VII вв. до н.э., да и VI вв. до н.э., предваряли саргатскую эпоху [Матвеева, 2017б. С. 4, 10, 12].

Таким образом, к середине I тыс. до н.э. в лесостепи происходили процессы, предшествовавшие сложению саргатской культуры, – закладывались основы традиций. Позднее они наиболее ярко проявились в домостроительстве, погребальной обрядности и гончарстве. На макроуровне события этого времени маркируют сложение саргатской общности, в рамках которой происходила консолидация лесостепного населения, и появление локальных вариантов культуры, потому определение этапа предсаргатским вполне оправдано.

Согласно существующим схемам датировки лесостепных древностей, саргатская культура как устойчивая система сформировалась к V в. до н.э.

⁴⁸ Основанием послужила совместная встречаемость на полу жилищ поселения Туруновка 4 саргатской и позднебронзовой керамики, а также сосудов переходных форм [Молодин, Колонцов, 1984].

[Корякова, 1988. С. 84; 1991б. С. 4; Могильников, 1992а. С. 296; Культура зауральских..., 1997. С. 142–145; Матвеева, 2017б. С. 3, 12]. К этому времени, как отметила Н. В. Полосьмак, оформляются основные черты погребальной обрядности, а также происходит «сарматизация» саргатского населения [Полосьмак, 1987. С. 96].

В отношении нижней хронологической границы саргатской культуры большинство исследователей единодушны. Первоначально предложенная В. А. Могильниковым дата IV–III вв. до н.э. [Могильников, 1972а. С. 67] позднее была им пересмотрена [Могильников, 1992а. С. 296]. С конца 1960-х гг. накопленный материал по раннему железному веку лесостепи Зауралья и Западной Сибири определил археологическое содержание хронологического интервала *V–III вв. до н.э.* Для этого периода характерны ярко выраженные особенности, проявившиеся в восточной и западной частях Тоболо-Иртышской провинции [Стоянов, 1970. С. 246]. Как уже было отмечено в предыдущих главах, наиболее отчетливо они обнаруживаются в керамических традициях, которые определяют гороховский тип керамики на западе и саргатский на востоке, а также в отдельных элементах домостроительства.

Период распространения «саргатских стереотипов в места обитания зауральского, в том числе гороховского», населения Л. Н. Корякова предложила называть саргатско-гороховским, когда происходит нивелировка культуры [Корякова, 1994б. С. 129]. В Притоболье погребальные комплексы, относящиеся к V–III вв. до н.э., характеризуются курганным обрядом с заметной долей в сопроводительном инвентаре керамики баитовского типа с ямочно-жемчужным орнаментом (например, мог. Щучье 1 (рис. 89–91)) [Шарапова и др., 2001]⁴⁹. Кроме того, фиксируется совместная встречаемость в погребениях гороховских и

⁴⁹ К предсаргатской группе объектов Н. П. Матвеева отнесла могильники Прыговский 2 и Улановка. В других памятниках, как поселениях, так и могильниках, период V в. до н.э. присутствует незначительно, но при комбинировании древнее IV в. до н.э. дат не получилось [Матвеева, 2017б. С. 12–13. Рис. 4, 5]. Представляется, что объяснение кроется также в наборе существующих дат для саргатских древностей. Большинство используемой Н. П. Матвеевой серии радиоуглеродных дат получено для тех поселений и особенно могильников, где комплексы V в. до н.э. единичны (Павлиново городище) либо вовсе отсутствуют (Сопининский 1 могильник). И здесь дело не только в объективных трудностях, связанных с «галыштатским плато», но и в определенной случайности радиоуглеродной выборки, которая не в последнюю очередь формируется степенью археологической представленности и/или изученности материала.

саргатских признаков, проявившихся в вещевом комплексе, прежде всего в керамике, и обрядности (Гаевский 1, кург. 3, погр. 1, кург. 5, погр. 1, кург. 6, погр. 4 (рис. 69-1-6,9,15,17,20); Прыговский 2, кург. 2, погр. 2 (рис. 30-Г, 32-1,3,4,8, 33-1); Сопининский 1, кург. 1, погр. 1, ск. 2, кург. 2, погр. 1, ск. 3, и погр. 2, ск. 1 (рис. 36, 37-1,2, 41-2-4, 45-3,14); Карасье 8 и т.д.) [Культура зауральских..., 1997. С. 10-85; Шарапова, 2000; Среда, культура ..., 2009. С. 174-199; Корякова и др., 2010. С. 65].

Объекты на поселениях, для которых выделены культурно-стратиграфические слои этого времени, нередко содержат керамику со смешанными гороховско-саргатскими, гороховско-воробьевскими, воробьевско-иткульскими признаками. В частности, в материалах Павлинова городища глубина залегания типологически однородной керамики схожа с той, что была зафиксирована и для фрагментов со смешанными признаками [Шарапова, 2000. С. 16-17]. При этом в некоторых районах Зауралья, по северной границе лесостепи, еще сохраняются элементы обрядности местного субстрата (мог. Куртугуз I (рис. 79-83)) [Стефанов, 1998; Ковригин, Ражев, 2007] либо культурные традиции гороховского населения (мог. Скаты 1, (рис. 97-105)) [Daire et al., 2002]. Л. Н. Корякова предположила, что гороховский союз, наряду с другими образованиями, в III в. до н.э. органично вошел в состав саргатской общности, после чего саргатские традиции в культуре лесостепного населения стали доминирующими [Корякова, 1994б. С. 129, 149]. Н. П. Матвеева также допускает совместное существование саргатских, гороховских (вероятно, вместе с воробьевскими) и баитовских (вероятно, вместе с носиловскими) групп на начальном этапе [Матвеева, 2000. С. 120]. Затем происходит «постепенное вытеснение саргатским населением аборигенного, вплоть до изгнания военной силой» [Матвеева, 2017б. С. 12]. К сожалению, аргументов в пользу такого радикального развития событий не приводится. В этой связи необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день в археологии раннего железного века лесостепи Зауралья и Западной Сибири нет убедительных данных, которые бы

демонстрировали сложность или конфликтность интеграционного процесса, приведшего и к появлению саргатской культуры, и к сложению общности.

Наиболее ярким этапом развития зауральско-западносибирского лесостепного социума является саргатский этап, который Л. Н. Корякова условно датировала *II в. до н.э. – II-III вв. н.э.* [Корякова, 1994б. С. 129]. В археологическом плане он отмечен унификацией культуры в сфере как погребальной обрядности, так и системы обитания, включая домостроительство (рис. 49-Б, 50, 57). Существует мнение, никем из исследователей не оспариваемое, что в этот период происходит фаза стабилизации и расцвета саргатской культуры. К этому времени уже сформировались ее характерные диагностирующие черты [Культура зауральских..., 1997. С. 145–147]. Количество поселений и могильников, датированных этим отрезком времени, численно превосходит как ранние, так и более поздние.

К рубежу эр в Зауралье элементы гороховских традиций полностью замещены саргатскими, что подкрепляется материалами раскопок различных памятников. В целом наблюдается соответствие уровня развития культуры лесостепи южным территориям. Археологические находки свидетельствуют о глубокой социополитической интеграции населения саргатской общности с кочевым миром, государствами Средней Азии и более отдаленных от Западной Сибири территорий. Ассортимент импорта включал не только посуду, украшения и оружие, но и предметы роскоши. Самые богатые погребения этого времени происходят с территории Среднего Прииртышья, обнаружены в могильниках Сидоровка [Матющенко, Татаурова, 1997] и Исаковка 1 [Погодин, 1989]. Анализ технологии бус из погребений могильника Коконовка 2 позволил Н. П. Довгалюк датировать памятник более поздним временем, чем это было сделано автором раскопок [Труфанов, 1990]⁵⁰, что уже отмечалось в предыдущей главе. В коллекции могильников Коконовка 2 и Сидоровка много бус из стекла, поверхностный слой которого специально обесцвечен марганцем, что, по

⁵⁰ В отчете памятник саргатской культуры Коконовка 2 был датирован IV–III вв. до н.э., материалы раскопок не опубликованы [Труфанов, 1990].

наблюдениям Н. П. Довгалюк, является убедительным аргументом для более поздней датировки [Довгалюк, 1995]. Более того, в периферийном погребении 2 кургана 1 могильника Коконовка 2 была упокоена женщина, чей череп имел следы прижизненной деформации. Данное обстоятельство наряду с бусами, имеющими поздние даты, не позволяет рассматривать этот памятник среди круга древностей предшествующего времени. Может быть, менее выразительные, но не менее показательные в плане векторов связей погребальные комплексы есть почти во всех локальных группах. Они представлены в Абатских могильниках в Приишимье [Матвеева, 1994], поздних захоронениях могильников Карасье 9 (кург. 11, погр. 2) (рис. 86–88-4,5) [Ковригин и др., 2006], Сопининский 1 (кург. 1, погр. 9; бескурганное погребение) (рис. 42, 46) [Среда, культура..., 2009].

В Барабинской лесостепи саргатских памятников, датированных позже I в. н.э., пока не выявлено. Однако в тех, что известны, в скудном по составу погребальном инвентаре присутствуют черты, характерные для таежного круга культур [Полосьмак, 1987. С. 95]. В районах к западу от Барабы материал, относимый к саргатскому, отмечен и в более поздних слоях и объектах, что позволило Л. Н. Коряковой допустить существование культуры на протяжении еще нескольких столетий и выделить позднесаргатский этап [Корякова, 1988. С. 139; 1994б. С. 129].

Этот временной интервал, когда происходит распад системы, охватывает **IV–V вв. н.э.**; рамки его достаточно условны [Корякова, 1994б. С. 129; Культура зауральских..., 1997. С. 152]. Археологически этот период представлен значительно хуже предшествующего. Среди коллег нет единства мнений относительно поздней даты саргатских древностей. Дискуссионность доводов различных авторов заслуживает подробного рассмотрения, которое предлагается ниже. Более того и в рамках проведенного исследования обоснование верхней хронологической границы представляется не только вполне логичным, но и необходимым: с какого времени перестают фиксироваться основные диагностические признаки культуры, оставленной исследуемой в диссертационной работе группой населения.

§ 2. Верхняя хронологическая граница⁵¹

Свое отношение к поздней дате саргатских древностей высказывали многие исследователи, в том числе и те, чьи научные интересы напрямую не связаны с археологией лесостепных культур раннего железного века [например, Зыков, Федорова, 2001; Зыков, 2012; Боталов, 2009; 2016; Маслов, 2018]. В определенной степени эти вопросы еще касаются и преемственности, а точнее наследия и/или исчезновения носителей саргатской культуры, так как выводят на понимание процессов формирования средневековых обществ Зауралья и Западной Сибири. Некоторые существующие мнения о необходимости решительного пересмотра верхней хронологической границы не лишены оснований.

Как уже отмечалось выше, по мере накопления материала по археологии раннего железного века лесостепи основные взгляды на периодизацию древностей региона в рамках эволюционного подхода были сформулированы группой уральских археологов во главе с В. Ф. Генингом. Авторы полагали, что саргатских памятников в Барабе, Прииртышье и Притоболье позднее II в. н.э. нет [Генинг и др., 1970б. С. 215]. В. Е. Стоянов также относил верхнюю границу бытования поселений и могильников с саргатской керамикой ко II в. н.э. [Стоянов, 1970. С. 245, 247, 253].

Первоначально В. А. Могильников допускал, что саргатская культура прекращает свое существование во II–IV вв. н.э., позднее он несколько сузил предложенный ранее диапазон до III–IV вв. н.э. [Могильников, 1970. С. 180; 1992а. С. 296–297]. В качестве обоснования даты заключительного этапа

⁵¹ При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Шарапова С.В. Верхняя хронологическая граница саргатской культуры // Нижневолжский археологический вестник. – 2020. – Т. 19. №2. – С. 218–246. (SJR 0,28) (доля автора 2,8 п.л.);

Шарапова С.В., Пилипенко А.С., Ражев Д.И., Трапезов Р.О., Черданцев С.В. Два мужских погребения из кургана саргатской культуры: биоархеологический и палеогенетический обзор // Stratum Plus. – 2020. – №3. – С. 353–378. (JCI 0,25) (доля автора 1 п.л.);

Шарапова С.В., Малашев В.Ю. Хроноиндикаторы I–III в. н.э. из лесостепных памятников Тоболо-Иртышья // Нижневолжский археологический вестник. – Т. 21. №1. – 2022. – С. 171–192. (SJR 0,28) (доля автора 1 п.л.).

приводятся находки крупных железных черешковых наконечников стрел ромбического сечения [Могильников, 1992а. Табл. 122-5], а также совместная встречаемость саргатских сосудов и нижнеобской керамики, орнаментированной фигурным штампом, в постройках поселения Ипкуль XV [Корякова и др., 1988]. В неопубликованных материалах раскопок курганов 2, 3 и 5 могильника Стрижево 1 в Прииртыше поздняя группа погребений датирована В. А. Могильниковым III–IV вв. н.э.⁵² Основанием послужил золотой «перстень» из витой в несколько сложений проволоки. Надо сказать, что эта находка происходит из грабительского шурфа центральной могилы (погр. 5, кург. 2) [Могильников, 1969. Рис. 10а]. Прямые аналогии этому предмету неизвестны, но стилистически близкие изделия – золотые серьги – упоминаются М. И. Артамоновым в категории личных украшений из Сибирской коллекции [Артамонов, 1973. С. 194–195. Илл. 248]⁵³. Техника плетения цепочки, из которой выполнена стрижевская находка, встречается среди украшений сарматов Нижнего Поволжья I – первой половины II в. н.э. [Мордвинцева, Хабарова, 2006. С. 16–18]. Очевидно, что мы не знаем, как долго изделие могло находиться в обращении, прежде чем попало в западносибирскую лесостепь, поэтому вопрос о верхней хронологической границе погребения 5 кургана 2 могильника Стрижево 1 остается открытым. С другой стороны, нельзя пренебрегать фактом нахождения серьги в грабительской яме, что может привести к искажениям дальнейших хронологических построений.

Л. Н. Корякова, используя статистические расчеты, отнесла поздние погребения саргатской культуры к концу II – III в. н.э. Характеризуя комплексы этого периода, автор отметила их малочисленность. Более того, скромность

⁵² Л. Н. Коряковой погребения могильника Стрижево 1 включены в группу II–IV–V вв. н.э. [Корякова, 1988. С. 86].

⁵³ Пользуясь случаем, выражаю благодарность Б. А. Раеву и В. И. Мордвинцевой за помощь в атрибуции находки и техники плетения цепочки. Судя по фотографии в отчете [Могильников, 1976. Рис. 10а], это какая-то цепочка от ожерелья, схема плетения которой описана В. И. Мордвинцевой и Н. В. Хабаровой [Мордвинцева, Хабарова, 2006. Рис. 5А]. В современном ювелирном лексиконе такое плетение именуется «лисий хвост», оно придает изделию форму объемного четырехгранного жгута. Цепочка явно во вторичном использовании – уже к серьге припаяна розетка со вставкой. В Сибирской коллекции близкие по исполнению серьги имеют украшения с пирамидками из зерни или стерженьки с бусинами [Артамонов, 1973. Илл. 248–250]. Отличает эту цепочку не только припаянный дрот вдоль звеньев – прием, распространенный на боспорских и крымских серьгах первых вв. н.э., – но и розетка, истоки стилистического исполнения которой усматриваются на востоке [Lysenko, Mordvintseva, 2019].

сопроводительного инвентаря поздней группы погребений затруднила их исчерпывающую характеристику [Корякова, 1981б. С. 108].

Несколько позднее появилась тенденция на «омоложение» культуры. Стоит отметить, что эта точка зрения прочно закрепилась, найдя поддержку среди основных исследователей саргатской проблематики: время существования саргатских древностей было растянуто, а верхняя граница доведена до V в. н.э. [Бельтикова и др., 1991. С. 102; Корякова, 1994б. С. 129; Культура зауральских..., 1997. С. 152–154]. Но уже тогда поздняя группа памятников (Ипкульский могильник, поселения Ипкуль XV, Исток III) была охарактеризована как постсаргатская, «поскольку она, так же как и ранняя, лишь частично связана с основной системой и представляет осколок последней» [Бельтикова и др., 1991. С. 102].

Описывая особенности военного дела, а также период распространения различных наконечников стрел в комплексе вооружения саргатского населения, Л. И. Погодин также рассматривал III–V вв. н.э. поздней хронологической границей [Погодин, 1991. С. 24]. Затем он допустил корректировку верхней даты культуры на том основании, что традиция использования малого (скифского) лука тяжелой конницей сохранялась до IV–V вв. н.э. В качестве аргумента приводились находки «мелких наконечников стрел с керамикой кушнаренковского типа в курганах Исаковского 1 могильника» [Погодин, 1998а. С. 72].

Соглашалась с ним и Н. П. Матвеева – как в ранних своих публикациях [Матвеева, 1994. С. 100], так и несколько позднее [Матвеева, 2000. С. 133]. Основанием для датировки V в. н.э. послужили материалы Абатского 3 могильника, который, по мнению Н. П. Матвеевой, является одним из самых поздних саргатских памятников. Несмотря на то что большинство вещей в коллекции датированы ею III–IV вв. н.э., тем не менее, автор сочла возможным «омолодить» комплекс – определить его принадлежащим к «переходной эпохе от раннего железа к средневековью и датировать V в. н.э.» [Матвеева, 1994. С. 138–139].

Вместе с тем в появившихся относительно недавно работах как общего, так и частного плана, довольно настойчиво предлагается пересмотр существующей хронологии саргатской культуры, что неизменно ведет к корректировке и позднесаргатского этапа. Остановлюсь подробнее на приводимой коллегами аргументации.

Критический анализ позднесаргатских комплексов и их датировок был проведен А. П. Зыковым и Н. В. Федоровой при обращении к материалам, территориально далеким от саргатских древностей. Речь идет о публикации Холмогорской коллекции, состав которой позволил авторам рассмотреть взаимодействие таежных культур с культурами лесостепи и степи в первой половине I тыс. н.э. [Зыков, Федорова, 2001]. Обсуждая этническое окружение таежного населения севера Западной Сибири и проводя хронологическое сопоставление с археологическими памятниками лесостепной зоны, коллеги, пожалуй, первыми допустили возможность сужения хронологических границ саргатской культуры, обосновав это несколькими причинами. Прежде всего, наиболее поздние памятники саргатской культуры известны только в двух районах – в Притоболье и Приишимье, – да и те датируются концом II – началом III в. н.э. По их мнению, в Омском Прииртышье саргатская культура прекращает свое существование не позднее II в. н.э., поскольку в I–II вв. н.э. здесь происходит распространение памятников позднекулайского населения. В результате саргатские группы, обитавшие в лесостепном Прииртышье, теряют свою культурную специфику [Там же. С. 20]. Далее, в отличие от коллег, А. П. Зыков и Н. В. Федорова рассматривают особенность контактов населения лесостепи по обе стороны Уральских гор. По их мнению, отток саргатских групп с востока на запад неизбежно предполагает учет существующих датировок приуральских древностей. В саргатских могильниках Ипкульский и Абатский 3 известен пьяноборский и кара-абызский импорт [Корякова, 1988. Рис. 20-13, 20-14; Матвеева, 1994. Рис. 58-21 и т.д.]. Относительно недавно в Притоболье были получены материалы, в которых есть находки, происходящие с территории Прикамья, это комплекс рубежа эр – бескурганное погребение Сопининского 1

могильника [Среда, культура..., 2009. Рис. 9.12]. В качестве дополнительной аргументации коллеги обращают внимание на то, что при имеющихся расхождениях в вопросах датировки верхней хронологической границы карабызской и пьяноборской культур (рубеж II–III вв. н.э. и первая половина III в. н.э.) все же она не выходит за пределы III в. н.э. [Останина, 1997. С. 112–113, 176]. При этом вещей мазунинской культуры, которая сменяет их в Прикамье в III–IV вв. н.э. / V в. н.э., в саргатских памятниках нет. Памятники с классическим набором признаков культуры в лесостепи Притоболья позднее середины III в. н.э. неизвестны, следовательно, этот период может завершать время существования саргатской культуры в регионе [Зыков, Федорова, 2001. С. 19–20].

Справедливые возражения против датировки II–IV вв. н.э. Абатского 3 могильника были высказаны А. А. Ковригиным [Ковригин, 2007]. Он обратил внимание, что в коллекции присутствуют явно архаичные для этого времени вещи – бронзовые наконечники стрел и костяные псалии. Немногочисленный ранний материал происходит из разрушенных погребений кургана 2 [Матвеева, 1994. С. 6–65. Рис. 38-15, 38-16, 38-18, 38-21]. Напротив, типологически монолитный комплекс бронзовых зеркал определяет возраст погребений, где они были найдены (кург. 2, погр. 5, 17, кург. 6, погр. 10 (рис. 27-9)) [Там же. Рис. 36-18, 40-16, 59-9], в пределах I в. до н.э. – I–II вв. н.э. Из всей коллекции только несколько предметов имеют дату II в. н.э. и моложе [Ковригин, 2007. С. 195–197]. К ним отнесены железные удила с большими кольцами-псалиями (кург. 6, погр. 8), плоский наконечник ремня (кург. 1, погр. 5) [Матвеева, 1994. Рис. 30-39, 54-11, 57-2]. С учетом датировки предметов вооружения и воинского снаряжения, саргатские погребения абатских курганов отнесены им к хроноинтервалу III–II вв. до н.э. – II–III вв. н.э., при этом инвентарь основной части могил соотносится с I в. н.э. [Ковригин, 2007. С. 198].

Позднее В. Е. Маслов в статье о поясных накладках из Сибирской коллекции Петра I также обратился к материалам Абатского 3 могильника [Маслов, 2018]. В частности, его расхождения с автором раскопок касались датировок инвентаря погребения 10 кургана 6. Наряду с менее выразительными

находками, вещевой комплекс этого захоронения включал ханьский меч с бронзовым перекрестием (рис. 27-1), железный кинжал (рис. 27-27), бронзовое зеркало бактрийского типа (рис. 27-9), поясную пряжку с лаковым покрытием и гравировкой [Матвеева, 1994. С. 93-96. Рис. 58-8, 59]. Вопреки мнению Н. П. Матвеевой, В. Е. Маслов считает, что верхняя дата этого погребения не может выходить за пределы I в. н.э. [Маслов, 2018. С. 34].

Таким образом, разные исследователи солидарны в оценке хронологической позиции поздних саргатских погребений в абатских курганах, которая не выходит за финал III в. н.э.

Систематизируя многообразие лесостепных образований эпохи железа, С. Г. Боталов отметил, что термин «археологическая культура» (АК) «сегодня является недостаточно широким и универсальным». В качестве альтернативы им был предложен историко-культурный горизонт (ИКГ) для изложения своего видения верхней даты саргатской культуры [Боталов, 2016. С. 68, 473]. Диссонанс вносит не столько сама возможность использования ИКГ, сколько понятийные расхождения. Так, в хрестоматийном определении Л. С. Клейна горизонт представляет собой одномоментный хронологический срез, то есть «суть идеи горизонта – в синхронности его объектов» [Клейн, 2012. С. 293]. Однако у С. Г. Боталова для обоснования ИКГ привлекается типологически разнообразная зауральская лесостепная керамика. При этом столь характерная для эпохи морфологическая и орнаментальная непрерывность керамических комплексов декларируется, но не учитывается. Более того, методическое своеобразие и произвольное обращение с фактами вынуждают относиться к доводам автора с известной осторожностью. Исходя из принципа последовательной сменяемости культур, С. Г. Боталов заполнил лауну в хронологической шкале лесостепных древностей. Позднесаргатская фаза доведена им до рубежа III–IV вв. н.э., «когда также повсеместно начинает складываться бакальский ИКГ» [Боталов, 2016. С. 473]. С одной стороны, принято считать, что бакальские памятники оставлены группой населения, унаследовавшей часть саргатских традиций [Сальников, 1956. С. 211–214; Могильников, 1987. С. 179–183; Матвеева, 2016. С. 219]. С другой – и

по прошествии ряда лет количество бакальских древностей, нижняя граница которых отнесена к IV–V вв. н.э. [Рафикова, 2011] или к концу III в. н.э. [Зеленков, 2022], все же невелико, несмотря на заметные успехи в их исследовании [Матвеева, 2016; Зеленков, 2022; Третьяков, 2022]. В качестве одного из поселений, где фиксируется и формируется бакальский керамический комплекс, приводится Павлиново городище [Боталов, 2016. С. 473].

Пример спорный, поскольку раскопки Зауральской лесостепной археологической экспедиции не выявили ни на посаде, ни на цитадели объектов с бакальскими сосудами. В ходе морфологического анализа керамической коллекции были определены только *единичные* бакальские фрагменты, происходящие с периферии посада, причем их нахождение в верхних руинированных слоях свидетельствует, что к середине I тыс. н.э. поселок прекратил свое функционирование. Основу коллекции разновременных объектов Павлинова городища составляет *саргатская* керамика (рис. 53, 58). Условия ее залегания в участках с ненарушенной стратиграфией демонстрируют такую колонку: самый ранний – гороховский (IV–III вв. до н.э.) (рис. 52), затем – саргатский (от рубежа III–II вв. до н.э. – I в. н.э.) (рис. 53), позднее – кашинский (середина I в. до н.э. – рубеж эр) (рис. 54) [Среда, культура..., 2009. С. 107–134]. С учетом изложенного, предложенная С. Г. Боталовым верхняя дата позднесаргатского ИКГ – III–IV вв. н.э. [Боталов, 2016. С. 473] – едва ли может быть принята безоговорочно.

Аналогичным образом вызывают вопросы и материалы раскопок, и типология керамической коллекции Большого Бакальского городища, которые в совокупности с результатами радиоуглеродного анализа позволяют датировать поселение (*но не саргатскую и бакальскую керамику – С. Ш.*) I–VI вв. н.э. [Боталов и др., 2008]⁵⁴. Вопрос о соотношении выявленных объектов с

⁵⁴ В публикации отсутствует хроностратиграфический анализ бакальской керамики (группа 1, к которой отнесено 86 %, на самом деле включает и другие типологические группы зауральской керамики: саргатскую, кашинскую, прыговскую [Боталов и др., 2008. Рис. 6-11; 8-4, 8-15, 8-18, 8-19]). Однако планиграфическое распределение дано всего для 6 бакальских сосудов. Условия их залегания в объектах – не на полу, а в верхнем заполнении хозяйственного сооружения, на что не обращают внимание авторы, – вызывают сомнения при выделении бакальского горизонта и его синхронизации с кушнаренковско-карякуповской керамикой, как минимум в

выделенными керамическими группами, понимании стратиграфии коллективом исследователей Большого Бакальского городища остается открытым. На курьезность такой датировки указала и Н. П. Матвеева, отмечая вместе с тем, что С. Г. Боталову и его соавторам не удалось дифференцировать этапы обитания Большого Бакальского городища [Матвеева, 2017б. С. 14].

Собрав представительную серию радиоуглеродных дат с памятников Притоболья, Приишимья и Барабы, Н. П. Матвеева обратилась к проблемам хронологии культуры [Матвеева, 2017б]. Используемая ею серия радиоуглеродных дат включает 118 единиц с поселений и могильников, преимущественно с территории Притоболья, а также могильника Абатский 3 в Приишимье и поселения Чича-1 в Барабе. После обобщения комбинированных дат начало IV в. н.э. было определено периодом смены культуры раннего железного века средневековой в северной части лесостепи и подтаежной зоне. Сместив позднюю дату саргатской культуры к первой половине IV в. н.э., Н. П. Матвеева в целом согласилась с теми коллегами, которые склонны к пересмотру верхней хронологической границы. Однако, по ее мнению, в II–III вв. н.э. происходит лишь ослабление культуры, угасание же растянулось на полвека-век [Там же. С. 15–16].

В этой связи уместно рассмотреть некоторые особенности радиоуглеродного датирования. Прежде всего, необходимо иметь в виду не только проблему «искажающих эффектов», когда радиоуглеродные даты не совпадают с археологическими, даже многократно проверенными разными методами [Клейн, 2014; ван дер Плихт и др., 2016; Марсадолов, 2016 и т. д.]. Весьма важным обстоятельством является сохранность археологического источника, которой предопределена случайность формирования наших выборок в целом и материала для датирования в частности. В качестве образцов для радиоуглеродного анализа саргатских древностей⁵⁵ чаще всего используется

пределах раскопанной части городища [Там же. С. 19, 33]. Основной керамический комплекс, вопреки утверждениям С. Г. Боталова [Там же. С. 34], судя по всему, находился в слое в переотложенном состоянии.

⁵⁵ Саргатские древности выделены неслучайно, поскольку, в отличие от материалов других регионов и периодов, саргатская тематика сейчас довольствуется результатами преимущественно прежних исследований, что в моей работе уже подчеркивалось не раз.

органика – кость или остатки древесины. И если кость в погребении или ином археологическом объекте может иметь удовлетворительную сохранность и использоваться для анализа, то древесина может не сохраниться, равно как и изначально не использоваться древними людьми, то есть попросту отсутствовать в датируемом объекте. Кроме того, сейчас уже не отрицается, что для образцов кости человека необходима поправка на изотопное фракционирование [например, ван дер Плихт и др., 2016. С. 16–18], что невозможно для образцов, по которым нет данных о соотношении изотопов углерода и азота, а также результатов датирования костей животных или растений из того же контекста. Последнее весьма справедливо практически ко всем датированным радиоуглеродным способом саргатским объектам.

В такой неоднозначной ситуации все же возможной представляется корректировка с учетом внешних по отношению к радиоуглеродному методу данных, то есть по археологическому материалу. Здесь нужно отметить, что методика датирования поздних саргатских памятников за последние десятилетия принципиально не изменилась. Чаще всего хронология погребений устанавливается по верхнему пределу бытования вещей, определяемому по аналогиям, на что указывали А. П. Зыков и Н. В. Федорова [Зыков, Федорова, 2001. С. 19], А. А. Ковригин [Ковригин, 2007]. Подобная практика неизбежно делает датировки завышенными. Обращение к позднесаргатским комплексам и их аналогиям не выявило находок, начало периода использования которых приходится на III в. н.э. [Шарапова, Малашев, 2022]. Прежде на это обстоятельство в отношении опубликованных ранее материалов обратили внимание А. П. Зыков и Н. В. Федорова [Зыков, Федорова, 2001. С. 19–21]. Ситуация не изменилась и после расширения корпуса источников и включения в него памятников, раскопанных относительно недавно. Исключение составляют некоторые типы стеклянных бус, имеющих широкий интервал бытования, время и место производства которых вызывают значительные расхождения [ср.: Ковригин, 2007. С. 197; Матвеева, 2017б. С. 13]. Вынужденно оперируя материалами по классификации северопричерноморских бус Е. М. Алексеевой

[Алексеева, 1978] – единственным в своем роде фундаментальным трудом, – не стоит упускать из виду, что основная часть бус из саргатских могильников происходит из других регионов. Как показало исследование Н. П. Довгалюк, многие образцы связаны своим происхождением с мастерскими в Египте, на Ближнем Востоке, возможно в Китае и Индии [Довгалюк, 1995. С. 15]. А. А. Ковригин справедливо отметил, что развитие школ стеклоделия на разных территориях не обязательно должно совпадать [Ковригин, 2007. С. 197]. Н. П. Матвеева, оспаривая доводы оппонента, настаивает на позднем диапазоне бытования ряда бус из погребений Абатского 3 могильника, аналогии которым усматривает все же в Северном Причерноморье [Матвеева, 2017б. С. 13].

Критически высказываясь о синхронизации поздних памятников саргатской культуры *только* с позднесарматскими [Зыков, Федорова, 2001. С. 19], А. П. Зыков и Н. В. Федорова едва ли оспаривали саму возможность такого подхода к датировке саргатского материала. Их контрверза относится прежде всего к односторонности, то есть без учета приуральских вещей. Сходство сарматских и саргатских древностей в типологическом контексте материальной культуры железного века Евразии не отрицается никем.

Исходя из этого, за неимением убедительных датировок отдельных памятников, с учетом яркого позднесарматского облика некоторых саргатских погребальных комплексов, референтными на этом пути все же стоит рассматривать позднесарматские находки Южного Приуралья. По ним в настоящее время не только накоплен богатый материал, но и детально проработана хронология [Малашев, Яблонский, 2008; Малашев, 2013].

Опираясь на данные раскопок и коллекции вещевого материала анализируемых в работе памятников, приходится констатировать, что на сегодняшний день комплексов, относимых к позднесаргатским, не так уж и много. Они известны в материалах *семи* могильников. Их небольшое количество позволяет рассмотреть все.

Самым северным в ареале саргатских древностей является Ипкульский могильник (рис. 92–95) [Чикунова, 2017]⁵⁶, расположенный в подтаежной зоне Нижнего Притоболья, содержащий комплексы как заключительного этапа саргатской культуры, так и те, что со временем сформировали материальный мир и традиции населения последующей эпохи. Предпринятый анализ ременной гарнитуры, в том числе из коллекции памятника, позволил внести корректировки в хронологическую оценку саргатских погребений Ипкульского могильника. Их датировка устанавливается на основании находки одночастного наконечника ремня без фасетировки – от второй половины II в. н.э. до второй половины (без финала столетия) III в. н.э. [Малашев, 2000. С. 197. Рис. 2; 2013. С. 82; Шарапова, Малашев, 2022. С. 177]⁵⁷. В рамках этого же интервала могут рассматриваться серия деформированных черепов и сохранившиеся керамические традиции, устойчивость которых не исключает принадлежность этих объектов к поздней группе саргатских погребений. Другие поздние и/или инокультурные (карымские, кушнаренковские) признаки позволяют определить время функционирования могильника и несколько позднее – вплоть до IV в. н.э.

Самые южные некрополи, в которых есть захоронения, относимые к саргатским, расположены в степях Северного Казахстана. Погребения курганов 2 и 4 могильника Покровский, 5 и 6 могильника Явленка 1 на основании вещевого комплекса погребения датированы второй половиной II – III в. н.э. [Боталов, Гуцалов, 2000. С. 58–63, 142. Рис. 18-I, 18-III]. Принадлежность к кругу саргатских древностей устанавливается по лепным сосудам с уплощенным дном и резным орнаментом в виде фестонов и по костяным наконечникам стрел, стандартным для саргатских колчанов (рис. 29).

⁵⁶ Как уже отмечалось ранее, материалы раскопок Л. Н. Коряковой не опубликованы, в научный оборот введена только керамическая коллекция [Корякова, Федоров, 1993].

⁵⁷ Бронзовый наконечник ремня из кургана 1 погребения 3 Ипкульского могильника [Корякова, 1988. С. 77. Рис. 20-7] наряду с другими выразительными предметами сопроводительного инвентаря (железные пряжки с подвижным язычком и длинный меч с обоюдоострым лезвием без навершия и перекрестия, костяные наконечники стрел ромбического сечения [Корякова, 1993. Рис. 8,29–31]), как правило, привлекается для характеристики комплекса материальной культуры позднесаргатского этапа с датировкой IV–V вв. н.э. [Корякова, 1988. С. 86–88; 1993. С. 51–52; Культура зауральских скотоводов ... , 1997. Рис. 34].

Вслед за А. А. Ковригиным допускаю, что в Абатском 3 могильнике к позднесаргатской группе можно отнести погребение 5 кургана 1 и погребение 8 кургана 6. Напомню, в инвентаре этих комплексов присутствуют железные двусоставные удила с большими кольцами (см. выше) и бронзовый наконечник ремня [ср.: Матвеева, 1994. С. 99–100; Ковригин, 2007. С. 197; Малашев, Яблонский, 2008. С. 50, 56]. Появившись у населения азиатской части степного пояса, наконечники-подвески получают распространение в воинском снаряжении кочевников восточноевропейских степей, начиная с I в. н.э., и в таком виде доживают до середины II в. н.э., когда начинается использование металлических зажимов [Малашев, 2000. С. 209; Малашев, Яблонский, 2008. С. 56–57; Шарапова, Малашев, 2022. С. 177].

В Притоболье саргатские комплексы, маркирующие верхнюю хронологическую границу культуры, представлены впускными погребениями поздней группы в могильниках Савиновский (кург. 5, погр. 3), Тютринский (кург. 3, погр. 3, 4, кург. 10, погр. 3) [Матвеева, 1993б. С. 155], Гаевский 1 (кург. 3, погр. 4, кург. 6, погр. 1, 2, кург. 7, погр. 3) (рис. 63–68, 72-1,5,8–12) [Культура зауральских..., 1997. С. 65, 67–68; Шарапова, 2020].

Выделяя две хронологические группы в Савиновском могильнике, Н. П. Матвеева тем не менее исключила вероятность наличия в нем позднесаргатских материалов, определив верхнюю границу некрополя I–II вв. н.э. [Матвеева, 1993б. С. 155; 2000. С. 124–126; 2017б. С. 15]. Однако разрушенное погребение 3 кургана 5 содержало весьма выразительный инвентарь, позволивший первоначально установить дату II–III вв. н.э. [Матвеев, Матвеева, 1991б. С. 44]. Вещевой комплекс включал бронзовые парные наконечники-подвески [Там же. С. 21. Рис. 16-2, 16-3], аналогичные упомянутому выше экземпляру из Абатского 3 могильника (кург. 1, погр. 5)⁵⁸. В саргатских погребениях они датируются первыми веками н.э. [Матвеева, 1994. С. 53. Рис. 30–39; Культура зауральских..., 1997.

⁵⁸ Можно добавить, что эти находки различаются функциональным назначением – это и элементы крепления поясной гарнитуры, и обувные наконечники [Максименко, Безуглов, 1987. С. 185. Рис. 2-18, 19; Могильников, 1992б. С. 456. Табл. 106-8; Гушина, Засецкая, 1994. С. 116. Табл. 17-161; Малашев, Яблонский, 2008. С. 56. Рис. 203-11–18].

С. 45. Рис. 28-2, 28-3]. Другим предметом для уточнения датировки могла бы быть упомянутая в предыдущей главе бронзовая пряжка с подвижным язычком и поперечной перекладиной (рис. 106-7). Напомню, данная застежка представляет собой сочетание местной формы и установленного на ней подвижного язычка. К сказанному можно также добавить, что стилистически близкие формы рамчатых пряжек лировидной формы изредка встречаются в сарматских памятниках I в. до н.э. – II в. н.э. Волго-Донского междуречья [Мошкова, 1989а. С. 189. Табл. 82-37], хуннских I в. н.э. Монголии [Кызласов, 1955. С. 218. Рис. 20-4; Миняев, Елихина, 2010. С. 177], среди «южноалтайских репликаторов» II–IV вв. н.э. [Сорокин, 1977. С. 63. Рис. 8]. Судя по пряжке и с учетом ложечковидных и плоских наконечников-подвесок, погребение 3 кургана 5 Савиновского могильника может быть отнесено к I в. н.э. [Шарапова, Малашев, 2022. С. 176], что отмечалось выше.

Погребения Тютринского могильника включены Н. П. Матвеевой в поздний этап по типологии инвентаря и дополнены радиоуглеродным анализом [Матвеева, 1993б. С. 156. Рис. 30-18–30-31, 30-33–30-40, 32-14; 2017б]. Интерес для оценки хронологии могут представлять круглая рамчатая железная пряжка с подвижным язычком без щитка (кург. 10, погр. 4), бронзовое зеркало с валиком по краю и ручкой-штырем (кург. 10, погр. 3), а также фаянсовый амулет в виде фигурки Гарпократа (кург. 3, погр. 3), но они происходят из разрушенных захоронений. Аналогии этим предметам за пределами саргатской территории датируются II–III вв. н.э. [Хазанов, 1963. С. 65; Бурков, 2014. С. 183; Малашев, 2016. С. 50–53, 145. Рис. 78-1].

К числу памятников, которые можно считать опорными для понимания исторических процессов финала раннего железного века, относится Гаевский 1 могильник в Притоболье [Культура зауральских..., 1997]. На основании анализа инвентаря, конструктивных особенностей могильных ям, кольцевой деформации черепа дата двух непо потревоженных мужских погребений 1 и 2 кургана 6 определяется не ранее второй половины II в. н.э., но и не позднее первой половины III в. н.э. [Шарапова и др., 2020. С. 359–360, 368–366]. Им

археологически синхронны разрушенные захоронения в кургане 3 (погр. 4) и кургане 7 (погр. 3) [Культура зауральских..., 1997. С. 65, 68–69].

Остановлюсь подробнее на аргументах в пользу предложенной датировки захоронений *кургана 6*, которая меняет устоявшиеся на сегодняшний день представления о верхней хронологической границе культуры в целом. Предметы вооружения и конской упряжи из *погребения 1* имеют аналогии как в материалах собственно саргатской культуры, так и в памятниках западного ареала степного пояса Евразии (рис. 63, 64-1,2,6, 66). Предложенный в публикации и установленный по инвентарю временной диапазон I–III вв. н.э. [Культура зауральских..., 1997. С. 67] может быть уверенно использован при выборе участка интервала, полученного по результатам радиоуглеродного датирования, осуществленного позднее и не опубликованного ранее. Калиброванные значения⁵⁹ имеющихся в распоряжении двух дат по костям человека составляют 592–196 BC cal (1 σ), 846 BC – 70 AD cal (2 σ) (2320 \pm 200, Le-5515) и 56 AD – 258 AD cal (1 σ), 50 BC – 401 AD cal (2 σ) (1850 \pm 100, Le-6104). Образцы предсказуемо не проходят χ^2 -тест на согласование, следовательно, одна из дат ошибочна. Причину ошибки по прошествии времени и в силу недостаточности данных об изотопном составе образца установить невозможно. Скорее всего, большое квадратическое отклонение – результат малого количества выделенного коллагена и, как следствие, большого разброса результатов измерений. Археологическим ожиданиям соответствует более поздняя дата, уточнение по которой в рамках полученного интервала статистически невозможно, но внешние по отношению к радиоуглеродному методу данные – период бытования инвентаря – не противоречат абсолютным значениям.

Ниже приводится круг наиболее значимых категорий инвентаря и особенности погребальных сооружений для обоснования вопросов датировки опорных комплексов.

⁵⁹ Калибровка проведена в программе OxCal 4.3.2 [Bronk, Ramsey, 2017], калибровочная кривая IntCal13 [Reimer et al., 2013].

Представляется, что наиболее выразительными являются железный кинжал без навершия и перекрестия, удила с глухими кольцами и дополнительной рамкой для ремня поводьев и, в меньшей степени, круглорамчатая пряжка (рис. 66). Изготовленная из железа, из-за своей сохранности она плохо атрибутируема. Прогиб язычка не определяется, однако он подвижный, его длина доходит до середины сечения. Из-за коррозии также довольно трудно определить наличие/отсутствие щитка. Всевозможные округлые пряжки с подвижным язычком появляются с рубежа эр [Мошкова, 1989б. С. 189]. В саргатских погребениях они сопровождают вещи II в. до н.э. – II в. н.э. [Корякова, 1988. С. 76]. Сравнительно короткие язычки, наряду с другими признаками: округлой рамкой, прогибом язычка в средней части, без щитка или с металлическим щитком, – известны среди образцов, происходящих из памятников степной полосы, а также Северного Кавказа второй половины II – первой половины III в. н.э. и позднее [Малашев, 2000. С. 209; Малашев, Яблонский, 2008. С. 51].

Мечи и кинжалы без металлического навершия и перекрестия (рис. 66-14) (тип 2 в классификации А. М. Хазанова [Хазанов, 1971. С. 17–20]) являются характерными типами позднесарматских комплексов [Малашев, 2013. С. 88–90], массово встречаются на протяжении II–IV вв. н.э. [Хазанов, 1971. С. 20]. На территории Западной Сибири для подобных клинков период бытования установлен в пределах I–IV вв. н.э. [Корякова, 1988. С. 67].

Распространение больших колец железных удил приходится на рубеж эр [Граков, 1977. С. 67]. В саргатских погребениях они встречаются совместно с предметами I в. до н.э. – IV в. н.э. [Корякова, 1988. С. 70]. Данный экземпляр удила отличается не диаметром колец, не такой уж большой (всего 5-6 см), а наличием специальной рамки для крепления ремней (рис. 66-20), что сближает его с уздечными наборами позднесарматского времени Южного Приуралья [Малашев, Яблонский, 2008. С. 50]. В рассматриваемых гаевских экземплярах обращает на себя внимание конструкция удил с кольчатым трензелем, а именно крепление зажима или прямоугольной рамчатой петли не к кольцу, а к окончанию грызла. В синхронных памятниках европейской степи и прилегающих территорий

(Северный Кавказ, Крым, лесостепная и лесная зоны Волго-Уралья) конструкция удила с кольчатым трензелем выглядит иначе: зажимы, относящиеся к ремням оголовья и повода, крепятся непосредственно к кольцу. Исключением являются только удила иного типа – с колесовидными псалиями серии 1 по И. Р. Ахмедову, где два разновеликих металлических зажима крепятся к окончаниям грызл [Akhmedov, 2007. Р. 68. Pl. 56.8]. Скорее всего, на образцах саргатских удила Гаевского 1 могильника металлические зажимы или петли служили для крепления ремней оголовья, а ремень повода соединялся непосредственно с кольцами. Учитывая данную специфику конструкции удила с кольчатым трензелем, их можно считать самостоятельным вариантом описываемого типа удила, диагностирующим локальную традицию культуры [Шарапова, 2020. С. 227; Шарапова, Малашев, 2022. С. 178]. Однако в коллекциях других саргатских памятников подобные образцы не описаны.

За пределами саргатской ойкумены двусоставные удила с кольчатым трензелем появляются в среднесарматское время в памятниках Прикубанья, Северного Кавказа и Крыма [Абрамова, 1987. Рис. 8-28; 20-5; Гущина, Засецкая, 1994. Табл. 40-367; Пуздровский, 2007. Рис. 101; 102-III], хотя в основном здесь распространены другие разновидности узды [Глухов, 2005. Рис. 27–31; Симоненко, 2009. С. 151–169]. Однако широкое распространение удила с кольчатым трензелем получают в позднесарматское время. Использовались как кольца с металлическими зажимами (для крепления ремней повода и оголовья), так и без них. Крупные кольца (диаметром от 8 см) часто встречаются, начиная с III в. н.э. на территории к востоку от Волги [Малашев, Яблонский, 2008. С. 50], но при этом известны и более ранние экземпляры из Крыма [Пуздровский, 2007. Рис. 101-VI; Симоненко, 2009. Рис. 126].

Присутствие костяных наконечников стрел в колчанном наборе именно в таком сочетании (рис. 66-6–13)⁶⁰ также свидетельствует в пользу поздней датировки комплекса.

⁶⁰ Как было отмечено в предыдущей главе, в материалах саргатской культуры большинство форм костяных черешковых наконечников имеет широкий диапазон распространения [Могильников, 1992а. С. 302], все же в поздних комплексах, от II в. до н.э. и далее, их больше [Корякова, 1988. С. 64]. Рассматриваемые здесь

Костяные концевые накладки сложносоставного лука (рис. 66-15–18) тоже не противоречат предложенной временной оценке, несмотря на то что их появление в саргатских погребениях относят ко II в. до н.э. [Корякова, 1988. С. 65] или даже к III в. до н.э. [Могильников, 1992а. С. 302]. В Гаевском 1 могильнике оба комплекта происходят из кургана 6.

В пользу поздней даты рассматриваемого захоронения свидетельствуют и выявленные особенности погребального сооружения (рис. 63). Разного рода заплечики и уступы при оформлении могил использовались в саргатской погребальной практике довольно часто. Отличительной чертой являются довольно низкие асимметричные заплечики и узкая (по меркам саргатской культуры) погребальная камера⁶¹. Близкие по основным параметрам могилы известны в лесостепном Притоболье и Приишимье в поздних погребениях, датируемых первыми вв. н.э. [Мошкова, Генинг, 1972. С. 87–118; Матвеева, 1993б. С. 155; 1994. С. 119; Ковригин и др., 2006. С. 192–193, 196–197]. Среди погребальных памятников Зауралья Гаевский 1 могильник выделяется статистическими значениями абсолютных размеров ям поздней хронологической группы при небольших показателях среднего квадратического отклонения. В них почти половину пространства занимал лук, помещавшийся слева от умершего [Культура зауральских..., 1997. С. 132–136. Табл. 14]. В степи узкие могильные ямы, наряду с другими известными особенностями погребального обряда и обычаем деформации, относятся к основным диагностическим признакам позднесарматской культуры [Смирнов, Попов, 1972. С. 24; Малашев, Мошкова, 2010. С. 38; Малашев, 2013. С. 29]. В головном краю погребения 1 имелось нишеобразное расширение для установки заупокойных даров, что также выходит за рамки саргатских лесостепных канонов. Несмотря на то что речь не идет о полном соответствии формам погребальных сооружений, наличие ниш в могилах находит параллели в памятниках джетысарской культуры. Подкурганые

наконечники ромбической или листовидной формы с плавным переходом от пера к черешку в большинстве своем происходят из кургана 6, в остальных раскопанных курганах могильника они единичны.

⁶¹ Удлиненно-прямоугольные могилы варьируются по своим размерам; узкими считаются те, у которых ширина камеры составляет около $\frac{1}{2}$ их длины [Мошкова, 1989б. С. 178].

сырцовые склепы населения Юго-Восточного Приаралья характеризуются массовым использованием ниш: примерно половина сооружений джетыасарской культуры приходится на ямы с нишами, но есть и ямы без них [Левина, 1996. С. 92, 107].

С учетом изложенного выше можно допустить, что погребение 1 в кургане 6 Гаевского могильника было совершено не ранее второй половины II – первой половины III в. н.э. Прочий инвентарь (нож, полусферические стержневые бляшки, бронзовый гвоздик (рис. 66-1-3,19)) не противоречит предложенной дате.

По инвентарю датировка погребения 2 (рис. 65) определена II–III вв. н.э. [Культура зауральских..., 1997. С. 67]. Радиоуглеродная дата, полученная по костям человека, имеет калиброванные значения 2 BC cal – 60 AD cal (1 σ), 45 BC cal – 77 AD cal (2 σ) (1980 \pm 30, Ле-5516). С одной стороны, возраст, установленный инструментальным методом, соответствует датировке по аналогиям; с другой – полученный интервал несколько удревняет комплекс. Нередко самое простое – отбраковка не укладывающегося в ожидаемую концепцию радиоуглеродного определения, но и здесь возможна корректировка по археологическому материалу.

Во-первых, наблюдается тождественность основных категорий инвентаря погребений 1 и 2 Гаевского 1 могильника. Почти все находки известны как в памятниках лесостепной зоны Зауралья и Западной Сибири, так и за пределами саргатской ойкумены. Во-вторых, разнообразный сопроводительный инвентарь все же содержит предметы (хоть и имеющие широкий диапазон распространения), чье присутствие в данном комплексе позволяет определить временной интервал совместного нахождения. Помимо упомянутых удилов с кольчатыми псалиями и дополнительными металлическими зажимами для ремня поводьев (рис. 67-21) и рамчатых пряжек (рис. 67-13,17,18), сюда могут быть отнесены железный меч без металлического навершия и перекрестия (рис. 68-28), а также железные наконечники срезни из колчанного набора (рис. 68-6,7). В-третьих, умерший мужчина имел прижизненную деформацию черепа (описание

см. ниже), которую вкупе с узкой прямоугольной ямой относят к ведущим признакам позднесарматского культурного комплекса [например, Мошкова, 2007. С. 109; Малашев, Мошкова, 2010. С. 39–40], что уже упоминалось.

Пряжки железные, безязычковые или с подвижным язычком, по форме рамки представлены округлыми, овальными или прямоугольными экземплярами. Преимущественно все относятся к поясной гарнитуре. Маленькая овальная пряжка с подвижным язычком (рис. 67-13), возможно, относилась к португее. Все образцы известны в позднесарматских погребениях и не выходят за пределы III в. н.э. [Малашев, 2000. С. 221].

Бронзовые обоймы, изготовленные из пластины, относятся к деталям узды и нагаек/плеток (рис. 67-7-12). Широко встречаются в позднесарматских памятниках от Нижнего Подонья до Южного Приуралья [Мошкова, 1989в. С. 198; Малашев, Яблонский, 2008. С. 51 и др.]. В саргатских могильниках они есть в Приишимье, маркируя поздние комплексы I–III вв. н.э. [Матвеева, 1994. С. 44–45].

Железный меч без металлического навершия и перекрестия относится к характерному типу позднесарматского клинкового оружия (рис. 68-28) [Хазанов, 1971. С. 20]. Например, близкий по морфологии экземпляр представлен в коллекции позднесарматского могильника Покровка 10 [Малашев, Яблонский, 2008. С. 59, 286. Рис. 162-8]. На саргатской территории распространение подобных образцов определено в интервале I–IV вв. н.э. [Корякова, 1988. С. 67]. В саргатских погребениях 4 и 11 кургана 3 могильника Абатский 1, судя по публикации, находились аналогичные плохо сохранившиеся клинки [Матвеева, 1994. С. 17–20, 22–25]. Комплексы датированы автором в пределах I–III вв. н.э. [Там же]. Кроме того, гаевский клинок обоюдоострый; истлевший кожаный ремень, обмотанный вокруг пяты клинка, выполнял функцию перекрестия; кожаная накладка была частью портупейной конструкции [Культура зауральских..., 1997. С. 53].

Вытянутые пропорции костяных наконечников (рис. 68-8–27) аналогичны тем, что были в колчане из погребения 1. Присутствие в колчанном наборе

закрытого комплекса железных наконечников срезней – с раздвоенным (вильчатый/двурогий) и долотовидным пером (рис. 68-6,7) – привносит определенную остроту в обсуждение вопросов датировки. Прежде всего, в опубликованных материалах саргатской культуры подобные экземпляры отсутствуют. Ситуация не изменилась и по прошествии времени – с момента первой публикации [Культура зауральских..., 1997]. Такие формы получают распространение не ранее середины I тыс. и происходят с территорий к северу, востоку и югу от ареала саргатских древностей [Там же. С. 49]. Аналогичными экземплярами, укладываемыми в хронологические рамки саргатской культуры, являются железные срезни, известные по сборам с кулайского городища Няксимволь и представленные в фондах Свердловского областного краеведческого музея⁶². Тот факт, что железные срезни находились в одном наборе с железными черешковыми трехлопастными и костяными наконечниками не противоречит предложенной датировке, а, скорее, подкрепляет ее.

В анализируемых комплексах из кургана 6 могильника Гаевский 1 присутствуют признаки позднесарматской культуры, что позволяет синхронизировать эти погребения с позднесарматскими древностями второй половины II – III в. н.э. В раскопанных гаевских курганах им синхронны еще два почти полностью опустошенных грабителями захоронения: курган 3, погребение 4, и курган 7, погребение 3 (рис. 72-1,5,8–12). На основании общего сходства могильных ям, остатков инвентаря, искусственной деформации черепа, зафиксированной также в погребении 4 кургана 3, было высказано предположение о синхронизации этих могил, делающее возможной дату II–III вв. н.э. [Культура зауральских..., 1997. С. 65, 68].

С учетом изложенного выше предлагается сужение верхней хронологической границы саргатской культуры до середины – второй половины III в. н.э. Принадлежность этих объектов к саргатской культуре и ее позднему этапу очевидна, равно как и рассмотренных выше немногочисленных

⁶² Памятники кулайской культуры известны в таежной зоне Северо-Западной Сибири, обсуждение их датировки имеет дискуссионный характер, однако «пульсация» ареала схожих по облику культур приходится на II–I вв. н.э. – первую половину IV в. н.э. [Зыков, 2012. С. 44–45].

захоронений в Савиновском и Тютринском могильниках в Притоболье и Абатском 3 могильнике в Приишимье. Археологически синхронные им погребения некрополей Ипкульский, Покровский и Явленка 1, расположенные на северной и южной границах саргатского ареала, демонстрируют лишь дисперсное существование осколков саргатской культуры в Тоболо-Иртышском междуречье.

В этой связи интересно рассмотреть временной рубеж бытования саргатских признаков на поселениях, среди которых по степени изученности выделяются Коловское и Павлиново городища в Притоболье [Матвеева и др., 2005; Среда, культура..., 2009]. Что касается материалов Рафайловского городища, которое Н. П. Матвеева включила в число опорных в хронологии саргатской культуры [Матвеева, 2017б. Табл.], здесь остается сожалеть об отсутствии развернутой публикации этого интересного памятника эпохи железа лесостепного Зауралья. Материалы многолетних раскопок введены в научный оборот только в сжатой форме, а время существования поселка на основании коллекции находок отнесено к V–III вв. до н.э. [Матвеева, 1993а. С. 161]. Позже, с учетом данных радиоуглеродного анализа, верхняя дата была определена в диапазоне III–IV вв. н.э. Причем, как отметила сама автор, никаких средневековых материалов на данном памятнике нет [Матвеева, 2017б. С. 15]. Судя по керамическому инвентарю поселения, типологически весьма разнородному и разновременному, в коллекции присутствует определенная доля сосудов прыговского типа с характерной гребенчато-шнуровой орнаментацией [Матвеева, 1993а. С. 158. Рис. 7-1, 7-6(?), 7-15–7-17], первоначально датированных I тыс. н.э. [Викторова, 1969. С. 12]. К большому сожалению, в публикации отсутствует столь необходимый анализ соотношения керамики разных типов и выявленных объектов. Остается только догадываться, из каких сооружений происходит эта керамика и каково ее стратиграфическое соотношение с комплексом саргатской посуды.

За неимением убедительных дат для прыговской керамики можно обратиться к материалам раскопок Прыговского городища, где получены надежно стратифицированные данные соотношения зауральских типов керамики и

объектов городища [Ковригин, Шарапова, 1998а; 1998б; Daire et al., 2002. P. 207–241]. Нижняя дата полученных прыговских материалов может быть смещена к отрезку времени не ранее II в. до н.э. – рубежу эр [Шарапова, 2000. С. 24], то есть на каком-то этапе они синхронны саргатским⁶³. Без анализа керамической коллекции Рафайловского городища и ее соотношения с обнаруженными там объектами сугубо саргатская принадлежность этого памятника исключается.

Другим поселенческим комплексом в Притоболье, на материалах которого можно рассмотреть этот вопрос, является Павлиново городище [Среда, культура..., 2009]. Время окончательного запустения крепости этого поселка, судя по датировкам построек внутри нее, как уже отмечалось, отнесено ко второй половине I в. до н.э. – рубежу эр. После этого жизнь продолжалась только на посаде – в I в. н.э., может быть с заходом во II в. н.э. В пределах раскопанной части памятника сооружений, достоверно относящихся к верхней дате (II в. н.э.), не обнаружено. Последний кратковременный эпизод «археологической жизни» Павлинова городища относится к середине I тыс. н.э.: спустя несколько столетий после прекращения функционирования саргатского поселка давно заброшенные руины его строений *посещались* носителями бакальской и карымской культур [Там же. С. 169]. Однако, как уже отмечалось ранее, *следов обитания* последних на городище нет.

Приводимые Н. П. Матвеевой датировки с Коловского городища также согласуются с этими сведениями. Даты, относящиеся к основанию оборонительной стены, валу первой и третьей площадок цитадели, указывают на прекращение существования поселка во II в. н.э. [Матвеева и др., 2005. С. 58, 91; Матвеева и др., 2008. С. 152–153; Матвеева, 2017б. С. 15].

Рассмотренные материалы подтверждают приведенную выше точку зрения А.П. Зыкова и Н.В. Федоровой о поздней дате саргатской культуры [Зыков, Федорова, 2001. С. 19]. Более того, датировка ременной гарнитуры из саргатских

⁶³ По костям собаки из слоя Прыговского городища (2-й культурно-хронологический горизонт, представленный объектами с прыговской керамикой) получена радиоуглеродная дата – 16 AD cal – 116 AD cal (1σ), 34 BC cal – 136 AD cal (2σ) (1950 ± 40, Ле-5039). Стремление отнести памятник к саргатской культуре [Могильников, 1992а. Карта 20; Матвеева, 2000. С. 31. Рис. 6] едва ли оправданно. Среди раскопанных объектов ни на площадке городища, ни на посаде саргатских сооружений нет [Ковригин, Шарапова, 1998а. С. 51].

погребений, традиционно относимой к хроноиндикаторам, не выходит за середину III в. н.э. [Шарапова, Малашев, 2022]. Как видно из приведенных сведений, нет таких материалов и на саргатских поселениях [Матвеева и др., 2005; 2008; Среда, культура..., 2009; Daire et al., 2002].

Очевидно, что на рубеж II–III вв. н.э. приходится финальная фаза стабилизации (расцвета) саргатской культуры, по истечении же довольно короткого промежутка времени происходит исчезновение саргатской культуры как мощного социополитического организма. Весьма вероятно, вторая половина III в. н.э. (скорее всего, без захода в финал столетия) знаменует *постсаргатское* время на обширном лесостепном пространстве. На макроуровне еще сохраняется присутствие не столь выразительного, как прежде, саргатского компонента по периферии общности – на подтаежных (Ипкульский мог.) и степных (мог. Покровский и Явленка 1) территориях. Так, часть саргатских групп, продвинувшаяся на север лесостепи, сохраняла свои традиции дольше, что отразилось в материалах поселений, датированных серединой I тыс. н.э. К ним, например, относится поселение Ипкуль XV, керамическая коллекция которого по ряду орнаментальных и морфологических признаков отлична от классической саргатской посуды [Корякова и др., 1988. С. 127]. В целом можно говорить, что саргатские традиции нашли выражение в курганном обряде и керамике населения, осевшего по обе стороны Уральских гор. Этот процесс способствовал новому очагу культурогенеза, имевшего место в VI в. н.э. на широкой территории северной лесостепи [Зыков, 2002. С. 47–50; Матвеева, Зеленков, 2018. С. 75].

Еще один аргумент в поддержку выдвигаемого тезиса можно усмотреть в материалах позднесарматской культуры Южного Приуралья. Выше уже неоднократно подчеркивалось, что саргатская погребальная атрибутика II–III вв. н.э. имеет ярко выраженный позднесарматский облик. Реконструкции характера взаимоотношений лесостепного и степного населения на основании археологических данных имеют гипотетический характер, однако сам факт признается исследователями обеих культур. В частности, допускается, что «часть населения саргатской культуры могла быть вовлечена в состав мигрантов и

приняла участие в оформлении некоторых сторон позднесарматской культуры» [Малашев, Мошкова, 2010. С. 49]. С учетом хронологии позднесарматской культуры Южного Приуралья это обстоятельство представляется весьма весомым для обоснования поздней даты саргатских древностей. Дело в том, что существующие датировки определяют хронологические рамки позднесарматских памятников южноуральских степей второй половиной II – III в. н.э. Возможность захождения позднесарматских комплексов региона в ранний IV в. н.э. исключается [Малашев, 2009; 2013. С. 129–131]. Вместе с тем исследователями позднесарматских древностей неоднократно подчеркивался факт совпадения финала существования степной и лесостепной культур [Малашев, Мошкова, 2010. С. 49; Малашев, 2013. С. 156].

Следующие соображения, которые приводятся коллегами с разной степенью интенсивности, касаются причин, повлекших за собой исчезновение весьма мощного социополитического образования – саргатской культуры. В качестве основных причин, вызвавших цепную реакцию последствий конца II – начала III в. н.э., чаще всего упоминаются политические события и ухудшение климатических условий [Генинг и др., 1970. С. 224; Полосьмак, 1987. С. 96; Корякова и др., 1988. С. 127; Могильников, 1992а. С. 310; Боталов, 1993. С. 131, 142; Матвеева и др., 2005. С. 6–12 и т.д.]. К политическим факторам относят давление таежных племен [Полосьмак, 1987. С. 96] и/или угрозу из степного Прииртышья вследствие первых волн хунну в этот период [Корякова и др., 1988. С. 127; Могильников, 1992а. С. 310; Зыков, Федорова, 2001. С. 20].

Не вдаваясь в детализацию изменений природной среды, которым подчинены те далекие события (поскольку они все же требуют специального исследования), приведу основные сведения. Они доступны по публикациям и позволяют конкретизировать прежние гипотезы [Матвеева и др., 2003; 2005; Матвеева, Рябогина, 2003; Среда, культура..., 2009]. К сожалению, едва ли возможна дробная хронология ландшафтно-климатической ситуации из-за малочисленности археологических памятников позднего этапа, ограниченного объема целенаправленных исследований, а также существующих спорных

вопросов датировки памятников. Однако при обращении к доступным материалам в самых общих чертах ситуация выстраивается.

Для изучения природной среды привлекались материалы Притоболья: могильники Старо-Лыбаевский-4 (кург. 31) и Нижне-Ингальский-1, Рафайловское и Коловское городища [Матвеева и др., 2005], Павлиново городище и Сопининский 1 могильник [Среда, культура..., 2009]. Примечательно, что в хронологическом аспекте все памятники относительно синхронны и не имеют материалов позже II в. н.э.⁶⁴ (на это обстоятельство уже обращалось внимание).

Для первых вв. н.э. реконструируется ландшафт, соответствующий южной лесостепи, сформировавшийся в крайне изменчивых условиях с чередованием нескольких гумидных и аридных фаз [Матвеева и др., 2005. С. 9]. Однако в течение этого периода были годы, когда влажность увеличивалась и ареал сосновых лесов расширялся [Ларин, Матвеева, 1997; Рябогина и др., 1999; Матвеева, Рябогина, 2003]. Свидетельства локального увлажнения были получены в ходе анализа споро-пыльцевого спектра образцов, взятых из погребенной почвы кургана 1 Сопининского 1 могильника. Процентное соотношение пыльцы древесных, травянистых растений и спор (15 : 75 : 10) соответствует растительности степной зоны: сосна/береза + полынь/лабазник + сфагновый мох. Именно присутствие пыльцы лабазника и спор сфагновых мхов в выделенном спектре маркирует увлажненность [Среда, культура..., 2009. С. 245]. В целом для раннего железного века исследователи отмечают, что резкие перепады увлажнения в лесостепи вызывали длительные половодья, засухи, гололедицу, что осложняло ведение стабильного скотоводческого хозяйства. С другой стороны, природные условия благоприятствовали вовлечению лесостепных групп в историю населения прилегающих степей [Матвеева и др., 2005. С. 6–12].

⁶⁴ Датировка I–III вв. н.э. кургана 31 могильника Старо-Лыбаевский-4 (?), как предлагает Н. П. Матвеева [Матвеева и др., 2005. С. 9], едва ли может быть принята. Погребальный инвентарь из ограбленных могил, их планиграфия типичны для объектов II в. до н.э. – II в. н.э. Впрочем, публикуя материалы раскопок, изначально автор отнесла их к I–II вв. н.э. [Матвеева, 2001. С. 112], чему не противоречит и керамический комплекс.

Несмотря на большие допущения, обусловленные искаженным характером археологической выборки по сравнению с реальной ситуацией, вновь обращает на себя внимание связанность процессов в лесостепи и степи. Прежде всего, в лесостепном ареале отмечается незначительное количество памятников позднего этапа саргатской культуры, на что указывали Л. Н. Корякова и В. А. Могильников [Корякова, 1981б; Могильников, 1992а. С. 296]. Для степных территорий зафиксирован отток позднесарматского населения из Южного Приуралья, который относится ко времени не позднее второй половины III в. н.э. [Малашев, 2009. С. 49–50; 2013. С. 6]. В последнее время все чаще подчеркивается отсутствие хроноиндикаторов IV в. н.э. для степных памятников [Малашев, 2009. С. 50; Кривошеев, 2016. С. 100; Кривошеев, Малашев, 2016. С. 138; Кривошеев, Борисов, 2019. С. 49]. Очевидно, что перед нами не дилемма – или отсутствие уверенных реперов, или перемещение групп населения [Кривошеев, Борисов, 2019]⁶⁵. Представляется, что это явления одного порядка: нет населения – нет материальной атрибутики. Но правы и те, кто полагает, что в условиях обитания на близких территориях происходила некая диффузия, при которой элементы одной культуры могли быть восприняты другими территориальными группами [Малашев, 2009. С. 49–50; Кривошеев, 2016. С. 102; Кривошеев, Малашев, 2016. С. 144]. Допускаю, что это заключение справедливо по отношению как к степным, так и к лесостепным культурам: «Различные по своей причинности факторы привели к фрагментарности саргатского компонента, как на основной территории, так и на периферии лесостепи; а также к сокращению ареала позднесарматской культуры. Однако исторические процессы IV в. н.э. оставили крайне небольшое

⁶⁵ М. В. Кривошеев и А. В. Борисов так объясняют воздействие климатического оптимума на изменения в экономике и границах позднесарматской культуры: «Во второй половине III – на рубеже III–IV вв. отмечаются процессы гумидизации – увеличение увлажненности климата, что отражается на экологической ситуации в степи: высокий травостой, обводненность местности. Такая ситуация является оптимальной для выпаса скота в летний период. Однако зимой увеличение увлажненности сопровождается частыми оттепелями, дождями, туманами, сменяющимися периодами похолодания и связанными с этим обильными снегопадами, метелями, гололедом, обледенением травы, формированием ледяной корки и увеличением мощности снегового покрова. В этих условиях растет число невыпасных дней и, как следствие, болезни и ослабление скота вплоть до полной потери стада, за которыми следует гибель населения. Процессы гумидизации в первую очередь отразились на климате в Южном Приуралье и в финале III в. н. э. достигли волго-донских степей. Это могло стать причиной оттока позднесарматского населения из Южного Приуралья в районы Поволжья. В IV в. н. э. степи от Приуралья до Нижнего Дона практически обезлюдили» [Кривошеев, Борисов, 2019. С. 48].

количество археологических свидетельств на бóльшей части территории степи, включая и приграничные к ней лесостепные районы» [Шарапова, 2020. С. 176].

По-видимому, саргатская культура в качестве целостного культурного явления с начала III в. н.э. отсутствует на большей части лесостепи к востоку от Урала. Судя по известным материалам, количество таких комплексов невелико, инвентарь довольно беден. Общепринято мнение (и это подтверждается археологическим материалом), что Зауральская лесостепь была занята немногочисленной группой лесного населения, оставившего памятники с кашинско-прыговской (гребенчато-шнуровой) керамикой; лесостепи Омского Прииртышья и северной части Барабы заселили выходцы из северных таежных районов с керамикой позднекулайского облика. С IV в. н.э. отдельные элементы культуры, фиксируемые в подкурганном обряде погребения и схожих керамических традициях, сохраняются в подтаежной и степной зонах Тоболо-Ишимья (бакальские, карымские группы) либо интегрируются в местной среде к западу от Уральских гор (неволинские, кушнарниковские группы). В принципе, высказанное суждение не контрастирует с позицией Л. Н. Коряковой, Н. П. Матвеевой, В. А. Могильникова: расцвет саргатской культуры пришелся на II в. до н.э. – II в. н.э. Отличия касаются оценочно-содержательной коннотации следующего этапа, который вместо привычного названия позднесаргатским следовало бы именовать *постсаргатским*. Во второй половине III в. н.э. происходят угасание и размывание основных черт саргатской культуры. Если мои допущения верны, то исчезновение ярких выразительных комплексов, определявших облик саргатской социокультурной системы, выглядит довольно резким. На обширном лесостепном пространстве саргатские памятники IV в. н.э. и позднее мне не известны.

Таким образом, синхронность заключительного этапа саргатской культуры и позднесарматской культуры Южного Приуралья второй половины II – III в. н.э. не исключается. Однако материалов, позволяющих раскрыть механизм взаимодействия (которое не отрицается) лесостепных и степных групп, пока явно недостаточно. Время, предшествующее финалу III в. н.э. и сложению бакальской

культуры в лесостепи⁶⁶, можно рассматривать как «темные века» [Шарапова, 2020. С. 230]. Все вышесказанное допускает сужение верхней хронологической границы саргатской культуры до середины – второй половины III в. н.э.

§ 3. Социальные и демографические характеристики саргатского тафокомплекса⁶⁷

Рассмотрев вопросы хронологии и «диапазоны активности» населения саргатской культуры, о вещественные в археологических памятниках, вполне логично обсудить соотношение численности индивидов, представленных в курганной выборке, и датировки комплексов. Динамика некогда живой популяции строится на хронологии этапов саргатской культуры, для чего была проведена хронологическая оценка отдельных комплексов внутри кургана или могильника. Однако прежде представляется целесообразным изложить палеодемографические аспекты изучения населения саргатской культуры и существующие замечания к ним. Это важно еще и потому, что для анализа социальных структур и демографических процессов материалы погребений используются чаще, чем поселений. При этом в своих реконструкциях коллеги исходили из устойчивого восприятия о соответствии некрополя древнему социуму, неочевидность такого допущения обсуждалась В.П. Алексеевым

⁶⁶ Констатируя смену эволюционного подхода кросс-культурным, А. С. Зеленков в то же время утверждает, что на II/III в. н.э. приходится исчезновение культур раннего железного века, а формирование бакальской культуры в лесостепном Притоболье происходило в середине/второй половине II–IV вв. н.э., фактически допуская непрерывность смены саргатской культуры бакальской. По его мнению, ранний этап бакальского культурогенеза происходил на основе саргатского субстрата и характеризуется началом инфильтрацией карымского населения в южнотаежное Притоболье и Ишимо-Иртышь [Зеленков, 2022. С. 6–8]. Очевидно, что эволюционная и кросс-культурная парадигмы не являются взаимоисключающими в археологических исследованиях, что и демонстрирует работа А. С. Зеленкова [Зеленков, 2022].

⁶⁷ При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Луайе Ж., Шарапова С.В. Палеопатологии детей из погребений бронзового века (на примере могильника Неплюевский) // Уральский исторический вестник. – 2017. – №1 (54). – С. 103–113. (SJR 0,28) (доля автора 0,5 п.л.);

Карапетян М.К., Шарапова С.В., Якимов А.С. Материалы к характеристике населения эпохи бронзы Южного Зауралья // Уральский исторический вестник. – 2019. – №1 (62). – С. 28–37. (SJR 0,28) (доля автора 0,5 п.л.).

[Алексеев, 1989]. Необходимо отметить, что историография этого вопроса обширна как в отечественной, так и зарубежной антропологии; содержит обзор публикаций, теоретических обоснований и методических подходов с поправкой на возможности современных исследований [Федосова, 1992; Медникова, 1995; Епимахов, Ражев, 2003а; 2003б; Широбоков, 2019; Куфтерин, 2022; Chamberlain, 2006; Piontek, 2001; Burger et al., 2012 и т. д.].

С опорой на данные раскопок курганов предлагались довольно схожие гипотетические трех- или четырехчленные модели саргатских социальных структур [Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 2000; 2005; Берсенева, 2005]. На основе фиксируемого различия погребальных сооружений и в большей степени инвентаря Л. Н. Корякова допустила существование конных воинов, пеших лучников и простого люда [Корякова, 1988. С. 157–158; 1994б. С. 155]. Н. П. Матвеева, в целом разделяя эту точку зрения, попыталась проследить социальные различия между погребенными людьми на материалах Притоболья. Так, в предложенной схеме выделены три группы: безынвентарные погребения во рвах курганов (зависимые, неравноправные люди); погребения с разнообразным инвентарем, но в небольших наборах (рядовое население); захоронения с богатым инвентарем и в грандиозных погребальных сооружениях (знать). Внутри этих групп автор допускает различные социальные прослойки – например, зажиточные среди группы рядовых, родовая или племенная знать [Матвеева, 1993б. С. 146–147]. Позднее, с учетом данных по другим локальным группам, Н. П. Матвеева экстраполировала свою социальную модель на все саргатское общество [Матвеева, 2000. С. 257–265; 2005]. Интерпретируя материалы Гаевского 1 могильника в общекультурном контексте, Л. Н. Корякова увеличила количество социальных групп до четырех: военно-аристократической, военно-дружинной, рядового и зависимого населения [Культура зауральских..., 1997. С. 146–147]. Н. А. Берсенева для саргатского сообщества Прииртышья с учетом степени вооруженности и особенностей оружейного набора взрослых мужчин выделила четыре основные категории: 1) погребения элиты; 2) погребенные из центральных

могил с защитным доспехом; 3) захоронения с оружием / конской уздой на периферии курганов; 4) безынвентарные погребения [Берсенева, 2005. С. 20–21].

Приведенные модели находят отражение в погребальном источнике на всех этапах существования культуры. Хотя, как это неоднократно подчеркивалось, социальная символика погребений ранней хронологической группы выражена не столь ярко. «Имущественные» различия возрастают с течением времени, их обилие достигает пика к рубежу эр [Матвеева, 1993б. С. 144–147; Корякова, 1994б. С. 154]. В этой связи необходимо вновь упомянуть о наличии бескурганых погребений, обнаружение и анализ которых вкупе с материалами раскопок поселений позволили предположить, что курганный обряд практиковался только для привилегированной части саргатского общества – элиты [Ковригин, Ражев, 1997; Ражев, Ковригин, 1999; Среда, культура..., 2009; Шарапова и др., 2003; Daire et al., 2002].

Следующее замечание не позволяет безоговорочно признать гипотезу Н. П. Матвеевой относительно того, что захоронение во рву кургана означает принадлежность к самой низкой ступени социальной иерархии или связано с обрядом жертвоприношения. Необходимо признать, что такие примеры единичны, их хронологическое соотношение с другими могилами вызывает сомнение (например, Исаковка 1, кург. 3, погр. 7; Савиновский, кург. 5, погр. 5, и кург. 6, погр. 2).

Прежде всего, гипотеза неубедительна в отношении многомогильных саргатских курганов, содержащих разновременные погребения. Например, в Сопининском 1 могильнике во рву кургана 2 были расчищены скелетные останки мужчины 40–55 лет (рис. 44). Умерший был захоронен на дне второго неглубокого рва, который, судя по стратиграфии кургана, был выкопан уже после того, как первый ров был скрыт оплывшей насыпью кургана. Новый ров связан с группой поздних захоронений в кургане, датированных II – серединой I в. до н.э., а захоронение во рву было совершено, когда курган перестал функционировать и

перешел в разряд пассивно почитаемых⁶⁸. Радиоуглеродная дата определяется рубежом эр, отдаляя погребение во рву от ранних на одно и более столетий [Среда, культура..., 2009. С. 230–232. Табл. 8.1]. Вероятно, зафиксированные различия могли не только иметь хронологический характер, но и объясняться обстоятельствами смерти и/или инокультурным происхождением. В таком случае гипотеза Н. П. Матвеевой выглядит не лишенной основания. Камеральное изучение скелета не выявило изменений, которые бы могли указывать на причину смерти. Останки представлены всеми отделами скелета (несмотря на сохранность, парциальность не подтверждается), травмы отсутствуют, патологические изменения соответствуют возрасту и клиническим признакам пародонтоза [Там же. С. 242]. Тем не менее, как показал сопининский пример, каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно, и объяснение небольшого количества захоронений во рву – не более 2 % [Матвеева, 2000. С. 258. Табл. 19] – едва ли исчерпывается единственно возможной интерпретацией невысокого статуса.

Одним из дискуссионных аспектов археологических исследований являются демографические реконструкции. В их основе – результаты палеоантропологических исследований (определение пола, возраста, болезней). Считается, что в совокупности с археологическими данными (варианты расчетов численности обитателей некоторых поселений приводились в предыдущей главе), половозрастной состав древнего кладбища позволяет оценивать размер изучаемой географической и/или хронологической группы. В какой-то мере подобные реконструкции возможны для грунтовых могильников⁶⁹, в то время как палеоантропологический материал, происходящий из курганных некрополей, очевидно, не может отражать адекватную демографическую ситуацию. Это замечание справедливо и в отношении населения саргатской культуры. Для

⁶⁸ Подробнее об этом писал В. С. Ольховский, допустивший, что срок активного функционирования и почитания конкретного погребального комплекса мог быть ограничен памятью двух-трех поколений, после чего уход за кладбищем все же уменьшается и происходит его саморазрушение. Сакральность сохраняется, но сам он становится уже вариантом объекта мемориальной архитектуры [Ольховский, 1999. С. 128].

⁶⁹ Например, Тарасовский могильник I–V вв. н.э. пьяноборской общности Прикамья, к западу от саргатского ареала. По численности исследованных могил на территории Евразии является одним из уникальных грунтовых некрополей (1880 погребений, для которых выполнены антропологические определения) [Голдина, 2004; Сабилов, 2010 и т.д.].

исследований в русле палеодемографии, которые проводились Н. П. Матвеевой, основным источником являлись курганы раннего железного века лесостепи Зауралья и Западной Сибири [Матвеева, 1999а; 1999б; 2000]. Представляется, что предложенная характеристика с акцентом на общие демографические процессы оказалась не до конца проработанной автором. Определенную сдержанность в оценке полученных Н. П. Матвеевой выводов проявил и Д. И. Ражев, подчеркнув имеющие место принципиальные методические расхождения в определении пола и не совсем традиционные возрастные интервалы [ср.: Матвеева, 1999а. Табл. 2; Ражев, 2009. Табл. 3.3].

На подобную безусловность методологических подходов для половозрастных характеристик лесостепных и степных сообществ эпохи палеометалла десятилетия назад уже указывали коллеги по мере внедрения на каждой стадии археологических исследований практики антропологического анализа [Епимахов, Ражев, 2003а; 2003б; Ковригин, Ражев, 1997; Ражев, Ковригин, 1999]. На смену доминирующему в археологии саргатской культуры мнению, что археолог в процессе раскопок имеет дело с выборкой, формирующейся в силу естественных причин, пришло осознание того, что половозрастной состав совокупности погребенных в курганах индивидов является результатом преднамеренного социального отбора⁷⁰. Дисбаланс между количеством людей, похороненных в курганах и проживавших на поселениях, позволил предположить существование альтернативных форм захоронения для индивидов, не относящихся к разряду элиты [Культура зауральских..., 1997. С. 137; Ражев, Ковригин, 1999. С. 174; Шарапова, Ражев, 2016. С. 60]. Поскольку данный постулат основополагающий в моей работе, представляется целесообразным кратко изложить его суть. Отправной точкой являются результаты палеоантропологического анализа материалов саргатской общности [Ражев, 2009].

⁷⁰ На самом деле, любая палеоантропологическая выборка не адекватна реальной популяции, поскольку представляет совокупность умерших, а не живых индивидов [Куфтерин, 2022; Chamberlain, 2006].

Так, первой спецификой курганных могильников является явно малое количество невзрослых (табл. 4). Д. И. Ражев привел данные о 24,9 % индивидах в возрасте до 20 лет [Ражев, 2009. С. 50]. Вторая специфическая особенность внутри исследуемой совокупности – демографически нестандартное распределение детских смертей по возрастным классам. Это проявляется в исключительно малой доле детей первого года жизни и высоком показателе смертности для подростков [Там же. Рис. 3.1]. Третья специфика заключается в преобладании мужских скелетов: в рассматриваемой выборке их в 1,75 раза больше, чем женских [Там же. Табл. 3.3]. Наконец, четвертая особенность для мужчин и женщин, погребенных в саргатских курганах, характеризуется тем, что модальная смертность приходится на возрастной интервал 35–39 и 20–29 лет соответственно, что совпадает с периодами «значительной потенциальной плодовитости и наибольшей социальной активности» [Там же. С. 51. Рис. 3.2].

Поскольку Д. И. Ражевым основательно изложены причины, объясняющие половозрастное своеобразие курганной выборки, позволю себе лишь незначительное дополнение. В целом для популяций человека характерен U-образный профиль смертности с высокой долей маленьких детей, особенно младенцев до года, затем постепенным снижением доли умерших детей, с минимальной вероятностью смерти в период позднего детства и раннего подросткового возраста. По мере достижения взрослого состояния доля умерших снова возрастает, и затем вероятность смерти прогрессивно увеличивается [Acsadi, Nemeskeri, 1970; Burger et al., 2012; Chamberlain, 2006].

Для разных территорий и эпох отмечается как незначительная доля детских захоронений в могильниках (около 12 % от всех известных погребений) [Серегин, 2013], так и довольно большая (50–65 %) [Ражев, Епимахов, 2005; Луайе, Шарапова, 2017; Карапетян и др., 2019 и т. д.]. Заметные различия возрастных групп выявлены для сарматских культур. Материал раннесарматских серий в целом схож с демографическими параметрами нормальной популяции (от 20 до 50 %). В среднесарматский период количественная вариативность и избирательный подход объясняются преимущественно с населением

предшествующего периода и влиянием традиций пришлого компонента. В позднесарматской серии детей мало [Балабанова и др., 2015. С. 132–134, 139. Табл. 3].

Высокая смертность младенцев в древних популяциях закономерна, так как они зависимы от ухода, еще не выработали свой иммунитет, не приспособились к внешнему миру, к тому же в древности младенцы с врожденными дефектами и генетическими заболеваниями по большей части имели мало шансов на выживание. Возрастание риска смерти у взрослых молодых индивидов в древних группах, как правило, связывают с активным вовлечением их в социальную жизнь и началом детородного периода (у женщин) [например, Емельянчик, 2013. С. 10]. В исторической антропозологии смертность нередко рассматривается как обобщающий критерий адаптации населения к конкретным социальным и природным условиям. В большинстве человеческих популяций прошлого детская смертность была высокой, а изменения структуры смертности касались преимущественно взрослых. Постоянные антисанитарные условия могли оказывать мощное отрицательное воздействие на длительность жизни (вызывая, в частности, очень высокую детскую смертность)⁷¹. Уровень детской смертности оставался высоким даже после эпохального ее снижения; резкие изменения приходятся только на вторую половину XX в. и связаны с началом приема сульфаниламидов и антибиотиков [Марьина и др., 2013. С. 53–55]. В традиционных культурах детская смертность оценивается в пределах 30–70 %, уровень младенческой смертности – 10–40 % от общего числа новорожденных [Балабанова и др., 2015. С. 132].

Представляется, что применительно к археологическому материалу учет следующих факторов будет способствовать состоятельности предлагаемых гипотез. Прежде всего, смерть детей в возрасте до 5 лет – весьма распространенное явление. Установленная К. Камп корреляция палеоэпидемиологических индикаторов и возрастных категорий невзрослых

⁷¹ На возможность такого допущения указывают результаты всестороннего изучения палеоантропологических материалов срубно-алакульского кургана 1 Неплюевского могильника в Южном Зауралье [см.: Карапетян, Шарапова, 2022].

позволила выделить два пика заболеваемости и смертности, которые приходится на возрастные интервалы от рождения до 1 года жизни и на 3–6 лет [Kamp, 2001]. Некоторые этноархеологические исследования отмечают наибольший уровень детской смертности в первый месяц жизни [Littleton, 2011]. Повторюсь, в целом детская смертность для разных обществ может оцениваться в 50 % и более [см.: Луайе, Шарапова, 2017; Карапетян и др., 2019], что не исключает эпидемического характера формирования некоторых могильников.

Вновь необходимо констатировать, что трудности, связанные с попытками представить палеодемографические характеристики, очевидны; для многих древних популяций подобные исследования вообще едва ли возможны [Chamberlain, 2006. P. 15–25]. Археологические источники, состоящие из различных по численности скелетных останков из погребений, не обеспечивают, как правило, репрезентативную выборку, сопоставимую с той, что демонстрируют традиционные общества, этнографические материалы которых привлекаются для реконструкций. Причины перекосов половозрастных структур коренятся в существовавших общественных реалиях. Так, М. А. Балабанова предположила, что в позднесарматских могильниках отсутствие детских погребений и резкое преобладание мужских останков над женскими могут отражать некоторые их социальные институты [Балабанова, 2000. С. 203], в которых избирательный характер претерпевает кардинальные изменения [Балабанова и др., 2015. С. 134].

Селективный принцип формирования некрополей и количественные аспекты курганного обряда для населения саргатской культуры были изложены в уже упоминавшихся публикациях [Ковригин, Ражев, 1997; Культура зауральских..., 1997; Ражев, Ковригин, 1999; Среда, культура..., 2009; Daire et al., 2002], а также суммированы Д. И. Ражевым [Ражев, 2009. С. 48–63]. В них, в частности, подчеркивалось, что совокупность людей, захороненных под курганами, неадекватно отражает смертность населения лесостепи региона в целом. Исходя из этого, ее нельзя использовать для расчета демографических показателей всего саргатского общества. Следовательно, допустимыми являются

гипотетические реконструкции только той части населения, которая обладала высоким социальным статусом (или имела отношение к социальной верхушке).

Количество погребений с курганным обрядом и значительные трудозатраты на их воплощение дополняют этот постулат. Согласуется с этим и высказанная ранее гипотеза о том, что курганный обряд был привнесен в лесостепь Зауралья и Западной Сибири выходцами из кочевой среды. Не противоречит этому и допущение, что именно потомки степняков впоследствии составили верхушку саргатского общества, будучи генеалогически и идеологически с ними связанными [Корякова, 1988. С. 148, 158–159; 1994б. С. 146–162; Корякова и др., 2010 и т.д.]. Таким образом, вновь подчеркну, что для подавляющей части саргатского населения погребальная обрядность могла быть иной. Единичные свидетельства этому в пределах рассматриваемого территориально-хронологического локуса были описаны ранее (гл. 2, § 3), да и в дальнейшем обращение к ним в русле выбранного подхода к исследованию неизбежно. Подобный биритуализм отмечается в материалах за пределами саргатской ойкумены. Так, для скифской эпохи на Среднем Дону отмечается существование разных погребальных традиций, демонстрирующих этнокультурные различия населения городищ и военно-аристократической верхушки [Березуцкий, 1993. С. 72, 1995. С. 55; Пряхин, Разуваев, 2000. С. 256; Золотарев, 2004. С. 141; Разуваев, 2012]⁷². М. А. Балабанова допустила, что какая-то группа поздних сарматов использовала иные способы изоляции умерших, которые известны по литературным и этнографическим источникам: кремацию, вывешивание трупов и т.п. [Балабанова, 2000. С. 206].

Приняв факт преднамеренного социального отбора, А. В. Епимахов и Д. И. Ражев, вполне естественно, обратились к поиску адекватного определения изучаемой археологами и антропологами совокупности погребенных [Епимахов,

⁷² Некоторые из грунтовых захоронений исследователи увязывают с неординарными ситуациями: «сокращенным» вариантом погребения, сезонностью, обстоятельствами смерти и т.п. А. А. Шевченко, указав на их малочисленность, отметил, что только обнаружение полноценного грунтового могильника длительного накопления позволит правомерно утверждать существование традиции погребения без курганной насыпи [Шевченко А.А., 2013. С. 252, 253]. С. А. Володин, собравший сведения о 22 комплексах Подонья, тем не менее заключил, что бескурганные погребения нельзя исключать из погребальных традиций на Среднем Дону в скифскую эпоху [Володин, 2018. С. 77. Табл.].

Ражев, 2003б]. Они указали на многозначность толкования термина «палеопопуляция», отметив также, что в существующих дефинициях [Алексеев, 1989; Федосова, 1992], как правило, исключается селективность, поскольку понятие палеопопуляция «освобождено от влияния действующих на выборку случайных факторов» [Алексеев, 1989. С. 75]. В качестве рабочей альтернативы при интерпретации материалов курганного могильника с преднамеренными (селективными) захоронениями было предложено использовать понятие тафокомплекс [Епимахов, Ражев, 2003б. С. 27–28].

Будучи производным от тафономии [Ефремов, 1950. С. 3; Общая палеоэкология, 2000. С. 32] этот термин означает совокупность остатков умерших организмов или танатокомплексы, «подчиненные тафономическим закономерностям» [Янакевич, 2008. С. 27–28]. В тафономии существует комплекс терминов для их обозначения [Общая палеоэкология, 2000. С. 56–58]. В целом концепция и термин широко используются в археологии применительно к изучению животных и человеческих останков, в некоторых случаях последнему синонимично словосочетание «курганная выборка». Кроме того, если подразумевать антропологическую совокупность некрополя [Епимахов, Ражев, 2003б. С. 27–28], описание посмертных процессов в тафокомплексе включает биологические и культурные компоненты/аспекты. Так, попытки рассмотреть морфологию погребения и танатологические доктрины обществ прошлого были предприняты Ю. А. Смирновым [Смирнов Ю.А., 1997].

Не вызывает сомнения, что восстановить численность населения (или его элитарной части) по нескольким некрополям, к тому же плохо сохранившимся или много раз ограбленным, практически невозможно. Картина не будет полной. Однако полученные наблюдения обнаруживают некоторые тенденции, проявляющиеся на определенном пространстве и на определенном отрезке времени при изучении материалов могильников, прежде всего происходящих из них антропологических коллекций. Появление новых материалов едва ли кардинально изменит эту направленность.

Для саргатской выборки обобщенные модельные таблицы были построены Д. И. Ражевым [Ражев, 2009. С. 48–63]. Пересекаясь с ними по основным параметрам – половозрастным определениям, – сведения, представленные в таблице 4, прежде всего отражают количественное распределение индивидов. Оно дано в соответствии с корректировками датировок некоторых комплексов и в соответствии с хронологическими этапами культуры. При составлении таблицы был учтен весь анализируемый в диссертации антропологический материал как с определениями пола и возраста, так и с учетом неопределимых скелетных останков.

Как уже отмечалось, анализируемая выборка представлена останками разной сохранности от 694 индивидов. Однако в таблицу 4 не были включены скелетные останки без четкой привязки к контексту, то есть происходящие из грабительских ям, насыпи и т.п. По понятным причинам исключены и кенотафы. Также не вошли сведения о погребениях (и погребенных), датированных широким хронологическим интервалом – ранним железным веком. Попытка разобраться и определить более дробную хронологию для материалов из разрушенных могил по остаткам разрозненного инвентаря или при его полном отсутствии, естественным образом, не увенчалась успехом. Потому в таблице количество индивидов сократилось до 618 (почти 90 % от анализируемой выборки), скелетные останки которых происходят из погребений всех хронологических периодов, а «потери» составили 76 индивидов. На данном этапе исключалось деление на возрастные когорты, которое представляется более обоснованным при обращении к другим аспектам, где результаты показательны как на общем, так и индивидуальном уровнях. Данные таблицы 4 легли в основу рис. 107, в котором представлена информация о количественном соотношении индивидов в хронологических группах.

Датировка комплексов и количество индивидов

Комплекс	Датировка комплексов	Кол-во взрослых индивидов без определения пола	Кол-во мужских индивидов	Кол-во женских индивидов	Кол-во детских индивидов
<i>Предсаргатский этап (VII–VI вв. до н.э.)</i>					
Скворцовская гора V	VII–VI вв. до н.э.	–	1	1	–
Карасье 9* (кург. 11, погр. 1, ск. 2)	VII–VI вв. до н.э.	–	1	–	–
Прыговский 2 (кург. 1, кург. 2, погр. 1)	VII–VI вв. до н.э.	–	1	–	–
Всего		–	3	1	–
<i>Саргатско-гороховский этап (V–III вв. до н.э.)</i>					
Абрамово 4	V–III вв. до н.э.	–	9	9	8
Богдановка 3 (кург. 1, погр. 1, 2; кург. 2, погр. 1, 3)	V–IV – IV–III вв. до н.э.	1	–	3	–
Коконовка 1 (кург. 1, 3, 7, 10–13; кург. 17, погр. 1., ск. 2)	V–IV – IV–III вв. до н.э.	5	1	4	1
Стрижево 1 (кург. 3, погр. 2)	IV–III вв. до н.э.	1	–	–	–
Новооболонь (кург. 1, 2, 5)	V–IV вв. до н.э.	3	4	–	3
Курган Новопокровка 16	IV–III вв. до н.э.	–	–	1	–
Кокуйский 3 (кург. 3, погр. 3)	V–IV вв. до н.э.	–	–	1	1
Красногорский 1	V–IV – III вв. до н.э.	–	2	1	–
Красногорский 2	III–I вв. до н.э.	–	1	–	–
Сопининский 1 (кург. 1., погр. 1, ск. 2; погр. 8; кург. 2, погр. 1, ск. 3; кург. 2, погр. 2, ск. 1)	IV–III вв. до н.э.	–	3	1	–
Карасье 8	IV–III вв. до н.э.	–	1	–	–
Щучье 1	V–III вв. до н.э.	2	–	3	2
Гаевский 1 (кург. 3, погр. 1; кург. 4, погр. 1; кург. 5, погр. 1; кург. 6, погр. 4, 5, 6; кург. 7, погр. 1)	сер. IV – II вв. до н.э.	1	7	1	3
Куртугуз I	IV–III вв. до н.э.	1	7	4	3
Мурзинский 1 (кроме кург. 6, погр. 2, 4; кург. 11, погр. 2; кург. 13, погр. 1)	IV–III вв. до н.э.	7	5	6	2
Прыговский 2 (кург. 2, погр. 2)	IV–II вв. до н.э.	–	–	1	–
Скаты 1	IV–III вв. до н.э.	–	1	2	6

Кокуйский 3	III–II вв. до н.э.	–	7	–	1
Всего		21	48	36	30
<i>Саргатский этап (II в. до н.э. – II в. н.э.)</i>					
Венгерово 1	I в. до н.э. – I в. н.э.	–	–	–	1
Венгерово 7	конец I тыс. до н.э.	–	5	3	2
Марково 1	III–I вв. до н.э.	–	9	15	8
Бешаул 2	I в. до н.э. – I в. н.э.	6	9	2	2
Бешаул 3	I в. до н.э. – I в. н.э.	1	2	2	5
Бешаул 4	I в. до н.э. – I в. н.э.	2	1	–	–
Богдановка 1	III–II вв. до н.э. – I–II вв. н.э.	3	14	10	12
Богдановка 3 (кург. 1, погр. 3, 4; кург. 2, погр. 2)	I–II вв. н.э.	2	–	–	1
Исаковка 1	II–I вв. до н.э. – I – нач. II в. н.э.	16	17	10	17
Исаковка 3	конец III в. до н.э. – рубеж эр	4	7	3	8
Коконьковка 1 (кург. 14, 15; кург. 17, погр. 1, ск. 1)	рубеж эр	5	1	–	–
Коконьковка 2 (кург. 1, погр. 2, 8; кург. 2, погр. 9; кург. 3, погр. 1; кург. 4, погр. 1)	рубеж эр	2	–	1	2
Стрижево 1 (кург. 2, погр. 5; кург. 3, погр. 1)	рубеж эр	–	1	1	–
Стрижево 2	III–I вв. до н.э. – рубеж эр	6	6	9	9
Карташево 2**	III–последние вв. до н.э. – I–II вв. н.э.	6	12	7	7
Новооболонь (кург. 6, 8)***	III–II вв. до н.э.	–	5	4	2
Кокуйский 3 (кург. 3, погр. 1, 2)	III–II вв. до н.э.	–	4	–	1
Абатский 1	последние вв. до н.э. – первые вв. н.э.	3	14	5	2
Абатский 3 (кроме кург. 1, погр. 5, и кроме кург. 6 погр. 8 (кенотаф))	III–II вв. до н.э. – II–III вв. н.э.	7	31	20	14
Сопининский 1 (кург. 1, погр. 1, ск. 1; погр. 2, 3, 6, 7, 9; кург. 2, погр. 1, ск. 1; погр. 2, ск. 2; во рву; бескурганное)	III–II вв. до н.э. – I в. н.э.	1	7	2	–
Карасьев 9 (кург. 11, погр. 1, ск. 1; погр. 2)	II в. до н.э. – I в. н.э.	–	–	1	1
Гаевский 1 (кург. 3, погр. 2; кург. 4, погр. 2;	II в. до н.э. – первые вв. н.э.	5	2	–	–

кург. 5, погр. 2, 3; кург. 6, погр. 3; кург. 7, погр. 2, 4)					
Савиновский (кург. 1, 2, 4; кург. 5, погр. 1, 2, 4, 5; кург. 6, погр. 2; кург. 7, погр. 1, 2)	II-I вв. до н.э. – I-II вв. н.э.	1	7	4	–
Тютринский (кроме кург. 3, погр. 3; кург. 10, погр. 3, 4)	III–II вв. до н.э.	1	14	13	3
Красногорский борок	I–II вв. н.э.	–	2	3	–
Мурзинский 1 (кург. 6, погр. 2, 4; кург. 11, погр. 2; кург. 13, погр. 1)	II в. до н.э. – первые вв. н.э.	1	2	1	–
Мурзинский 3	II–I вв. до н.э.	–	1	1	–
Всего		72	173	117	97
<i>Постсаргатский этап (вторая половина II – III в. н.э.)</i>					
Покровский	II–III вв. н.э.	–	2	–	–
Гаевский 1 (кург. 3, погр. 4; кург. 6, погр. 1, 2; кург. 7, погр. 3)	II–III вв. н.э.	1	2	–	1
Савиновский (кург. 5, погр. 3)	II–III вв. н.э.	–	1	–	–
Тютринский (кург. 3, погр. 3, 4; кург. 10, погр. 3)	II–III вв. н.э.	–	1	1	1
Ипкульский	сер. – 2-я пол. III в. н. э.	1	3	4	–
Абатский 3 (кург. 1, погр. 5)	II–III вв. н.э.	–	1	–	–
Всего		2	10	5	2

* Разновременные погребения в одном некрополе рассматриваются в соответствующих хронологических выборках.

** Предложенная В.А Могильниковым в отчете датировка Карташево 2 III–II вв. до н.э. не может быть принята безоговорочно. За исключением центральных и некоторых боковых, остальная часть погребений была совершена явно позднее. В пользу этого предположения при отсутствии выразительных находок – сопроводительный инвентарь более чем аскетичен – свидетельствуют параметры могильных ям, многие из которых имели узкую погребальную камеру (16 из 34 в семи курганах). Более того, мужчина из погребения 1 кургана 4 имел прижизненную кольцевую деформацию. С учетом этого датировка захоронений в узких ямах не может быть ранее первых вв. н.э. Следовательно, время функционирования некрополя может определяться III – последними вв. до н.э. – I–II вв. н.э.

*** По инвентарю некоторые погребения новооболонских курганов могут быть датированы и более поздним временем, однако верхняя хронологическая граница не выходит за рамки саргатского этапа.

Из 41 анализируемого в работе памятника к началу эпохи раннего железа, которое, как отмечалось ранее, совпадает с *предсаргатским этапом*, относится только погребально-культурная площадка Скворцовская гора V. Единичные комплексы есть среди разрушенных погребений могильников Карасье 9 (кург. 11, погр. 1, ск. 2) и Прыговский 2 (кург. 1, кург. 2, погр. 1). Все материалы

происходят с территории Притоболья. С одной стороны, эти захоронения специфичны: неглубокие могильные ямы, следы воздействия огня (Скворцовская гора V) и фрагментарность разрушенного захоронения (Карасье 9) делают их уязвимыми и для обнаружения, и для извлечения последующей информации. С другой – в совокупности с ранними материалами Прыговского 2 могильника (рис. 30-А,Б,Г, 31) они демонстрируют вариативность форм погребального обряда, который существовал в местной среде. На сегодняшний день Прыговский 2 могильник является самым северным памятником, где фиксируется «присутствие» кочевников. Малочисленность антропологического материала (рис. 107), происходящего из этих объектов, с учетом сохранности, хронологии погребений и вариативности вполне закономерна. Однако, исходя из этого, рассуждения о половозрастном составе здесь едва ли уместны.

Следующий этап – *саргатско-гороховский* – археологически представлен и изучен значительно лучше, чем предыдущий. Косвенным отражением этого является гипотетическая численность погребенных (рис. 107), которая (хоть и с большим допущением) может быть реконструирована по захоронениям, обнаруженным в курганных могильниках. Географически здесь представлены все локальные районы. Однако не стоит упускать из виду, что количественное соотношение памятников отражает прежде всего степень изученности материалов. Определимые скелетные останки относятся ко всем половозрастным группам с преобладанием мужских костяков над женскими и детскими. Детальные демографические характеристики затруднены из-за фрагментарности данных, относящихся к большой по охвату территории. На имеющемся материале можно привести пример лишь по отдельным курганам, что далеко от реального половозрастного соотношения.

Курган 3 в могильнике Щучье 1 в Притоболье содержал пять археологически одновременных захоронений: два женских, одно детское (5–9 лет), два неопределимых взрослых. Наблюдаемая ситуация не может соответствовать реальным демографическим показателям. Необходимо отметить, что во всех трех находившихся в могильнике и впоследствии раскопанных

курганах идентифицированные останки взрослых определены женскими (например, рис. 89–91). Более того, в одномогильном кургане 1 разрозненный инвентарь включал предметы, ассоциируемые с женским набором: проволочную гривну, бисер и бусы от расшивки одежды, керамическое лоцило. Известно, что в раннесарматских курганах Нижнего Поволжья в одних содержатся только женские захоронения, в других – только мужские [Балабанова и др., 2015. С. 123]. Однако во избежание риска недоказуемых домыслов дальнейшие рассуждения здесь едва ли целесообразны.

Несомненно, заслуживающим внимания является количественное превосходство детских скелетов над женскими, которое наблюдается в погребениях гороховского могильника Скаты 1 в Притоболье: шесть детских, два женских и один мужской. После раскопок могильника Скаты 1 уже не возникает сомнения, что трудозатраты на возведение погребального сооружения для детей сопоставимы с теми, что практиковались для некоторых умерших взрослых (рис. 96–105). Схожая ситуация отмечается и для Гаевского 1 могильника. Все детские останки в пределах обсуждаемой группы происходят из погребений кургана 6 (рис. 62), в инвентаре которых присутствует также и гороховская керамика. Единственное исключение в этом кургане представляет саргатское погребение 1, в котором был упокоен подросток и которое имеет позднюю дату (см. выше). К сожалению, в работе по погребальной обрядности населения гороховской культуры группы невзрослых исключены из анализа – рассматриваются только взрослые мужчины и женщины [Булдашов, 1998. С. 18. Табл. 1], поэтому в сравнительном аспекте эти данные оказались малопригодными⁷³. С учетом материалов двух могильников – Скаты 1 (индивидуальные и парные могилы) и Гаевский 1 (парные захоронения) – можно констатировать, что наличие «детских» кладбищ/курганов отличает население гороховской культуры от саргатского, а Притобольскую – от остальных локальных серий. Иной вариант похорон для детей реализован в могильнике

⁷³ В. А. Булдашовым выделены только гендерные наборы инвентаря, на основании чего сделано заключение, что «в культуре отсутствуют ярко выраженные детские наборы вещей – состав предметов в них определялся принадлежностью ребенка к определенной прослойке населения» [Булдашов, 1998. С. 19].

Куртугуз I (рис. 79–81), в котором нет индивидуальных детских могил, а коллективные погребения представляли собой своеобразные склепы, на что уже обращалось внимание в главах 1 и 2. Для сравнения можно привести доступные сведения по относительно синхронным раннесарматским могильникам Нижнего Поволжья. Там установленный уровень детской смертности достаточно высок – 33,8 %. Большая часть детей во всех могильниках была погребена в коллективных и парных могилах. Как и в суммарной серии, пик детской смертности приходится на первый год жизни. Так, в могильнике Перегрузное 1 среди всех детей младенцы составляют более 70 % [Балабанова и др., 2015. С. 123, 142. Рис. 1, 2].

Саргатскому этапу соответствует максимальное количество исследованных погребений. Однако в курганах отмечается большое количество грабленых могил, что не могло не сказаться на полноте сборов или представленности антропологических материалов. Многие могильники (особенно в Притоболье) не полностью раскопаны. В суммарной выборке скелетные останки представлены всеми половозрастными группами, но именно в этой группе начинает проявляться деформация демографических показателей – заметное преобладание захоронений мужчин (рис. 107). Соотношение неопределимых скелетов пропорционально тому, что отмечается для предшествующего времени. В курганах возрастает количество периферийных могил: в Прииртышье (в том числе и богатые погребения Сидоровки и Исаковки 1), в Притоболье (мог. Тютринский, Гаевский 1 (рис. 59-Б, 62, 70) и Сопининский 1 (рис. 35, 43).

Среди полностью раскопанных могильников Прииртышья есть те, в которых значительно преобладает мужская часть погребенных: Бещаул 2, Исаковка 1 и 3, Карташево 2. С небольшими оговорками почти все датируются саргатским этапом. Тем не менее есть и такие памятники, в которых женских погребений больше, – Стрижево 2. Однако почти из всех рассматриваемых курганов происходит заметное количество неопределимых останков. В могильнике Бещаул 3 половозрастное соотношение близко к норме. Схожие показатели приводятся для могильников среднесарматской культуры Нижнего Поволжья [Балабанова и др., 2015. С. 125], но, согласно существующим

хронологиям сарматских и саргатских древностей, обе культуры лишь частично синхронны (пересекаются только поздние даты диапазона бытования). В курганах этого периода наблюдается и сокращение детских захоронений. Судя по имеющимся материалам, в частности могильника Исаковка 1 (в нем количество невзрослых индивидов сопоставимо с мужской частью выборки), можно заключить, что чаще всего дети погребались в индивидуальных могилах (например, кург. 3, погр. 4, кург. 6, погр. 8, кург. 8, погр. 2 и т.д.). С учетом размеров могильных ям далеко не во всех случаях наличие костей взрослого и ребенка могло означать парное погребение (например, кург. 5, погр. 3а, кург. 10, погр. 4). Суммарно детская выборка представлена всеми возрастными когортами при явной недопредставленности детей в целом. Для данного этапа развития саргатской культуры в разнополых группах взрослых отмечается увеличение возраста дожития, что не исключает некоторого искажения демографических показателей, вызванного неравнозначными в количественном отношении хронологическими выборками.

Уже многократно упоминалось, что именно к этому периоду относят расцвет саргатской культуры и увеличение численности населения лесостепи [например, Культура зауральских..., 1997. С. 146]. Потому небезосновательно комплексы именно этого этапа описывают характерные черты культуры. Предметы большей части археологических коллекций исследованных памятников позволяют говорить о том, что по уровню культурного развития зауральско-западносибирская лесостепь сравнивалась с южными территориями. О формировании системы территориальных связей можно говорить на основании предметов импорта, среди которых выделяются образцы изделий отдаленных регионов, а также керамические коллекции, в которых по-прежнему присутствуют сосуды лесного/таежного круга культур. В то же время среди исследованных погребений обнаруживаются захоронения индивидов, для которых не исключаются внешние генетические корни (Сопининский 1, бескурганное погребение; Карасье 9, кург. 11, погр. 2) [Среда, культура..., 2009; Шарапова и др., 2019]. Во всяком случае, археологический материал из этих

комплексов демонстрирует не столько хронологические, сколько инокультурные различия (рис. 46, 86–88-4,5), а выявленная практика отсроченных погребений указывает на определенную связь этих людей с населением саргатской культуры. Поселения и могильники демонстрируют иерархию. Однако вертикальные статусные различия в большинстве случаев не были резкими, поскольку относительно синхронные, но различные по богатству инвентаря могилы соседствуют в одном кургане. Попытка определить критерии избирательности умерших, для которых совершался курганный обряд, будет изложена в следующей главе в ходе контекстуального анализа результатов палеопатологического и молекулярно-генетического исследований.

Как уже отмечалось ранее, для заключительного *постсаргатского* этапа характерно отсутствие памятников с классическим набором саргатских признаков. Отдельные элементы сохраняются в конце III в. н.э. и позже, но это не позволяет признать убедительными верхние хронологические границы IV–V вв. н.э., что я попыталась обосновать в предыдущем разделе. Малое количество погребальных комплексов заключительного этапа и небольшое количество доступных для анализа скелетных останков вполне закономерны с точки зрения диалектики культуры, но затрудняют работу на интерпретационном уровне (рис. 107). Вновь повторяюсь, что археологически это время представлено хуже. Среди известных материалов нет памятников Барабы, другие локальные серии представлены единичным количеством индивидов. Обращает на себя внимание отсутствие детских останков в подавляющем большинстве случаев. Заметное исключение составляет погребение 1 кургана 6 Гаевского могильника (подросток, насколько об этом можно судить по инвентарю (рис. 63, 64-1,2,6, 66), уже прошел обряд инициации, да и его физическое развитие сопоставимо со взрослыми мужчинами). Уникальность этого комплекса, в том числе в плане реализации возможностей биоархеологического изучения, еще неоднократно будет подчеркиваться в ходе дальнейшего изложения. В саргатских погребениях Ипкульского могильника количество мужских и женских костяков нарушает характерное соотношение полов. Но любые рассуждения из-за малочисленности –

три мужских скелета и четыре женских – могут перейти в разряд недоказуемых. В целом данное замечание справедливо в отношении всей антропологической совокупности данного периода, характеризующегося дисперсным состоянием культуры в пределах всей лесостепной зоны. Однако даже при известной доле randomness доступного материала обращает на себя внимание тенденция половозрастного распределения индивидов, сопоставимая с той, что наблюдается в средне- и позднесарматских сериях [Балабанова и др., 2015. С. 116–145].

В заключение – несколько общих замечаний относительно достоверности палеодемографических характеристик. Не вдаваясь в подробности сугубо антропологических проблем и дискуссий, наметившихся в последнее время и связанных с методиками половозрастных определений [см. обзор: Ширококов, 2019], позволю себе отметить следующее.

Несомненно, получаемые археологами в процессе раскопок скелетные останки обладают высоким информационным потенциалом. В то же время предлагаемые палеодемографические модели имеют не только гипотетическую вероятность, но и весьма сдержанные оценки. Прежде всего потому, что половозрастной анализ многих антропологических материалов затруднен из-за выборочного отбора костей для хранения, что было распространено в прежние годы. Частично утрачены или депаспортизированы коллекции некоторых памятников, которые к тому же не были введены в научный оборот (отсутствуют публикации). То есть трудности работы с материалами старых раскопок, изложенные мною при характеристике источников, здесь приобрели вполне осязаемое значение. Однако палеодемографические характеристики не исчерпывают все многообразие информации о древнем населении, воссоздание которой возможно на археологическом материале.

Завершая главу, можно заключить, что процесс изучения древностей саргатской культуры в целом вписывается в общую тенденцию развития археологического знания [Клейн, 2011; Trigger, 1989; Renfrew, Bahn, 1997], прошедшего на этом пути несколько стадий: спекулятивно-гипотетическую, культурно-историческую и находящуюся в настоящий момент на стадии научно-

теоретического поиска, характеризующегося разнообразием методологических подходов [см.: Шарапова, 2000. С. 5]. Дополняя ранние обобщения на эту тему, можно также отметить, что к настоящему времени интерпретационные возможности в археологии существенно расширились, а многие из обозначенных ранее вопросов потребовали привлечения новых аналитических конструкций. Поиск и варианты ответа на них, реализованные на материалах саргатской культуры, излагаются в следующей главе.

Глава 4. Биоархеология лесостепного социума

Объяснения в археологии, стремление «распознать» группы людей, оставивших те или иные археологические памятники, всегда привлекали внимание исследователей. Обсуждения возможностей интерпретационного направления в археологии на основе современных теоретических подходов в популярности не уступают другим значимым теоретическим сюжетам (к таковым некогда относились дискуссии о сущности понятия «археологическая культура»). Эволюция исследовательских подходов привела к осознанию того, что существующие типологии в археологических интерпретациях позволяют классифицировать сосуды, дать характеристику иным категориям артефактов, но никак не тем людям, которые их изготовили и потом использовали [см.: Крадин, 2009; Шарапова, 2012]. Зародившись в русле западной социальной археологии, в настоящее время интерпретационное направление реализуется в соответствии с основными принципами постпроцессуальной школы [Hodder, 2007; Pikiрайi, 2009; Hales, Hodos, 2010; Agarwal, Glencross, 2011 и т. д.]. В отечественной археологии это направление также получило значительный импульс. Возрастающий интерес к изучению социальных аспектов сопровождается междисциплинарными исследованиями. Динамично развивающийся синтез разных дисциплин позволяет говорить о необходимости их широкого применения для объективизации археологических реконструкций.

Однако, несмотря на неослабевающее внимание к социальным реконструкциям, приходится констатировать, что возможности физической антропологии долгое время сводились преимущественно к определению пола и возраста. В широком спектре биологических характеристик анализ посткраниального скелета значительно уступал другим. Имеющиеся публикации сокращают эту диспропорцию, и важно отметить, что их количество постоянно растет. Повышенный интерес археологов к работам антропологов был

стимулирован заметной активизацией исследований в изучении разнообразных аспектов жизни древних популяций и появлением знаковых работ в этих областях [Экологические аспекты..., 1992; Бужилова, 1995; 2005; Медникова, 1995б; 2004; 2017; Козловская, 1996; Бужилова и др., 1998; Каргалы..., 2005 и т. д.].

Многообразие исследований биологических характеристик антропологического материала, выполняемых в рамках археологических проектов, в зарубежной литературе, а с некоторых пор и в отечественной, объединяется под названием «биоархеология». Еще в 1970-е гг. термин использовался преимущественно для анализа археологических источников при реконструкции древней среды обитания [Clark, 1972]. Затем появившиеся в американской литературе результаты биоархеологических исследований представляли изучение человеческих останков в соответствии с междисциплинарной программой, учитывающей такие аспекты как погребальный контекст, социальные отношения, физические нагрузки, палеодемографию, миграции, пищевые стратегии, болезни и т.п. [Buikstra, 1977. P. 67]. Такой подход созвучен содержанию исследований, получивших развитие в отечественной науке, в рамках которых рассматривается взаимосвязь между образом жизни, социальным окружением, миграциями, травмами древнего населения и т. д. [см.: Шарапова, 2018а]. Современная биоархеология во многом обязана процессуальной школе с заметным влиянием постпроцессуального (интерпретационного) подхода, внося существенный вклад в развитие социального направления [Gowland, Knüsel, 2006; Knüsel, 2010].

Растущий интерес к междисциплинарной тематике, ориентированный, в том числе на проведение палеогенетических и изотопных исследований, может иметь значительный потенциал, интегрируя биологические аспекты изучения антропологического материала и археологический контекст [Шарапова и др., 2023; Blöcher et al., 2023]. Причем последний подразумевает анализ символики погребального обряда [Hodder, 1989], тафономических процессов [Duday, 2009], культурных традиций и социальных групп [Duday et al., 1990; Sofaer, 2006; Knüsel, 2010 и т. д.].

Применительно к скелетным останкам, происходящим из могильников саргатской общности, оригинальные методики, основанные на регистрации неметрических остеологических признаков, были разработаны Д. И. Ражевым совместно с П. Курто [Ражев, 1996; Courtaud, Rajev, 1998; Daire et al, 2002], их теоретическая основа подробно описана [Ражев, 2009. С. 252–260]. Эта работа дополнила результаты уже, казалось бы, привычного антропологического обследования саргатских коллекций новым содержанием [Ражев, 2002; 2009]; при этом само исследование значимо не только новизной, главное – открывшейся возможностью сопоставить их с археологическими материалами, что и было выполнено и для Притобольской серии, и в масштабах общности [Шарапова, Ражев, 2013; 2016; Шарапова и др., 2014; 2020]. Такой подход позволяет рассмотреть антропологические материалы и результаты их комплексного изучения в археологическом контексте, что применительно к древностям саргатской культуры выполнено впервые. Сейчас уже не вызывает сомнений утверждение, что междисциплинарная биоархеологическая парадигма дополняет существующие реконструкции социальных структур, поскольку гипотетические построения основаны не на принципе отсутствия/наличия признака в статистической выборке, а проводятся с привлечением данных физического состояния изучаемых индивидов (стрессы, нагрузки, возраст, состояние здоровья, половозрастные особенности и т. д.).

Как показал опыт совместной работы, корреляция данных археологии и антропологии дает возможность рассмотреть известные материалы по принципу от общего к частному и от частного к особенному. В фокусе внимания при таком подходе к источнику находится конкретный индивид, изучение скелетных останков которого в совокупности с археологическими данными несет информацию о его образе жизни, культурных традициях, среде, в том числе социальной. Разделы, связанные с контекстуальным и кросс-культурным анализом, интерпретациями автора [Шарапова, 2018а; 2018б; Sharapova, 2016], вошли в данную диссертационную работу. С одной стороны, сравниваемый материал придает новизну предпринятому исследованию, с другой – является

причиной небольшого объема сопоставлений, тем не менее создающего прецеденты. Информационный потенциал рассмотрения индивидуальных (или частных) случаев, которые могут нивелироваться при работе с массовым материалом, достаточно высок, отчего некоторые выбивающиеся из «стандарта» примеры разбираются весьма подробно. Такой подход к анализу источника явился ключом к работе, что позволило скорректировать разные аспекты жизнедеятельности (физическая активность и условия жизни, травматизм, формы взаимодействия с внешним миром и т.п.) населения саргатской культуры [Шарапова, Ражев, 2013; Шарапова и др., 2014; 2020; Sharapova, Razhev, 2011; Sharapova, 2016]. В качестве независимого исторического источника для предлагаемых интерпретаций выступают биологические параметры.

Немногочисленные пока результаты палеогенетических исследований саргатского населения [Пилипенко и др., 2017; Шарапова и др., 2019; 2020] являют собой существенное дополнение к биоархеологическим реконструкциям, увеличивая количество и качество приводимых характеристик обитателей лесостепи региона в раннем железном веке. Помимо материальной атрибутики и фиксируемых элементов обрядности предпринятый анализ включал и скелетные останки некогда живых людей.

§ 1. Морфологические типы и материалы погребений: поиск соответствия⁷³

Изучение палеопатологических проявлений способствовало пониманию, что не все фиксируемые на костях скелета дефекты вызваны

⁷³ При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором лично и в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Шарапова С.В., Ражев Д.И., Курто П. Новое в изучении женских погребений (по материалам саргатской культуры Притоболья) // Вестник археологии, антропологии и этнографии – 2014. – № 1 (24). – С. 84–95. (SJR 0,32) (доля автора 0,5 п.л.);

Ražev D., Šarapova S. Peopling the past: female burials of the Iron Age Forest-Steppe in the Trans-Urals // Praehistorische zeitschrift. – 2014. – Band 89. Heft 1. – P. 157–176. (JIF 0,556) (доля автора 1,5 п.л.);

Шарапова С.В., Ражев Д.И. Погребения саргатской культуры: новый взгляд на известные факты // Российская археология. – 2016. – №3. – С. 60–72. (JCI 0,27) (доля автора 0,5 п.л.);

Шарапова С.В. Биоархеология населения лесостепного Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура) // Stratum Plus. – 2018. – №3. – С. 323–350. (JCI 0,25) (доля автора 3 п.л.);

Луайе Ж., Шарапова С.В. Палеопатологии детей из погребений бронзового века (на примере могильника Неплюевский) // Уральский исторический вестник. – 2017. – №1 (54). – С. 103–113. (SJR 0,28) (доля автора 0,5 п.л.).

возрастными/гормональными изменениями [например, Рохлин, 1965; Mays, 1998; Agarwal, Beauchesne, 2011]. Проблема единства организма и среды обогатила биологические науки концепцией стресса как генерализованного ответа организма на давление среды [Селье, 1960. С. 14]. Кроме того, присущий кости феномен пластичности, то есть способность реагировать структурным преобразованием на различные экзо- и эндогенные воздействия и длительное время сохранять форму проявления ответных реакций [Медведева и др., 2004; Sauer, 1998], дополнил спектр применяемых методик. Все это и информационный потенциал характеристик, определяемых по данным посткраниального скелета, позволили говорить о палеопатологии как о самостоятельной дисциплине [Бужилова и др., 1998; Бужилова, 2009; Перерва, 2013; Ortner, 2009 и т. д.]. В целом можно констатировать, что в начале текущего столетия палеопатологические исследования смещаются в область биоархеологии, а изучение костных останков проводится в целях реконструкции факторов окружающей среды и социальных факторов, обуславливающих образ жизни и стратегию выживания древних популяций [Кривошеев и др., 2021; Martin et al., 2013].

Так, в современных биоархеологических исследованиях все чаще подчеркивается связь между образом жизни человека и морфологическими особенностями его скелета, который подвергается физиологическому и биомеханическому воздействию на протяжении всей его жизни. Разнообразные факторы: диета, нагрузки, среда обитания (природная, культурная, социальная), болезни и т.д. – вызывают адаптивные изменения, изучение которых на палеоантропологическом материале составляет основу многих биоархеологических реконструкций [Бужилова, 1995; 2005; Добровольская, Свиркина, 2018; Тарасова, 2019; Карапетян, Шарапова, 2022; Larsen, 1999; Buikstra, Beck, 2006; Agarwal, Beauchesne, 2011; Armit et al., 2016 и т. д.]. Антропологи фиксируют маркеры стресса, вызванные процессами адаптации, которые свидетельствуют о перенесенных болезнях в древних коллективах. К неспецифическим маркерам стресса, позволяющим оценить общее состояние

здоровья в популяциях, относят *cribra orbitalia*, линейную гипоплазию эмали зубов, кариес, поротический гиперостоз, периостальные раздражения надкостницы и др. Это выявленные на костях и зубах дефекты, причины которых разнообразны (анемии, авитаминозы, инфекции и хронические болезни, недоедание и нарушение пищевого баланса, плохие санитарные условия и т.п.). Кроме того, отмечают и иные неметрические остеологические признаки (места прикрепления мышц и связок, артрозные проявления на суставных поверхностях), которые отражают физическую активность и профессиональные заболевания; «<...> при этом фиксируемые на костях маркеры стресса не всегда вызваны каким-либо патологическим процессом, но некоторые патологии вызывают изменения костной ткани» [Луайе, Шарапова, 2017. С. 103–104].

Особенности физической деятельности человека находят отражение в нескольких системах остеологических признаков. На антропологическом материале саргатской культуры Д. И. Ражев рассмотрел две: развитость мест прикрепления мышц и травматизацию (рис. 108–112) [Ражев, 2009. С. 251–314]. При описании мест прикрепления мышц и связок им были учтены рельеф и развитие энтезопатий (окостенений) (рис. 108-Б, 109-Б). Развитость признака свыше 2 баллов и менее 1 (депрессия) указывает на значительную нагрузку. Индикатор рельефа отражает силовое движение, энтезопатии – скоростное [Там же. С. 251–259; Шарапова и др., 2020. С. 361].

В результате анализа маркеров физической активности: мест прикрепления мышц и связок, артрозных проявлений на суставных поверхностях – взрослая часть саргатской палеантропологической выборки была разделена на две морфологические группы, условно названные «активный» и «спокойный» морфотипы [Ражев, 2009. С. 284–288; Шарапова, Ражев, 2016]⁷⁴. Выраженность этих признаков на детских костях минимальна, что не позволило в дальнейшем

⁷⁴ Попытка расценивать эти группы как противоположности, а определения как антонимы – стереотипна, поскольку анализируемая в работе часть саргатского социума представлена курганной выборкой, то есть социальной верхушкой. Различия, установленные по характеру реконструируемой деятельности, охарактеризованы как физически интенсивные (но не изнашивающие) и менее нагруженные, им соответствуют определенные пищевые регламентации для представителей разных групп [Ражев, 2009. С. 284].

учесть детей при характеристике морфотипов⁷⁵ (исключение представлено скелетными останками подростка из Гаевского 1 могильника (кург. 6, погр. 1, см. ниже)).

Для объяснения демографического, в данном случае половозрастного, и морфологического своеобразия антропологической выборки⁷⁶ населения лесостепного Зауралья и Западной Сибири Д. И. Ражев предложил «военно-правлящую» модель [Ражев, 2009. С. 74–75]. Обладатели «спокойного» морфотипа рассматриваются в «военно-правлящей» модели этой выборки как представители слоя наследственной аристократии. «Активный» морфотип был, в этой интерпретации, характерен для выходцев из более низкой страты, достигших положения в элите военно-правлящего слоя благодаря личным заслугам [Там же. С. 284–288]. Как показали первые исследования, проведенные на материалах Притоболья, выявленное различие индивидов из анализируемых погребений нашло соответствие и в археологическом контексте [Шарапова, Ражев, 2016; Шарапова и др., 2014]; согласуются с ними и предварительные результаты палеогенетического анализа [Шарапова и др., 2020].

Ниже предлагается сопоставление морфотипов, основанных на структуре прикрепления мышц и связок, и археологических данных в масштабах всей общности. На начальном этапе предполагалось провести сравнение между локальными группами. Как оказалось, полученные сведения из-за различного объема выборок, обусловленных разной степенью изученности, фрагментарности скелетов из-за разной сохранности и доступности для анализа не позволяют выявить какие-либо закономерности.

⁷⁵ В современных биоархеологических исследованиях ключевой признается концепция остеологического парадокса [Луайе, Шарапова, 2017; Перерва, Кривошеев, 2021; Wood et al., 1992; De Witte, Stojanowski, 2015 и др.]. В общих чертах суть парадокса заключается в неоднородности риска заболевания, селективной смертности, демографической нестабильности, что крайне редко учитывается при изучении конкретного материала [Куфтерин, 2022. С. 4–5]. Очевидно, что многие элементы не представлены не только из-за плохой сохранности детских костей, но и вследствие быстрой/ранней смерти ребенка, когда патология не оставляла следов на костях скелета [Луайе, Шарапова, 2017. С. 105].

⁷⁶ В настоящее время признается, что гипотеза «посмертного отбора» [Алексеев, 1989. С. 67–68] может быть использована для объяснения недопредставленности индивидов разных половозрастных групп в антропологических выборках. Фактор сохранности не универсален, а «искажение долей разных половозрастных групп является нелинейным процессом, что требует рассмотрения объективных и субъективных факторов, влияющих на качественный и количественный состав конкретной скелетной серии. Детальная оценка тафономических особенностей материала должна выступать обязательным этапом, предшествующим его анализу палеодемографическими методами» [Куфтерин, 2022. С. 36].

В таблице 5 содержится информация о количестве индивидов в каждой группе. В нее не вошли данные по погребально-культовой площадке Скворцовская гора V, поскольку специфика обряда захоронения не лучшим образом сказалась на сохранности останков (подробнее об этом см. гл. 2). Кроме того, для антропологического материала из могильников Ипкульский и Покровский анализ посткраниального скелета не проводился, поэтому в таблице 5 отсутствуют сведения по этим памятникам. Выявленные антропологами патологические особенности скелетных останков из могильника Яшкино 1 [Зубова и др., 2014] и кургана Новопокровка 16 [Шарапова, 2021. Приложение 3] были дополнительно рассмотрены Д. И. Ражевым, что позволило учесть индивидов из этих памятников в таблице 5. Для остальных некрополей количество взрослых индивидов, для которых установление принадлежности к тому или иному морфотипу было затруднено, указано с учетом определений пола и/или возраста. Были исключены и неопределимые останки: в равной степени они могли быть и детскими, и взрослыми. Резонно и то, что не были учтены кенотафы.

Таблица 5

Количество индивидов по группам

Памятник	«Спокойный» морфотип		«Активный» морфотип		Дети	Взрослые с неопределимым морфотипом
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины		
<i>Бараба</i>						
Марково 1	1	1	2	5	8	13
Венгерovo 1	–	–	–	–	1	–
Венгерovo 7	–	–	1	–	1	7
Абрамово 4	–	1	–	–	9	17
Яшкино 1	–	–	1	–	–	–
<i>Прииртышье</i>						
Бешаул 2	–	–	–	–	2	11
Бешаул 3	–	–	–	–	5	5
Бешаул 4	–	–	–	–	–	1
Богдановка	2	2	1	1	12	12
Богдановка 2	–	1	–	–	4	4

Богдановка 3	–	–	–	2	1	2
Стрижево 1	–	–	–	–	8	16
Стрижево 2	–	–	–	–	9	16
Карташево 2	3	1	5	2	7	14
Коконовка 1	–	1	1	–	1	13
Коконовка 2	3	1	2	2	8	10
Исаковка 1	4	1	3	2	16	28
Исаковка 3	–	–	–	–	8	14
Новооболонь	–	–	–	1	5	15
Новопокровка 16	–	1	–	–	–	1
<i>Пришимье</i>						
Кокуйский 3	2	–	2	–	2	4
Абатский 1	3	–	5	–	2	11
Абатский 3	13	4	7	12	14	19
<i>Притоболье</i>						
Прыговский 2	–	–	–	1	–	1
Сопининский 1	1	2	1	–	2	11
Гаевский 1	2	–	5	2	4	8
Мурзинский 1	2	–	2	4	2	5
Мурзинский 3	1	1	–	–	–	–
Куртугуз I	–	–	1	–	3	11
Карасье 8	–	–	1	–	–	–
Карасье 9	–	1	–	–	1	1
Щучье 1	–	–	–	–	2	4
Тютринский	5	2	5	4	5	15
Савиновский	3	–	3	2	–	8
Красногорский 1	–	–	–	–	–	5
Красногорский 2	–	–	–	–	–	2
Красногорский борок	–	–	–	–	–	5
Скаты 1	–	–	1	2	6	2

Собранная в таблицу информация оказалась весьма специфичной. Например, в могильнике Богдановка среди всех раскопанных курганов определить принадлежность к морфотипам оказалось возможным только для погребенных взрослых из кургана 6. В могильниках Стрижево 1 и 2 на Иртыше,

Красногорский 1 и 2, Красногорский борок на Тоболе скелетный материал, отвечающий половозрастным определениям, оказался непригодным для анализа маркеров физической активности. Также обращает на себя внимание тот факт, что наиболее многочисленная выборка погребений Прииртышья имеет порядка 10 % доступных для анализа скелетных останков взрослых среди прочих. Напротив, менее представительные серии из Приишимья и Притоболья содержат соответственно 42 % и 35 % пригодных антропологических материалов взрослых. Прежде всего, такое положение отражает случайный характер археологических выборок. В меньшей степени – смену исследовательской парадигмы и возрастающий интерес к возможностям палеоантропологического изучения (основной массив коллекций был получен уже на современном этапе, что исключило, например, выборочный отбор для хранения). Поэтому такая ситуация характеризует скорее источник, который деформирован субъективными причинами, нежели реальную ситуацию, имевшую место в прошлом (на это уже обращалось внимание в гл. 1). В этой связи представляется целесообразным анализ на макроуровне – для культуры в целом. В то же время такой подход не означает отказ от рассмотрения территориально-хронологической специфики получаемой информации.

Для общесаргатской выборки в целом было зафиксировано соотношение «активного» и «спокойного» морфотипов в мужской части – 1 : 1, в женской – 1 : 2,8 [Ражев, 2009. Табл. 6.16]. В диссертационной работе привлечение материалов других памятников (мог. Яшкино 1, Скаты 1, Щучье 1, Карасье 8 и 9, Сопининский 1, Новопокровка 16) изменило пропорции в женской группе (1 : 2,3), оставив близко к исходной соразмерность в мужской (табл. 5, рис. 113). Наибольшее количество погребенных взрослых попадает в возрастной диапазон 20–49 лет, с пиком смертности мужчин в 30–44 года, женщин – в 25–39 лет. Средний возраст смерти мужчин обоих морфотипов одинаков и составляет 36 лет. У женщин же наблюдаются различия. Так, средний возраст смерти представительниц «активной» группы составляет 39 лет, что несколько больше

среднего показателя женщин «спокойного» морфотипа – 36 лет [Там же. С. 62–63].

Для мужчин и женщин «активного» морфотипа реконструирована более разнообразная и интенсивная физическая деятельность, чем для «спокойного». Выявленные в ходе антропологического анализа кинематические схемы представительниц «активного» типа в целом сходны с кинематикой мужчин. Это дает основания полагать, что физическая активность женщин этой группы во многом соответствовала активности мужчин, включая верховую езду. Osteометрическим отражением этого является массивность их скелетов. Для женщин «спокойного» морфотипа реконструируются менее интенсивные движения, а также отсутствие экстремальных, изнашивающих нагрузок, возникающих при постоянной верховой езде [Ражев, 2009. С. 260–273; Шарапова, Ражев, 2016. С. 62–63; Шарапова и др., 2014. С. 87].

Распространенность маркеров эпизодического истощения – линейная гипоплазия эмали зубов – свидетельствует, что дети женского и мужского пола в равной мере были подвержены воздействию неблагоприятных условий, приводящих к истощению организма и задержке развития и роста коронок постоянных зубов. Однако в наиболее выгодном положении оказывались все же дети, впоследствии сформировавшие «спокойный» морфотип. Для 80 % мужчин «активного» морфотипа были зафиксированы в среднем 1,3 выраженной линии эмалевой гипоплазии на резцах и клыках. У представителей «спокойной» группы гипоплазия выявлена у 57 % и среднее количество линий, приходящихся на одного человека, равняется 0,9. У 76 % представительниц «активного» морфотипа обнаруживается в среднем 1,1 линейной гипоплазии. У женщин «спокойной» группы дефект фиксируется для 67 % и среднее количество линий, приходящихся на одного человека, составляет 0,6. Очевидно, что мужчины и женщины «активной» группы в раннем возрасте испытывали недостаток питания в значительно большей степени, чем индивиды «спокойного» морфотипа [Ражев, 2009. С. 329. Табл. 7.8, 7.9]. Согласно палеодиетической реконструкции, мужчины и женщины «спокойного» морфотипа потребляли мяса в несколько раз больше,

чем представители «активной» группы [Там же; Шарапова, Ражев, 2016. С. 63; Шарапова и др., 2014. С. 87].

Скорость стирания зубов саргатского населения (рис. 111-А) свидетельствует о том, что механическая жесткость пищи схожа с той, что соответствовала рациону охотников и собирателей, отличаясь некоторым разнообразием [Ражев, 2009. С. 321]. Частота кариеса минимальна, но фиксируются сколы эмали, которые чаще отмечаются у мужчин, чем у женщин. Причинами такого рода микротравм были надкусывания твердых частиц при приеме пищи или во время работы [Там же. С. 322–323, 326]. Выявленные интерпроксимальные бороздки в области коренных зубов (рис. 112-Б) связывают с вредной привычкой использовать палочки-зубочистки [Бужилова, 2005. С. 58].

В санитарном отношении саргатская популяция была относительно благополучной. Краниологическая выборка демонстрирует незначительную выраженность пороза костной ткани, а его увеличение зафиксировано в группах с повышенной физической активностью и связывается с приобретенной формой анемии [Ражев, 2009. С. 340]. В то же время, по наблюдениям многих исследователей, появление гиперостозных изменений кости в области внутреннего свода орбит (*cribra orbitalia*) возможно в раннем детстве и подростковом возрасте из-за плохого питания матери и/или ребенка, потери питательных веществ, связанных с желудочно-кишечными заболеваниями, инфекционных заболеваний и/или плохих санитарных условий [Бужилова, 2005. С. 211; Halcrow, Tayles, 2011. P. 341–342 и др.]. Выраженность поротического гиперостоза на черепках в саргатской выборке Д.И. Ражев относил к проявлениям железодефицитной анемии, вызванной малым потреблением мяса [Ражев, 2009. С. 336–340]. Между тем анемичные состояния могли развиваться вследствие употребления преимущественно молочной продукции, а не мяса – важнейшего источника железа в рационе [Карапетян, Шарапова, 2022; Bothwell et al., 1989]. Новые исследования содержания молочных протеинов в образцах зубного камня показали повсеместное употребление молочных продуктов древними представителями скотоводческих сообществ степного пояса, в том числе раннего

железного века [Scott et al., 2022], устойчивость к лактозе выявлена для большинства палеопопуляций Европы и Азии в эпоху бронзы и железного века [Evershed et al., 2022].

В плане реконструкции весьма интересными могут оказаться материалы изучения Павлинова городища и связанного с ним Сопининского 1 могильника. Археозоологические коллекции из раскопок городища и курганов свидетельствуют о весеннем забое скота [Среда, культура..., 2009. С. 262–263]. Одним из вариантов объяснения может служить предположение о связи весенне-летнего забоя животных с какими-либо ритуалами. В частности, молодые особи лошадей, кости которых происходят из кургана 2, были забиты в конце весны – начале лета [Бачура, 2003], что указывает на время совершения основных и впускных захоронений⁷⁷. Так, в разрушенном грабителями центральном погребении 1 – мужчина «спокойного» морфотипа (ск. 3, старше 35 лет), в периферийной могильной яме 2 – вероятно, самое позднее погребение женщины «спокойного» морфотипа (ск. 3, 20–25 лет).

Наряду с другими, факт весеннего забоя может указывать и на недостаток пищи в это время. Кости крупного рогатого скота из построек Павлинова городища происходят от молодых особей, забитых весной. Такой результат расходится с этнографическими данными, свидетельствующими о том, что забой животных обычно происходит осенью и в начале зимы, когда они находятся в наилучшей форме, а мясо хранится долгое время [Среда, культура..., 2009. С. 263]. Косвенным подтверждением служат данные, полученные по скоплениям с территории посада и крепости, – способы раскола костей для добывания костного мозга и жира. Интенсивность их употребления тесно связана с недостаточным обеспечением пищей. Состояние зубочелюстной системы индивидов из погребений Сопининского 1 могильника соответствует наблюдениям, полученным для лесостепного населения в целом, и

⁷⁷ Схожая информация реконструирована для пазырыкских захоронений в могильнике Ак-Алаха. В частности, о том, что похороны в кургане 1 были проведены в середине июня, свидетельствует последний корм одной из лошадей, похороненной вместе с женщиной: годовые кольца веточек имели новые клеточные образования, характерные для весеннего периода алтайского высокогорья. Соплаются со временем года и данные анализа пыльцы [Полосьмак, 2015. С. 80].

характеризуется не избыточным потреблением мяса. Для данной группы реконструировано употребление продуктов животноводства при минимуме пищи из злаков [Там же. С. 233–243, 266]. Сезонный характер пищевого режима скотоводов саргатской культуры, на который указывали разные авторы [Бачура, 2003; Чикунова, Поклонцев, 2003; Ражев, 2009. С. 356–360], выражался в низкой обеспеченности пищей, что подкрепляется и распространённостью линейной гипоплазии эмали зубов. Мужчины и женщины «активной» группы в раннем возрасте испытывали недостаток питания в несколько большей степени, чем индивиды «спокойного» морфотипа [Ражев, 2009. С. 240].

Захоронения мужчин и женщин «активного» и «спокойного» морфотипов располагались как в центре подкурганной площадки, так и по периферии (рис. 113), в том числе некоторые были, бесспорно, впускными. Однако в большинстве случаев сведения крайне фрагментарны. Преобладают индивидуальные могильные ямы. Погребения женщин количественно уступают мужским, тем не менее известно небольшое количество кладбищ и курганов, в которых женских могил нет (но есть детские захоронения). Надежно документированные примеры, еще на стадии полевых работ, происходят с территории Притоболья: Скаты 1, Гаевский 1 могильник. В последнем выделяется курган 6, прежде всего отсутствием взрослых женщин, как в ранней группе захоронений, так и в поздней. Согласно заключениям антропологов, все скелетные останки четырех взрослых принадлежат мужчинам (неопределимых нет), мужской пол достоверно установлен для подростка из погребения 1, пол двух других детских костяков (из индивидуальной могилы 6 и парной 4) неопределим [Шарапова и др., 2020. С. 373].

В Барабинской лесостепи два одновременных непотревоженных погребения женщин «активной» группы зафиксировано в центре кургана 19 могильника Марково 1: раннее погребение 4 было ориентировано меридианно, впускное погребение 3 имело широтную ориентировку. Биологический возраст обеих умерших определен в 25–30 лет. В могильнике Яшкино 1 в кургане 5 было совершено одно центральное погребение, из которого разрозненные кости

мужского скелета (40–45 лет) по характеру значительных изнашивающих нагрузок [Зубова и др., 2014]⁷⁸ схожи с теми, что были определены Д.И. Ражевым для «активного» морфотипа.

Ограбленное центральное погребение 2 кургана 9 могильника Исаковка 1 в Прииртышье содержало останки двух взрослых мужчин «спокойного» морфотипа (ск. 1, 30–45 лет; ск. 2, 30–40 лет) и детские кости (ск. 3). Судя по доступным сведениям из отчета, в могильной яме могли быть совершены разновременные захоронения, однако их последовательность не устанавливается. В могильнике Коконовка 2 (кург. 1) в разрушенном грабителями центральном погребении 5 определены кости скелетов от пяти индивидов: для двух женщин (ск. 1, 30–40 лет; ск. 2, 25–35 лет) отнесена принадлежность к «спокойному» морфотипу; идентифицировать пол и морфотип еще одного взрослого по сохранившимся костям скелета затруднительно, так же как и для детских костей от двух скелетов. В могильнике Карташево 2 в кургане 2 в центральном погребении 4 расчищены разрозненные останки представителей «активного» морфотипа: мужчины (ск. 1, 25–30 лет) и женщины (ск. 2, взрослая). Судя по материалам в отчете, это «ярусное» захоронение, однако скудность представленной в нем информации не позволяет определить последовательность совершения похорон. Еще одна могильная яма 5, содержащая останки двух мужчин (ск. 1, 40–60 лет, «активный» морфотип; ск. 2, взрослый, морфотип неопределим), находилась в кургане 3 этого же могильника. В отчете план погребения 5 отсутствует. Столь же затруднителен анализ погребения 11 кургана 6 могильника Богдановка: разрозненные кости от двух мужских скелетов (ск. 1, 22–25 лет, «активный» морфотип; ск. 2, 25–35 лет, «спокойный» морфотип), условия залегания которых по имеющемуся в отчете плану не определяются. В. А. Могильников интерпретировал его парным. Два

⁷⁸ Авторы публикации со ссылкой на современные медицинские данные предполагают системное заболевание, симптоматика которого близка проявлениям диффузного идиопатического гиперостоза скелета (ДИГС), и не связывают со специфическими нагрузками и родом деятельности, что в определенной мере можно рассматривать концептуальными расхождениями разных исследователей и/или сохранностью антропологического материала [ср.: Ражев, 2009. С. 251–259; Зубова и др., 2014. С. 559]. В этой связи примечательно изучение ДИГС на скелетных сериях раннего железного века, в частности оседлого населения с территории Литвы, которое выявило интересную деталь: данные патологии обнаружены только на останках мужчин, имевших высокий социальный статус [Jankauskas, Kozlovskaya, 1999; Jankauskas, 2003]. В то же время, как было отмечено выше, представители группы «активного» морфотипа также составляли социальную верхушку саргатского общества.

других комплекса, для которых синхронность коллективных захоронений пяти взрослых мужчин (мог. Коконовка 1, кург. 14, погр. 1; Богдановка, кург. 2, погр. 5) не исключается, будут рассмотрены в § 3 данной главы.

Материалы Приишимской локальной серии в ряде случаев тоже демонстрируют неочевидность коллективных захоронений. Приведенный в главе 1 пример несоответствия интерпретаций для погребения 1 кургана 3 могильника Кокуйский 3 (рис. 28) может быть использован здесь, но теперь с учетом отличий индивидов по маркерам физической активности. Как уже отмечалось, все четыре захоронения были совершены в индивидуальных ямах. Сначала мужчина «спокойного» морфотипа (ск. 1, 35–45 лет), позже могильная яма без изменения контуров и ориентировки была вновь использована для подхоронения мужчины «активного» морфотипа (ск. 2, 25–45 лет). Отдельными погребениями следует рассматривать разрушенные впоследствии грабителями могилы ребенка (ск. 3) и мужчины (ск. 4, 30–50 лет). Факт коллективного, разнонаправленного погребения семи индивидов отмечен во рву саргатского кургана 2 в могильнике Абатский 3 (погр. 6). Примечательно, что все взрослые мужчины (ск. 2, 25–35 лет; ск. 5, 30–45 лет; ск. 7, 30–45 лет) отнесены к «спокойному» морфотипу, выявленные на костях единственной женщины в этом комплексе (ск. 4, 25–35 лет) изнашивающие нагрузки определили ее принадлежность к «активной» группе. Морфотип остальных трех индивидов неопределим в силу возраста. В этом же кургане 2 иной пример планиграфии захоронений представлен археологически синхронным погребением 10, совершенным во рву (рис. 26-А). Двое мужчин (ск. 1, 25–40 лет; ск. 2, 30–45 лет) и женщина (ск. 3, 25–35 лет) «активного» морфотипа были уложены вплотную друг к другу. Ребенок (ск. 4, 6–7 лет) располагался в ногах взрослых.

В Притоболье надежно документирован случай парного разнополого погребения только для представителей «активного» морфотипа (мог. Мурзинский 1, кург. 8, погр. 1), а в курганах обнаружены комплексы как с гороховской традицией, так и с саргатской. Возможно, данное обстоятельство и определило столь заметное исключение. Встречаются случаи введения мужской

могилы в женскую без изменения формы и направления ориентировки ямы. Подобный случай устройства «ярусных» погребений и попадания в контуры конструкции зафиксирован в центре кургана представительниц «спокойного» морфотипа (Сопининский 1, кург. 2, погр. 1, ск. 1, и погр. 2, ск. 3; Мурзинский 3, кург. 3, погр. 2 (рис. 76, 77-А)). Примечательно, что представители разных морфотипов могли быть родственниками. В этом случае весьма показательны материалы кургана 5 Гаевского 1 могильника. В центральной могильной яме 1, содержащей остатки «ярусного» захоронения, идентифицированы кости от двух мужских индивидов одного возраста (35–45 лет), один отнесен к «спокойному» морфологическому типу, другой – к «активному». Антропологами было отмечено сходство обоих скелетов, которое проявилось в наличии выраженного нижнечелюстного валика (*torus mandibularis*), слабого сагиттального гребня (*crista sagittalis*) на лобной чешуе (*squama frontalis*), небольших сосцевидных отростков с не полностью заросшим швом. Эти признаки и визуально определяемое подобие морфологического строения всех костей позволили допустить значительную степень родства этих индивидов [Культура зауральских..., 1997. С. 95]. У мужчины «спокойного» морфотипа выявлен перелом голени (рис. 110-Б), «который привел к хромоте, заживление же проходило в очень комфортных условиях» [Шарапова, Ражев, 2016. С. 64].

В целом рассмотренные примеры позволяют предположить, что для индивидов разных морфологических групп выбор места для их погребения относительно центра подкурганной площадки регламентировался какими-то причинами, которые не связаны с принадлежностью к группе. Попытка поиска возможных объяснений будет предложена ниже, с учетом различных факторов. Специфика могильника Абатский 3 предположительно имеет инокультурные мотивы, точнее – сочетание лесостепного (саргатского) и лесного (кашинского) компонентов, которое, допуская, в большей мере наделено хронологическими различиями, а не статусными.

Как правило, в погребения мужчин и женщин помещали 2-3 сосуда с пищей животного происхождения и жидкостью⁷⁹, а также «мясные» части.

Мужская выборка. Все захоронения мужчин «спокойного» и «активного» (рис. 114) морфотипов датируются широким временным диапазоном – V в. до н.э. – III в. н.э. (рис. 116), что совпадает с хронологией саргатской культуры в целом. Погребальный инвентарь маркирует статус воина (рис. 42, 63–68). Неграбленные мужские могилы содержали стандартный набор, состоявший из меча и/или кинжала, конской сбруи, лука и стрел, сосудов и остатков напутственной пищи в виде костей животных («спокойный» морфотип – мог. Исаковка 1 кург. 9, погр. 2, ск. 1, 30–45 лет; Карташево 2, кург. 1, погр. 5, 25–30 лет; «активный» – Карташево 2, кург. 6, погр. 4, 40–60 лет; Гаевский 1 кург. 6, погр. 2, 20–25 лет и т.д.). Также найдены ножи и/или тесла, оселки, фрагменты доспеха, элементы декора одежды и колчана: разнообразные бусины, пряжки, заклепки. Бронзовые или серебряные серьги обнаружены в некоторых погребениях представителей «спокойной» (Коконовка 2, кург. 1, погр. 7) или «активной» группы (Карташево 2, кург. 2, погр. 4, ск. 2; Гаевский 1, кург. 6, погр. 2; Мурзинский 1, кург. 6, погр. 3), костяное колечко расчищено в заполнении могилы мужчины «спокойного» морфологического типа (Тютринский, кург. 10, погр. 1). В какой-то мере этот факт подтверждает предположение, что для мужчин, вероятно, не существовало ограничений в выборе инвентаря. С другой стороны, маркеры биологического пола как будто бы хорошо фиксируются археологически. Тем не менее есть единичные примеры неграбленных захоронений, где наблюдается несоответствие набора артефактов и биологического пола. В ходе остеологического изучения Д. И. Ражевым подобные случаи противоречия обнаружены в пяти из 56 погребений саргатской общности [Ражев, 2009. С. 37].

Чаще всего такие примеры в захоронениях мужчин связаны с нахождением пряслиц. Как уже говорилось в главе 2, количество неграбленных комплексов невелико – *семь*, из них с удовлетворительной сохранностью костей, пригодной

⁷⁹ Данные получены в результате почвенного анализа содержимого из сосудов разной величины [Культура зауральских..., 1997. С. 129].

для определения морфотипа, еще меньше – *два*. В Притоболье случай подобного несоответствия выявлен в Савиновском могильнике (кург. 5, погр. 4) у представителя «активного» морфотипа. В могиле мужчины 25–35 лет были расчищены два лепных сосуда, два бронзовых браслета, перстень, лепное биконическое пряслице, куски мела и кости овцы. В рассматриваемой выборке в Прииртышье факт нахождения пряслиц в мужских могилах зафиксирован дважды: у индивидов «спокойного» (Коконовка 2, кург. 2, погр. 7, 35–50 лет) и «активного» (Богдановка, кург. 6, погр. 11, ск. 1, 22–25 лет) морфотипов. Последний пример тем не менее несколько выбивается: погребение ограблено, среди разрозненных останков определялись кости второго мужчины (ск. 2, 25–35 лет) «спокойного» морфотипа, инвентарь сопоставим с мужским.

Разбираясь с причинами помещения пряслиц в мужские погребения у сарматов, М. Г. Мошкова обратила внимание на малочисленность таких примеров, а также на то, что иногда пряслица находились отдельно от остального инвентаря, что позволило ей исключить их из категории подношений. Рассмотренные ею данные по материалам кочевников раннего железного века, населявших степи от Южного Приуралья до Дона, а также по населению Северного Кавказа скифского времени стали основанием для предположения об использовании пряслиц в могиле в качестве амулетов или амулетов-оберегов [Мошкова, 2012. С. 349].

Как видно, в материалах саргатской культуры такие случаи единичны и не исчерпываются только одним возможным вариантом. Допускаю, что помимо погрешности определения пола и оберегов поиск объяснений может быть в существовании в саргатском обществе вертикальных статусных отличий, когда гендерная принадлежность определялась также и сочетанием особых символов, часть из которых могла и не сохраниться в археологическом источнике (татуировки, вид одеяния и т.п.). В перспективе небезынтересно было бы провести целенаправленное исследование подобных примеров – определение пола палеогенетическими методами, подобное тому, что было предпринято для

погребения в кургане 1 пазырыкского могильника Ак-Алаха 1 [ср.: Полосьмак, 2001. С. 275–276; Пилипенко и др., 2015]⁸⁰.

В *женских* погребениях обеих морфологических групп инвентарь включает так называемые гендерные стереотипы или женский набор – разнообразные украшения и пряслица. В могилах расчищены как ожерелья из разных бусин, браслеты, остатки от расшивки одежды, бронзовые зеркала, так и более скромные наборы – керамика, ножи. Среди неграбленных могил известен единичный пример безынвентарного захоронения женщины «активного» морфотипа (Марково 1, кург. 18, погр. 1), причем в Барабе такие комплексы, датированные концом I тыс. до н.э. – III–I вв. до н.э., незначительно, но преобладают (мог. Марково 1 и Венгерovo 7). Керамические сосуды были обнаружены практически во всех погребениях обеих групп, исключение составили сильно разрушенные комплексы (Сопининский 1, кург. 2, погр. 1 и 2; Тютринский, кург. 7, погр. 2; Мурзинский 1, кург. 6, погр. 1; Карташево 2, кург. 1, погр. 6; Абрамово 4, кург. 12, погр. 3; Марково 1, кург. 15, погр. 1, и др.).

Однако подобная каноничность по составу инвентаря не столь очевидна при более пристальном рассмотрении. Прежде всего, наборы артефактов в захоронениях женщин, относимых к «спокойному» морфотипу, в некоторых случаях не содержат даже самых простейших украшений (Карасье 9, кург. 11, погр. 2, 40–50 лет) (рис. 86–88-4,5, 115-1), что нехарактерно для таких могильников⁸¹ [Матвеева, 2000. С. 184. Рис. 73]. При этом они более

⁸⁰ Методами физической антропологии пол одного из индивидов (погр. 2) был установлен как женский (погр. 1 – мужчина). Молодая девушка была захоронена в мужской одежде с поясом и в колпаке, в сопровождении железного кинжала и чекана, лука и стрел в колчане с нарядным горитом [Полосьмак, 2001. С. 55–59]. Долгое время этот комплекс рассматривался как аргумент в пользу существования в пазырыкском обществе практики владения оружием и привлечения к воинской деятельности как мужчин, так и женщин, хотя и подчеркивалось, что этот случай является уникальным [Там же. С. 276]. Однако в ходе палеогенетического анализа был установлен мужской пол обоих индивидов, для которых было исключено прямое родство (отец – сын), но допускались другие отдаленные варианты – например, дядя и племянник [Пилипенко и др., 2015. С. 152]. Это случай, несомненно, примечателен в плане соответствия данных археологии, антропологии, генетики.

⁸¹ Рассматривая социально-типологические модели погребений взрослых женщин средне- и позднесаргатского периодов, Н. П. Матвеева на основании состава погребального инвентаря и сложности над- и внутримогильных конструкций предложила довольно дробную социальную классификацию: восемь групп (модели 1–8), среди которых по богатству одеяний, вещевого комплекса и усыпальниц – ровно половина (модели 3–6). Однако качественный состав находок в погребениях получил весьма неоднозначную интерпретацию: нож – рост уровня жизни саргатского населения; наличие и отсутствие оружия – вооруженность только части женщин; безынвентарные в малых ямах – незамужние, бездетные женщины; впускные безынвентарные – зависимые лица

разнообразны с точки зрения качественного состава предметов и демонстрируют черты, которые принято относить к археологическим проявлениям социокультурной идентичности. Так, в могильной яме взрослой женщины из Тютринского могильника (кург. 7, погр. 2, ск. 2, 30–50 лет) некогда находился бронзовый котел вместо стандартного набора сосудов; кочевническая керамика и деформация черепа выявлены в захоронении женщины 40–50 лет в могильнике Карасье 9 (кург. 11, погр. 2) (рис. 115-1, 117-А).

Обращает на себя внимание «обилие» ритуальной пищи, остатки которой в виде костей животных и почвенного содержимого в сосудах выявлены в непо потревоженных захоронениях женщин старше 40 лет. В некоторых случаях, наряду с костными остатками от одной-двух особей, найдено до пяти сосудов в погребениях (Ипкульский, кург. 20, погр. 1) или там же и еще дополнительно в насыпи – три и шесть емкостей соответственно (Мурзинский 3, кург. 3, погр. 2, «спокойный» морфотип) (рис. 76-Б, 77). Судя по надежно документированным материалам Притоболья, видовой состав жертвенных животных – костные остатки из погребений женщин старшей возрастной группы – представлен в основном костями лошади (могильники Гаевский 1, Сопининский 1, Карасье 9, Савиновский, Тютринский); единично мелким рогатым скотом (Мурзинский 3, кург. 3, погр. 2). Чаще всего это несколько последовательных ребер, тазовые и кости крестца⁸². Такие примеры свидетельствуют об очевидной возрастной дифференциации среди представительниц как «активного», так и «спокойного» морфотипа. Приведенное наблюдение противоречит выводу Н. А. Берсенева об отсутствии связи между возрастом и сопроводительным инвентарем [Берсенева, 2013. С. 27]. За пределами саргатского ареала схожие предположения были высказаны на материалах каменной культуры Приобья [Матвеева, 1999б]. В частности, Н. П. Матвеева допустила, что общественная оценка роли старых

или жертвы. Заслуживает внимания модель 3, насчитывающая 28 могил этого типа, среди захороненных количественно преобладают молодые и юные [Матвеева, 2000. С. 182–185].

⁸² Остатки поминальной тризны из насыпи курганов не только имеют большее видовое разнообразие (лошадь, крупный и мелкий рогатый скот, дикая фауна и т.д.), но и включают различные части скелетов (черепа, дистальные отделы конечностей, а также костные фрагменты от частей с большим количеством мяса – лопатки, плечевые, бедренные кости) [Культура зауральских..., 1997. С. 114, 121. Табл. 10–13].

женщин до самой смерти была высокой из-за сохранения ими воспитательных и религиозных функций, что нашло отражение в погребальной обрядности [Там же. С. 58]. В этой связи не менее показательны и этнографические параллели. В траурной трапезе осетин сохранились половозрастная иерархия пиршества и регламентация пищи в ритуалах, смысл которых напрямую уже не связан с питанием, ориентированным на ежедневный прокорм или потребление продовольствия в целом [Уарзиати, 1995. С. 118–136].

В изучаемой группе женских захоронений не обнаружены мечи или защитный доспех (есть только фрагменты клинков), в то же время в могильных ямах найдены наконечники стрел, кинжалы, элементы конской сбруи. Единичные находки стрел присутствуют в погребениях представительниц «активного» морфотипа (например, Марково 1, кург. 19, погр. 3, 25–35 лет; Абатский 3, кург. 2, погр. 11, 25–35 лет, погр. 16, 30–45 лет; Гаевский 1, кург. 3, погр. 1, ск. 2, 18–22 лет; Тютринский, кург. 6, погр. 1, 35–70 лет; Мурзинский 1, кург. 13, погр. 1, 30–50 лет), принадлежность их не всегда очевидна, так как в большинстве случаев они происходят из разрушенных могил.

Поскольку отмечается довольно частая (18 %) [Корякова, 1988. С. 56] встречаемость некоторых предметов вооружения в женских комплексах, такие ситуации не только привлекают пристальное внимание, но и зачастую получают особую интерпретацию. С одной стороны, стрелы происходят из могил представительниц «активного» морфотипа, что может косвенно указывать на участие женщин в воинских формированиях. Подобные выводы о женщинах-воительницах или конных лучницах настойчиво предлагаются в некоторых исследованиях саргатских древностей [Корякова, 1988. С. 55; Матвеева, 2000. С. 189; 2005. С. 147; Берсенева, 2011а. С. 77; Berseneva, 2008. P. 150]. С другой стороны, анализ кинематических схем физической активности саргатского населения, что может рассматриваться в качестве прямого признака для подобных интерпретаций⁸³, не выявил статистически достоверных асимметрий костей рук с

⁸³ Из комплекса маркеров стрельбы из лука Д. И. Ражевым были рассмотрены только место прикрепления *m. biceps brachii* и дегенеративно-дистрофические изменения (ДДИ) в локтевых суставах. Асимметрии ни в том, ни в другом

преобладанием правой стороны в общесаргатской женской выборке. Подобная развитость рельефа наблюдается только у мужчин [Ражев, 2009. С. 262]. При более тщательном рассмотрении обращает на себя внимание количество неграбленных могил, где были найдены наконечники стрел, – всего четыре. Чаще всего они происходят из разрушенных погребений, где, наряду с женскими костными останками (Исаковка 1, кург. 8, погр. 4), были определены мужские (Гаевский 1, кург. 3, погр. 1, ск. 2; Исаковка 1, кург. 6, погр. 4, ск. 1) и кости детского скелета (Тютринский, кург. 6, погр. 1), а их принадлежность – не без оговорок.

Как правило, материалы раскопок впускных, к тому же ограбленных могил не дают исчерпывающей информации и порождают естественный вопрос: являются ли разрозненные стрелы остатками колчана и если так, то из мужского или женского инвентаря, или им отводилась особая семантическая роль? В литературе по семантике встречаются примеры, поясняющие роль стрелы в обрядах и фольклоре традиционных обществ: стрела – «дар» умершим предкам, было принято захоронение/хранение стрел в могиле/доме умершего [Калинина, 2009. С. 153–156]. В синхронных культурах степного пояса, в частности в сарматской среде, известны данные об одиночных стрелах-оберегах [Глебов, Парусимов, 2000]. Близкой точки зрения придерживается и М. С. Стрижак, полагая, что в единичном количестве стрелы могли иметь иную смысловую нагрузку, далекую от воинственности погребенной [Стрижак, 2007. С. 75]. Более того, анализ женских погребений с оружием в сарматских культурах Нижнего Поволжья выявил следующую специфику. В раннесарматский период случаи нахождения отдельных типов оружия и даже его наборов характерны для 9 % погребений молодых женщин и не встречаются в погребениях женщин старших возрастных групп. В среднесарматский период погребения женщин с оружием единичны, но там, где оно найдено, захоронения принадлежали как молодым, так и взрослым женщинам. Несвойственно наличие оружия и погребениям женщин

случае выявлено не было, а маркеры с преобладанием на правой стороне отнесены к скоростным движениям, что, возможно, было связано с ткачеством [Ражев, 2009. С. 277–278].

позднесарматского времени. При этом, встречаясь единожды в погребениях взрослых и пожилых женщин, оно отсутствует в захоронениях молодых. В целом, для погребений позднесарматской культуры отмечается устойчивое различие в сопроводительном инвентаре между мужскими и женскими захоронениями [Балабанова и др., 2015. С. 84–115, 242–243].

Также неоднозначно в интерпретации и погребение взрослой женщины (Тютринский, кург. 7, погр. 2, ск. 2, 30–50 лет) в парадных одеяниях и в сопровождении бронзового кельта, кинжала или ножа, конской упряжи – представительницы «спокойного» морфотипа. Однако в ходе камерального изучения выяснилось, что погребение, очевидно, содержало мелкие кости взрослого человека или ребенка (ск. 1). Возможно, мы имеем дело с остатками более раннего захоронения (подобные случаи возведения курганов с уничтожением ранних, располагавшихся на естественном микровозвышении, нередки [Ковригин и др., 2006. С. 201]), либо это могло быть «ярусное» погребение, впоследствии разрушенное. Примечательно, что по материалам Зауральской лесостепной археологической экспедиции в Притоболье известны только впускные захоронения в насыпь или яму, но точно не синхронные. Исключение составляют два комплекса IV–III вв. до н.э., в которых, помимо собственно саргатских, фиксируются элементы обрядности гороховской культуры в саргатских некрополях (Гаевский 1, кург. 3, погр. 1; Мурзинский 1, кург. 8, погр. 1), что, вероятно, и определило заметное отличие. Рассмотренные факты вновь позволяют заключить, что парные и коллективные погребения для саргатской культуры все же не столь типичны во всех локальных сериях. Ранее это обстоятельство отмечалось Н. В. Полосьмак [Полосьмак, 1987. С. 21].

Помимо стрел в рассматриваемых комплексах в женских могилах встречаются оселки (Абатский 1, кург. 4, погр. 4, взрослая), концевые накладки лука (Абатский 1, кург. 3, погр. 7, взрослая, и кург. 4, погр. 5, взрослая), кинжалы (Абатский 3, кург. 1, погр. 4, 20–30 лет, «активный» морфотип; кург. 2, погр. 17, 30–50 лет, «спокойный» морфотип; кург. 6, погр. 10, 18–25 лет, «активный» морфотип). Материалы Абатского 3 могильника вообще выделяются на этом

фоне. Известно одно потревоженное погребение молодой женщины «активного» морфотипа (кург. 6, погр. 10), инвентарь которой включал фрагменты меча и кинжала, колчан из 22 стрел, роговую бляху и бронзовое зеркало (рис. 27). Под насыпью этого же кургана в ограбленных погребениях 2, 4, 5, 9 расчищены скелетные останки индивидов, определение пола которых затруднено.

Как видно, Ишимская локальная серия женских погребений заметно выделяется среди других и здесь едва ли возможна однозначная интерпретация⁸⁴. Помимо существующих погрешностей антропологического определения пола и несоответствия погребального инвентаря остеологическим признакам, весьма показательны некоторые примеры за пределами саргатской ойкумены. В частности, материалы Тарасовского могильника к западу от саргатского ареала [Голдина, 2004] не дают оснований говорить о жесткой мужской/женской дихотомии, выраженной в погребальном обряде. Кроме того, мечи, копья и боевые топоры рассматриваются в качестве предметов вооружения, в то время как лук и стрелы, ножи и кинжалы применялись для охоты или хозяйственных целей [Сабиров, 2010. С. 37]. Определяя состав воинского инвентаря у кочевников Самаро-Уральского региона савроматского времени, В. Н. Мышкин пришел к выводу, что оружие нехарактерно для женских захоронений. Наличие отдельных стрел в погребениях нельзя во всех случаях однозначно рассматривать как обычай класть оружие, а конская сбруя может быть интерпретирована как часть воинского набора только во взаимосвязи с предметами вооружения [Мышкин, 2001]. Е.Б. Шевченко также не удалось найти ни одного бесспорного доказательства, свидетельствующего о воинственности женщин кочевых племен на территории Южного Приуралья [Шевченко Е.Б., 2013]. Еще одним звеном в данной цепочке рассуждений следует рассматривать и факты нахождения удила в погребениях Тоболо-Иртышья. Только в семи женских могилах были найдены

⁸⁴ Несовпадение результатов определения биологического пола методами антропологии и генетики – частое явление. Для немногочисленной выборки из Притоболья данные по Y-хромосоме удалось получить у индивидов, пол которых был определен антропологами как мужской (например, в Гаевском 1 могильнике). Однако для значительной части образцов исследования продолжаются, поэтому приходится вновь оперировать единичными случаями.

фрагменты удил (Богдановка, кург. 3, погр. 4; Исаковка 1, кург. 4, погр. 1, ск. 1, 20–30 лет, «спокойный» морфотип; Коконовка 1, кург. 16, погр. 1, 20–25 лет; Абатский 3, кург. 2, погр. 5, ск. 1, 16–20 лет, «активный» морфотип, и погр. 18, ск. 1, 35–50 лет, «активный» морфотип; Савиновский, кург. 1, погр. 1, 30–35 лет; Тютринский, кург. 10, погр. 3), однако более половины из них ограблены. Более того, совершенно очевидно, что смысловое значение некоторых предметов как элементов обряда, попадая в иную среду или контекст, менялось (достаточно вспомнить приведенные выше примеры нахождения пряслиц в мужских захоронениях)⁸⁵. Забегая вперед, отмечу, что в качестве дополнительного аргумента следует рассматривать данные о травмах в саргатской среде. Количество ранений на женских черепах невероятно мало – и полученных в результате бытовых конфликтов (перелом челюсти, вдавленное повреждение свода черепа), и насильственного характера (проникающие ранения).

В погребениях обеих морфологических групп находились глиняные, плоскодонные, цилиндрической формы маленькие сосуды – типичные экземпляры сосудов-курильниц, которые были распространены в лесостепи в саргатско-гороховское время; их традиционно связывают с культом (например, Прыговский 1, кург. 2, погр. 2, 30–45 лет (рис. 32-1); Мурзинский 1, кург. 8, погр. 1, ск. 2, 35–50 лет – «активный» морфотип; Тютринский, кург. 7, погр. 2, ск. 2, 30–50 лет; Исаковка 1, кург. 4, погр. 1, ск. 1, 20–30 лет – «спокойный» морфотип). К предметам культа также относят каменные плиты или так называемые жертвенники (Гаевский 1, кург. 3, погр. 5, 40–60 лет, «активный» морфотип (рис. 60, 61-10)) и «молоточки» (Мурзинский 1, кург. 8, погр. 1, ск. 2, 35–50 лет, «активный» морфотип; Новопокровка 16, 35–50 лет, «спокойный» морфотип⁸⁶), хотя их истинная функция далеко не ясна. Эти находки происходят, как правило,

⁸⁵ Не менее показательна корректная атрибуция фрагментарных или неопределенных предметов. Например, Б.А. Раевым проведен анализ сарматских могил первых вв. н.э., из которых происходят длинные железные прутья, интерпретируемые как жреческие жезлы. Местоположение этих находок в могиле, их сопоставление с некоторыми категориями орудий, найденных в древних городах Причерноморья и Ближнего Востока, позволило сделать вывод, что эти предметы представляют собой лопаточные долота, то есть орудия для обработки древесины, но никак не жезлы [Раев, 2020].

⁸⁶ Размеры костей и слабая выраженность рельефа на затылочной кости с малой долей вероятности указывают на женский пол [Шарапова, 2021. Приложение 3]. Антропологический материал передан на палеогенетический анализ, что впоследствии позволит уточнить пол погребенного.

из неграбленных погребений взрослых женщин не моложе 30 лет, датированных V–II вв. до н.э. – I–III вв. н.э.

Довольно показательны хронологические особенности рассматриваемых материалов (рис. 116). Захоронения женщин, относимых к «активному» морфотипу, датируются широким временным интервалом – IV в. до н.э. – III в. н.э., что практически полностью совпадает с хронологией саргатской общности. Могилы представительниц «спокойного» морфотипа «тяготеют» к рубежу эр. Надежно документированные комплексы имеют радиоуглеродные даты в интервале II в. до н.э. – II в. н.э. [Daire et al., 2002. P. 242].

Детских захоронений значительно меньше, количественно они уступают взрослым. В рассматриваемой выборке таковых 136, из них 78 происходят из неграбленных могил. Весьма заметно отсутствие погребений детей в материалах некоторых могильников Притоболья – 9 из 17 (Прыговский 1, Мурзинский 3, Скворцовская гора V, Карасье 8, Савиновский 1, Красногорский 1 и 2, Красногорский борок, Ипкульский 1), а также на Ишиме – 1 из 4 (Абатский 1) и в Барабе – 1 из 5 (Яшкино 1). В Прииртышье в кургане Новопокровка 16 были совершены погребения только взрослых; в могильнике Бещаул 4 среди определимых останков есть только взрослые, но у более половины индивидов пол неопределим; схожая ситуация (малое количество определимых останков) отмечается в кургане 2 могильника Бещаул 3. Допуская, что не все некрополи раскопаны полностью, можно утверждать, что, по крайней мере, в исследованных в них курганах детских могил нет. Данная ситуация не является уникальной. Низкий процент детских погребений отмечается в некоторых обществах эпохи железа [Балабанова, 2009; Серегин, 2013 и др.]. На этом фоне выделяется гороховский могильник Скаты 1 в Притоболье: в двух из четырех исследованных раскопками курганах (№ 3 и № 4) находились могилы *только* детей (рис. 99-А, 100–105). Подобные ситуации хорошо известны в материалах бронзового века Южного Зауралья [Луайе, Шарапова, 2017; Карапетян и др., 2019].

Несмотря на фрагментарность антропологического материала из саргатских могильников, в ряде случаев удалось провести градацию для невзрослых, которая

также принята и в археологической демографии: младенцы (*infancy*, 2–11 мес.), младшие дети (*early childhood*, 1–5 лет), старшие дети/подростки (*later childhood*, 6–11 лет) и юные (*adolescence*, 12–17 лет) [Chamberlain, 2006. P. 99]. Надежно документирована Притобольская локальная серия, поскольку в раскопках большинства памятников участвовали полевые антропологи, которым уже на стадии получения источника удалось идентифицировать порой фрагментарные детские останки. Там детская выборка представлена следующим образом: младенцев – два, младших детей – четыре, подростков – шесть, юных – один, возраст неопределим – три. Напротив, в Прииртышье, несмотря на большее количество детских погребений относительно других локальных серий, возрастные группы определены обобщенно, что затрудняло проведение контекстуального анализа для разных категорий [Шарапова, Ражев, 2016].

В общесаргатской выборке детские погребения датируются широким временным диапазоном V–II вв. до н.э. – I–III вв. н.э., что также соответствует хронологии саргатской культуры. Количественное соотношение незрелых индивидов по этапам развития саргатской культуры было предложено в § 3 предыдущей главы и представлено на рис. 107.

Опираясь на материалы могильника Скаты 1 в Притоболье, можно предположить, что у населения гороховской культуры существовала практика создания детских усыпальниц в центре кургана (мог. Скаты 1, кург. 3, погр. 1, 7–9 лет, и кург. 4, погр. 1, ск. 1, 6–8 лет, ск. 2, 10–12 лет) (рис. 99-А, 103). В какой-то мере эта черта обрядности наблюдается и в саргатских некрополях раннего этапа культуры. Однако все же захоронения незрелых в центре саргатских курганов исключительно редки. В анализируемых материалах единственный случай представлен неграбленным основным погребением 2 кургана 1 могильника Марково в Барабинской лесостепи (подросток 10 лет). Остальные центральные могилы, содержащие останки младенцев / детей / подростков, связаны с коллективными (два незрелых либо незрелый + взрослый / взрослые) впускными или индивидуальными впускными захоронениями (всего 13 наблюдений из 138 погребений, относимых к саргатской культуре). Очевидно

одно – в погребальной практике населения саргатской культуры курганы-кладбища для незрелых пока не выявлены.

Анализ археологического материала позволяет с определенной долей условности предположить существование возрастных / социальных / гендерных категорий детей в лесостепном социуме эпохи железа. Однако и они также условны, что связано с трудностями (граничащими с невозможностью) определения принадлежности мужскому или женскому полу скелетных останков незрелых. Исключение – подросток из погребения 1 кургана 6 Гаевского 1 могильника, для которого мужской пол подтвержден результатами палеогенетического анализа (см. ниже). В остальных случаях атрибуция пола проводилась по сопроводительному инвентарю, для которого статистически выделены «мужские» и «женские» предметы и их наборы [Корякова, 1988; Матвеева, 1993; Булдашов, 1998].

Младенцы погребались без инвентаря (мог. Марково 1, кург. 3, погр. 1, ск. 2; Сопининский 1, кург. 1, погр. 1, ск. 3 (рис. 36-1)) либо в сопровождении нейтральной по отношению к биологическому полу керамики, также обнаружены кости животных (мог. Бещаул 3, кург. 1, погр. 3; Исаковка 1, кург. 6, погр. 8; Исаковка 1, кург. 10, погр. 3 и 8; Тютринский, кург. 4, погр. 3, и др.). Данный факт заметно отличает существовавшие традиции у населения саргатской и гороховской культур лесостепи Зауралья. Так, в могильнике гороховской культуры Скаты 1 (кург. 3, погр. 2) в яме с подбоем были расчищены кости младенца с разнообразным инвентарем (лепные сосуды, золотые бусины, раковина каури, бронзовые наконечники стрел, поясные пластины и железный кинжал) (рис. 100–102-24,25) [Daire et al., 2002. P. 71–87].

В индивидуальных захоронениях детей младшей группы среди сохранившегося инвентаря, помимо сосудов, встречаются уже другие предметы: обломок изделия из кости (мог. Сопининский 1, кург. 1, могила в насыпи), бисер, серьги, медная пластина (мог. Тютринский, кург. 8, погр. 3). Особенности погребального обряда гороховской культуры демонстрируют яркие исключения –

парное погребение мужчины 30–50 лет «спокойного» морфотипа и ребенка 2–3 лет (мог. Гаевский 1, кург. 6, погр. 4) (рис. 62, 69-1–6,9–17,20). Тем не менее принадлежность воинского по составу инвентаря не поддается определению из-за сильного разрушения норой. Так, в центральной части ямы среди костей, перемещенных барсуком, находились стеклянные бусины, бронзовые и железные втульчатые наконечники стрел, железный теслообразный предмет и колчаный крючок, бронзовый наконечник ремня. Взаиморасположение сохранившихся *in situ* берцовых костей ребенка и находок по краям ямы: сосуда меньшего размера, железного ножичка и железного кинжала с прямым брусковидным перекрестием и серповидным навершием – указывает, что эта часть инвентаря была помещена в погребении рядом с ребенком. Другой пример полоролевой социализации детей по материалам погребальной обрядности населения гороховской культуры представлен в могильнике Скаты 1. Неграбленное захоронение маленькой девочки (кург. 4, погр. 2, 12–30 мес.) содержало среди инвентаря предметы, относимые к категории женских: серебряную проволочную гривну в полтора оборота, височное кольцо из бронзового стержня, плакированного золотом, золотые, пастовые и стеклянные бусины, золотую нашивную бляшку, пряслице из стенки сосуда с примесью талька в области левого плеча (рис. 104, 105-3,9,10) [Daire et al., 2002. P. 71, 75. Fig. 39, 47].

Погребения подростков отличает и многочисленность, и состав инвентаря, в том числе и из ограбленных могил. Встречаются своеобразные маркеры пола, которые Л. Н. Корякова для умерших взрослых определила на статистически выделенных мужских и женских комплексах [Корякова, 1988. С. 55–58]. В могилах девочек найдены артефакты, которые обычно ассоциируются с женщинами: керамические пряслица (мог. Марково 1, кург. 20, погр. 1; Щучье 1, кург. 2, погр. 1, и кург. 3, погр. 4; Тютринский, кург. 3, погр. 3; Гаевский 1, кург. 3, погр. 3), курильницы (мог. Мурзинский 1, кург. 8, могила в насыпи), разные виды украшений одежды, головного убора, серьги/кольца (мог. Абрамово 4, кург. 5, погр. 2; Бещаул 2, кург. 2, погр. 6; Богдановка, кург. 1, погр. 3 (рис. 12), и др.). Схожая ситуация отмечена и для погребений мальчиков – фрагменты

фалара (рис. 88-1) и меча/кинжала (мог. Карасье 9, кург. 11, погр. 1, ск. 1). Ножи есть в захоронениях мальчиков и девочек. Некоторые предметы следует рассматривать как индикаторы взрослости – лук и колчан, конскую сбрую.

Этнография дает примеры, когда переход в категорию взрослых происходил не по достижении индивидом необходимого количества лет, а определялся его физическими данными [Чочиев, 1985. С. 63–69]. Редкий случай неграбленного погребения мальчика 10–12 лет⁸⁷, экипированного оружием ближнего и дальнего боя (лук, колчан со стрелами, железный кинжал в деревянных ножнах), а также комплект железных кольчатых удил зафиксированы в погребении 1 кургана 6 Гаевского 1 могильника (рис. 63, 64-1,2,6, 66, 115-2). Особенности развития скелета этого подростка свидетельствуют о принадлежности мужскому индивиду, что позднее было подтверждено и результатом предпринятого палеогенетического анализа [Шарапова и др., 2020. С. 370]. Он был высокого роста (реконструированный по бедренной кости, он составлял 161-162 см), что сопоставимо с ростом современных ему мужчин, со средней шириной плеч и хорошо развитой мускулатурой. Костный рельеф мышечных прикреплений наиболее развит на костях верхних конечностей и плечевого пояса. По физическому развитию подросток достиг уровня мужчин своего времени и немного отличался от их среднего телосложения своими брахигамбными пропорциями – укороченными ногами. Реконструируемая физическая активность подростка предполагала многочисленные силовые движения, а также верховую езду. Структура физических действий сближает его с представителями «активного» морфотипа, составлявшими основу социальной группы воинов внутри саргатского социума. С левой стороны отмечен залеченный перелом ребер. На момент смерти у него не было заболеваний зубной системы и признаков малокровия, что указывает на хорошее здоровье и высокий уровень жизни в сравнении с другими представителями саргатского населения. В то же время в

⁸⁷ Поскольку определяется возраст смерти в 10-12 лет, данный факт не стоит рассматривать как свидетельство инициации по их достижению. Археологический материал позволяет лишь констатировать наблюдения, реальная картина могла быть иной, восстановить которую по имеющимся данным едва ли возможно.

раннем детстве он перенес два периода серьезных истощений, которые испытывали индивиды «активного» морфотипа. [Там же. С. 360–363. Табл. 1-3].

Немаловажным представляется то обстоятельство, что в рассматриваемом захоронении расчищен воинский комплект, «наличие которого известно далеко не во всех неграбленных могилах взрослых мужчин» [Шарапова, 2018а. С. 336]. Существует мнение, что в кочевых обществах клинковое оружие и особенно защитное вооружение были достоянием лишь аристократии и ее окружения [Першиц, 1994. С. 154–161]. Этнографические примеры свидетельствуют, что повседневная жизнь и необходимость защиты сородичей предполагали обучение стрельбе из лука и, что немаловажно, верховой езде, причем начиналось это в детстве и продолжалось до старости [Абрамзон, 1944. С. 179; Першиц, 1994. С. 161].

Еще один не менее выразительный пример представлен в материалах Тютринского могильника (кург. 5, погр. 2). В довольно глубокой (2,5 м) и относительно узкой (3 × 1,2 м) могиле под трехслойным бревенчатым продольно-поперечным перекрытием в прямоугольном берестяном коробе с крышкой расчищено захоронение девушки 12–14 лет в расшитом бусинами одеянии и головном уборе. Иной инвентарь более чем разнообразен: ожерелье из стеклянных бус и золотых пронизок, браслеты из гагатовых и стеклянных бусин (или расшивка рукавов), золотая 8-образная серьга, пряслице из стенки гончарного сосуда, железный нож, три лепных сосуда со следами нагара; в изголовье – кости и череп овцы, бронзовое зеркало с рукоятью-штырем и валиком по краю в кожаной сумочке, остатки четырехугольного деревянного стержня в тонкой серебряной оплетке – рукоять плети [Матвеев, Матвеева, 1991в. С. 119–120. Рис. 4-21–4-33]. Среди всего разнообразия сопроводительного инвентаря, несомненно, выделяется наличие плетки или ногойки. В материалах могильников, анализируемых в данной работе, остатки плеток представлены всего в двух неграбленных комплексах: помимо рассматриваемой здесь тютринской находки рукоять ногойки обнаружена в мужском погребении 5 кургана 1 в могильнике Бещаул 3 (рис. 10-1) (см. ниже). За пределами саргатской ойкумены плетки или их

фрагменты, в том числе в женских погребениях, упоминаются в памятниках культур скифского времени [Бойко, 1999], раннесарматских [Яблонский, 2012. С. 69–70, 215], кочевников хуннского времени в Южной Сибири [Тетерин, 2016], раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая [Серегин, 2012]. Их количество и исполнение различны для разных территорий и эпох, чаще всего они рассматриваются в совокупности с другими предметами вооружения, а наиболее представительная коллекция происходит из раскопок Иволгинского городища и могильника (14 экз.) [Давыдова, 1992. С. 29; 1996. С. 19]. Однако из всех обсуждаемых авторами комплексов антропологическое определение имеет только богатое разнообразным инвентарем, в том числе предметами вооружения, погребение 3 кургана Б могильника Прохоровка в Южном Приуралье – молодая женщина [Яблонский, 2012. С. 21–25, 118–122. Рис. 16–20]. При этом для находки костяной резной рукояти не исключается принадлежность как к плети, так и к вееру [Там же. С. 69, 215]. Примечательно, что в тютринском погребении девушки рукоять плети находилась в той части ямы, где по обыкновению находят удила. Поскольку нагайки традиционно рассматривают в комплексе с конским снаряжением [Малашев, Яблонский, 2008. С. 51], такое местоположение в могиле вполне символично.

Вероятное объяснение можно поискать в семантике обрядов, которые формировались в скотоводческих обществах степи и лесостепи, что, несомненно, заслуживает специального исследования. Различные наблюдения, как со ссылками на античных авторов [Косвен, 1947], так и основанные на палеоантропологическом материале [Медникова, 2000. С. 57; Ражев, 2009. С. 251–288], допускают тренированность, повышенные физические нагрузки и постоянную верховую езду как для мужчин, так и для женщин. В таком случае интерес вызывает не столько факт нахождения плетки в женском погребении, сколько юный возраст. В этом же ключе может быть интерпретирована и совокупность косвенных признаков: сложность конструкций, характерный инвентарь и нарядная одежда с разнообразными аксессуарами, которые недвусмысленно демонстрируют культурные стереотипы феминности (или

социальные роли/позиции женщин, о которых в археологии нет достоверных сведений).

Можно заключить, что сделанные наблюдения в целом совпадают с более ранними [Корякова, 1988. С. 54–55]: набора детских вещей не существует, и детские могилы отличаются меньшим количеством предметов, нежели взрослые. Вместе с тем приведенные данные с осторожностью позволяют предположить, что, вероятно, в 6–11 лет в лесостепном социуме происходило «разделение» детей на гипотетические гендерные группы – изменение социального статуса, основанного на возрасте. При этом не исключается факт достижения «социальной зрелости» уровнем физического развития ребенка. Примечательно, что эти сведения согласуются с результатами анализа демографической структуры сарматского общества различных хронологических групп, в которых было выявлено существование социального приоритета мужчин возмужалого и зрелого возраста [Балабанова и др., 2013]. По мнению М. А. Балабановой, у сарматских кочевников существенно ограниченной социальной значимостью обладали дети младшего и старшего возраста, а также подростки. Реальное же место номада в половозрастной структуре кочевого общества было обусловлено личными физико-генетическими данными [Там же. С. 478]. Выводы, полученные и по саргатским, и по сарматским материалам, не позволяют принять точку зрения Н.А. Берсеновой, согласно которой дети составляли особый гендерный класс, близкий женскому [Берсенева, 2005. С. 20].

Выявленные изменения в составе инвентаря для разных когорт незрелых (с возрастом он становится разнообразнее) позволяют осторожно допустить, что полоролевая социализация у девочек происходила чуть раньше, чем у мальчиков. Небольшое количество известных погребений (в которых нет детских останков) досаргатского населения региона не позволяет выдвигать какие-либо гипотезы. На данном этапе можно лишь констатировать, что наблюдения, сделанные на материалах гороховского могильника Скаты 1, в какой-то мере схожи с теми, что получены в могильнике Куртугуз I: три захоронения незрелых (один ребенок и два подростка) совершены аналогично взрослым (рис. 79, 81-А,Б) [Ковригин,

Ражев, 2007. С. 166]. Принимая во внимание своеобразие традиций гороховской культуры, не исключая, что для первой половины раннего железного века в лесостепном обществе существовало и две линии социально разделяемого поведения по отношению к детям, имевших в основе культурные различия. Позже такая устойчивость испытала смену моделей, в хронологическом отношении это совпало с распространением диагностических признаков саргатской культуры на всей территории Тоболо-Иртышской провинции, в том числе и в пределах ее западного ареала. Напомню, время конца III – начала II в. до н.э. знаменует подъем саргатской культуры и формирование на ее основе общности, охватившей все районы лесостепи Зауралья и Западной Сибири.

§ 2. Кольцевая деформация: социокультурный аспект⁸⁸

В настоящее время известно большое количество антропологических коллекций, отражающих феномен преднамеренной деформации головы. Применительно к эпохе железа этот обычай представлен преимущественно в кочевнических погребениях степного пояса Евразии. Не столь массовые, но и не такие уж редкие находки прижизненно деформированных черепов кольцевого типа [Жиров, 1940] известны в лесостепной зоне – в комплексах, относимых к саргатской культуре. Упоминания о фактах изменения естественной формы головы есть в материалах могильников всех локальных групп [Багашев, 2000; Ражев, 2009]. Наиболее многочисленные серии зафиксированы в Прииртышье

⁸⁸ При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Sharapova S., Razhev D. Skull deformation during the Iron Age in the Trans-Urals and Western Siberia // The bioarchaeology of the human head. Decapitation, decoration and deformation / M. Bonogofsky (ed.). – Gainesville: Florida University Press, 2011. – Ch. 8. – P. 202–227. Hardback (*Scopus*) (доля автора 1,5 п.л.);

Переиздание: Sharapova S., Razhev D. Skull deformation during the Iron Age in the Trans-Urals and Western Siberia // The bioarchaeology of the human head. Decapitation, decoration and deformation / M. Bonogofsky (ed.). – Gainesville: Florida University Press, 2015. – Ch. 8. – P. 202–227. Second paperback edition;

Шарапова С.В. Искусственная деформация черепа в саргатской среде (биоархеологический аспект) // Краткие сообщения Института археологии. – 2018. – №250. – С. 243–259. (JCI 0,19) (доля автора 1 п.л.).

(еще и потому, что здесь раскопано самое большое количество саргатских курганов) и Приишимье (заметная распространенность деформации по сравнению с другими сериями).

Изменение естественной формы головы осуществлялась в раннем детстве типичным для саргатского общества способом, когда мозговая коробка оборачивается повязкой, под которую в области лба и затылка укладывались твердые плоскости (дощечки) [Ражев, 2009. С. 147–149]. В большинстве случаев визуальная выраженность ее невелика (слабая или средняя, баллы от 1 до 3 (рис. 117-Б,В)). Заметное исключение наблюдается на черепе женщины 40–50 лет «спокойного» морфотипа из могильника Карасье 9 (кург. 11, погр. 2), для которого отмечается сильное изменение (4 балла (рис. 115-1, 117-А)) [Ковригин и др., 2006. С. 197; Sharapova, Razhev, 2011. P. 216–219. Tables 8.4, 8.5]. Считается, что преднамеренная деформация головы была привнесена в саргатскую среду в I в. н.э. выходцами из среды кочевого скотоводческого населения Восточного Приаралья и прилегающих территорий [Ковригин и др., 2006. С. 200–202; Шаропова, 2007. С. 64; Ражев, 2009. С. 163].

По публикациям и отчетам, а также в ходе сверки с результатами палеоантропологического анализа, предпринятого Д. И. Ражевым и О. Е. Пошехоновой, мною собраны сведения о 39 индивидах (табл. 6). Для них определена деформация кольцевого типа [Корякова, 1988; Погодин, Труфанов, 1991; Матвеева, 1994; Культура зауральских..., 1997; Багашев, 2000; Ковригин и др., 2006; Ражев, 2009; Чикунова, 2017; Шаропова, 2018б]. Кроме того, единичный случай прижизненной затылочной деформации был отмечен в бескурганном погребении Сопининского 1 могильника (мужчина, 25–35 лет) [Среда, культура..., 2009. С. 242]. К сожалению, здесь не рассматриваются коллекции барабинской локальной серии: в могильниках Марково 1, Абрамово 4, Венгерovo 1, 7, Яшкино 1 деформированных черепов не оказалось. Для материалов погребений из старых раскопок могильников Усть-Тартас и Старый Сад в Барабе, для которых факт деформации упоминается [Багашев, 2000. С. 87; Ражев, 2009. С. 151, 152], сопоставление археологических и антропологических данных не

проводилось, поскольку отсутствует основной компонент анализа – контекст. Далее рассматриваются примеры только кольцевой деформации, получившей распространение среди части населения саргатской культуры.

Относительно небольшая выборка позволяет в ряде случаев провести детализированный обзор этого немногочисленного сегмента населения региона и сравнить разные аспекты. Однако и здесь есть проблемы, связанные с малочисленностью и, как следствие, единичными случаями пересечения данных по морфотипам, данных палеогенетики и сохранности погребений. Необходимо иметь в виду, что предлагаемая ниже характеристика не означает прямого соответствия по определенным признакам, но, как представляется, может отражать определенную тенденцию территориально-хронологического свойства.

Таблица 6

Локальные серии деформированных черепов

Комплекс	Пол/возраст	Кол-во индивидов в кургане	Примечание	Датировка
<i>Прииртышье</i>				
Бешаул 2, кург. 3, погр. 2	♂, 25–35 лет	4	Периферийное, неграбленное; все определяемые (3) индивиды – мужчины	I в. до н.э. – I в. н.э.
Бешаул 2, кург. 4, погр. 1	♀, 35–60 лет	3	Периферийное, неграбленное	I в. до н.э. – I в. н.э.
Бешаул 3, кург. 1, погр. 5	♂, 20–40 лет	14	Периферийное, неграбленное	I в. до н.э. – I в. н.э.
Богдановка, кург. 6, погр. 11, ск. 1	♂, 22–25 лет	11 и 1 кенотаф	Центральное, впускное, ограбленное	Не ранее рубежа эр
Богдановка 3, кург. 1, погр. 1	♀, 30–40 лет	4	Центральное, ограбленное	Затруднена
Исаковка 1, кург. 8, погр. 3*	♀, 20–40 лет	7	Периферийное, ограбленное	I в. до н.э. – I в. н.э.
Исаковка 3, кург. 2, погр. 6	♂, 20–30 лет	8	Во рву, впускное, ограбленное	Не ранее II в. до н.э., не исключена датировка более поздним временем
Исаковка 3, кург. 3, погр. 8	♀, 30–40 лет	10	Периферийное, впускное, неграбленное	Не ранее II в. до н.э., не исключена датировка более поздним временем
Коконовка 1, кург. 17, погр. 1, ск. 1	♂, 20–40 лет	2	Центральное, впускное, ограбленное	Рубеж эр
Коконовка 2, кург. 1, погр. 2	♀, 30–45 лет	12	Периферийное, ограбленное	Рубеж эр

Стрижево 2, кург. 2, погр. 8, ск. 1	♀, 50–70 лет	10	Центральное, возможно, впускное, ограбленное	Не ранее рубежа эр
Стрижево 2, кург. 8, погр. 2, ск. 1	♀, 30–45 лет	3	Центральное, впускное, ограбленное	Не ранее рубежа эр
Стрижево 1, кург. 11, погр. 2, ск. 1	♂, 50–55 лет	4	Периферийное, неграбленное, парное (?) с ребенком	Затруднена
Стрижево 1, кург. 13, погр. 1, ск. 1	♂, 35–40 лет	4	Периферийное, неграбленное, парное (?) с ребенком	Затруднена
Карташево 2, кург. 6, погр. 4	♂, 40–60 лет	5	Центральное, впускное, неграбленное	Возможно, первые вв. н.э.
<i>Пришимье</i>				
Абатский 1, кург. 3, погр. 4	♂, взрослый	11	Периферийное, неграбленное	Последние вв. до н.э. – первые вв. н.э.
Абатский 1, кург. 3, погр. 11	♂, 35–45 лет		Периферийное, неграбленное	Последние вв. до н.э. – первые вв. н.э.
Абатский 1, кург. 5, погр. 6	♂, 30–40 лет	10	Периферийное, неграбленное	Последние вв. до н.э. – первые вв. н.э.
Абатский 1, кург. 5, погр. 8	♂, 30–60 лет		Периферийное, неграбленное	Последние вв. до н.э. – первые вв. н.э.
Абатский 3, кург. 1, погр. 5	♂, 25–30 лет	6	Периферийное, ограбленное	II–III вв. н.э.
Абатский 3, кург. 1, погр. 6	♀, 18–20 лет		Периферийное, ограбленное	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 2, погр. 5, ск. 1	♀, 16–20 лет	38	Периферийное, неграбленное, парное с ребенком	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 2, погр. 7, ск. 1	♂, 30–60 лет		Во рву, неграбленное, коллективное, 5 индивидов	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 2, погр. 7, ск. 3	Ребенок, 8-9 лет			
Абатский 3, кург. 2, погр. 8	♀, 35–50 лет		Во рву, неграбленное	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 1	♂, 25–40 лет		Во рву, неграбленное, коллективное, 4 индивида	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 2	♂, 30–45 лет			
Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 3	♀, 25–35 лет			
Абатский 3, кург. 3, погр. 1**	♂, взрослый	3	Центральное, впускное, ограбленное	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 4, погр. 5	♀, 20–30 лет	10	Периферийное, ограбленное	Не ранее первых вв. н.э.
Абатский 3, кург. 4, погр. 6	♀, 40–50 лет		Периферийное, неграбленное	Не ранее первых вв. н.э.
<i>Притоболье</i>				
Гаевский 1, кург. 3, погр. 4	♂, 40–55 лет	6	Периферийное, ограбленное	II–III вв. н.э.
Гаевский 1, кург. 6, погр. 2	♂, 20–25 лет	7	Периферийное, неграбленное	II–III вв. н.э.
Мурзинский 1, кург. 6, погр. 4	♂, 25–35 лет		Периферийное, ограбленное	II в. до н.э. – первые вв. н.э.

Карасье 9, кург. 11, погр. 2	♀, 40–50 лет	3	Периферийное, неграбленное	II в. до н.э. – I в. н.э.
Ипкульский 1, кург. 1, погр. 3	♂, взрослый	3	3 погребения в центре, плохой сохранности	II–III вв. н.э.
Ипкульский 1, кург. 4, погр. 1***	♂, 25–30 лет	3	Близко к центру, неграбленное	сер. – 2-я пол. III в. н.э.
Ипкульский 1, кург. 5, погр. 1***	♂, старше 50 лет	1	Одномогильный курган, неграбленное	сер. – 2-я пол. III в. н.э.
Покровский, кург. 2, погр. 1	♂, взрослый	1	Одномогильный курган, неграбленное	II–III вв. н.э.

* В отчете [Погодин, 1989] дана информация о предположительно двух индивидах, скелетные останки которых были обнаружены в могильной яме.

** Несоответствие данных раскопок в публикации [Матвеева, 1994. С. 69] и антропологических определений, возможно, произошло по причине депаспортизации при хранении.

*** В плане культурно-хронологической атрибуции эти два комплекса маркируют постсаргатские древности: от финала культуры и позже [см.: Шарапова, Малашев, 2022].

Поскольку саргатская курганная выборка демонстрирует количественное преобладание мужских скелетных останков, поэтому женских деформированных черепов меньше, что нашло отражение в таблице 6. Подобные расхождения, вероятно, могут отражать социальную природу (гендерная дихотомия?) в саргатском обществе. Однако здесь необходимо помнить о еще одном немаловажном обстоятельстве. Из-за тотального разграбления лесостепных курганов антропологические материалы в большинстве случаев представлены разрозненными костями, среди которых не всегда имеются черепа. Выше уже отмечалось, что анализируемая выборка включает данные о 694 индивидах, на долю которых приходится всего 201 череп. Краниологические признаки 195 опубликованы Д. И. Ражевым [Ражев, 2009. С. 150–151. Табл. 5.7], сведения о шести получены из других источников [Корякова, 1988; Погодин, Труфанов, 1991; Боталов, Гуцалов, 2000; Чикунова, 2017].

Итак, черепа со следами искусственной деформации обнаружены у мужчин только «активного» морфотипа, в то же время в женской серии они есть среди представительниц как «активного», так и «спокойного» морфотипов (рис. 118). Среди рассматриваемых комплексов самые северные, где выявлена деформация кольцевого типа, находятся в Ипкульском могильнике (кург. 1, погр. 3; кург. 4, погр. 1; кург. 5, погр. 1), а самый южный – в Покровском (кург. 2, погр. 1).

При рассмотрении планиграфии могильных ям можно отметить, что *мужские* захоронения располагались преимущественно по периферии подкурганной площадки. Заметное большинство в многомогильных курганах, бесспорно, было впускными погребениями. Расположением могильных ям относительно геометрического центра подкурганной площадки выделяются могильники Ипкульский и Покровский (рис. 29, 93–95)⁸⁹. Более половины неграбленных могил (например, мог. Карташево 2, кург. 6, погр. 4, «активный» морфотип; Гаевский 1, кург. 6, погр. 2, «активный» морфотип; Покровский, кург. 2, погр. 1; Ипкульский, кург. 1, погр. 3; Абатский 1, кург. 3, погр. 4) содержали довольно стандартный набор инвентаря, состоявший из меча (в некоторых случаях в паре с кинжалом), железных и костяных черешковых наконечников стрел, реже – вместе с костяными накладками лука, удила с кольцевыми или стержневидными псалями и сосудов (рис. 29, 64-3–5, 65, 67, 68, 93–95). Заслуживает внимания и некая оснащенность умерших полным арсеналом оружия ближнего и дальнего боя, что, следуя социальной модели, предложенной Н. П. Матвеевой, было свойственно представителям аристократии [Матвеева и др., 2005. С. 164]. Статус маркировался престижными предметами. Так, в Абатском 3 могильнике (кург. 2, погр. 7, ск. 1) в ногах находился бронзовый котел. Другой инвентарь представлен ножами, бронзовыми и железными пряжками, мелкими элементами сбруи, полусферическими заклепками, гвоздиками, серьгой и т.п.

Еще одно неограбленное захоронение, которое можно отнести к категории необычных, представлено в могильнике Бещаул 3, курган 1, погребение 5 (рис. 8–10). Мужской пол умершего и возраст смерти 20–40 лет был определен А. Н. Багашевым [Багашев, 2000. С. 320. Табл. Г], а затем и Д. И. Ражевым [Ражев, 2009. С. 151. Табл. 5.7]. Прежде всего, обращает на себя внимание богатство посмертного облачения: золотые гофрированные пронизки (рис. 10-3) и рифленые пластинки (рис. 10-10–14), бусины и подвески из стекла, сердолика и коралла

⁸⁹ В публикации керамического комплекса могильника Ипкульский Л. Н. Корякова отметила интересную деталь, весьма показательную в плане культурной и хронологической атрибуции раскопанных ею курганов. Большинство из них было одномогильными, курган 1 содержал три погребения в центре. Захоронения ориентированы в северный сектор. Могильник датирован II–IV вв. н.э. на основании аналогий вещевому комплексу. Керамика могильника и расположенного поблизости поселения Ипкуль XV отлична от классической саргатской посуды: в ней в небольшом количестве, но стабильно присутствует лесная традиция. Эклектичность коллекции проявляется и в сочетании морфологических характеристик: узкогорлые шаровидные сосуды с прямой и отогнутой шейкой (более типичные для саргатской погребальной посуды) и широкогорлые слабопрофилированные открытые горшки (сопоставимы с керамикой поселений) [Корякова, Федоров, 1993. С. 78–81. Рис. 1, 2]. В могильнике Покровский относимые к саргатским курганы были одномогильными [Боталов, Гуцалов, 2000. С. 58–60. Рис. 18].

(рис. 10-15,16,18), украшавших одежду и головной убор. Среди других статусных атрибутов стоит отметить нагайку (плетку), от которой сохранилась лишь костяная рукоять (рис. 10-1), расчищенная в изголовье. Вероятно, от нее же костяная пластинчатая обойма (рис. 10-7), располагавшаяся поблизости. В дополнение к рассмотренной ранее находке плетки в женском захоронении необходимо добавить, что нагайки в позднесарматской культуре рассматриваются исключительно в контексте конского снаряжения и связанной с ним всаднической экипировки дружинных погребений от Южного Приуралья до Нижнего Подонья [Мошкова, 1989в. С. 198; Малашев, Яблонский, 2008. С. 18, 22, 51 и т. д.]⁹⁰. Другая часть сопроводительного инвентаря несколько диссонирует с интерпретацией мужским захоронением. Остановлюсь подробнее на ее рассмотрении.

Так, среди них два серебряных колечка с янтарными (?) бусинами (рис. 10-8,9,15,16) возле теменной и височной костей, которые Л. И. Погодин определил серьгами [Погодин, 1988. Лист 122. Рис. 193-2, 193-3]. Они изготовлены из проволоки, согнутой в кольцо, диаметром чуть более 1 см. Один конец отогнут книзу и образует небольшую петлю, в которую, вероятно, и была продета бусина.

Схожее украшение, но с несохранившейся петлей, есть в коллекции кургана 39 Ипкульского могильника [Корякова, 1988. Рис. 20-14]. Замечу, что в мужских погребениях саргатской культуры серьги не редкость, обычно находят одну и слева от черепа (мог. Бещаул 2, кург. 2, погр. 5; Исаковка 1, кург. 3, погр. 6, кург. 5, погр. 2, ск. 1, кург. 7, погр. 1/2, ск. 1; Коконовка 1, кург. 17, погр. 1, ск. 1; Коконовка 2, кург. 1, погр. 7; Карташево 2, кург. 2, погр. 4, ск. 1; Гаевский 1, кург. 6, погр. 2; Тютринский, кург. 1, погр. 3; Мурзинский 1, кург. 6, погр. 3). Помимо рассматриваемого комплекса две серьги происходят также из погребения мужчины в могильнике Исаковка 3 (кург. 2, погр. 1), а три – из погребения женщины в могильнике Богдановка 2 (кург А, погр. 6) (рис. 17-А). Во всех

⁹⁰ Сводка данной категории находок в позднесарматских памятниках от Нижнего Подонья до Южного Приуралья выполнена С. И. Безугловым [Безуглов, 1997]. С учетом новых данных количество нагаек увеличилось до 17 экземпляров, из них 16 обнаружены в мужских погребениях и только 1 – в женском захоронении. Большая часть предметов (12 экз.) происходит из нижнедонских комплексов, в других регионах они встречаются в единичных случаях (устная информация М. В. Кривошеева).

случаях биологический пол определен антропологами. Все вместе эти материалы наводят на следующие размышления.

Вероятно, некоторые колечки могли вплестаться в косы или надеваться на них, подобно другим аксессуарам прически, изготовленным из различных материалов: органики, металла, камня. Так, для карасукской культуры одно-два проволочных кольца, именуемых височными, находят в женских, мужских и детских погребениях. Эти кольца с прикрепленными снизу бусинами, раковинами каури, бронзовыми пронизками, по мнению Э. Б. Вадецкой, вплетались в косы [Вадецкая, 1986. С. 57–58]. Представляется возможным, что своеобразные колечки-накосники, аналогичные тем, что известны у кельтов, коряков (рис. 119), хакасов, тибетцев, цыган и т.д., отражают некий транскультурный феномен, и каждый со своей гендерной спецификой [Патачаков, 1982; Михайлова, 2006; Минор, 2007; Will, 2018]⁹¹. В частности, для некоторых групп северных народов этнографические свидетельства описывают так называемые косники (крепление колечек к кожаному ремешку или нитке, вплетенных в волосы) или головные повязки [Михайлова, 2006. С. 34–37. Рис. 13].

Не менее показательны глиняная цилиндрическая курильница (рис. 10-4), каменная плита почти ромбической формы (рис. 10-5) и керамическое пряслице в виде небольшого диска с невысоким бортиком по краю (рис. 10-2), также обнаруженные в изголовье [Погодин, 1988. Лист 122. Рис. 192-3, 192-4]. Случаи неоднозначной интерпретации пряслиц или предметов, называемых пряслицами, были рассмотрены в главе 2, § 3. Поверхность каменной плиты заглажена и слегка вогнута за счет сработанности. Данные изделия нехарактерны для саргатских погребений, поэтому нет основания сопоставлять ее с широко известными в Зауралье жертвенными плитами с головой барана или савроматскими

⁹¹ В некоторых случаях не исключается и вторичное использование съемных украшений. Так, географически удаленные источники сырья (альпийское речное и средиземноморское золото) двух золотых изделий в мужском княжеском погребении 1 Глауберга (земля Гессен, Германия) позволили допустить их некомплектность. Установлено, что второе кольцо было выполнено местными ремесленниками (реплика отличается от оригинала и технологией изготовления). Их углубленный анализ в рамках проекта «Celtic Gold – Goldsmithing in the Western part of the Latène Culture» поставил под сомнение единственно возможную интерпретацию – серьги, не исключается их ношение на косах (устная информация Р. Шваба (Roland Schwab, Curt-Engelhorn-Centre for Archaeometry in Mannheim) и Ю. К. Кох (Julia Katarina Koch, Keltenwelt am Glauberg)).

жертвенниками, также изредка встречающимися в лесостепи. Их и курильницы традиционно связывают с культом, хотя истинная функция далеко не ясна [Культура зауральских..., 1997. С. 135; Могильников, 1992а. С. 304; Мошкова, 2000. С. 208–209]⁹². Ранее было замечено, что в саргатской культуре жертвенники, курильницы и глиняные блюда являются атрибутом преимущественно женских погребений [Корякова, 1988. С. 55]. Однако, уступая в размерах, наибольшее сходство каменные плиты обнаруживают с плитами из песчаника в степных памятниках среднесарматской культуры Нижнего Дона и Нижней Волги [Скрипкин, 1990. С. 100–101; Сергацков, 2002. С. 30, 91; Глухов, 2005. С. 92], равнинных районов Северного Кавказа [Малашев, 2016. С. 37–38]. По наблюдению А. С. Скрипкина, на территории Азиатской Сарматии обычай помещать каменные плиты в разные места могильной ямы (редко – под голову умершего) был известен в I–II вв. н.э. и не практиковался в более раннее время [Скрипкин, 1990. С. 101, 164, 168, 174]. В позднесарматских погребениях их находки крайне редки [Статистическая обработка..., 2009. С. 89]. Считается, что эта категория вещей диагностирует традиции среднесарматской культуры и культуры смешанного населения равнинных районов Северо-Восточного Кавказа, являясь инвентарем исключительно женских захоронений [Малашев, 2016. С. 38]. В пределах саргатской территории, в частности на Иртыше, каменные плиты, в том числе из песчаника, есть в инвентаре могил мужчин (определение антропологов), у которых деформация черепа не выявлена (мог. Бещаул 2, кург. 2, погр. 7, 30–50 лет; Исаковка 1, кург. 5, погр. 2, ск. 1, 30–70 лет). В Притобольской серии в неграбленном женском захоронении (мог. Гаевский 1, кург. 3, погр. 5, 40–60 лет) пряслице и каменная плита находились в области ног умершей – у правой голени и левой стопы соответственно (рис. 60, 61) [Культура зауральских..., 1997. С. 18, 19, 21. Рис. 5-17, 6-3]. Также неоднозначно в этой ситуации железное шило с деревянной обкладкой рукояти (рис. 10-17) [Погодин, 1988. Лист 120. Рис. 191-2]. В саргатской общекультурной выборке мужских погребений шилья

⁹² Существует мнение, что в сарматской среде культовая практика была делом представителей правящих родов. Также считается, что с I в. до н. э. жреческие функции выполнялись не только женщинами, но и мужчинами [Шевченко Н. Ф., 2006. С. 152].

встречаются [Корякова, 1988. С. 56]. Тем не менее в анализируемой выборке есть два примера, где шилья были в инвентаре погребений женщин без прижизненной деформации (мог. Богдановка 3, кург. 1, погр. 2; Тютринский, кург. 8, погр. 2, 25–30 лет, «спокойный» морфотип), в двух других аналогичных случаях пол и возраст неопределимы (мог. Мурзинский 1, кург. 12, погр. 1; Гаевский 1, кург. 7, погр. 3). Примечательно, что в рассматриваемом здесь бещаульском погребении «деформанта» весь инвентарь располагался за черепом умершего – там, где также находились напутственная пища и железный нож. Такая особенная ситуация не исключает включения нетипичных для биологического пола предметов в определенную группу вещей, связанных с какими-то ритуалами (например, подношениями). Ранее к схожему заключению пришла Л. Н. Корякова, объясняя неустойчивость положения таких предметов (наконечников стрел, пряслиц и т.п.) в пространстве могилы, полагая, что их значение менялось в зависимости от места нахождения. По ее мнению, наиболее значительными, сакрально отмеченными были головной и ножной участки камеры [Корякова, 1988. С. 57]. Не исключено также, что здесь мы имеем дело с уже упоминавшимися 15 % погрешностями антропологических определений или 16 % несовпадения остеологических признаков и набора артефактов, описанного для саргатской культуры [Ражев, 2009. С. 34–48]. Еще один вариант возможного объяснения стоит искать в транскультурном явлении практик создания «ритуального двойника», игравшего важную роль в погребальном обряде [Семенов, 1996. С. 27], что могло быть «усилено» еще и необычной формой головы. По мнению Вл. А. Семенова, изучавшего шаманистические элементы в культуре ранних кочевников Тувы, их мотивы восходят к скифской эпохе [Там же]. Однако истинная причина остается неизвестной.

К настоящему времени известно всего одно безынвентарное погребение (мог. Стрижево 1, кург. 11, погр. 2, ск. 1). В трех могилах находились или костяные стрелы и нож (мог. Стрижево 1, кург. 13, погр. 1, ск. 1; Ипкульский, кург. 4, погр. 1 (рис. 94)), или костяные стрелы с бронзовыми пряжками с овальными рамками без щитков и с подвижным язычком (мог. Ипкульский, кург.

5, погр. 1 (рис. 95)). Все эти комплексы отличаются от основного массива погребений «деформантов» с ярко выраженной воинской экипировкой. Только у двух мужчин на черепе помимо прижизненной деформации имеются следы проникающих ранений, отнесенных к категории боевых (мог. Богдановка, кург. 6, погр. 11, ск. 1; Ипкульский, кург. 1, погр. 3). Известные синхронные саргатские неграбленные погребения мужчин с обычной формой черепа демонстрируют менее выразительный «ансамбль»: кинжал вместо меча (мог. Гаевский 1, кург. 6, погр. 1) или отсутствие конской упряжи (мог. Сопининский 1, кург. 1, погр. 9; Абатский 3, кург. 4, погр. 7, и кург. 5, погр. 3). В ограбленных могилах из инвентаря найдены: наконечники стрел, концевые накладки лука, пряжки, фрагменты от клинковых орудий, импортная фляга, серьга (мог. Мурзинский 1, кург. 6, погр. 4); колчан и остатки лука, фрагменты удил (мог. Исаковка 3, кург. 2, погр. 6).

С точки зрения социального статуса умерших данная серия довольно однородна (заметное исключение представлено рассмотренным выше бещаульским погребением). В захоронениях расчищен воинский инвентарь. Возраст этих представителей военно-дружинного слоя – не моложе 20 лет, что в целом укладывается в рамки как общих представлений, так и исследований возрастных аспектов саргатской погребальной практики. Так, Н. П. Матвеева отмечает, что в последних вв. до н.э. появилась прослойка вооруженных мужчин и относит их к членам военных дружин [Матвеева, 2005. С. 147; Матвеева и др., 2005. С. 165].

На индивидуальном уровне проиллюстрировать приведенное обобщение помогут неоднократно упоминавшиеся материалы кургана 6 Гаевского 1 могильника [см.: Шарапова и др., 2020]. Несмотря на то, что полученные характеристики представляют частный случай и первые шаги подобного изучения, при таком подходе создается картина жизни человека далекого прошлого, например мужчины 20–25 лет «активного» морфотипа с кольцевой деформацией черепа, чьи останки обнаружены в погребении 2 (рис. 65). По краниометрическим характеристикам череп брахикранный, со средней длиной,

очень большой шириной и средней высотой мозговой коробки. Лицевой отдел очень широкий, средневысокий. Остальные характеристики из-за фрагментарности лицевого отдела не устанавливаются. Мужчина был невысоким (рост, реконструированный по бедренной кости, оценивается в 165 см). Длинные руки вполне соответствовали телосложению, отмеченному в общесаргатской выборке, в отличие от средней умеренно коротконогой комплекции. Выделяет его и значительная ширина плеч. Исследование мест прикрепления мускульносвязочного аппарата на костях показывает, что в структуре его регулярных действий преобладали силовые движения. Избыточные усилия приходились в основном на руки, в то время как ноги большей частью испытывали умеренные нагрузки. Его физическая активность включала регулярную езду на лошади и преимущественно нерезкие силовые движения. Их структура соответствовала активности представителей «активного» морфотипа. О хорошем питании и в целом качестве жизни молодого мужчины на момент смерти свидетельствует отсутствие у него зубных заболеваний, присущих заметной части людей курганной выборки саргатской общности. Вместе с этим в его организме происходили хронические (регулярные) патологические процессы, проявляющиеся в незначительном малокровии. В детском возрасте он перенес по меньшей мере пару периодов сильного истощения, как и многие представители «активного» морфотипа [Там же. С. 361–363, 368–369. Табл. 1–3].

В дополнение к рассмотренной в главе 3 (§ 2) радиоуглеродной дате для погребения 2 кургана 1 Гаевского 1 могильника (Ле-5516, 1980 ± 30 ВР, в интервале календарного времени 50 г. до н.э. – 80 г. н.э.) есть также полученная по костям человека дата для Мурзинского 1 могильника (погр. 4, кург. 6; Ле-5512, 2040 ± 70 ВР, в календарном интервале 210 г. до н.э. – 130 г. н.э.). Очевидно, они могли бы свидетельствовать о наиболее ранних примерах кольцевой деформации в саргатской среде, что едва ли может быть принято безоговорочно. Помимо рассмотренных выше хронологии вещей и датировки гаевских комплексов необходимо привести существующие в литературе наблюдения по времени бытования пряжек, аналогичных образцам из Ипкульского могильника [Чикунова,

2017]. Это позволяет оценить хронологические позиции тех погребений некрополя, где выявлена кольцевая деформация.

В захоронении мужчины старше 50 лет с деформированным черепом (кург. 5, погр. 1) сопроводительный инвентарь включал набор костяных наконечников стрел, два лепных сосуда (саргатский и кушнаренковский) и две бронзовые овальные пряжки (рис. 95) [Там же. С. 87. Рис. 4]. Для хронологической оценки показательны такие характерные признаки данных предметов ременной гарнитуры, как выраженное утолщение рамок в передней части и язычки с незначительным прогибом и рельефным выступом у основания. Более того, язычок одной из пряжек доходит до середины сечения рамки. Сочетание перечисленных признаков, в первую очередь уступов у основания язычка, указывает на время не ранее середины III в. н.э. [Малашев, 2014. С. 136, 139; Шарапова, Малашев, 2022. С. 179], а бóльшая длина язычка соответствует пряжкам с датировкой от первой четверти/трети IV в. н.э. [Малашев, 2000. Рис. 1, 2].

Для определения времени захоронения второго мужчины 25–30 лет с кольцевой деформацией черепа (кург. 4, погр. 1 (рис. 94)) могут быть использованы находки из погребения 3 (парное, мужчина 25–30 лет и женщина 40–50 лет) на том основании, что оба разнокультурных по керамическому материалу захоронения были совершены относительно одновременно (стратиграфические данные свидетельствуют, что обе могилы были основными) [Чикунова, 2011]. Анализируемые предметы вещевого комплекса включают пряжки, наконечники ремней и детали сбруйного набора [Чикунова, 2017. Рис. 3-В,Л,Н]. Три пряжки с овальной рамкой слегка уплощенной в задней части и незначительно – в передней, имеют округлый щиток с загнутыми краями (имитирующими фасетировку) и прогнутый в средней части язычок без уступа у основания; язычок в передней части не доходит до середины сечения рамки. Датируются в основном первой половиной – серединой III в. н.э., но встречаются и во второй половине столетия. Двухчастные наконечники-подвески с округлым расширением в нижней части характерны для памятников южноуральской степи и

волго-уральской лесостепи и указывают на время не ранее середины III в. н.э. – первой четверти/трети IV в. н.э. [Шарапова, Малашев, 2022. С. 178].

Бронзовые накладки с одним [Чикунова, 2017. С. 85. Рис. 3-Г] и тремя [Там же. Рис. 3-Е] штифтами соотносятся с разновидностью С9 деталей сбруйных ремней по В. Ю. Малашеву; входили в состав уздечных наборов второй половины III в. н.э. [Малашев, 2000. С. 198, 209. Рис. 1, 8А-7, 8В-4; Воронин, Малашев, 2006. Рис. 13-5; Малашев, 2013. С. 56. Рис. 30-26–30-29; 31-7–31-12; 32-13–32-16; 34-1, 34-6, 34-8; 39-17–39-18; 41-1–41-18].

Бронзовые кольца [Чикунова, 2017. С. 85. Рис. 3-3] (по одному в наборе) встречаются в составах сбруйных наборов на территории Азиатской Сарматии и Северного Кавказа во второй половине II – середине III в. н.э. [Малашев, 2008. С. 269–271. Рис. 3-36; Малашев, 2013. Рис. 31-1; 39-13].

Достаточно архаично в данном наборе выглядит двухчастный наконечник-подвеска без расширения в нижней части [Чикунова, 2011. Рис. 129-1]. Он относится к группе предметов Н2 по В.Ю. Малашеву [Малашев, 2000. С. 197, 209–210. Рис. 1, 2], являющихся широко распространенной принадлежностью наборов позднесарматского времени. Фасетированные двухчастные наконечники без расширения в нижней части подвески появляются в первой половине III в. н.э. и продолжают изредка встречаться во второй половине столетия [Малашев, 2000. Рис. 1, 2]. Подобные находки в южноуральских погребениях происходят из комплексов первой половины – середины III в. н.э. [Малашев, 2013. С. 77. Рис. 47-1, 47-2, 47-5–47-8.].

Наличие у ряда предметов ременных гарнитур декоративных полусферических шляпок на штифтах выделяет ипкульскую коллекцию среди прочих. Данный способ оформления штифтов распространяется с середины III в. н.э. и используется позднее, в IV в. н.э. [Малашев, 2008. С. 271].

Детали наборных поясов [Чикунова, 2017. С. 85. Рис. 3-И,К] на сегодняшний день пока не разработаны настолько, чтобы являться хронологическим индикатором. Допускается, что появление подобных поясов связано с формированием мазунинской культуры, а потому время их появления в

Зауралье не может рассматриваться ранее середины – второй половины III в. н.э. Таким образом, датировка погребений 1 и 3 кургана 4 Ипкульского могильника определяется в рамках середины – второй половины III в. н.э.; другие захоронения могли быть совершены и позднее.

Женская выборка не столь однородна, выявленные различия могут быть сопоставимы с социальными. Есть сведения о трех центральных ограбленных захоронениях в могильниках Прииртышья (мог. Богдановка 3, кург. 1, погр. 1, 30–40 лет, «активный» морфотип (рис. 19); Стрижево 2, кург. 2, погр. 8, ск. 1, 50–70 лет, и кург. 8, погр. 2, ск. 1, 30–45 лет). Высокий социальной статус женщины из Богдановки 3 нашел отражение в погребальной конструкции и трудозатратах на ее сооружение, а также в богатстве сопутствующего инвентаря. Несмотря на фрагментарность сохранившегося археологического материала, трудоемкость сооружения шатрового и поперечного перекрытия, синхронного и для боковой могилы (погр. 2, женщина, взрослая), несомненно, свидетельствует о высоком социальном статусе. Нашивная бляшка из листового золота, бронзовый котел на поддоне и литое бронзовое блюдо дополняют это предположение. Пожалуй, это единственное индивидуальное погребение подобного рода. По совокупности маркеров физических нагрузок она отнесена к «активному» морфотипу. Боковые неграбленные погребения женщин с деформированными черепами выявлены на Ишиме и Тоболе, такая степень сохранности отличает их от материалов Прииртышья⁹³.

Примечательно, что по качественному составу сопроводительного инвентаря рассматриваемая выборка женщин с деформированными черепами соответствует общей тенденции, выявленной для женских погребений саргатской культуры (см. § 1 данной гл.): отсутствуют предметы тяжелого вооружения, чаще представлены гендерно-нейтральные наборы (керамика, кости животных, ножи) и гендерные стереотипы (женщина = украшение).

⁹³ В Прииртышье в кургане Новопокровка 10 на черепае женщины из периферийного впускного погребения 4 зафиксирована преднамеренная деформация. По совокупности археологических признаков датировка комплекса определяется временем около рубежа эр (полевые материалы автора).

Захоронения женщин с деформированными черепами условно могут быть разделены на две категории. Одна представлена парным погребением женщины 16–20 лет «активного» морфотипа и девочки 7 лет (Абатский 3, кург. 2, погр. 5). Находившийся в могиле инвентарь разнообразен: золотые серьги со щитком, бронзовая плоская прямоугольная подвеска, бронзовое зеркало, железное кольцо, пряслице, железные нож, обоймы, удила и псалии (рис. 25), четыре лепных сосуда и кости животных.

Другая категория включает наименее обеспеченные инвентарем впускные могилы пожилых женщин. Это представительницы «спокойного» морфотипа (мог. Абатский 3, кург. 4, погр. 6, 40–50 лет; Карасье 9, кург. 11, погр. 2, 40–50 лет (рис. 86–88-4,5)). Их сопровождали по два сосуда и нож (в первом случае) или кости животного (во втором). Сходная ситуация зафиксирована Л. И. Погодиным и А. Я. Труфановым в погребении 8 кургана 3 могильника Исаковка 3: захоронение женщины 30–40 лет также было впущено в насыпь, сопроводительный инвентарь состоял из двух сосудов, ножа, пряслица и мелкого кусочка железа [Погодин, Труфанов 1991. С. 117–118. Рис. 7-2, 7-5, 12-8, 13-39]. У данного индивида наблюдаются краевые костные разрастания на позвонках, крестце, в области подвздошного сустава. Подобные дефекты относятся к преждевременным проявлениям старения, вызванного болезнью, которая ограничивала подвижность еще не старых людей [Рохлин, 1965. С. 54].

Примечательно, что в рассматриваемой группе практически нет следов травматических поражений. Единственный заживший перелом нижней челюсти диагностирован у женщины «активного» морфотипа (мог. Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 3, 25–35 лет).

Изменения на лобковых частях таза, сопутствующие вынашиванию плода и многократным родам, отмечены у женщины из могильника Карасье 9. Проявления палеопатологических поражений обнаружены в основном на позвоночнике и выражаются в разрывах и дефектах тканей связок и межпозвоночных дисков, что является следствием резких наклонов тела и постоянных компрессионных нагрузок на корпус. Тем не менее нагрузки не

имели разрушающего характера, что позволило отнести погребенную к группе «спокойного» морфотипа [Ковригин и др., 2006. С. 200; Шарапова и др., 2019. С. 323]. Зубочелюстных патологий нет. Однако с левой стороны обнаружен желобок между зубами, что, как отмечалось выше, вызвано привычкой использовать зубочистку. Череп брахикранный, мозговой отдел очень высокий, лицевой отдел сильно уплощенный в верхней части и умеренно в нижней, глазницы высокие по абсолютным размерам и малые по относительным, нос с хорошо профилированным переносьем, относительно узкий [Ковригин и др., 2006. С. 198. Табл. 1].

Этот комплекс по целому ряду черт выделяется среди как мужской, так и женской серий. Прежде всего тем, что наблюдается очень сильная деформация, значительно превышающая показатели этого признака в других саргатских могильниках. Выше уже отмечалось, что значительные преднамеренные изменения на черепе этой женщины больше соответствуют кочевнической традиции (рис. 115-1, 117-1) [Там же. С. 197; Sharapova, Razhev, 2011. P. 216–219. Tables 8.4, 8.5]. Сопроводительный инвентарь более чем аскетичен: два плоскодонных ручной лепки сосуда, горловины которых украшены желобками (рис. 88-4,5), а также кости животных. Саргатская погребальная керамика представлена, как правило, емкостями с округлым дном, хотя известно небольшое количество плоскодонных (чаще с уплощенным дном) сосудов, которые есть во всех локальных группах – от Барабы до Притоболья (в частности, мог. Абатский 1, кург. 1, погр. 4 и 6 [Мошкова, Генинг, 1972. С. 93. Рис. 4-4, 4-12]; Сопининский 1, кург. 1, погр. 1 и 9 (рис. 37-3, 42-2) [Среда, культура..., 2009. С. 208, 212. Рис. 9.1-3, 9.5-2] и т.д.). Но они изготовлены в соответствии с керамическими традициями лесостепного населения. Керамика из могильника Карасье 9 и по форме, и по орнаменту не аналогична стандартам местных традиций. Гораздо больше параллелей этим сосудам обнаруживается вне саргатской территории: в лепной керамике и сосудах-подражаниях керамических импортов из погребений сарматов Поволжья (мог. Чиков, Бережновка II) [Скрипкин, 1990. С. 275, 276. Рис. 49, 50], Южного Приуралья (мог. Покровка 10, кург. 85, 104) [Малашев,

Яблонский, 2008. С. 299, 308. Рис. 175-6; 184-5] и Зауралья (мог. Большекараганский, кург. 8, 17 и 18) [Боталов, Гуцалов, 2000. С. 40–46. Рис. 9–12 и др.] первых веков н.э. Очень близкие по стилистике экземпляры есть и среди посуды джетыасарской культуры в Восточном Приаралье, для которой характерен орнамент в виде так называемого горизонтального рифления горловины, образующего плотные ряды желобков [Левина, 1992. С. 66–68, 371. Рис. 21]. Кроме того, проведенная полевыми антропологами реконструкция тафономических процессов предполагает длительное хранение и транспортировку тела, которая заняла от нескольких недель до нескольких месяцев (подробнее об этом см. § 3 гл. 2). Такая практика отсроченного захоронения и преднамеренная деформация головы позволили предположить, что погребенная обладала особым статусом и была связана своим происхождением с кочевниками [Ковригин и др. 2006. С. 193–194, 202]. Для кургана 11 датировка I–III вв. н.э. была определена на основании круга аналогий и параллелей, а оба погребения – центральное и впускное периферийное, – вероятно, археологически синхронны [Там же. С. 197]. Комбинированная дата погребения 2, полученная по костям человека, – 200 г. до н.э. – 10 г. н.э. (Ле-7237, 1950 ± 100 BP; Ле-7238, 2270 ± 120 BP) имеет довольно широкие интервалы некалиброванного и калиброванного возраста, которые не вполне согласуются между собой. При этом первая дата (Ле-7237) полностью соответствует датировке памятника, установленной по аналогиям, другая (Ле-7238) явно «работает» на некоторое удревнение, что и нашло свое отражение в ходе комбинирования. Тем не менее представляется, что датировка погребения не может быть ранее первых веков н.э., в пользу чего свидетельствует совокупность археологических данных и не в последнюю очередь особенность могильной ямы – низкие, расположенные близко ко дну заплечики, и узкая погребальная камера; а также кольцевая деформация черепа.

В дополнение к рассмотренным ранее аргументам о верхней хронологической границе саргатской культуры стоит добавить, что помимо уже упоминавшихся поздних погребений Абатских 1 и 3, Тютринского и Гаевского 1 могильников, ямы с небольшими заплечиками встречаются в Большекараганском

(кург. 8) и Целинном 1 (кург. 72) могильниках носителей позднесарматской культуры [Боталов, Гуцалов, 2000. С. 40, 93. Рис. 9, 31-1]. При этом количество подбоев в позднесарматских южноуральских могильниках очень невелико [Там же. С. 164].

Прижизненная деформация черепа зафиксирована у *ребенка* 8–9 лет (ск. 3)⁹⁴ из погребения 7 во рву кургана 2 пяти захороненных вместе в Абатском 3 могильнике (трое взрослых и двое детей) [Матвеева, 1994. С. 132–135]. Заслуживает внимания тот факт, что из пяти индивидов только у двоих (ск. 1, мужчина, 30–35 лет, «спокойный» морфотип, и ск. 3) форма головы была намеренно изменена. Сопроводительный инвентарь, ассоциированный с детским захоронением, включал находившийся в изголовье лепной сосуд кашинского облика, в котором был найден согнутый железный нож [Там же. С. 134–135. Рис. 68-А, 68-1, 68-7]. Н. П. Матвеева отметила, что все погребения во рву (всего 7 из 18) были совершены значительно позднее саргатских, когда ров уже заплыл на две трети. Могильные ямы созданы в короткий срок или одновременно, и не прорезали дно рва [Там же. С. 131, 136. Рис. 66-А]. Таким образом, в данном случае опять наблюдается меньшее количество захороненных с прижизненной кольцевой деформацией черепа, чем тех, у кого форма головы не была изменена. Кроме того, погребения во рву совершены явно позднее, чем другие.

В настоящее время сформировалось устойчивое мнение, что практика кольцевой деформации головы не является специфически гуннской, а связана с ираноязычной кочевой средой [Тур, 1996; Пежемский, 2000; Ходжайов, 2000, 2006; Балабанова, 2004; Казанский, 2006; Ражев, 2009. С. 147–164; Перерва и др., 2013 и т. д.]. Ранее вместе с коллегами была предложена ретроспектива распространения этого обычая в зауральской лесостепи [Ковригин и др., 2006].

⁹⁴ Выборка невзрослых может быть дополнена прииртышскими материалами, полученными автором в 2022 г. В кургане Новопокровка 10 впускное неграбленное погребение 2 содержало останки подростка 10–13 лет, череп которого был деформирован по кольцевому типу. Погребальный инвентарь включал лепное конической формы пряслице, саргатский сосуд и крупного размера фрагмент хорезмийской керамики; на шее умершего находилась бронзовая гривна, под которой обнаружена серебряная спиралевидная пронизка. Зафиксированные особенности расположения скелета свидетельствуют в пользу того, что труп был спеленут, под голову положена подушка из органики, захоронение совершено в уже существующий курган (полевые материалы автора).

Суть ее сводится к следующему. Наиболее ранние случаи лобно-теменной деформации в раннем железном веке Т. К. Ходжайов связывает с раннесакскими племенами Восточного Приаралья. Позднее, в III в. до н. э. – I в. н. э., этот обычай начинает распространяться в нескольких направлениях. Он выявлен на западе – у скотоводческого населения Восточного Прикаспия – и на востоке – в Ташкентском оазисе, Северной Фергане, Тянь-Шане. Однако число людей, придерживающихся этого обычая, было небольшим. Отмечается и другой, основной путь распространения, направленный на юг: через центральные Кызылкумы, в среднее течение Заравшана, в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую долины. Все погребения, в которых здесь выявлена лобно-теменная деформация, оставлены скотоводческим населением [Ходжайов, 2006. С. 13–15, 16. Рис. 4]. С рубежа эр удельный вес такого рода деформации увеличивается практически на всей территории Средней Азии. Она известна как у скотоводческого населения, так и среди жителей античных городов и крупных укрепленных поселений первых веков н.э. [Тур, 1996. С. 238–242].

Вблизи ареала распространения саргатских древностей кольцевая деформация практиковалась населением позднесарматской культуры, став наряду с другими элементами погребального обряда (подкуранные захоронения, как правило, под индивидуальной насыпью, узкие прямоугольные ямы, меридиональная ориентировка) характерным признаком этой группы степного населения [Смирнов, Попов, 1972. С. 24; Малашев, Мошкова, 2010. С. 38; Малашев, 2013. С. 27–28]. Более того, подчеркивается, что «в восточноевропейской степи эта традиция появляется в памятниках с обрядовым комплексом позднесарматской культуры» [Малашев, 2013. С. 147], подтверждением чему являются краниологические серии из позднесарматских памятников Нижнего Поволжья [Балабанова, 2004. С. 225] и Южного Приуралья [Малашев, Яблонский, 2008. С. 75–77].

Появление в саргатской среде деформации кольцевого типа позволяет обозначить северный вектор распространения этого обычая. Рассматривая пути проникновения преднамеренной деформации черепа в Западную Сибирь,

В. А. Дремов допускал влияние сармато-аланских племен степного Приуралья [Дремов, 1977. С. 109] и южных территорий [Там же. С. 110]. Надо сказать, что и сама лесостепная аристократия еще в период становления и расцвета саргатской культуры в середине – второй половине I тыс. до н.э. формировалась в значительной степени выходцами из кочевой среды [Корякова, 1988. С. 159; 1994б. С. 114–115, 152; Могильников, 1992а. С. 293, 301; Хабдулина, 1994. С. 74–77, 2017. С. 54–56; Ковригин и др., 2006. С. 202; Корякова и др., 2010. С. 63, 71].

Итак, как уже было отмечено, в материалах анализируемых могильников циркулярно деформированные черепа выявлены у 39 индивидов. Для оценки вероятностного количества этого сегмента саргатского социума можно обратиться к сведениям, приведенным в таблицах 4 (гл. 3) и 6. На первый взгляд, «деформанты» составляют чуть более 5 % анализируемой в работе выборки. Напомню, она представлена останками 694 индивидов из погребений разных хронологических групп. Однако более корректно рассматривать распространенность этого обычая в комплексах, датированных в интервале последних веков до н.э. – II–III вв. н.э. Но и здесь возможное количество не только условно, но и также невелико и составляет 8,26 %. С одной стороны, напрашивается вывод, что на поздних этапах развития культуры почти каждый 12-й индивид в саргатском обществе мог иметь измененную форму головы. С другой стороны, из-за слабой проработанности дробной периодизации культуры среди погребений саргатского этапа есть и те, которые датируются в широких хронологических рамках. Более того, саргатские курганы сильно разграблены, как следствие, количество предметов в инвентаре, дающих привязку к шкале абсолютной хронологии, весьма незначительно. Проверка гипотез статистическими методами также представляется некорректной из-за малочисленности самой выборки⁹⁵.

⁹⁵ Для обеспечения достоверности полученных результатов в практике современных, в частности, палеопатологических исследований определение минимально необходимого объема выборки является обязательным условием [Куфтерин, 2022. С. 39; Ortner, 2009. P. 330]. Для получения результатов с вероятностью 95 % и доверительным интервалом 5 % репрезентативная выборка должна составлять 400 единиц наблюдений [Bonett, 2016]. Существуют методы, не требующие предварительных знаний об изучаемом явлении, в таком случае для определения необходимого объема случайной выборки предусматривается также и оценка величины

Вполне вероятно, что «деформанты» принадлежали к социальной верхушке саргатского общества, «однако изменение естественной формы головы все же не гарантировала ее обладателям высших ступеней» [Шарапова, 2018б. С. 252]. Большинство могил людей с деформированными черепами, хоть и содержали воинскую экипировку, все же заметно уступали погребальным комплексам, устроенным с особой пышностью и огромными трудозатратами. Среди мужчин с измененной формой головы нет представителей «спокойного» морфотипа. Напротив, женская выборка включает обе морфологические группы, с заметным преобладанием – 63 % – «активного» морфотипа (рис. 118). Одним из возможных объяснений может быть то, что мужчины, представители родов, практиковавших кольцевую деформацию, в социальном отношении не достигли доминирующего положения. Сфера их активности включала воинскую деятельность. Примечательно, что для позднесарматских групп Нижнего Поволжья степень двигательной активности (выраженность деформирующего артроза) сильнее в группах с деформированными черепами, чем с недеформированными [Балабанова и др., 2015. С. 16].

Приведенные данные о сходстве некоторых сторон погребального обряда и вещевого комплекса позднесарматской и саргатской культур (на заключительном ее этапе) позволяют рассмотреть и весьма отдаленные параллели. В силу только частичной синхронности двух образований едва ли стоит говорить о тождественности, но присутствие сходных элементов культуры очевидно. Сложность сопоставления южноуральских комплексов позднесарматской культуры с материалами саргатской культуры заключается еще и в небольшом количестве поздних памятников последней. Кроме того, наблюдается недостаточная проработанность вопросов хронологии зауральско-западносибирских древностей, поскольку датировки многих памятников даются в широких хронологических рамках или часто основываются на устаревших точках зрения о времени бытования отдельных категорий вещей. Однако при более

допускаемой ошибки: при ошибке 10 % объем случайной выборки должен составлять 88 единиц наблюдений, а при ошибке, например, 1 % – уже 8750 [Fox et al., 2007].

пристальном обращении набирается небольшое, но заметное количество признаков, наблюдаемых у территориально далеких групп населения, которым пока трудно дать объяснения. Поэтому для многих выводов имеющихся в распоряжении материалов явно недостаточно, нужны целенаправленные исследования.

Уже неоднократно отмечалось (см. гл. 2, § 3, гл. 3, § 2): в погребальных традициях обеих культур преобладают ориентировки положения умерших головой в северный сектор [Мошкова, Генинг, 1972. С. 87–118; Корякова, 1977. С. 143. Табл. 5; Малашев, Мошкова, 2010. С. 38; Малашев, 2013. С. 27]. Наличие узких прямоугольных ям, которые все же не были единственным типом погребального сооружения: узкие подбои с нишей в западной стенке или более редкие квадратные и широкие прямоугольные ямы, а также ямы с заплечиками – позднесарматская культура; овальные, квадратные, прямоугольные с заплечиками и т.п. – саргатская культура [Там же; Смирнов, Попов, 1972. С. 24; Матвеева, 1993б. С. 155; 1994. С. 119; Ковригин и др., 2006. С. 192–193, 196–197], – несомненно, обращает внимание на еще одну параллель.

Следующее наблюдение связано с соответствием, отмеченным в керамическом комплексе позднесарматской культуры [Малашев, 2013. С. 156]. В частности, в материалах могильника Покровка 10 среди позднесарматской лепной посуды присутствуют морфологически близкие формы – профилированные круглодонные сосуды с отогнутой шейкой, что, наряду со сходством в некоторых приемах орнаментации, позволило соотнести эти образцы с керамикой саргатской культуры [Малашев, Яблонский, 2008. С. 49. Рис. 198-8–198-11, 200-10–200-14]. Эта самостоятельная немногочисленная таксономическая группа происходит из курганов 26, 41, 57–59, 65, 90, 96, которые не только компактно располагались в пределах некрополя, но и датируются по сопроводительному инвентарю в рамках второй половины II в. н.э. – начала III в. н.э. Необходимо отметить, что у всех погребенных индивидов – трое мужчин, пять женщин, один ребенок – имелась прижизненная кольцевая деформация, характерная именно для позднесарматской культуры. Захоронения совершались в подбоях и ямах. Примечательно, что по

ширине последние сопоставимы с узкими ямами в саргатских могильниках. Абсолютные размеры узких ям могильника Покровка 10 находятся в интервале $0,7-0,95 \times 1,8-2,4$ м [Там же. С. 22, 23, 33–35. Рис. 55, 57, 59, 108, 118].

Судя по сохранившимся индивидуальным погребениям саргатской культуры, в которых были расчищены останки индивидов с кольцевой деформацией черепа, их параметры достигали $0,6-1,0 \times 1,9-3,0$ м, что соответствует критерию, предложенному М. Г. Мошковой: ширина камеры составляет около $\frac{1}{2}$ их длины [Мошкова, 1989а. С. 178]. В анализируемой здесь выборке таких погребений сохранилось всего 15 в десяти могильниках Прииртышья, Приишимья и Притоболья (мог. Бешаул 2, кург. 3, погр. 2, и кург. 4, погр. 1; Бешаул 3, кург. 1, погр. 5; Коконька 2, кург. 1, погр. 2; Стрижево 1, кург. 13, погр. 4; Карташево 2, кург. 6, погр. 4; Абатский 1, кург. 5, погр. 6, 8; Абатский 3, кург. 1, погр. 6, и кург. 4, погр. 6; Гаевский 1, кург. 3, погр. 4, и кург. 6, погр. 2; Карасье 9, кург. 11, погр. 2; Иркульский, кург. 1, погр. 3, и кург. 5, погр. 1). Датировка комплексов Прииртышья затруднена, так как отсутствуют выразительные предметы погребального инвентаря, но в целом – не ранее рубежа эр. Материалы Приишимья и Притоболья соотносятся с предметами, распространенными в позднесаргатской культуре. Но в данном случае датирующие возможности предоставляют и зафиксированная на черепах искусственная деформация, и параметры могильных ям. Примечательно также то, что в зауральско-западносибирских могилах, где были обнаружены черепа с деформацией кольцевого типа, позднесаргатской керамики нет. Заметное исключение составляет только лепная керамика из погребения 2 кургана 11 могильника Карасье 9, что уже отмечалось выше. Едва ли причина подобия археологических признаков лежит только в территориальной близости распространения памятников обеих культур. Возможное, но не единственное объяснение обнаруживается при обращении к существующим гипотезам о происхождении позднесаргатской культуры, в частности о формировании ее на многокомпонентной основе с включением некоторой части населения саргатской культуры [Малашев, Мошкова, 2010. С. 49; Малашев, 2013. С. 156;].

Следует отметить, что приведенные черты сходства в погребальных памятниках позднесарматской и саргатской культур находят соответствие, вероятно, в ранних материалах джетыасарской культуры [Левина, 1992; 1996], что уже указывалось в исследованиях степных и лесостепных материалов [Ковригин и др., 2006. С. 196; Малашев, Мошкова, 2010. С. 44–45; Малашев, 2013. С. 153; Шарапова и др., 2019. С. 322; 2020. С. 360]. Так, население джетыасарской культуры совершало погребения под индивидуальными насыпями, окруженными ровиками (которые достаточно редко сооружались вокруг позднесарматских курганов, равно как и индивидуальные насыпи для поздней группы захоронений саргатской культуры), в узких прямоугольных ямах с северной ориентировкой погребенных. Массовое использование ниш в погребальных сооружениях Юго-Восточного Приаралья [Левина, 1996. С. 92, 107] находит лишь единичные аналогии в позднесарматских [Малашев, 2013. С. 153] и саргатских комплексах. Важно, что у населения джетыасарской культуры был широко распространен кольцевой тип деформации черепов – 70,19 % [Шведчикова, 2010. С. 13]. Кроме того, в погребальном инвентаре джетыасарских курганов присутствует посуда, отличная от местного керамического комплекса, устойчиво сохраняющегося на протяжении всей истории культуры. Стилистически близкие экземпляры – круглодонные емкости с расширяющейся горловиной – Л. М. Левина усматривает в памятниках саргатской культуры [Левина, 1996. С. 195]. Судя по имеющимся публикациям джетыасарских древностей, постепенно саргатские гончарные традиции теряются.

Схожие черты в ритуально-обрядовой практике и керамических комплексах станут более вероятными при принятии гипотезы В. Ю. Малашева, что часть позднесарматского населения Южного Приуралья (в состав которого, вероятно, вошли и носители саргатского культурного комплекса) сместилась в район Юго-Восточного Приаралья. Облик археологического материала этого региона близок кругу южноуральских древностей [Малашев, 2013. С. 170]⁹⁶. Допускаю, что

⁹⁶ Отмечая схожие черты позднесарматской и джетыасарской культур, В. Ю. Малашев отнес к немаловажным то обстоятельство, что группа погребений, сопоставляемая с позднесарматскими и восходящая к кочевническим

контакты саргатского и джетыясарского населения, вероятно, носили разный характер – прямой или опосредованный, но то, что здесь отмечено, относится к заключительному этапу существования лесостепной культуры. Однако малочисленность имеющихся материалов на данном этапе затрудняет интерпретации приводимых примеров.

Небольшой процент деформированных черепов в саргатской среде позволяет предположить, что численность таких людей лимитировалась смыслом этого обычая. Как уже отмечалось, рассмотренные здесь саргатские материалы демонстрируют *слабовыраженную* циркулярную деформацию, что заметно отличает лесостепные комплексы от степных и таежных⁹⁷.

Социальный аспект практики изменения естественной формы головы понятен: закономерная эволюция мифологических и религиозных представлений, связанная с социально-экономическим развитием социума, с течением времени приводила к изменению некоторых граней визуального символизма. Возникла вполне резонная потребность манифестирования военного, социального или иного лидерства. Социальное значение символ приобретает в обществах с более высокой степенью социальной организации и указывает на место, занимаемое индивидом (или группой) в иерархической структуре общества [Бочаров, 1996. С. 16]. Но также очевидно, что самостоятельное воплощение идей, порой заимствованных, является длительным процессом и сопровождается соответствующими навыками. Любые инновации раньше всего проникают в элитарную культуру, закрепляются и передаются внутри этой группы [Арутюнов, 1989. С. 187]. С большой долей вероятности можно допустить существование символически-ритуальной монополии элиты не только на предметы роскоши [Earle, 1991. P. 1–15], но и на заимствования престижного плана [Шарапова, 2007. С. 58]. Поскольку изменение естественной формы головы возможно только в очень раннем детстве, именно взрослые, прежде всего женщины – носительницы

обрядовым традициям (курганы с ровиками и ямы с северной ориентировкой погребенного), оставлена уже оседлым населением [Малашев, 2013. С. 158].

⁹⁷ В III–IV вв. н. э. в таежной зоне Западной Сибири деформация головы стала визуально более выраженной, но по-прежнему охватывала немногочисленный сегмент общества [Ражев, 2009. С. 164].

традиции – оценивали социальные связи и принадлежность детей к определенным социальным общностям и группам, определяя у подрастающих индивидов их – детей – осознание «я». По мере развития/роста эта форма социальной идентичности становилась символом ранга, указывающим на положение того или иного индивида в системе вертикальных статусных отношений [Шарапова, Ражев, 2016. С. 68]. Представляется, что мотивация деформировать голову ребенка была достаточно серьезной. Среди разнообразия примеров преднамеренной деформации головы, наблюдаемой в культуре многих народов, в самом общем виде причина данного явления сводится к одному. Необычная форма головы становится знаком для внешнего выделения людей, занимающих в обществе особое и/или престижное положение. Происходит маркировка определенных сегментов общества (знати, жрецов, воинов). С учетом того что в саргатской традиции изменение естественной формы головы было выражено несильно, можно предположить, что этот соционормативный обычай мог возникнуть прежде всего среди «чужаков» – представителей отдаленных территорий⁹⁸.

В целом можно утверждать, что проявления ритуального поведения многообразны. Помимо преднамеренной деформации черепа оно могло включать татуировку, раскраску тела минеральными красителями, следы которых нередко фиксируются на костных останках, а также другие формы, включая умышленные повреждения и увечья. Не исключено, что население лесостепи могло практиковать нечто подобное, однако антропологический источник не сохранил этих следов. Несомненно, заслуживают внимания и травмы, которые все чаще рассматриваются в качестве показателя экстремальной активности древнего населения и неблагополучия социальной среды [Бужилова, 2005. С. 197–208; Шарапова, Ражев, 2013; Larsen, 1999; Walker, 2001].

⁹⁸ Приведя примеры инокультурных погребений в саргатских курганах, эту часть лесостепного социума Н. П. Матвеева определила этнофорами [Матвеева, 2000. С. 255–256].

§ 3. Травмы в контексте социальной среды⁹⁹

Благодаря Геродоту нам известно о военных обычаях скифов [Геродот, История, кн. II, 67; IV, 64–66]. Упоминание о сарматах как о свирепых воинах оставил Овидий [Овидий, Скорбные элегии, кн. пятая, VII, 10, 15]. Материалы раскопок в разных частях степной ойкумены, включая лесостепную периферию, на первый взгляд подтверждают часто цитируемые пассажи древних авторов. Так, например, позднесарматские скелетные серии демонстрируют довольно высокий процент травматических поражений, для многих зафиксированы травмы, нанесенные оружием [Перерва, 2002; Балабанова и др., 2015. С. 93. Табл. 5, 14]. Социальное направление в биоархеологических реконструкциях охватывает богатую палитру проявления насилия и конфликтов. До недавнего времени преобладало мнение, что повреждения на мужских скелетах свидетельствуют о боевых столкновениях, а на женских – о набегах или бытовом насилии [Jiménez-Brobeil et al., 2009]. Обратной стороной медали стал пересмотр некоторых существовавших гипотез. В частности, активизация гендерного направления в археологии привела к утверждению, что «амазонки» – женщины-воительницы – это не узколокальное или узкохронологическое, а общеисторическое явление [например, Берсенева, 2011а; Фиалко, 2015; Gender..., 2001]. Представляется, что подобные исследования прежде всего должны указывать на тот факт, что роль жертвы или агрессора культурно специфична и не всегда обусловлена биологическим полом, и должны сопровождаться корреляцией данных археологии и антропологии.

⁹⁹ При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Ražev D., Šarapova S. Warfare or Social Power: Bioarchaeological Study of the Iron Age Forest-Steppe Populations in the Trans-Urals and Western Siberia // *Praehistorische zeitschrift*. – 2012. – Band 87. Heft 1. – P. 146–160. (JIF 0,556) (доля автора 1,5 п.л.);

Шарапова С.В., Ражев Д.И. Биоархеология черепных травм саргатского населения // *Археология, этнография и антропология Евразии*. – 2013. – №1 (53). – С. 143–154. (IF 0,820) (доля автора 0,5 п.л.);

Шарапова С.В. Биоархеология населения лесостепного Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура) // *Stratum Plus*. – 2018. – №3. – С. 323–350. (JCI 0,25) (доля автора 3 п.л.).

Анализируя древности саргатской культуры, исследователи неоднократно отмечали ярко выраженный воинский характер захоронений, что позволило утверждать военизированность быта группы населения, погребенной под курганами [Корякова, 1988. С. 55; Культура зауральских..., 1997. С. 155]. В основе подобных заключений – заметная распространенность предметов вооружения и доспеха в сопроводительном инвентаре не только «золотых могил» типа Сидоровки и Исаковки 1 в Прииртышье [Матющенко, Татаурова, 1997. С. 13. Рис. 9, 16-2, 21-1, 26-5, 26-8; Погодин, 1998а. С. 27–45. Рис. 4], но и не таких богатых неграбленных погребений взрослых мужчин и женщин. Некоторые интерпретации коллег, подкрепленные ссылками на античных авторов, звучали более категорично (некоторые из них пересекаются с рассмотренными в § 1 женскими захоронениями с оружием).

После того как Д. И. Ражевым и П. Курто были выявлены патологии всадников на скелетных останках лесостепного населения Зауралья и Западной Сибири [Ражев, 1996; Courtaud, Rajev, 1998], Н. П. Матвеева, сопоставив их выводы и находки стрел в женских захоронениях, реконструировала группу женщин-воительниц в саргатском обществе [Матвеева, 2000. С. 189; Матвеева и др., 2005. С. 164]. К схожему заключению пришла Н. А. Берсенева, интерпретировав подобные комплексы как принадлежащие «воительницам (представительницам элитных кланов)» [Берсенева, 2011а. С. 77–78; Berseneva, 2008. P. 150].

Для кочевого и полукочевого населения Зауралья А. Д. Таиров допускает существование и высокое значение воинских культов, хотя «археологически этот процесс зафиксировать довольно трудно». Анализируя металлопластику бронзовых находок – литых антропоморфных фигурок с ярко выраженной воинской символикой – из Сапоговского клада¹⁰⁰, он также предположил военизацию общества и обособление военного сословия [Таиров, 2016б. С. 463].

¹⁰⁰ 20 антропоморфных фигурок, найденных в 1900 г. в окрестностях деревушки Сапогово Шадринского уезда Пермской губернии (в современном административном делении – Кунашакский район Челябинской области), являют собой яркий образец сармато-угорского искусства [подробнее см.: Толмачев, 2013; Сальников, 1949; Таиров, 1990; Зуев, 1993].

Кроме принадлежностей конского снаряжения и распространенных образцов вооружения, в качестве дополнительных аргументов коллеги привлекали и материалы раскопок городищ. В частности, масштабы и усложнение их фортификаций могут указывать на уровень военной напряженности, «длительные вооруженные противостояния или войны» [Матвеева и др., 2005. С. 145, 165]. Согласно предложенной Н. П. Матвеевой модели взаимодействия кочевого, полуседлого и оседлого населения в орбиту таких конфликтов носители саргатской культуры втягивали как местные лесостепные и лесные группы, так и внешнее окружение, причем на всех этапах железного века [Матвеева, 1999а. С. 88; 2000. С. 119–121; 2005. С. 147–150; 2017б. С. 12]. В то же время, говоря о степени воинственности саргатского социума, она допускала, что всеобщая вооруженность не была свойственна лесостепным коллективам, признавая при этом, что прижизненные функции отражались в погребальном инвентаре [Матвеева, 2005. С. 147].

Однако в археологии саргатской культуры изучение военного дела ограничивалось анализом комплекса вооружения [Могильников, 1992а. С. 302–303; Погодин, 1998а] и военной иерархии [Матвеева, 2000. С. 258–260; Погодин, 1997]. Попытка оценить боевой травматизм была предпринята Н. П. Матвеевой. Анализируя материалы к палеодемографической характеристике, она привела примеры могил с застрявшими в костяках наконечниками стрел (мог. Нижний Ингал-1, кург. 1, погр. 1), а также неграбленных захоронений, в которых у погребенных отсутствовали кости стопы и кистей (Стрижево 2, кург. 3, погр. 4 и 8)¹⁰¹. На основании этих находок Н. П. Матвеевой сделала вывод, что

¹⁰¹ К сожалению, в археологических публикациях на эту тему довольно часто присутствуют фактические неточности. В могильнике Стрижево 2, раскопанном Л. И. Погодиным в 1987 г., в кургане 3 выявлено всего пять могильных ям, соответственно погребение 8, которое упоминает Н. П. Матвеева, отсутствует, а погребение 4 ограблено, потому весьма сомнительно утверждение об одноногом инвалиде без правой кисти [Матвеева, 1999а. С. 93]. У Н. А. Берсенева противоречивы сведения о количестве индивидов в погребении 3 кургана 3 могильника Кокуйский 3 [Берсенева, 2011а. С. 77], в котором расчищен череп женщины 30–50 лет (ск. 1) с проникающим ранением, нанесенным стрелой [ср.: Матвеева, 1994. С. 107; Ражев, 2009. С. 291]. Увы, подобные расхождения с источником [Погодин, 1987; Матвеева, 1994] и антропологическими определениями [Ражев, 2009] ставят под сомнение доводы авторов и не позволяют признать их убедительными.

«значительная часть населения получала увечья и гибла от ран» [Матвеева, 1999а. С. 93]¹⁰².

В целом же создается впечатление, что устойчивое убеждение коллег в «воинственности» саргатского населения (фиксируемой преимущественно по погребальному инвентарю) объясняется сложившемся в литературе представлением о сходстве всех скотоводческих культур эпохи железа. Вместе с тем следует отметить, что тезис о высокой степени милитаризованности саргатского общества уже подвергался сомнению как на материалах могильников Тоболо-Ишимья [Ражев и др., 1999], так и в масштабах всей культуры [Ражев, 2009. С. 288–310; Шарапова, Ражев, 2013].

С одной стороны, археологические данные выглядят непротиворечащими гипотезе о вовлеченности саргатского населения в военные конфликты. С другой – свидетельством участия в боевых столкновениях является не только наличие комплектов вооружения в погребениях, но и следы травматических повреждений на костях [Медникова, Лебединская, 1999; Перерва, 2002; 2005; Бужилова, 2005. С. 197–208; Ражев, 2009. С. 288–289; Балабанова и др., 2015. С. 17; Chamberlain, 2006. P. 77–80, 168–171; Hollimon, 2011. P. 159–161 и т. д.]. Исследования травматических поражений позволяют иначе взглянуть на известные материалы.

Обследуя скелетные останки из саргатских погребений, Д. И. Ражев выявил травмы на различных частях скелета, отметив, что данные по ребрам и позвонкам крайне скудны (не в последнюю очередь из-за существовавшей в отечественной археологии традиции отбора только черепов). Кроме того, определенные трудности возникают в ходе визуального определения переломов, вылеченных давно и полностью, а также тех повреждений, что были нанесены незадолго до смерти и посмертных, от разрушения костей после смерти. В этом отношении череп отличается от других элементов скелета, поскольку фиксируются как зажившие повреждения, так и без следов заживления [Ражев, 2009. С. 289–301].

¹⁰² Некоторые современные демографические исследования уровня смертности населения в результате вооруженных столкновений свидетельствуют о том, что в ряде случаев людские потери в ходе собственно вооруженных действий незначительны, их основная масса приходится на перебои с питанием и проблемы санитарного свойства среди гражданского населения, смертность от которых достигает 90 % [Chamberlain, 2006. P. 77–80].

Оценка уровня травматизма среди саргатского населения на материалах могильников от Барабы до Притоболья была предложена ранее [см.: Ражев, Šagarova, 2012], проведен кросс-культурный анализ [см.: Шарапова, Ражев, 2013], повторю основные результаты, дополнив их новыми данными.

Таблица 7

Характеристика локальных серий травм черепа

Комплекс	Пол/возраст	Характер повреждения	Инвентарь	Примечание	Датировка
<i>Бараба</i>					
Марково 1, кург. 15, погр. 1	♀, 25–40 лет, «активный» морфотип	Колотые и вдавленные повреждения черепа	–	Центральное, ограбленное	РЖВ
Абрамово 4, кург. 22, погр. 5, верхний ск. [Полосьмак, 1987. С. 22–23. Рис. 16-2]	♂, взрослый	Множественные дырчатые переломы черепа	Бляшки бронзовые, железные стерженьки, пряслице, обломок железного кольца, слиток бронзы	«Ярусное» (2 инд.)	РЖВ
<i>Прииртышье</i>					
Карташево 2, кург. 6, погр. 4	♂, 40–60 лет, «активный» морфотип	Вдавленное повреждение свода черепа, кольцевая деформация	Железные меч и нож, железные удила и псалии, костяные концевые накладки на лук, 3 керамических сосуда, кости лошади	Центральное, неграбленное	Возможно, первые вв. н.э.
Бешаул 2, кург. 1, погр. 1	♂, 30–50 лет	Следы 5 ранений черепа	Железный меч или кинжал, колчаный крючок, 10 бронзовых и костяных наконечников стрел, костяные панцирные пластины, железные удила, колчаный набор, шлифовальный камень	Центральное, ограбленное	Рубеж эр
Богдановка, кург. 6, погр. 11, ск. 1	♂, 22–25 лет, «активный» морфотип	Проникающее отверстие на черепе, кольцевая деформация	Упоминается 1 лепной сосуд	Центральное, впускное, ограбленное	Не ранее рубежа эр
<i>Пришимье</i>					
Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 1	♂, 25–40 лет, «активный» морфотип	Вдавленная травма свода мозговой коробки	Железный кинжал, прямоугольная бляха	Во внешнем рву, неграбленное, коллективное, 4 индивида	Не ранее первых вв. н.э.

То же, ск. 3	♀, 25–35 лет, «активный» морфотип	Нижняя челюсть со следами зажившего перелома; кольцевая деформация	Бронзовая цилиндрическая и стеклянная бочковидная бусины, железный нож	То же	Не ранее первых вв. н.э.
Кокуйский 3, кург. 3, погр. 3, ск. 1	♀, 30–50 лет	Проникающее отверстие черепа	Фрагменты керамики	Центральное, возможно, «ярусное», ограбленное	V–IV вв. до н.э.*
<i>Притоболье</i>					
Мурзинский 1, кург. 6, погр. 2, ск. 1	♂, 20–30 лет, «спокойный» морфотип	Скол поверхностной пластинки	8 костяных, 1 бронзовый и 1 железный наконечники стрел, железный нож, стеклянная бусина, бронзовая серьга, керамический сосуд	Периферийное, ограбленное	III–I вв. до н.э.
Гаевский 1, кург. 3, погр. 5	♀, 40–60 лет, «активный» морфотип	Вдавленное повреждение свода	Более 100 стеклянных бусин, бисер, 4 саргатских сосуда, железный нож, каменная плитка со следами охры, лепное прясло, бронзовые серьги, кости лошади в двух скоплениях	Периферийное, неграбленное	I–III вв. н.э.
Ипкульский, кург. 1, погр. 3 [Корякова, 1986]	♂, взрослый	Отверстие ромбической формы; череп прижизненно деформирован	Железный нож, железный меч без навершия с перекрестием, костяные наконечники стрел, наконечник ремня, пряжки железные округлой формы с подвижным язычком, нашивные бронзовые бляшки, кость лошади, лепной сосуд	Неграбленное, плохой сохранности	I–III вв. н.э.

* Датировка этого погребения вызывает определенные затруднения из-за тотальной разграбленности и отсутствия датирующих вещей. В заполнении могильной ямы была найдена керамика баитовского типа, что и позволило определить дату совершения захоронения V–IV вв. до н.э. [Матвеева, 1994. С. 107], но и она небесспорна.

Как следует из таблицы 7, черепа со следами травм выявлены у мужских и женских скелетов в могильниках от Притоболья до Барабы: девять черепов обследованы Д. И. Ражевым, сведения о еще двух получены по публикациям и архивным материалам [Корякова, 1986; Полосьмак, 1987]. Однако обращает на себя внимание их небольшое количество – одиннадцать черепов из десяти

могильников, что не превышает 5,47% от доступного для анализа числа черепов в общесаргатской выборке¹⁰³. По характеру дефектов выделяются две группы.

Первая включает вдавленные повреждения или компрессионные переломы на своде черепа, которые не поддаются однозначной интерпретации. Подобные травмы могли быть нанесены самыми разнообразными твердыми предметами, включая кулак и брошенный камень. Последствия таких повреждений для пострадавшего, как правило, не особенно опасны. Судя по залеченности этих травм, их можно с определенной долей условности рассматривать как результат бытовых столкновений. Количество переломов такого рода составляет примерно половину всех выявленных повреждений как у мужчин (мог. Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 1; Карташево 2, кург. 6, погр. 4), так и у женщин (мог. Гаевский 1, кург. 3, погр. 5; Абатский 3, кург. 2, погр. 10, ск. 3) «активного» морфотипа.

Вторая разновидность травм относится к разряду боевых, а точнее, проникающих ранений, нанесенных оружием. Все разрушения перимортальные, которые также диагностированы у мужчин (мог. Мурзинский 1, кург. 6, погр. 2, ск. 1, «спокойный» морфотип (рис. 114-2, 120-1); Богдановка, кург. 6, погр. 11, ск. 1, «активный» морфотип (рис. 120-3); Бещаул 2, кург. 1, погр. 1 (рис. 120-2) и женщин (мог. Кокуйский 3, кург. 3, погр. 3, ск. 1; Марково 1, кург. 15, погр. 1, «активный» морфотип (рис. 120-4)). Таким образом, к разряду боевых поражений отнесены всего пять травм. В данную группу можно включить отмеченное Л. Н. Коряковой повреждение на черепе взрослого мужчины (мог. Ипкульский, кург. 1, погр. 3) – отверстие ромбической формы; упоминается также, что данный индивид имел искусственную деформацию головы [Корякова, 1986]. Еще один случай – это множественные проникающие ранения, зафиксированные на черепе мужчины (мог. Абрамово 4, кург. 22, верхнее погр. в могильной яме 5). Они могли быть нанесены чеканом [Полосьмак, 1987. С. 22–23].

Ранее уже было высказано предположение, что количество ранений, затрагивающих посткраниальный скелет, примерно в десять раз превосходит количество боевых травм на черепе [Ражев, 2009. С. 304; Шарапова, Ражев, 2013.

¹⁰³ Как было отмечено выше (см. § 3 данной гл.), на 694 индивида в анализируемой выборке приходится 201 череп.

С. 148], а число поражений, полученных во время сражения и не нашедших отражения на костях, еще больше. Кроме того подчеркивалось, что переломы, вылеченные давно, полностью и успешно, иногда могут не определяться при визуальном обследовании [Ражев, 2009. С. 288–289]. В основном это происходит из-за того, что повреждения, нанесенные незадолго до смерти и посмертные, весьма сложно отличить от разрушений костей после захоронения¹⁰⁴. Причины возникновения посткраниальных повреждений различны, с равной долей вероятности они могут быть следствием и агрессии, и определенных рисков, связанных с верховой ездой. Их последствия для пострадавшего, как правило, нелетальны. К таковым можно отнести хроническое заболевание сустава лодыжки, выявленное у молодого мужчины (мог. Гаевский 1, кург. 6, погр. 2), вызванное травмой стопы. Кроме того, у него определен ряд остеологических патологий, встречающихся в основном у людей пожилого возраста [Культура зауральских..., 1997. С. 102]. Порой повреждения тазобедренного и коленного суставов все же были серьезными и приводили к перераспределению нагрузок и поражениям позвоночника (мог. Яшкино 1, кург. 5, погр. 1) [Зубова и др., 2014]. Зажившие переломы ребер отмечены у скелета 1 из погребения 2 кургана 11 в могильнике Стрижево 1 [Погодин, 1992]. Заживление некоторых травм (например, перелома голени, который привел к хромоте) для представителей «спокойного» морфотипа происходило в относительно комфортных условиях (мог. Гаевский 1, кург. 5, погр. 1, ск. 1).

В социальном отношении *мужская* группа может быть охарактеризована однотипной. Погребальный инвентарь указывает статус воина и включает распространенные образцы оружия: клинки, лук и колчан со стрелами – и удила. В ограбленных могилах, кроме упомянутого комплекса вооружения, встречаются элементы защитного доспеха и также удила. Возраст этих представителей военнo-дружинного слоя, в том числе и тех, у кого идентифицированы боевые травмы, не моложе 20 лет. Суммарная характеристика *женской* выборки выглядит

¹⁰⁴ Считается, что после смерти кость может сохранять свою пластичность до двух месяцев [Sauer, 1998], из-за чего в ряде случаев различить повреждения, возникшие непосредственно перед смертью или вскоре после нее, затруднительно [Тур и др., 2018].

следующим образом: это взрослые женщины, не моложе 25 лет, артефакты из непо потревоженных погребений представлены украшениями. Представляет интерес тот факт, что в могилах, даже тех, где у погребенных диагностированы боевые повреждения черепа, не выявлены предметы вооружения, инвентарь отражает так называемый женский набор.

Выявленные в саргатских материалах *два черепа* со следами множественных ранений без следов заживления¹⁰⁵ наглядно демонстрируют широко известные случаи посмертного разрушения останков, вызванного повторяющимися атаками на труп. С точки зрения популярной ныне концепции культурной идентичности групповая/культурная принадлежность древнего населения могла иметь и крайне агрессивную форму выражения, вплоть до дегуманизации противника [Walker, 2001]. Альтернативный вариант – ритуальный характер подобных травм черепа у сообществ, населявших Южную Сибирь [Медникова, 2004. С. 143–180]. Некоторые множественные травматические повреждения этих групп были изучены антропологами. В частности, Д. В. Поздняковым обследован череп мужчины 30–35 лет из неграбленного погребения в пазырыкском могильнике Алагаил III (кург. 2). Надрезы и сквозные отверстия, свидетельствующие о различных повреждениях, – это травмы, полученные при скальпировании и декапитации, а также от чекана [Поздняков, 2004]. Причем данный вид оружия применялся как в бою, так и для совершения обряда жертвоприношения людей и животных [Кубарев, 1991. С. 80]. М. Б. Медникова, анализируя распространение трепанаций в раннем железном веке у населения различных районов Сибири и Центральной Азии, пришла к выводу, что ритуальное вскрытие черепной коробки было чрезвычайно популярным [Медникова, 2004. С. 154].

¹⁰⁵ Множественные ранения округлой формы – переломы, нанесенные чеканом (мог. Абрамово 4, кург. 22, верхнее погребение в могильной яме 5), – описаны Н. В. Полосьмак [Полосьмак, 1987. С. 22, 23]. Д. И. Ражев интерпретировал их как нанесенные по неподвижному телу [Ражев, 2009. С. 297].

Большая часть анализируемых погребений Тоболо-Иртышья датируется в интервале последние века до н.э. – первые века н.э.¹⁰⁶ Примечательно, что в указанный период на саргатской территории появляется практика преднамеренной деформации головы. В рассмотренной здесь выборке на трех черепах помимо травматических поражений имелись следы прижизненной деформации кольцевого типа. В определенной мере согласуются с этим и некоторые результаты исследований Н. П. Матвеевой. Анализируя материал погребальных памятников саргатской культуры, она пришла к заключению, что во II в. до н.э. – II в. н.э. выделяется новая прослойка, в которую включено 26,6 % мужского населения молодого возраста. Эта группа мужчин отнесена автором к представителям военных дружин [Матвеева, 2005. С. 147; Матвеева и др., 2005. С. 165]. Кроме группы мужчин Н. П. Матвеева выделяет и группу рядовых вооруженных женщин, чьи погребения также датированы ею II в. до н.э. – II в. н.э. Возникновение последней связывается с активными военными действиями на саргатской территории и мобилизацией людских ресурсов. Как следствие, происходит упадок материального благосостояния и объема общественных затрат на похороны [Матвеева, 2005. С. 147]. Непонятно, как согласуется такое предположение с высказанным ранее заключением Л. Н. Коряковой, В. А. Могильникова и самой Н. П. Матвеевой, согласно которому расцвет саргатской культуры пришелся на II в. до н.э. – II в. н.э., что выразилось в максимальном количестве и памятников этого периода, и богатых могил с предметами импорта [Могильников, 1992а. С. 296; Корякова, 1994б. С. 154; Культура зауральских..., 1997. С. 145–146; Матвеева, 2000. С. 71–72].

Как видно, абсолютное количество травм черепа все же невелико. В целом на почти тысячелетнюю историю населения саргатской общности приходится *всего* одиннадцать черепов со следами повреждений, из них только семь отнесены

¹⁰⁶ Схожие данные приводятся для сарматского населения Нижнего Поволжья. Хронологическое распределение травм в группах свидетельствует о том, что на материалах раннего и среднесарматского времени травматические повреждения наблюдаются относительно редко, хотя и намечается их рост к среднесарматскому времени. В материалах позднесарматского времени резко возрастает количество травм, в том числе и со смертельным исходом. При этом увеличение идет как по травмам свода черепа и лицевым повреждениям, так и по травмам костей посткраниального скелета. У поздних сарматов преобладают рубленые раны и компрессионные переломы [Балабанова и др., 2015. С. 17].

к категории боевых, более того, смертельных. Они нанесены предметами вооружения, среди которых выделяются стрелы и клинковое оружие, имевшие широкое распространение в саргатском мире. Ранее уже высказывались общие представления о технике ведения боя холодным оружием, согласно которым на голову приходится небольшое число ранений, в основном повреждения должны обнаруживаться на туловище [см.: Шарапова, Ражев, 2013. С. 147]. Это предположение находит подтверждение в различных источниках. Согласно данным госпиталей начала XX в., среди жертв насилия в Лондоне 6 % от 1730 травм приходится на шею и голову, в Нью-Йорке – 14 % от 11959 травм [Berger, Trinkaus, 1995]. Сравнение поражений разных отделов скелета на палеоматериалах индейцев Центральной Калифорнии также имеет весьма схожее соотношение: из 12 боевых травм только одна была на черепе, остальные приходились прежде всего на позвонки и элементы грудной клетки [Jurmain, 1991].

Приведенные данные, в том числе и палеопатологические, позволяют осторожно предположить, что количество ранений, затрагивающих посткраниальный скелет, примерно в десять раз превосходит количество боевых травм на черепе. Соответственно, число поражений, полученных во время сражения и не нашедших отражения на костях, еще больше. Исходя из этого, было высказано допущение, что около трети взрослых мужчин и женщин в саргатском обществе могли иметь такие ранения [Ражев, 2009. С. 313; Шарапова, Ражев, 2013. С. 147–148]. В то же время полученные повреждения могли быть различной степени тяжести, например, затрагивающие только мягкие ткани, но повлекшие смерть из-за развития возможных осложнений с неблагоприятным прогнозом. Однако существующие в археологической литературе сведения с опорой на этнографию представлены допущениями относительно возможной смерти безоружного населения – обитателей поселков [Chamberlain, 2006. P. 77–80]. Очевидно, что реакция организма и исход заболевания могли быть фатальными: смерть наступала быстро, поражения костной ткани не происходило [Wood et al., 1992; De Witte, Stojanowski, 2015].

Возвращаясь к теме «амазонок» в лесостепном социуме, необходимо подчеркнуть, что о военных занятиях женщин оружие в составе погребального инвентаря может свидетельствовать только в сочетании с боевыми травмами костей скелета [Gul'iaev, 2003]. Однако даже там, где отмечается высокий процент перимортальных повреждений, связь между такими предметами и боевыми травмами на женских черепах не прослеживается [Тур и др., 2018]. Например, для женских погребений булан-кобинской культуры Алтая с единичными находками наконечников стрел, панцирных пластин «нельзя исключить, что при каких-то обстоятельствах некоторым женщинам приходилось братья за оружие в целях защиты, нет оснований предполагать их участие и в наступательных боевых действиях» [Там же. С. 137].

Обращает на себя внимание и тот факт, что в рассматриваемой саргатской выборке не обнаружены останки детей со следами насильственных травм. Близкие данные получены в разных группах сарматского населения [Балабанова и др., 2015. Табл. 12–15]¹⁰⁷. Напротив, в Северо-Западной Туве на многих черепах и скелетах из могильника Кокэль начала I тыс. н.э. имеются следы различного рода травм, нанесенных боевым оружием и послуживших причиной смерти погребенных [Савинов, 2005. С. 208]. При этом антропологический материал содержит и детские скелеты со следами рубящих ударов на позвонках [Алексеев, Гохман, 1970]. Кроме того, в синхронных группах скотоводов Горного Алтая частота травм черепа (всего обследовано 470 черепов из 20 могильников), сопутствующих смерти (повреждения, нанесенные оружием с острым лезвием, вдавленные и дырчатые переломы), составляет у мужчин 13,3 %, у женщин – 6,4 %, у детей и подростков – 4,8 %. В локальных группах этот показатель существенно варьируется, что объясняется внутри- и межгрупповыми вооруженными конфликтами [Тур и др., 2018].

¹⁰⁷ В раннесарматской выборке травма, относимая к категории боевых, была выявлена только у одного подростка 10–15 лет предположительно мужского пола [Балабанова и др., 2015. С. 184]. Крайняя малочисленность детских костяков – не более 1 % – наблюдается в позднесарматской группе, которая в целом характеризуется высоким возрастом дожития, особенно для мужской части населения – 61 % мужчин в возрасте *maturus* – *senilis* [Там же. С. 195].

Сравнение доступных материалов могильников раннего железного века [Рохлин, 1965; Наран, Тумэн, 1997; Шпакова, Бородовский, 1998; Рыкун, 1999; Батиева, 2002; Перерва, 2002; 2013; Тур и др., 2018; Куфтерин, Воробьева, 2020] было предпринято для оценки относительного уровня черепного травматизма у саргатского населения. С учетом этих данных и приведенных выше заключений о доле ранений в голову, рассмотренные древние коллективы по уровню боевого травматизма были разделены на три категории [Ражев, 2009. С. 301. Табл. 6.19; Шарапова, Ражев, 2013. С. 148. Табл. 2]. К первой отнесены общества, в погребениях которых травмированные черепа не превышают 3 %. Боевой травматизм затрагивает очень небольшую часть таких коллективов, и очевидно, что большинство не участвовало в военных сражениях [Батиева, 2002]. Из рассмотренных серий сюда попадает скифское население, оставившее грунтовые могильники. Во вторую категорию объединены коллективы, в чьих погребениях травмированные черепа, как преимущественно мужские, так и женские, составляют 3–10 %. Боевые поражения в этих случаях затрагивают значительную часть общества. По всей видимости, такие коллективы регулярно втягивались в военные действия в качестве как агрессоров, так и жертв [Рохлин, 1965; Шпакова, Бородовский, 1998; Рыкун, 1999; 2013. С.161]. В эту категорию попадает большинство групп населения раннего железного века. Сюда же можно отнести и рассматриваемую часть саргатской общности. Третью категорию составляют объединения, в чьих некрополях доля травмированных мужских черепов выше 10 % [Наран, Тумэн, 1997; Перерва, 2002; Балабанова и др., 2015; Тур и др., 2018]. Не вызывает сомнения, что все эти мужчины принимали активное участие в военных действиях и имели боевые раны. К данной категории относятся поздние сарматы и хунну, включая синхронное население Горного Алтая.

Между тем характер травматизма в группе в целом связан с конкретной ситуацией: повышенный риск имеет группа, подвергающаяся нападению, нежели нападающая [Бужилова, 1995. С. 100]. Наличие рубленых ран без следов заживления, их распределение на черепах оседлого населения Прикамья (Ново-Сасыкульский могильник пьяноборской культуры) позволили говорить о жертвах

вооруженного нападения. В этой связи примечательна не только датировка погребений, из которых происходят травмированные черепа, – вторая половина I – середина II в. н.э. [Куфтерин, Воробьева, 2020. С. 100–101, 106]. Обращает на себя внимание факт наличия клинкового оружия, представленного в арсенале скотоводческих коллективов при заметно невысокой вооруженности населения пьяноборской культуры [Иванов, 1984. С. 74].

Еще одна картина физического уничтожения может быть представлена парциальными погребениями и кенотафами. Однако достоверных сведений о захоронениях отдельных частей человека в материалах старых раскопок не содержится, нет их и среди опорных памятников Приитоболья. Есть единичные свидетельства бесспорно коллективных погребений, среди которых выделяется могильник Коконовка 1 в Прииртышье. В центральном погребении 1 кургана 14 на дне расчищено пять однонаправленных взрослых мужских костяков без черепов (рис. 21). Грабителями разрушена только западная часть могилы, однако ни в насыпи, ни в заполнении ямы черепа или их фрагменты не обнаружены [Труфанов, 1989. Рис. 8, 10]. По инвентарю датировка комплекса может быть отнесена к рубежу эр. Еще один пример синхронного коллективного захоронения, датированного последними вв. до н.э., представлен погребением 5 кургана 2 в могильнике Богдановка. Это неграбленая периферийная могила с бревенчатым перекрытием содержала останки пяти молодых мужчин (рис. 13-А). В позвонках одного индивида застрял наконечник стрелы [Могильников, 1970].

Выше уже отмечалось, что в анализируемых материалах 41 могильника саргатской общности были собраны сведения о девяти кенотафах – символических захоронениях без тела покойного (рис. 38). Допускаю, что в действительности их могло быть и больше, но состояние разрушенных объектов не позволяет уверенно разделить кенотафы и могилы. В подавляющем большинстве в них содержался инвентарь, аналогичный мужским комплексам (рис. 39-1,3,4, 40-1–3). Исключение представлено могильником Новооболонь (кург. 6, погр. 6), где не было вещей. Почти все кенотафы датированы последними вв. до н.э., кроме могильника Богдановка (кург. 1, погр. 4) – последние вв. до н.э.

– первые вв. н.э. Культурно-хронологическая специфика этих объектов может быть дополнена при обращении к материалам за пределами саргатского ареала. Например, в позднесарматском могильнике Покровка 10 из 82 раскопанных курганов 12 содержали кенотафы¹⁰⁸. В семи из них был обнаружен нейтральный по отношению к биологическому полу инвентарь – керамика, в остальных какие-либо находки отсутствовали [Малашев, Яблонский, 2008. С. 78. Табл. 1]. В могильнике позднесяньбийского времени Айрыдаш-1 (вторая половина III – V вв. н.э.) из 16 кенотафов в трех находились предметы женского инвентаря (пряслице, украшения), остальные – безынвентарные [Тур и др., 2018. С. 138]. Для группы населения Алтая, погребенной в курганах могильников Степушка-1, -2, большое количество кенотафов, в том числе с оружием, определяется символическими захоронениями воинов, погибших на стороне. Наблюдаемые различия в антропологической выборке (среди умерших почти нет молодых женщин) объясняется тем, что в отсутствие мужчин молодые женщины могли быть уведены в плен [Там же]. Как видно, эти примеры явно не исчерпывают всего возможного многообразия ритуально-символического поведения евразийских скотоводов эпохи железа.

Продолжая обсуждение степени воинственности обитателей лесостепи, за дополнительным аргументом можно обратиться к материалам раскопок поселений. В. А. Борзунов, много времени посвятивший изучению фортификации зауральских городищ, считает, что вооруженные конфликты происходили главным образом между соседними общинами, а боевые действия велись преимущественно силами небольших отрядов [Борзунов, 1994]. Представляется, что и фортификации возводились прежде всего для противостояния нападению таких отрядов: для ведения войны большими силами зауральские «городки» с их миниатюрными, по меркам эпохи, рвами, невысокими стенами и малой площадью были просто не приспособлены [Среда, культура..., 2009. С. 255]. Между тем коренные причины распространения укреплений могли быть иными.

¹⁰⁸ В таких курганах под насыпью не содержалось погребения, а сосуды были расчищены на поверхности погребенной почвы или в неглубокой яме [Малашев, Яблонский, 2008. С. 8–43].

Примечательно, что в доступном для палеопатологического изучения антропологическом материале из могильника Куртугуз I следы травматических поражений не обнаружены [Ковригин, Ражев, 2007].

Обобщая материалы раскопок саргатских поселений, обращаешь внимание на отсутствие сколько-нибудь заметных следов пожарищ, нет и следов опустошительных вторжений и их жертв [Матвеева и др., 2005; Среда, культура..., 2009; Daire et al., 2002]. Поселения в лесостепной зоне, как правило, приурочены к берегам рек и озер, что определялось спецификой ведения скотоводческого хозяйства. Саргатские городища с обширными селищами интерпретируются как своеобразные племенные центры, играющие к тому же определенную консолидирующую роль [Корякова, 1994а. С. 314]. Например, как уже отмечалось в главе 2, исключительно военная функция Павлинова городища не может быть принята безоговорочно из-за малой площади крепости (рис. 48) и неспособности служить убежищем¹⁰⁹. Это наблюдение позволяет предположить, что для обитателей таких поселков проживание в крепости могло быть свидетельством их особого статуса.

Таким образом, существующие интерпретации оборонительной, хозяйственной функции городищ могут быть дополнены социальными различиями. Конструктивные особенности жилищ на посаде и крепости не имеют существенных различий (рис. 49, 50, 57), о чем уже упоминалось в главе 2 (§ 3). Не исключено, что социальная неоднородность, выразившаяся в погребальной обрядности, прежде всего в мемориальных трудозатратах и сопроводительном инвентаре, могла выражаться в том числе в иерархии жилого пространства и среды обитания. Во всяком случае, при изучении причин появления укрепленных поселений данное обстоятельство также нуждается в рассмотрении. Все это позволяет говорить о полифункциональности саргатских поселений. Допускаю, что традиции бастионно-башенных укреплений Зауралья и Западной Сибири в

¹⁰⁹ Примечательно, что почти все наконечники стрел (и бронзовые, и костяные) в коллекции городища происходят из построек на крепости и на посаде. Их не было в пределах раскопанных оборонительных сооружений (рвы, валы). Около половины костяных наконечников (10 экз.) найдены одним скоплением вместе с заготовками в постройке 3 [Среда, культура..., 2009. С. 86–87].

эпоху железа возникли в силу потребности городищ-убежищ для защиты от соседей, как ближних, так и дальних. Однако, как уже отмечалось, взаимоотношения групп лесостепных аборигенов друг с другом, да и с внешним окружением, имели прагматический характер, основанный на разветвленной сети разнообразных факторов: экологических, социальных, экономических. Собственно, демонстрационный характер ряда крепостей, например Рафайловского городища, не исключает и Н. П. Матвеева (рис. 121) [Матвеева и др., 2005. С. 165].

Несомненно, военные столкновения, в том числе и с применением оружия, были распространены в саргатском мире, причем население выступало как агрессорами, так и жертвами. Причины таких конфликтов весьма разнообразны: грабеж скота, полонение женщин, сбор дани, контроль пастбищ и торговых путей и т.п. Однако эти столкновения все же не были постоянными, а утверждение Н. П. Матвеевой о захватнических войнах и повышенной смертности молодых мужчин вследствие этих войн [Матвеева, 2005. С. 147] пока слабо подтверждается археологически.

Данные палеоантропологии также не позволяют принять ее полностью. В частности, модальный возраст смерти мужчин для саргатской курганной выборки составляет 35–39 лет [Ражев, 2009. С. 53]. Сопоставляя результаты анализа палепатологических проявлений и половозрастных особенностей носителей саргатской культуры, Д. И. Ражев реконструировал ожидаемую высокую военную смертность юношей в саргатском обществе в интервале 15–24 лет и ее снижение для людей свыше 30 лет. Первый показатель в целом совпадает с предложенной Н. П. Матвеевой моделью, включающей представителей «военной дружины преимущественно юного возраста» [Матвеева, 2005. С. 147]. Но, как подчеркивает Д. И. Ражев, для саргатской курганной выборки наблюдается как раз противоположная картина: «в возрасте “новобранцев” имеется незначительное количество умерших, а в возрасте “ветеранов” – максимум» [Ражев, 2009. С. 51, 53. Рис. 3.2]. Таким образом, палеоантропологические наблюдения не позволяют считать гибель в результате боевых действий основной причиной смерти мужчин

в рассматриваемой группе древнего населения региона. Очевидно, что интенсивность военной деятельности в саргатской общности была невелика, по всей видимости, значительно ниже, чем у поздних сарматов и хунну.

При сравнении весьма показательными оказываются данные по некоторым позднесарматским могильникам, в которых отмечается высокий уровень лицевых травм и повреждений преимущественно на мужских черепах [Балабанова и др., 2015. С. 216, 225. Табл. 5, 14]. Локализация ряда повреждений позволила ранее предположить, что противники при нанесении таких травм находились лицом к лицу [Перерва, 2002. С. 147]. Насильственный характер большинства травм черепа в нижеволжской и нижедонской локальных сериях реконструирован по выявленным рубленным ранениям, компрессионным переломам, причем только у мужчин. Малое количество дефектов с летальным исходом позволило предположить применение защитного снаряжения типа кожаного шлема [Перерва, 2010. С. 235]. Зафиксированные особенности травм (свод черепа, лицевой отдел, гендерная дихотомия) и развитое военное дело позволили говорить о позднесарматском обществе как крайне агрессивном [Балабанова и др., 2015. С. 193, 198. Табл. 5, 14; Перерва, 2010. С. 247]¹¹⁰.

Более того, ранения, полученные с применением оружия, равно как и облик материальной атрибутики, представленной различными видами оружия и конской сбруей, далеко не всегда поддаются только однозначной интерпретации – высокой вовлеченности этой части общества в реальную военную деятельность. Образ жизни скотоводческих культур, их идеология и психология, физическая активность, обусловленная также и способом ведения хозяйства, – это источник повышенного травматизма. М. А. Балабанова и Е. В. Перерва не исключают, что «лицевые повреждения могли быть последствием обряда перехода или результатом частых боевых игр, столкновений, или маркером социальной нестабильности в обществе» [Балабанова и др., 2015. С. 199]. В качестве дополнительного аргумента они приводят мнение А. М. Хазанова о

¹¹⁰ В археологии позднесарматской культуры появились публикации, меняющие мнение о высокой милитаризованности населения. Высокий травматизм действительно присутствует, но уверенных случаев боевых ран не очень много [Кривошеев, Перерва, 2017]. В общей выборке позднесарматских комплексов погребения с оружием занимают 23 %, что сходно с ситуацией для других сарматских культур [Кривошеев, 2020].

существовании рукопашного боя у сарматов, что также могло быть причиной частых лицевых травм [Там же; Хазанов, 1971. С. 92]. По справедливому замечанию А. И. Першица, военизированность быта в скотоводческих обществах имела не только материальное выражение (наличие большого количества оружия и поголовная вооруженность мужчин), но и неумышленный характер (состязания и военные игры). Все это не исключало грабительских набегов, которым практически не было мирной альтернативы [Першиц, 1994. С. 167, 171].

Рассмотренные материалы позволяют допустить, что на последние века до н.э. – первые века н.э. приходится некий «всплеск» напряженности и конфликтов. Приведенные выше исследования по Прикамью в определенной мере дополняют данную гипотезу, свидетельствуя о напряженной обстановке на границах оседлого и кочевого миров. Как дополнительное звено в цепи рассуждений могут рассматриваться погребения II-I вв. до н.э. – I-II вв. н.э., в которых встречается обилие изделий импорта. По мнению Л. Н. Коряковой, это может свидетельствовать об усилении связей между саргатскими группами и родами степных кочевников, втянутых в политические события того времени [Корякова, 1994б. С. 154].

Кроме этого, ряд публикаций демонстрируют правомерность утверждения, что северный участок Великого шелкового пути начал функционировать уже в этот период [Погодин, 1996; Довгальук, 1998; Матвеева, 2000. С. 78–79; 2014]¹¹¹. В этом же ключе может быть рассмотрена гипотеза В. Е. Маслова [Маслов, 2018] о хуннско-китайском происхождении поясных накладок из Сибирской коллекции и аналогичных им накладкам-застежкам лаковых поясов и накладкам на ножны кинжала из могильников Сидоровка и Исаковка 1 в Омском Прииртышье [Матющенко, Татаурова, 1997. С. 148. Рис. 27; Погодин, 1998а. С. 36–39. Рис. 4; 1998б. С. 33–34]. Отметив, что эти накладки крепились на парадные лаковые пояса, он отнес последние к категории статусных вещей: «Они могли быть пожалованы вместе с роскошной одеждой вассалу хуннского шаньюя, игравшему важную роль в транзитной торговле. Нельзя исключать также того, что саргатские вожди возглавляли отряды наемной кавалерии на территории Ханьской империи

¹¹¹ Рассматривая причины вооруженных столкновений, А. И. Першиц допустил, что торговля вместе с другими обстоятельствами влекла за собой войну или мир. И хотя торговый обмен способствовал поддержанию мира, гарантией его он не был [Першиц, 1994. С. 172].

и получали специально изготовленные для них драгоценные награды непосредственно от императорского двора» [Маслов, 2018. С. 37].

Между тем факт нахождения предметов вооружения в саргатских захоронениях может не только отражать степень воинственности, но и маркировать статус погребенных индивидов. Представляется, что повсеместное наличие оружия среди элиты имело в немалой степени знаковый характер, что нашло отражение в саргатском погребальном источнике. Подобная форма выражения престижно-знаковой символики могла, очевидно, иметь прагматические корни (вовлеченность населения или определенной группы в реальную военную деятельность). Необходимо учесть и то, что период II-I вв. до н.э. – I-II вв. н.э. характеризуется не только большим количеством импорта и его возросшим ассортиментом, но и, как было отмечено выше, расцветом саргатской культуры, что предполагало и определенные демографические изменения. Считается, что в условиях повышенной плотности населения и интенсивного миграционного потока социальная напряженность, как правило, возрастает [Ember C.R., Ember M., 1992]. Однако абсолютное количество боевых ранений в саргатской популяции все же невелико.

§ 4. Данные изучения палеоантропологического материала к оценке социальной стратификации и мобильности населения саргатской культуры¹¹²

Активное привлечение результатов разнопланового изучения антропологических материалов предполагает «визуализацию прошлого» –

¹¹² При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Шарапова С.В., Филипенко А.С., Ражев Д.И., Трапезов Р.О., Черданцев С.В. Два мужских погребения из кургана саргатской культуры: биоархеологический и палеогенетический обзор // *Stratum Plus*. – 2020. – №3. – С. 353–378. (JCI 0,25) (доля автора 1 п.л.);

Шарапова С.В., Бачура О.П., Грачев М.А., Карапетян М.К., Киселева Д.В., Косинцев П.А., Костомаров В.М., Окунева Т.Г., Шагалов Е.С., Якимов А.С. Информационный потенциал разрушенных погребений саргатской культуры: курган Новопокровка 16 в Среднем Прииртышье // *Нижеволжский археологический вестник*. – 2023. – Т. 22. №2. – С. 65–96. (SJR 0,28) (доля автора 0,5 п.л.).

характеристику населения, оставившего анализируемые погребальные памятники. Разнообразные высокотехнологичные методики позволяют получить ответы на многочисленные вопросы о происхождении, реконструировать условия жизни и векторы связей лесостепного социума. Отдельным источником, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях являются данные палеогенетики¹¹³, активно набирающей обороты и в археологии саргатской культуры. Сложно говорить о полноте и исчерпывающей содержательности (все же это тема самостоятельных исследований), однако представляется, что приводимые ниже результаты междисциплинарного изучения носителей саргатской культуры во взаимосвязи палеопатологии и палеогенетики и с археологическим материалом информативны в контексте происхождения лесостепного социума, его среды обитания и связанного со средой социального поведения.

В традиции отечественной палеоантропологии широко распространен метод коннекции краниологических, одонтологических и остеологических данных. Например, такая программа была реализована на позднесарматских материалах могильника Покровка 10 [Малашев, Яблонский, 2008. С. 73–81, 87–100]. Для саргатской культуры проведенные исследования в большинстве своем выполнены без критического анализа результатов изучения, представляя итоги краниологического [Багашев, 2000; 2017], краниологического и морфологического [Ражев, 2009] или одонтологического [Зубова, 2009; Слепцова, 2020; 2021; 2023] изучения. Существенным дополнением к ним являются данные молекулярно-генетического анализа, частично опубликованного [Пилипенко и др., 2009; 2013; 2017; Шарапова и др. 2019; 2020].

Представители разных морфологических групп, равно как и те, чьи скелетные останки оказались недоступными для анализа маркеров физических нагрузок, относятся к одному антропологическому варианту. При этом

¹¹³ Яркий пример внутригруппового анализа палеодНК представлен результатами полногеномного изучения останков индивидов, захороненных под одним курганом (срубно-алакульское время, Южный Урал). Установлено родство внутри группы погребенных, а также определен принцип патрилинейности в основе формирования кургана-кладбища [Blöcher et al., 2013].

значительное сходство локальных и хронологических серий внутри саргатской курганной выборки позволило говорить о единстве их расового облика – «сибирский лесостепной» краниокомплекс в составе группы восточных европеоидов [Ражев, 2009. С. 236, 244]. Ранее А. Н. Багашев в ходе изучения краниологических серий из саргатских могильников допустил формирование носителей культуры на основе местных племен, а также выявил компоненты, связанные с сакским и савромато-сарматским населением [Багашев, 2000. С. 188, 248–250]. Выше уже отмечалось, что и археологический материал демонстрирует как местные черты, так и отчетливо выраженные признаки, не имеющие корней в лесостепной среде, однако широко распространившиеся в Тоболо-Иртышской провинции в раннем железном веке.

Одонтологический анализ выполнен для краниологических серий Барабы и Притоболья на материалах саргатской и гороховской культур. Полученные результаты органично дополнили предпринятые ранее исследования: ведущая роль в формировании одонтологической специфики населения саргатской культуры принадлежит пришлому компоненту, связанному с кочевыми сарматскими группами [Слепцова, 2021; 2023]. Некоторое различие между барабинскими и притобольскими одонтологическими комплексами, вероятно, может объясняться особенностями формирования и размером анализируемых выборок.

На данном этапе базовыми маркерами при проведении палеогенетических исследований саргатского населения являются маркеры с однородительским типом наследования – митохондриальная ДНК (далее – мтДНК) и Y-хромосома, с материнским и отцовским типом наследования соответственно [Пилипенко, 2014. С. 154]. МтДНК саргатского населения исследована лучше¹¹⁴, в основном для индивидов из могильников Барабы [Молодин и др., 2013; Пилипенко и др., 2013; 2017], частично – Притоболья [Шарапова и др., 2019; 2020] и Прииртышья.

¹¹⁴ В какой-то мере еще и потому, что мтДНК остается наиболее популярным маркером для этногенетических реконструкций методами палеогенетики. Это объясняется и ее информативностью для реконструкции поздних этапов генетической истории популяций человека, и удобством анализа структуры вариантов мтДНК в древнем антропологическом материале, и лучшей сохранностью в останках, обусловленной большим исходным числом копий мтДНК в клетках организма по сравнению с локусами ядерного генома [Пилипенко, 2014. С. 154].

Между тем данные по обоим генетическим маркерам продолжают пополняться, в том числе результатами подробного исследования мтДНК (полные митохондриальные геномы) и Y-хромосомы с применением методов высокопроизводительного секвенирования. Несомненно, что маркеры с однородительским наследованием информативны еще и с филогеографической точки зрения [Пилипенко и др., 2013; 2020]. Дальнейшие перспективы палеогенетического анализа саргатского населения связаны с анализом маркеров ядерной ДНК: как мужской Y-хромосомы, так и аутосомных маркеров, вплоть до полногеномного секвенирования.

Доступные для диссертации данные (табл. 8) содержат сведения о 52 индивидах из могильников Барабы, Прииртышья и Притоболья, мтДНК образцы которых обладают определенной структурой и филогенетическим положением. При этом материал, пригодный для палеогенетических исследований, проводимых коллективом Межинститутской лаборатории молекулярной палеогенетики и палеогеномики ИЦиГ СО РАН¹¹⁵, включает большее количество образцов всех локальных серий, однако работа с ними еще не завершена. Информация о двух индивидах из Сопининского 1 могильника в Притоболье взята из опубликованных источников [Bennett, Kaestle, 2010]. Очевидно, что для реконструкции генетической истории саргатского населения Зауралья и Западной Сибири необходимы репрезентативные выборки. В недалекой перспективе – по завершении лабораторного этапа – такая работа возможна. Но уже сейчас немногочисленные результаты молекулярно-генетического анализа могут быть использованы для рассмотрения частных случаев формирования саргатских кладбищ, характера связей с внешним окружением и т.д. Ниже представлены данные по составу генофонда мтДНК саргатского населения Барабинской лесостепи, Среднего Прииртышья и Притоболья¹¹⁶. Кроме того, для небольшой

¹¹⁵ Лаборатория отвечает всем требованиям для проведения работ с древней ДНК и верификации полученных результатов, методы верификации описаны [Пилипенко и др., 2017; 2018].

¹¹⁶ К сожалению, молекулярно-генетические исследования обитателей горно-лесного и лесостепного Зауралья начальной стадии железного века практически не проводились. Работы с немногочисленными доступными для анализа образцами из могильника Куртугуз I еще не завершены. В то же время материал Барабинской лесостепи составляет заметное исключение: опубликованы результаты исследования мтДНК населения эпохи палеометалла,

группы саргатского населения проведено изучение аллельных профилей STR-локусов Y-хромосомы.

На данном этапе единственная серия, на фоне которой пока можно комментировать и сравнивать полученные данные – Барабинская¹¹⁷. Если опираться на первые результаты предпринятых палеогенетических исследований населения саргатской культуры по структуре генофонда мтДНК, эта локальная серия вписывается в круг популяций – носителей культур скифского круга, причем как из Южной Сибири, так и более западных групп, включая собственно скифов [Пилипенко и др., 2009; 2013].

Как видно из таблицы 8, структура генофонда мтДНК саргатской популяции состоит из вариантов как западно-евразийского, так и восточно-евразийского происхождения. Однако стоит отметить, что оба кластера гаплогрупп мтДНК – это наиболее «грубые» филогеографические категории в отношении мтДНК, дающие представление о картине генетических расстояний популяций ранних кочевников Евразии [Пилипенко и др., 2020. С. 25]. Почти все характеризуются смешанным генофондом. Судя по опубликованным данным (рис. 122), различные группы имеют разное соотношение западных и восточных компонентов, но есть и те, в которых представлен только восточно-евразийский кластер, – сянъби и дунху [Там же. С. 37. Рис. 3].

Таблица 8

Исследованные палеоантропологические материалы и результаты филогенетического и филогеографического анализа мтДНК и Y-хромосомы

Комплекс/источник палеогенетических данных	Данные антропологии	Гаплогруппа мтДНК	Гаплогруппа Y-хромосомы
<i>Бараба</i>			
Абрамово 4, кург. 12, погр. 3 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 25–40 лет, «спокойный» морфотип	U4; западно-евразийский вариант, типичен для региона	

в том числе переходного периода от бронзового века к железному, в частности городища Чича-1 [Молодин и др., 2013].

¹¹⁷ Генофонд Барабинской серии, наряду с останками индивидов из погребений в анализируемых могильниках, включает данные и из других могильников (в диссертации учтены 26 доступных образцов).

Комплекс/источник палеогенетических данных	Данные антропологии	Гаплогруппа мтДНК	Гаплогруппа Y-хромосомы
Абрамово 4, кург. 18, погр. 3 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 40–45 лет	D; восточно-евразийский вариант, типичен для более восточных и юго-восточных районов	
Венгерово 7, кург. 1, погр. 4 (ИЦИГ СО РАН)	неопределим	C; восточно-евразийский вариант, типичен для региона	
Венгерово 7, кург. 1, погр. 6 (ИЦИГ СО РАН)	неопределим	U2a; ярко выраженное южное происхождение варианта	
Венгерово 7, кург. 1, погр. 7, ск. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 40 лет	H; западно-евразийский вариант	
Венгерово 7, кург. 1, погр. 7, ск. 2 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 25–30 лет	идентичен ск. 1	
Венгерово 7, кург. 2, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 35 лет	J; западно-евразийский вариант	
Марково 1, кург. 2, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♂, взрослый	HV2; ярко выраженный западно-евразийский вариант южного происхождения	
Марково 1, кург. 1, погр. 1, ск. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 40 лет	U4; западно-евразийский вариант, типичен для региона	
Марково 1, кург. 5, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 35–50 лет, «активный» морфотип	D; восточно-евразийский вариант, типичен для более восточных и юго-восточных районов	
Марково 1, кург. 7, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♀	H; западно-евразийский вариант, скорее всего, привнесен из более южных районов	
Марково 1, кург. 8, погр. 6 (ИЦИГ СО РАН)	♀, взрослая, «активный» морфотип	D; восточно-евразийский вариант, широко распространен	
Марково 1, кург. 9, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♂, взрослый, «спокойный» морфотип	U2e; западно-евразийский вариант, типичен для региона	
Марково 1, кург. 19, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	ребенок, 10–12 лет	N1a1a1; западно-евразийский вариант, с запада, для региона не характерен	
Марково 1, кург. 19, погр. 4 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 25–35 лет, «активный» морфотип	B; ярко выраженный восточно-евразийский вариант, привнесенный из более восточных регионов	
Марково 1, кург. 20, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	ребенок, 9–11 лет	C; восточно-евразийский вариант, типичен для региона	

Комплекс/источник палеогенетических данных	Данные антропологии	Гаплогруппа мтДНК	Гаплогруппа Y-хромосомы
Марково 1, кург. 20, погр. 2 (ИЦиГ СО РАН)	ребенок, 7–11 лет	H; западно-евразийский вариант, скорее всего, привнесен из более южных районов	
Марково 1, кург. 22, погр. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 50–60 лет	U4; западно-евразийский вариант, типичен для региона	
Марково 1, кург. 23, погр. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 25–45 лет	C; восточно-евразийский вариант, типичен для региона	
Марково 1, кург. 23, погр. 2 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 25–40 лет	H; западно-евразийский вариант	
Марково 1, кург. 24, погр. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 25–35 лет, «активный» морфотип	U2e; западно-евразийский вариант, типичен для региона	
Марково 1, кург. 24, погр. 2 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 30–45 лет, «спокойный» морфотип	N2a; западно-евразийский вариант, с запада, для региона не характерен	
Марково 1, кург. 24, погр. 3 (ИЦиГ СО РАН)	♀, взрослая, «спокойный» морфотип	H; западно-евразийский вариант, с запада, в предшествующие периоды для региона не был характерен	
Марково 1, кург. 26, погр. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 25–40 лет	N2a; западно-евразийский вариант, с запада, для региона не характерен	
Марково 1, кург. 27, погр. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 30–45 лет	N1a1a1; западно-евразийский вариант, с запада, для региона не характерен	
Яшкино 1, кург. 5, погр. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 40–45 лет, «активный» морфотип	U2e; западно-евразийский вариант, типичен для региона	
<i>Прииртышье</i>			
Исаковка 1, кург. 5, погр. 2, ск. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 30–70 лет	N1a; западно-евразийский вариант, с запада или юго-запада	N1a1; характерна для региона и для населения саргатской культуры
Исаковка 1, кург. 5, погр. 3А, ск. 1 (ИЦиГ СО РАН)	неопределим, взрослый	N1a; западно-евразийский вариант, с запада или юго-запада	
Исаковка 1, кург. 6, погр. 4, ск. 3 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 30–50 лет	A12; восточно-евразийский вариант, специфичен для Западной Сибири, в том числе и для предшествующих групп региона в эпоху бронзы	
Исаковка 1, кург. 6, погр. 7 (ИЦиГ СО РАН)	неопределим	U7; ярко выраженный вариант южного происхождения	
Исаковка 1, кург. 6, погр. 11 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 25–40 лет	J; западно-евразийский вариант, скорее всего южного происхождения	

Комплекс/источник палеогенетических данных	Данные антропологии	Гаплогруппа мтДНК	Гаплогруппа Y-хромосомы
Исаковка 1, кург. 8, погр. 4, ск. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 25–45 лет	U2e; западно-евразийский вариант, типичен для региона	
Исаковка 1, кург. 8, погр. 4, ск. 2 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 20–30 лет	идентичен ск. 1	
Исаковка 1, кург. 9, погр. 2, ск. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–45 лет, «спокойный» морфотип	T1; западно-евразийский вариант, широко распространен, в том числе в Западной Сибири	
Исаковка 1, кург. 9, погр. 2, ск. 2 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–40 лет, «спокойный» морфотип	U5a; западно-евразийский вариант, широко распространен	
Исаковка 1, кург. 9, погр. 2, ск. 3 (ИЦИГ СО РАН)	♀	T1; западно-евразийский вариант, широко распространен, в том числе в Западной Сибири	
Исаковка 1, кург. 10, погр. 6 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–50 лет	T1; западно-евразийский вариант, широко распространен, в том числе в Западной Сибири	
Исаковка 1, кург. 12, погр. 4 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–40 лет	T; западно-евразийский вариант, широко распространен, в том числе в Западной Сибири	N1a1; характерна для региона и для населения саргатской культуры
Бешаул 4, кург. 1, погр. 2 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 35–60 лет	G2a; восточно-евразийский вариант, из более восточных, юго-восточных регионов (Южная Сибирь)	N1a1; характерна для региона и для населения саргатской культуры
Бешаул 2, кург. 2, погр. 5 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 18–25 лет	H; западно-евразийский вариант, широко распространен	
Бешаул 2, кург. 3, погр. 2 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 20–35 лет, кольцевая деформация головы	T; западно-евразийский вариант, широко распространен, в том числе в Западной Сибири	
Бешаул 2, кург. 3, погр. 3 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–45 лет	A; восточно-евразийский вариант, Северная Азия	N1a1; характерна для региона и для населения саргатской культуры
Бешаул 2, кург. 3, погр. 4 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–45 лет	T; западно-евразийский вариант, широко распространен, в том числе в Западной Сибири	
Бешаул 2, кург. 4, погр. 1 (ИЦИГ СО РАН)	♀, 35–60 лет, кольцевая деформация головы	K; западно-евразийский вариант, широко распространен	
Бешаул 2, кург. 4, погр. 3 (ИЦИГ СО РАН)	♂, 30–50 лет	I; западно-евразийский вариант, с запада (?)	N1a1; характерна для региона и для населения саргатской культуры в частности

Комплекс/источник палеогенетических данных	Данные антропологии	Гаплогруппа мтДНК	Гаплогруппа Y-хромосомы
Стрижево 2, кург. 2, погр. 8, ск. 1 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 50–70 лет, кольцевая деформация головы	U5a; западно-евразийский вариант, широко распространен	
Стрижево 2, кург. 2, погр. 9 (ИЦиГ СО РАН)	неопределим	H; западно-евразийский вариант, широко распространен	
Стрижево 2, кург. 3, погр. 2 (ИЦиГ СО РАН)	♂, 30–45 лет		N1a1; характерна для региона и для населения саргатской культуры
Стрижево 2, кург. 3, погр. 4 (ИЦиГ СО РАН)	♀, 25–45 лет	C; восточно-евразийский вариант, типичен для региона	
<i>Притоболье</i>			
Карасье 9, кург. 11, погр. 2 [Шарапова и др., 2019]	♀, 40–50 лет, «спокойный» морфотип, кольцевая деформация головы	C (гаплотип 16223T-16298C-16327T); восточно-евразийский вариант	
Гаевский 1, кург. 6, погр. 1 [Шарапова и др., 2020]	♂, подросток, 10–12 лет, «активный» морфотип	U5a1 (гаплотип 16256T-17270T-16399G); западно-евразийский вариант, в большей степени характерен именно для саргатского населения (по сравнению с другими раннекочевыми группами)	R1a; характерный компонент мужского генофонда саргатского населения
Гаевский 1, кург. 6, погр. 2 [Шарапова и др., 2020]	♂, 20–25 лет, «активный» морфотип, кольцевая деформация головы	H (гаплотип 16304C); западно-евразийский вариант, мозаично встречается в разных популяциях, особенно на западе евразийских степей	N (вероятно, к подгруппе N1c), отлична по происхождению от барабинских вариантов N1a
Сопининский 1, кург. 1, погр. 9 [Bennett, Kaestle, 2010]	♂, 30–35 лет, «активный» морфотип	T1; западно-евразийский вариант	
Сопининский 1, бескурганное погребение [Bennett, Kaestle, 2010]	♂, 25–35 лет	Z; восточно-евразийский вариант, в большей степени характерен для населения Северо-Восточной Азии, Волго-Уралья, Северной Европы	

Даже в восточном ареале саргатской культуры – Барабинской лесостепи – западно-евразийские варианты доминируют (17 из 26 образцов), а восточно-евразийские варианты составляют чуть более четверти случаев. В восточно-евразийском кластере представлены варианты гаплогрупп D и C (по 3 образца). Причем последний был также выявлен в материалах могильников, не учтенных в

таблице 8, в частности мог. Венгерovo 7, Гришкина Заимка, Марково-1, Погорелка, Преображенка-6, Сарказон-1 (неопубликованные данные А. С. Пилипенко). Это обстоятельство позволяет предположить, что присутствие выраженного восточно-евразийского компонента, и особенно гаплогруппы С, является весьма характерным признаком генофонда мтДНК саргатской популяции Барабы в целом.

В Прииртышье также количественно выделяются западно-евразийские варианты мтДНК. Однако любые другие комментарии на данном этапе преждевременны еще и потому, что в относительно многочисленную (23 образца), но во многом рандомную выборку вошли материалы всего трех могильников правобережья: Исаковка 1¹¹⁸, Бещаул 2, Стрижево 2. Напомню, на территорию этого района распространения древностей саргатской культуры приходится самое большое количество раскопанных курганов.

К настоящему времени введены в научный оборот результаты палеогенетического исследования трех образцов Притоболья¹¹⁹, которые могут быть интересны на индивидуальном уровне. Эти образцы характеризуются хорошей сохранностью ДНК.

Могильник Карасье 9, курган 11, погребение 2 (женщина, 40–50 лет, «спокойный» морфотип) (рис. 86–88, 115-1, 117-А) [Шарапова и др., 2019]. Результаты молекулярно-генетического анализа совпали с определением пола методами физической антропологии. МтДНК женщины принадлежит к восточно-евразийскому варианту гаплогруппы С (гаплотип 16223Т-16298С-16327Т). Антропологический облик и одонтологические маркеры указывают на смешанный монголоидно-европеоидный тип со значительным преобладанием центральноазиатского монголоидного компонента [Ковригин и др., 2006. С. 198, 200]. Археологические и антропологические данные позволили предположить, что погребенная в кургане 11 женщина прямо или опосредованно связана своим

¹¹⁸ Не совсем понятны критерии отбора проб, поскольку среди них отсутствует материал из неогрбленных захоронений кургана 3 могильника Исаковка 1, а предпочтение отдано разрушенным погребениям курганов 8 и 9 этого же некрополя. Иными словами, образцы происходят из комплексов, не обладающих хорошим контекстом.

¹¹⁹ В работе в рамках молекулярно-генетических исследований находятся также образцы из других могильников Притоболья и Прииртышья.

происхождением с группами населения, обитавшими к югу и юго-западу от саргатского ареала в Барабе [Там же. С. 202], что также неоднократно отмечалось в тексте диссертации.

Географический вектор генетических связей этого индивида обсуждать по данным мтДНК сложно, так как выявленный вариант распространен очень широко, но именно в восточной и центральной части Евразии. С одной стороны, восточно-евразийский кластер Барабинской серии включает и варианты гаплогруппы С, в том числе и близкие по структуре для индивида из могильника Карасье 9. С другой – ряд кластеров из западно-евразийской части генофонда с высокой вероятностью могут маркировать как раз южное или юго-западное направление генетических связей. К ним, в частности, относятся U2a, HV2, N1a, J1b, некоторые варианты гаплогруппы H. Отдельные их варианты также могли быть заимствованы с запада [Молодин и др., 2013. С. 156–158; Пилипенко и др., 2017. С. 135. Табл. 1; неопубликованные данные А. С. Пилипенко]. То есть на данном этапе палеогенетический анализ однозначно не подтвердил, но и не опроверг возможное не лесостепное происхождение обсуждаемого индивида. Увеличить разрешающую способность генетического подхода к исследованию единичных индивидов (или небольших серий) позволяет получение их более полной генетической характеристики. Однако, как уже отмечалось, для популяций раннего железного века для определения возможных векторов генетических связей даже анализ ядерного генома одного индивида (или маленькой серии) не снимает ограничений. Возникающие сложности исследователи связывают с чрезвычайно высокой миграционной активностью раннекочевых групп, которая нарушила сложившиеся к тому времени филогеографические паттерны [Пилипенко и др., 2018. С. 130]. Это кажущееся противоречие может быть устранено, если при интерпретации результатов учитывать археологический контекст анализируемых материалов, что по отношению к рассматриваемому комплексу уже проводилось (§ 3 гл. 2, § 1 и § 2 данной гл.).

Могильник Гаевский 1, курган 6, погребение 1 (подросток, 10–12 лет, «активный» морфотип) (рис. 63, 64, 66, 115-2). Совокупность таксономических признаков позволила отнести его к большой европеоидной расе [Культура зауральских..., 1997. С. 97]. Для подростка получены полноценные данные по мтДНК, а данные по ядерным маркерам – неполные из-за слабой сохранности ДНК. Установленный гаплотип 16256Т-16270Т позволяет однозначно отнести этот вариант к гаплогруппе U5a1 западно-евразийского кластера мтДНК. Присутствие варианта гена амелогенина, специфичного для Y-хромосомы, и в разной степени успешный анализ аллельных профилей STR-локусов Y-хромосомы подтвердили мужской пол индивида, установленный в ходе антропологического изучения. Выявленный вариант Y-хромосомы относится к гаплогруппе R1a [см.: Шарапова и др., 2020].

Молекулярно-генетический анализ еще одного индивида из могильника Гаевский 1, кургана 6, погребения 2 (мужчина, 20–25 лет, «активный» морфотип) (рис. 65, 67, 68, 117-Б), проводился для определения возможного родства между погребенными под одним курганом и для поиска возможных генетических векторов появления кольцевой деформации в саргатской. Еще на стадии камерального анализа была установлена его расовая принадлежность – европеоид [Культура зауральских..., 1997. С. 101]. Мужской пол рассматриваемого индивида подтвержден по итогам палеогенетического анализа. Вариант ГВС1 с единственной заменой T16304C с высокой вероятностью относится к западно-евразийской гаплогруппе H .

Оба погребенных являются носителями различных по структуре и филогенетически удаленных друг от друга вариантов мтДНК, что позволяет исключить между ними близкое («прямое») родство по материнской линии. Состав аллельных профилей однозначно свидетельствует о сильных различиях в структуре вариантов Y-хромосомы: в отличие от подростка, вариант у мужчины относится к гаплогруппе N (вероятно, к подгруппе N1c). Таким образом, исследуемые мужчины являются носителями филогенетически и структурно удаленных друг от друга вариантов Y-хромосомы и, следовательно, не являются

близкими родственниками и по мужской (отцовской) линии также [Шарапова и др., 2020. С. 370–371].

Полученные результаты по филогенетически и филогеографически информативным генетическим маркерам – мтДНК и Y-хромосоме – позволяют рассмотреть генетические характеристики погребенных в кургане 6 Гаевского 1 могильника на фоне имеющейся в распоряжении информации по структуре генофонда носителей саргатской культуры в целом. Рассматривая структуру образцов мтДНК этих притобольских индивидов, можно констатировать следующее.

Поскольку обнаруженные варианты характеризуются довольно широким распространением в древних и современных популяциях Западной и Центральной Евразии, они обладают слабым филогеографическим разрешением. При сравнении с имеющимися сведениями по генофонду мтДНК лесостепных обитателей Зауралья и Западной Сибири (табл. 8) все же видно, что выявленные структурные варианты мтДНК с разной частотой представлены в саргатской популяции, но во всех трех локальных сериях, анализируемых методами палеогенетики. Так, в генофонде саргатского населения Барабы вариант гаплогруппы Н был единично выявлен в могильнике Венгерovo 7, несколько чаще – в Марково 1; в Прииртышье – единично в могильниках Бецаул 2 и Стрижево 2. В то же время вариант гаплогруппы U5a кроме Притоболья обнаружен у трех индивидов в барабинской серии (мог. Погорелка-2, Венгерovo 6, Гришкина Заимка) [Пилипенко и др., 2017. С. 135. Табл. 1], а также единично у индивидов из могильников Исаковка 1 и Стрижево 2. Вне саргатской территории он обнаружен, например, в раннесарматской серии Нижнего Поволжья [Балабанова и др., 2019; Пилипенко и др., 2020]. При публикации результатов палеогенетического исследования гаевских материалов было высказано предположение, что вариант U5a в большей степени характерен для генофонда мтДНК саргатского населения, чем вариант Н. Принимая во внимание материнский характер наследования мтДНК, можно допустить происхождение матери подростка (кург. 6, погр. 1) из местной среды [Там же. С. 371]. При рассмотрении других популяций эпохи

железа обнаруживается, что вариант гаплогруппы N, выявленный у мужчины с кольцевой деформацией черепа (кург. 6, погр. 2), представлен в различных группах ранних кочевников – от тагарского населения Минусинской котловины на востоке до классических скифов, а также поздних сарматов Нижнего Поволжья на западе [Балабанова и др., 2019; Pilipenko et al., 2018]. Представляется, что вариант U5a в большей степени характерен именно для саргатского населения (по сравнению с другими раннекочевыми группами). Вариант гаплогруппы N был широко распространен и мозаично встречается в разных популяциях, особенно на западе евразийских степей [Балабанова и др., 2019. С. 29; Шарапова и др., 2020. С. 372].

Что касается выявленных вариантов Y-хромосомы, обе гаплогруппы – R1a и N – являются характерными компонентами мужского генофонда саргатского населения, по крайней мере для Барабинской лесостепи [Пилипенко и др., 2017. С. 140. Табл. 3]. При этом при сравнении структуры аллельного профиля 17 STR-локусов Y-хромосомы мужчины из Гаевского 1 могильника (кург. 6, погр. 2) с профилями носителей саргатской культуры из могильников Барабы оказалось, что аллельные профили вариантов, относящихся к гаплогруппе N, имеют существенные отличия. Это подтверждается также предполагаемой принадлежностью барабинских вариантов (N1a) и варианта из Гаевского 1 могильника (N1c) к различным подкластерам гаплогруппы N Y-хромосомы. Ранее на территории Барабы было определено высокое сходство вариантов N-гаплогруппы у индивидов из разных могильников, на основании чего было высказано предположение о наличии групп людей, объединенных происхождением по мужской линии [Пилипенко и др., 2017. С. 142]. Очевидно (и ожидаемо), что носитель варианта гаплогруппы N из могильника Гаевский 1 относится к другой такой группе, отличной по происхождению от барабинской серии [Шарапова и др., 2020. С. 371–372].

Опубликованные данные зарубежного исследования по двум индивидам из Сопининского 1 могильника (табл. 8) не позволяют их принимать в полной мере.

Прежде всего, из-за фактических неточностей и категоричности выводов¹²⁰ на результатах единичных проб для диахронных групп, к тому же на материалах памятников из различных географических зон: горно-лесного Урала, лесостепного Зауралья и Западносибирской тайги и тундры [Bennett, Kaestle, 2010]. Эти материалы отличаются и по археологическим, и по антропологическим критериям. С определенной долей условности эти сведения могут быть использованы только во внутрикультурном контексте и с опорой на археологический источник и данные палеоантропологии. Выявленные гаплогруппы T1 (кург. 1, погр. 9) и Z (бескурганное погребение) принадлежат к западно-евразийскому и восточно-евразийскому вариантам мтДНК соответственно. Эти результаты в некоторой степени совпадают с палеоантропологическим изучением, которое, в свою очередь, согласуется с археологическими данными. Напомню, еще на стадии раскопок анализ тафономических процессов позволил определить факт отсроченного бескурганного захоронения индивида (рис. 46) [Ражев и др., 2005. С. 150], погребальный инвентарь которого также включал пьяноборскую бляху с пуансонным орнаментом (рис. 46-2).

Что касается возможных различий по результатам молекулярно-генетического анализа представителей «активного» и «спокойного» морфотипов, то сейчас можно только констатировать полученные результаты (табл. 8). Небольшое количество пересекающихся признаков (морфотип, деформация, палеоДНК) позволяет описать прецеденты. Так, доступные сведения мтДНК позволяют оценить генетические корни этих индивидов по материнской линии. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что для мужчин и женщин «спокойного» морфотипа установлены различные варианты мтДНК западно-евразийского кластера. Внутри рассматриваемой морфологической группы восточно-евразийская гаплогруппа мтДНК идентифицирована в останках женщины (мог. Карасье 9, кург. 11, погр. 2), для которой черепная деформация по

¹²⁰ Например, не соответствующим истине является утверждение о единой культурной принадлежности могильников Куртугуз I и Сопининский 1, а также далеко идущие выводы этнолингвистического свойства [Bennett, Kaestle, 2010. P. 154–155].

кольцевому типу составляет 4 балла, что уже отмечалось в § 2. Таким образом, ее внешнее (пришрое) происхождение не исключается археологическим материалом, равно как и не опровергается по палеоантропологическим и палеогенетическим критериям, хотя дальнейшее исследование ядерных маркеров этого индивида могло бы уточнить ее филогеографический статус. В группе представителей «активного» морфотипа присутствуют как западно-евразийские, так и восточно-евразийские варианты мтДНК. При этом носители вариантов восточно-евразийского кластера гаплогрупп мтДНК лишь незначительно уступают в количественном отношении. Однако ответ на вопрос, что это – закономерность или случайность выборки, – дело будущих исследований на более репрезентативных материалах. В настоящий момент можно только отметить, что рассматриваемые примеры совпадают с археологическими данными. В то же время не исключается, что дальнейшая работа может изменить наблюдаемое соотношение в морфологических группах.

Увы, пока далек от окончательного решения вопрос об истоках деформации кольцевого типа в саргатской среде. По результатам анализа мтДНК для этого численно небольшого (во всех отношениях) сегмента саргатского социума выявлены варианты западно- и восточно-евразийского кластеров (соотношение 4 : 1). И опять единственное исключение представлено женщиной с сильно деформированным черепом из могильника Карасье 9 (кург. 11, погр. 2). Результаты исследования Y-хромосомы в группе со следами преднамеренной черепной деформации кольцевого типа есть только для мужчины из Гаевского 1 могильника (кург. 6, погр. 2). Отличие происхождения этого индивида – носителя варианта N1c – от других, для которых установлены иные подкластеры гаплогруппы N Y-хромосомы, то есть носителей саргатской культуры с обычной формой головы, уже рассматривалось в тексте выше. Вызвано это различие случайным характером выборки или иными причинами, пока определить трудно. Стоит отметить и гаплогруппу Z восточно-евразийского кластера, выявленную единично у мужчины из бескурганного погребения Сопининского 1 могильника. Как уже упоминалось выше, для этого индивида зафиксирован единственный

пример прижизненной затылочной деформации. Однако связать эти два факта, без риска привести недоказуемые догадки, на имеющемся материале сейчас едва ли возможно.

Еще на начальном этапе палеогенетических исследований было отмечено, что происхождение саргатского населения в целом – это явно процесс смешения разных компонентов [Молодин и др., 2013. С. 130, 157]. При этом заметно хорошо выраженное (хоть и не такое значительное в плане доли в генофонде) влияние с юга – ираноязычных племен из более южных и юго-западных по отношению к Барабе регионов. Есть еще отдельные признаки влияния восточных групп кочевников или их предшественников (схожих с ними групп). Схожая ситуация отмечается и для сарматских популяций [Балабанова и др., 2019. С. 27]. В саргатской выборке подобная картина определяется и по Y-хромосоме, но там сильнее выражено присутствие как раз автохтонного для Западной Сибири компонента [Пилипенко и др., 2017. С. 141; 2018. С. 129; Шарапова и др., 2019. С. 371].

Примечательно, что присутствие лесостепного саргатского компонента отмечается и в группах степного населения. В этом аспекте интересны предварительные результаты сравнительного анализа палеоантропологического и палеогенетического материалов ранних кочевников Нижнего Поволжья [Балабанова и др., 2019]. Так, сопоставляя данные палеогенетики и краниологии, авторы пришли к выводу о том, что кочевые группы раннего железного века региона обнаруживают бóльшее генетическое сходство с саргатскими популяциями. Говорить о существенном влиянии на сарматский генофонд южносибирских групп пока преждевременно [Там же. С. 29]. В то же время в сарматских группах Нижнего Поволжья и саргатского населения Барабинской лесостепи присутствуют генетические компоненты мтДНК переднеазиатского и среднеазиатского происхождения [Пилипенко и др., 2020. С. 19]. Что касается западно-евразийского кластера мтДНК, то по соотношению долей наблюдается следующее распределение по убывающей: сарматское население Нижнего Поволжья, классические скифы Северного Причерноморья, носители саргатской

культуры в Барабинской лесостепи и т.д. (рис. 122) [Там же. С. 37. Рис. 3]. На данном этапе проводить более глубокое сравнение сарматских и саргатских серий едва ли оправданно, поскольку, повторюсь, для последней в количественном отношении представительны сведения по Барабинским памятникам, среди которых нет комплексов, датированных финалом саргатской культуры.

К приведенным данным естественно-научного изучения палеоантропологического материала можно добавить результаты предпринятого изотопного анализа стронция в эмали зубов погребенных и животных из кургана Новопокровка 16 (табл. 9). В археологии исследование соотношения изотопов стронция ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) используется как методологический инструментарий для реконструкции мобильности и миграций древнего населения [Киселева и др., 2021. С. 177–178; Price et al., 2002; Knipper, 2004; Gerling 2015. С. 42–44], что нашло освещение в публикациях, в том числе восстанавливающих «биографию» отдельно взятых индивидов [Строков и др., 2022]. Проведение сравнительного анализа изотопных отношений стронция в эмали зубов человека с фоновыми локальными линиями биодоступного стронция позволяет определить местным или пришлым был изучаемый индивид¹²¹. Поскольку данное исследование для материалов саргатской культуры выполнено впервые, ему предшествовало археометрическое изучение образцов с акцентом на разработку методических подходов и оценку степени влияния диагенетических процессов на корректность получаемых результатов [Kiseleva et al., 2023]. Отсутствие значимых диагенетических изменений эмали зуба и отсутствие их загрязнения различными примесями из окружающей среды [Ibid. P. 1649] позволяет принять эти данные.

Таблица 9

Изотопные отношения $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ в эмали зуба человека из погребения 1 кургана Новопокровка 16 и образцах биодоступного стронция

$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	Погрешность абсолютных величин ($\pm 2s$, abs)	Материал образца	Примечание
0,709783	0,000008	трава	луговая растительность
0,713270	0,000014	материковый суглинок	из раскопа
0,712941	0,000018	песок	коренная порода из разреза

¹²¹ Методика измерения изотопного состава стронция и оценка диагенетических преобразований описаны [Киселева и др., 2019].

0,711781	0,000008	переотложенный суглинок	выкид из могильной ямы
0,710193	0,000020	почва	насыпь кургана
0,710049	0,000014	почва	погребенная
0,709542	0,000018	вода	р. Иртыш
0,709938	0,000008	вода	колодец в деревне
0,709328	6,19E-06	человек, эмаль нижнего левого М2	заполнение грабительского лаза
0,709455	9,24E-06	человек, эмаль нижнего правого резца I2	дно могильной ямы
0,709895	1,13E-05	цокор, эмаль резца	нора
0,70992	1,03E-05	хомяк, эмаль резца	нора
0,709982	7,91E-06	лошадь, эмаль верхнего М1	особь 5-6 лет, жертвенник 6 в юго-восточной части рва
0,709943	7,69E-06	лошадь, эмаль верхнего Р1	особь 5-6 лет, жертвенник 4 в восточной части рва
0,70994	9,55E-06	лошадь, эмаль нижнего m1	особь 10-12 лет, жертвенник 1, северная перемычка рва

В результате проведенного исследования [см.: Шарапова и др., 2023] было установлено, что данные, полученные по образцам эмали человека, отличаются от локального фона и имеют менее радиогенные изотопные отношения в сравнении с почвенными вытяжками, а также по растительности, подземным водам, эмали зубов грызунов (рис. 123). Отличаются они и от значений, полученных для образцов эмали лошадей, забитых при совершении поминальных тризн. Таким образом, нельзя исключать неместное происхождение индивида: из геохимических провинций с менее радиогенными (низкими) изотопными отношениями стронция¹²². С учетом полученных геохимиками карт распределений изотопов стронция, схожие изотопные отношения могли иметь люди, родившиеся в районах северных и северо-западных районов Казахстана, что соответствует ареалу тасмолинской общности [Хабдулина, 2017. Рис. 1]. Иными словами, индивид (вероятно женского пола), погребенный в кургане Новопокровка 16, не проживал на протяжении всей своей жизни в районе Среднего Прииртышья.

Этот единичный случай подтверждает гипотезу, что на этапах становления саргатской культуры (в середине I тысячелетия до н.э.) знатность и высокий социальный статус могли определяться принадлежностью к кочевым родам [Корякова, 1988. С. 159–160; 1994б. С. 126–127], что уже неоднократно упоминалось выше. С учетом датировки кургана IV–III вв. до н.э. можно

¹²² Вода из Иртыша, хоть и имеет низкие отношения стронция, не может служить надежным маркером фона, поскольку слишком много горных пород дренирует на своем пути от истока до места отбора образца; поэтому совокупность почва – трава – эмаль животных – подземные воды точнее маркирует локальный сигнал.

предположить, что такая ситуация сохранялась и позднее – во второй половине I тысячелетия до н.э. Во всяком случае, такое допущение не входит в противоречие с предположением о влиянии населения тасмолинской общности в южной части лесостепи Зауралья и Западной Сибири и его участии в формировании саргатской культуры [Хабдулина, 2017. С. 54]. В этой связи несомненный интерес представляет местное происхождение лошадей из «жертвенного стада».

Таким образом, информационный потенциал молекулярно-генетического изучения и изотопного анализа стронция может быть полноценно раскрыт при использовании репрезентативного материала, что не всегда возможно на начальном этапе исследований. И в этом отношении изучение саргатской серии не является исключением среди набирающих популярность палеогенетических и изотопных проектов древних популяций Евразии. Очевидно, что в таких ситуациях археологические характеристики анализируемых комплексов частично могут помочь в преодолении возникающих противоречий. При этом важно иметь в виду, что внутригрупповая неоднородность древнего населения не всегда поддается однозначной интерпретации как следствие миграции. Не лишен основания и фактор культурных связей – прямых или опосредованных.

*§ 5. К характеристике элиты*¹²³

Завершая рассмотрение отдельных сторон изучения саргатской курганной выборки, необходимо подчеркнуть, что они не раскрывают всю специфику

¹²³ При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные автором в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:

Киселева Д.В., Данилов Д.А., Домрачева Д.В., Труфанов А.Я., Хорькова А.Н., Шарапова С.В. Хроматографическое (ГХ-МС) изучение растительной смеси из элитного погребения саргатской культуры в Среднем Прииртышье // Российские нанотехнологии. – Том 15. №5. – 2020. – С. 657–663. (IF 0,579);

Переводная версия: Kiseleva D.V., Danilov D.A., Domracheva D.V., Trufanov A.Ya., Khorkova A.N., Sharapova S.V. Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) Study of the Archaeological Plant Mixture from an Elite Burial Mound of the Sargat Culture in the Middle Irtysh River Basin // Nanotechnologies in Russia. – Vol. 15. Nos. 9–10. – 2020. – P. 617–622. (SJR 0,19) (доля автора 0,4 п.л.);

Шарапова С.В., Пилипенко А.С., Ражев Д.И., Трапезов Р.О., Черданцев С.В. Два мужских погребения из кургана саргатской культуры: биоархеологический и палеогенетический обзор // Stratum Plus. – 2020. – №3. – С. 353–378. (JCI 0,25) (доля автора 1 п.л.);

Шарапова С.В., Труфанов А.Я., Киселева Д.В., Шагалов Е.С., Данилов Д.А., Хорькова А.Н., Окунева Т.Г., Солошенко Н.Г., Рянская А.Д., Упорова Н.С. Об одной находке северокавказской керамики в элитном погребении могильника Исаковка I (Западная Сибирь) // История, археология и этнография Кавказа. – №18 (2). – 2022. – С. 429–462. (SJR 0,19) (доля автора 1 п.л.).

тафокомплекса. В какой-то мере еще и потому, что социальный контекст анализируемых материалов очевиден. Половозрастной состав курганных погребальных комплексов не соответствует демографическим характеристикам естественной смертности, что позволяет говорить о социально избирательном подходе к оформлению и/или формированию кладбищ представителями саргатского социума. Такая специфика источника делает возможной характеристику *только* социальной верхушки. По справедливому замечанию М. А. Балабановой, древние коллективы «представляют собой не сумму индивидов, а прежде всего демографические структуры, управляемые как социальными, так и биологическими законами» [Балабанова, 2016. С. 15]. В этом отношении различные примеры, фиксируемые на индивидуальном уровне, с известными оговорками представляют информацию о коллективе.

Несмотря на сложности реконструкции социальной структуры обществ прошлого на основе данных погребального обряда [Медникова, 1995а; Гуляев, Ольховский, 1999; Кривошеев, 2017; Куфтерин, 2022; Piontek, 2001; Chamberlain, 2006 и др.], именно выборки погребений из саргатских курганов использовались и используются в качестве исходного материала. Анализ коллекций разных локальных серий и в масштабах всего ареала распространения саргатских древностей сопровождался широким использованием статистических методов, были обозначены критерии выделения социальных групп, проведен анализ, а также предложены интерпретации [Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 2000; Берсенева, 2005; 2011б]. Однако лесостепные материалы недостаточно изучены в биоархеологическом аспекте и контрастируют с соответствующей информацией, например, по сарматским культурам степного пояса. Это обстоятельство позволяет критически осмыслить накопленный опыт социальных реконструкций в археологии саргатской культуры.

Предлагая различные социальные модели (расхождения в основном в количестве гипотетических групп), все исследователи единодушны во мнении, что саргатское общество было иерархически организовано. Социально и политически значимые позиции Л. Н. Корякова отвела военно-аристократической

и военно-дружинной группам [Культура зауральских..., 1997. С. 147]. В литературе по саргатской культуре отмечалось, что социальные группы в целом сопоставимы с теми, что известны у кочевых народов степного пояса [Корякова, 1994б. С. 155; Матвеева, 2000. С. 6–10], при этом подчеркивалось своеобразие саргатской социокультурной системы [Корякова, 1988. С. 157]. Изучив антропологическую выборку, Д. И. Ражев предложил военно-правлящую модель как наиболее адекватную для группы погребенных под курганами [Ражев, 2009. С. 62–63].

С одной стороны, с общеисторических позиций говорить об элитных комплексах возможно на фоне их отличий от массового материала. С другой стороны, известные примеры бескурганых погребений в пределах саргатского ареала количественно уступают совершенным под курганами. Кроме того допускалось, что специфика саргатского погребального обряда кроется не в его элементах, а в их особых сочетаниях, когда социальная символика подчеркивала «личное имущество» [Корякова, 1994б. С. 154], представленное инвентарем. Потому контраст между основной массой погребений не так велик, а захоронения, отличные по количеству и составу инвентаря, могут находиться в пределах одного кургана, на что уже обращалось внимание [Там же. С. 161–162; Берсенева, 2005. С. 22]. Социальные различия внутри саргатского общества более заметны в погребальных памятниках – на поселениях они не столь выразительны.

Применительно к археологическому источнику общепринятыми, как в западной, так и в отечественной литературе символами вертикальных статусных отношений являются церемониальные различия, включая затраты на возведение погребальных сооружений; обращение с телом и богатство посмертных облачений; сопроводительный инвентарь, а также жертвоприношения и напутственная пища [например, Куббель, 1988; Смирнов Ю.А., 1997; Крадин, 2001; Мордвинцева, 2015; 2020; Renfrew, Bahn, 1997; Kossack, 1998; Meskel, Preucel, 2007 и др.].

С учетом рассмотренных в главах 2 и 3 данных не вызывает сомнений тот факт, что по основным параметрам (среди которых, несомненно, иерархия

поселений, явные признаки социальной неоднородности, существование элиты, ориентированной на престижные ценности) система организации местных коллективов в эпоху железа представляла *вождество*. Впервые такую возможность допустила Л. Н. Корякова, отметив центры в Среднем Прииртышье, Притоболье и на Ишиме [Корякова, 1988. С. 156]. Позднее номенклатура вождества была дополнена другими критериями: торговля на дальние расстояния, неоднородный состав населения [Культура зауральских..., 1997. С. 151] при определенной автономии племенных группировок [Корякова, 1994б. С. 155]. Учитывая масштаб лесостепной территории, можно допустить, что эти вождества были связаны внутри- и внешнеполитическими отношениями. Впрочем, подобная система социальной организации свойственна всем известным скотоводческим сообществам Евразии [Крадин, 1992. С. 148–152; Хазанов, 2002. С. 279–285; Мордвинцева, 2020. С. 259–260]. В проведенном исследовании основной акцент делается на ту привилегированную часть саргатского социума, сведения о которой представлены в анализируемых материалах.

Принято считать, что социально-культурные различия прежде и более резко проявляются в ритуальной сфере [Корякова, 1988. С. 156; Матвеева, 2000. С. 7], следствием чего в Зауралье и Западной Сибири стало появление подкурганых захоронений с весьма характерной материальной атрибутикой. Иерархия погребений в целом зависит от социальной структуры, обрядов погребального цикла и танатологической доктрины конкретного общества [Мордвинцева, 2015]. Индивидуальные признаки погребального обряда отражают специфические особенности личности, а также обстоятельства жизни и смерти индивида, осознаваемые обществом и имеющие значение внутри коллектива. Отдельный признак и/или их сочетания могут указывать на принадлежность погребенного к одной или нескольким группам внутри социума [Мордвинцева, 2020].

Поскольку хрестоматийная дихотомия «элита – массы» связана с античной философией, это обстоятельство в силу синхронности терминологии с рассматриваемым в данной работе лесостепным социумом позволяет использовать сам термин применительно к саргатским материалам. Современное

определение элиты предполагает сочетание трех основных слагаемых: группа меньшинства, высокий социальный статус и возможность принимать решения, влияющие на жизнь большинства [Элитология..., 2006. С. 17]. Изложенные в диссертации результаты анализа материалов погребений дают основания отнести принадлежность большинства рассмотренных комплексов к захоронениям представителей саргатской элиты. В терминах социальной археологии элита возникает как «лучшее меньшинство», социально она более динамична [Элита в истории..., 2015. С. 20–22]. Анализируя существующие концепции социальной сложности, Л. Н. Корякова заключила, что различные социальные трансформации находят отражение в материальной культуре, в частности в появлении «элитарной культуры, которая всегда свидетельствует об особом статусе людей, чьей цели она служит» [Корякова, 2007. С. 84]. Сейчас уже не вызывает сомнений, что саргатская курганная выборка делает возможным анализ только социальной верхушки, что уже неоднократно подчеркивалось.

Основываясь на результатах анализа погребений индивидов обеих морфологических групп, с известной долей гипотетичности можно предположить, что представители «активного» морфотипа из-за повышенных нагрузок могут рассматриваться как выходцы из более низкой страты, достигшие высокого положения¹²⁴. Они оказались в привилегированном сегменте благодаря каким-то личным качествам, включая физические данные, и потому были захоронены под курганами. Продолжая эту логику, мужчины и женщины «спокойного» морфотипа по факту рождения составляли группу социально значимых. Вероятно, они могли принадлежать к наследственной аристократии, так как чаще хоронились в центральных могильных ямах [Шарапова, Ражев, 2016. С. 68; Шарапова и др., 2020. С. 372], причем как под большими (например, мог. Гаевский 1, кург. 5, погр. 1; Сопининский 1, кург. 2, погр. 1 (рис. 43, 59-Б)), так и под малыми (например, мог. Мурзинский 3, кург. 3, погр. 1 и 2 (рис. 76-Б)) курганами, относящимися к разным этапам развития культуры. Эти наблюдения

¹²⁴ В этнографии известны примеры, когда властная элита произрастает, в том числе и от поднявшихся во власть полукровок [Головнев, 2013. С. 129].

совпадают с градациями в рамках «военно-правлящей» модели, предложенной для саргатского социума [Ражев, 2009. С. 63]. Подтвердить или опровергнуть это предположение – дело дальнейших исследований.

Все сказанное выше подтверждает гипотезу о том, что саргатское общество в том варианте, в котором оно реконструируется по археологическим и антропологическим материалам, было стратифицировано и включало группы «избранных», занимавшихся разведением скота и много времени проводивших в седле. Распространенные в саргатской среде гендерные стереотипы предполагали, вероятно, главенство мужчин как в реальной жизни, так и в ритуальной сфере. Ранее уже было высказано предположение о доминирующем положении мужчин в кочевых обществах [Крадин, 2004].

Очевидно также и то, что существовавшие в саргатском социуме различия подчеркивали не столько имущественное разделение, сколько принадлежность к определенным группам. Социальные маркеры помимо элементов костюма и вооружения представлены и обычаем преднамеренной деформации головы. Как уже было рассмотрено в § 2 данной главы, среди мужчин с искусственно деформированной головой нет представителей «спокойного» морфотипа. Объясняя этот факт, Д. И. Ражев допустил, что эти «роды не заняли доминирующего положения среди саргатской наследственной аристократии, либо их представители предпочитали исключительно воинскую деятельность» [Ражев, 2009. С. 288].

Косвенное подтверждение этому просматривается в данных контекстуального анализа погребений этой части выборки. Если принять предположение о том, что динамика обычая деформировать голову в степных и лесостепных сообществах принципиально не различалась, можно допустить, что и по времени появления среди саргатского и сарматского населения практика изменения естественной формы головы могла совпадать. Соотношение деформированных и недеформированных черепов в погребениях могильника Абатский 3 фиксирует процесс закрепления традиции. Проблемы внутренней хронологии древностей Прииртышья (которые, как представляется, могут быть

преодолены только в ходе новых раскопок), и данные по Притоболью не позволяют пока считать, что кольцевая деформация появилась в лесостепи раньше, чем в степи. При сопоставлении сведений в таблицах 6 и 8 (§ 2 и § 4 соответственно) заслуживающим внимания является тот факт, что различные варианты мтДНК западно-евразийского кластера в саргатской выборке выявлены среди тех мужчин и женщин, для которых определена слабая деформация головы – типичная форма, закрепившаяся в саргатской среде, что уже рассматривалось выше.

Давно замечено, что основные различия между мужскими и женскими погребениями наиболее зримо прослеживаются в инвентаре [Бунятян, 1985. С. 65–68]. Мужские погребения патриархального общества традиционно маркируются оружием, причем особая роль отводилась мечу [Першиц, 1994. С. 154–161; Балабанова и др., 2015. С. 33; Кривошеев, 2020. С. 320]. С одной стороны, анализ травматизма среди населения саргатской культуры не позволил отнести лесостепных обитателей к категории агрессивных воинов. С другой – данное предположение выглядит противоречащим гипотезе о существовании воинской элиты в саргатском социуме. В то же время для разнокультурных скотоводческих сообществ подчеркивается относительность всякого мира, обусловленная прежде всего способом ведения хозяйства. Защита стад, пастбищ и водоемов, участие в грабительских набегах заставляли «чувствовать себя воинами и быть готовыми к сражению всегда и везде». А. И. Першицем приведен довольно широкий круг этнографических источников, в которых указываются не только факторы войны и мира, но и сведения о необходимости «обучать мальчиков стрельбе из лука, верховой езде, делать их смелыми и храбрыми» [Першиц, 1994. С. 161–166].

На материалах погребений саргатской культуры Л. Н. Корякова включила лук и колчан, кинжал и/или длинный меч, уздечный и портупейный наборы в состав комплекта элитного вооружения [Корякова, 1994б. С. 156–157]. По наблюдениям В. И. Мордвинцевой, для состава погребальных приношений характерны парадные оружие и конская упряжь, а также погребения лошадей,

причем не обязательно в культурах, связанных с кочевым образом жизни. В могиле размещаются высокохудожественные предметы, в том числе привезенные издалека, среди них наборы драгоценных сосудов для «вечного пира» [Мордвинцева, 2020. С. 261]. В проанализированных в диссертации саргатских курганах предметы роскоши встречаются как в мужских, так и в женских могилах, а вот погребения лошадей в сопровождении богатого убранства неизвестны. Однако видовое различие «жертвенного стада», в котором зафиксировано количественное преобладание лошади, надежно установлено в Прииртышье и Притоболье для некоторых могильников и городищ [Могильников, 1976. С. 178. Табл. 1; Корякова, 1988. С. 144; Матвеева, 1993б. С. 148; Культура зауральских..., 1997. С. 119; Среда, культура..., 2009. С. 264]. Части туши лошади использовались в тризнах, о чем свидетельствуют находки костных остатков. Редкий случай жертвоприношения лошади, уложенной на шкуру поверх берестяной подстилки, зафиксирован в кургане 12 могильника Красногорский 1 [Матвеева, 1993б. С. 34–35].

В саргатской общекультурной выборке мужских захоронений удовлетворительной сохранности с набором «меч – удила – колчан» составляют 23 %, а с набором «кинжал – нож – колчан» – 25 % [Корякова, 1988. С. 56]. Такое количество погребений с оружием сходно с ситуацией как в позднесарматских комплексах, так и в других сарматских культурах [Кривошеев, 2020. С. 318]. При этом в сарматской археологии закрепилось мнение об отнесении погребений с наборами клинкового вооружения к захоронениям профессиональных воинов [Безуглов, 2000; Безуглов, Глебов, 2015; Скрипкин, 2015; Клепиков, 2016; Таиров, 2020 и т.д.]. Близкая тенденция наблюдается и для материалов саргатской культуры.

Что касается предметов вооружения, в качестве примера можно сослаться на богатые погребения в могильниках Сидоровка и Исаковка 1, в которых представлены практически все виды оружия и роскоши [Матющенко, Татаурова, 1997; Погодин, 1998а]. При этом наиболее эклектичным является состав импорта в этих комплексах, особенно в могильнике Исаковка 1 [Погодин, 1989].

Экипировка «пиршественного стола» вычурна не только разнообразием форм и назначением емкостей, но и географией происхождения находок: северокавказский кувшин и благовония на основе ладана из босвелии¹²⁵, эллинистические чаши, китайские чайник на поддоне и лаковый сосуд, бронзовые котлы. Все эти подношения не только «экстремально богаты», но и демонстрируют экспонационный (показной) характер столь «претенциозного сервиза», что было свойственно погребениям элиты с особо пышными погребальными приношениями [Смирнов Ю.А., 1997. С. 91–92; Мордвинцева, 2020. С. 261; Kossack, 1998; Egg, 2009]. Очевидно, что эти импорты являлись дипломатическими дарами или трофеями, а их появление в лесостепи Западной Сибири не только (или даже не столько) связано с торговлей, но могло произойти не только в результате контактов (как мирного, так и военного характера), но и в результате участия саргатских воинов в каком-то походе и/или набеге. Так, выше приводилась гипотеза В. Е. Маслова, что саргатские вожди возглавляли отряды наемной кавалерии [Маслов, 2018. С. 37]. Косвенным подтверждением этому могут рассматриваться репрезентативные инсигнии: «дорогое парадное оружие и прочий аналогичный инвентарь традиционно относят к дипломатическим и/или династийным дарам, или пожалованным правителями своим вассалам» [см.: Шарапова и др., 2022. С. 447]. Такие погребения датируются в интервале II–I вв. до н.э. – I–II вв. н.э., то есть временем расцвета саргатской культуры. При этом для основной части воинских захоронений характерна аскетичность инвентаря.

Попытка выделить захоронения воинской элиты, дать им развернутую характеристику может быть осуществлена на материалах могильника Гаевский 1

¹²⁵ Первоначально находки порошкообразного вещества в таких сосудах позволили говорить о практике наркотических воскурений [Корякова, 1994б. С. 158]. Недавние исследования растительной смеси из этой емкости методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией показали, что в ее состав входит большое число эфирных масел, смол и парафинов, вероятно, выделенных из различных растений. Их спектр оказался богаче многих современных парфюмов. Поскольку психотропных веществ (каннабиноидов) не обнаружено, такой состав может быть характерен для ароматической смеси, благовония или фимиама на основе ладана [Домрачева и др., 2020]. Более того, наличие благовоний из растительного сырья, распространенного за пределами региона, диссонирует с известными археологическими данными для других культур раннего железного века. Так, для остатков трав зизифоры из погребений пазырыкской культуры установленным регионом произрастания является Горный Алтай. Более того, допускается, что сбор растения осуществлялся впрямь, по пути на зимние пастбища [Полосьмак, 2001. С. 268]. Обращает на себя внимание и факт купажа различных компонентов эфирных масел в исаковском образце, тогда как в пазырыкских материалах реконструируется моновидовое растительное сырье для сопровождения умерших на «небесные пастбища» (конопля, кориандр) [ср.: Там же; Киселева и др., 2020. С. 108–109. Табл. 1].

в Притоболье [Культура зауральских..., 1997]. В частности, курган 6 выделяется среди остальных исследованных в могильнике прежде всего отсутствием взрослых женщин, как в ранней группе захоронений, так и в поздней. Согласно заключениям антропологов, все скелетные останки четырех взрослых принадлежат мужчинам (неопределимых нет), мужской пол достоверно установлен для подростка из погребения 1, пол двух других детских костяков (из индивидуальной могилы 6 и парной 4) неопределим. Воинские атрибуты в инвентаре неграбленных захоронений 1 и 2, датированных второй половиной II – III в. н.э. (см. гл. 3), включали не только оружие (мечи и/или кинжалы и лук), но и детали конской упряжи (среди которой нет богатых уздечных наборов, равно как и предметов импорта). Напомню, что в могильной яме 2 (мужчина, 20–25 лет, «активный» морфотип, кольцевая деформация черепа) были расчищены кинжал и меч. Наличие нескольких клинков, лука и узды в одном комплексе – случай в саргатской практике не частый, но встречающийся в могильниках практически всех локальных групп (для Барабы таких сведений нет). Не исключено, что их могло быть и больше, но достоверно установить можно только в неограбленных периферийных захоронениях. Так, в Притоболье это Сопининский могильник (кург. 1, погр. 9, 30–35 лет); в Приишимье – Абатский 3 (кург. 6, погр. 8, кенотаф); в Прииртышье – Бещаул 2 (кург. 3, погр. 3, 30–45 лет), Богдановка (кург. 1, погр. 5, взрослый), Исаковка 1 (кург. 3, погр. 6, 30–35 лет). Все эти комплексы датируются первыми веками н.э. Аналогичные ситуации – наличие меча и кинжала – в позднесарматской культуре указывают на принадлежность погребенных к прослойке профессиональных воинов [Кривошеев, 2014. С. 89]. Таких комплексов в Нижнем Поволжье всего 13, в Южном Приуралье еще меньше [Кривошеев, Лукпанова, 2015. С. 101]. В целом в позднесарматских комплексах в степях от Зауралья до Северного Приазовья известно 34 захоронения с наборами парных клинков [Кривошеев, 2020. С. 318. Рис. 1]. Немаловажным представляется и то обстоятельство, что из погребения 2 (подросток, 10–12 лет, «активный» морфотип) происходит воинский комплект,

что отличает этого подростка от многих взрослых мужчин (на данное обстоятельство уже обращалось внимание выше).

Применительно к эпохе железа к важнейшим показателям социального статуса относят такие детали костюма, как пояс и головной убор [Добжанский, 1990. С. 45–80; Культура зауральских..., 1997. С. 134; Яценко, 2006. С. 322–364 и др.]. Функциональное назначение мужских поясов было достаточно широкое – от утилитарной функции опоясывания и затягивания верхней одежды до символического «опоясывания» сакрального пространства [Элита в истории..., 2015. С. 19]. Показательно в этой связи, что наличие поясов было зафиксировано в обоих рассмотренных погребениях 1 и 2 кургана 6 Гаевского 1 могильника.

Однако не только материальные символы могли выступать в качестве признаков элитности и принадлежности к группе «избранных». Использование столбовых (погр. 2) и других деревянных конструкций (погр. 1 и 2) маркирует трудозатраты на строительство погребальной конструкции. Аналогии с материалами элитных погребений позднесарматской культуры Южного Приуралья [Малашев, 2013. С. 33–35] также позволяют рассматривать обоих мужчин в категории социально значимых.

Следующий аспект возвращает к рассмотрению принципов формирования саргатских некрополей. В этой связи необходимо отметить, что с одной стороны, их социальная легитимация очевидна¹²⁶. С другой стороны, их трактовка в качестве семейных курганов-усыпальниц неоднократно обсуждалась [Корякова, 1988. С. 156; Матвеева, 1993б. С. 148; Культура зауральских..., 1997. С. 86–107]. Интерпретируя погребальные памятники, Л. Н. Корякова предположила, что на начальном этапе в основе организации кладбищ «лежал родовой (или какой-то иной, близкий этому) принцип», а с III в. до н.э. начал устанавливаться семейный характер курганного обряда [Корякова, 1994б. С. 155]. Н. П. Матвеева, не отрицая семейный принцип погребения под курганом, допустила, что он мог дополняться кровнородственным, но при этом существовали временные ограничения

¹²⁶ Легитимация – здесь: принцип, правило.

функционирования кургана. По истечении времени «для членов той же семьи сооружался новый курган» [Матвеева, 1993б. С. 148].

Существующие представления могут быть расширены привлечением палеогенетических данных, поскольку данные археологии не позволяют достоверно оценить степень родства изучаемых индивидов. Так, согласно изложенным в предыдущем параграфе результатам исследования мтДНК и Y-хромосомы, рассматриваемые мужчины, чьи захоронения в одном кургане, согласно археологическим свидетельствам, могли быть относительно одновременными, не являлись близкими родственниками по материнской и отцовской линиям. При этом не стоит исключать более отдаленные варианты родства, при которых преемственность структуры мтДНК и Y-хромосомы не сохранилась бы [Шарапова и др., 2020. С. 369–372].

Таким образом, гаевский пример подтвердил высказанное ранее утверждение, что близкие родственные связи не были обязательным условием совместного погребения носителей саргатской культуры в могилах под одной курганной насыпью [Пилипенко и др., 2017. С. 141]. Например, в Барабе в курганах различных памятников, удаленных друг от друга¹²⁷, у погребенных были обнаружены очень близкие по структуре, но не идентичные, варианты Y-хромосомы. Из-за малого размера исследуемой выборки авторы с большой долей осторожности предположили, что в саргатском обществе особая роль отводилась отдельным группам мужчин, «объединенных общим происхождением по отцовской линии», возможно, существовали «мужские» роды или кланы [Там же. С. 142]. Кроме того, в единичных случаях выявленное отсутствие прямого кровного родства по типу «мать – сын» между захороненными в кургане

¹²⁷ К сожалению, в публикации не указана датировка памятников. Представленный на рисунках инвентарь, происходящий из разных погребений, хронологически разнороден [Пилипенко и др., 2017. С. 135, 138. Рис. 2, 6]. Это обстоятельство как раз допускает определенные временные интервалы между совершениями захоронений в многомогильных курганах. В частности, на это указывают довольно мелкие экземпляры костяных черешковых наконечников стрел, роговые псалии и пряжка (мог. Погорелка 2, кург. 8), металлическое кольцо и нашивные бляшки, железный прямой двудырчатый псалий с раскованными (?) концами (мог. Венгерова 6, кург. 1). Без соотнесения по комплексам все находки, включая керамику, имеют широкий диапазон бытования, совпадая с хронологией саргатской культуры в целом. Ближайшие аналогии предметам из рога есть в коллекции могильников Новооболонь в Приртыше (кург. 6, погр. 5, 11), Абатского 3 в Пришимье (кург. 2, погр. 14), из железа – в могильнике Гаевский 1 в Притоболье (кург. 3, погр. 1) [Матвеева, 1994. С. 66. Рис. 38-18; Культура зауральских..., 1997. С. 16. Рис. 4-11; Татауров, 2012].

мужчинами и женщиной (мог. Погорелка 2, кург. 8) не позволило коллегам исключить наличие между ними кровного родства другого типа или брачной связи [Там же]. Патрилинейность системы родства в саргатских коллективах допускалась Н. П. Матвеевой [Матвеева, 2005. С. 144].

При этом значимость родственных связей нельзя отрицать полностью, свидетельство чему опять же находим в материалах Гаевского 1 могильника. В ходе антропологического изучения останков для индивидов из погребений 1 и 5 в кургане 6 была отмечена специфическая смена зубов (персистенция), когда прорезание постоянных опережает смену молочных. Примечательно, что оба ребенка примерно одного возраста: 10–12 (погр. 1) и 10 лет (погр. 5, разрушенное, также впускное). Археологически захоронения синхронны. Выявленные дискретные признаки позволяют допустить биологическое родство между этими детьми [Шарапова и др., 2020. С. 360]. В § 1 пример возможного биологического родства был описан для мужчин, чьи останки были отнесены к разным морфотипам, из «ярусного» погребения 1 в центре кургана 5 этого же могильника.

В то же время и многомогильные саргатские курганы не могут однозначно рассматриваться в качестве семейных или родственных «склепов». Временные интервалы между совершением центрального погребения и периферийных/впускных могил могли составлять не одно столетие. В частности, надежное подтверждение этому есть в курганах Гаевского 1 и Сопининского 1 могильников в Притоболье [Культура зауральских..., 1997. С. 66–68; Среда, культура..., 2009. С. 202–206. Табл. 8.1]. Очевидно, что мотивы, лежащие в основе особенностей погребальной практики саргатского населения, включая и захоронение под одним курганом, носили более сложный и разносторонний характер.

Итак, допускается, что отсутствие биологического родства совершенно не исключает существования между погребенными в одном кургане индивидами социального родства, известного для многих традиционных обществ¹²⁸. На него, в частности, могут указывать факты, обозначившиеся при сопоставлении

¹²⁸ Например, обычай побратимства у скифов [Хазанов, 1972].

археологических и палеогенетических данных для погребений 1 и 2 кургана 6 Гаевского 1 могильника. Обобщая изложенные в разных главах сведения по этим комплексам, можно предложить следующую гипотезу, допускающую факт социального родства. Так, для мужчины из погребения 2 выявлено внешнее генетическое влияние. Кольцевая деформация на его черепе – показательная черта (рис. 117-Б), отличающая его от подростка (рис. 115-2) из этого же кургана (как и от многих других носителей саргатской культуры). В какой-то мере данные палеогенетики являются пока единичным свидетельством в пользу гипотезы о южных истоках деформации как в саргатской, так и сарматской среде, что уже отмечалось. С другой стороны, «южный» компонент в захоронении подростка представлен необычной конструкцией ямы (узкая с нишей) (рис. 63) и лепным саргатским сосудом с имитацией арамейскографичного письма (рис. 64-1). Принадлежность обоих к категории воинов, в том числе и по физическим данным обоих, также не противоречат возможному социальному родству.

Практика отсроченных похорон и реконструируемый весенне-летний забой животных в ритуальных целях позволяют утверждать сезонный характер совершения захоронений, который все же не отрицает рассмотренных вариантов биологического и социального родства умерших. Иными словами, вариативность обряда, который совершался в относительно теплое время года, иллюстрирует возможное разнообразие мотивов погребения под одним курганом.

Приведенные сведения вновь обращают внимание на вопрос: насколько археологические реалии соответствуют живой культуре, в ситуации, когда и сам археологический источник имеет определенные расхождения? Для позднесарматского времени по аналогии с традиционными скотоводческими обществами, для которых характерна общая вооруженность всех взрослых мужчин, допускается формирование воинских группировок в случае конфликтов [Кривошеев, 2020]. Находки предметов вооружения в погребениях саргатской культуры (равно как и создание кенотафов) в целом не противоречат этому постулату. С другой стороны, он находит подтверждения и в массовом саргатском материале, в том числе в палеопатологических данных и в материалах поселений.

Тогда возникает новый вопрос: кем были эти мужчины из воинских захоронений, в каких столкновениях участвовали?

Одним из возможных вариантов может быть предложенный Л. Н. Коряковой собирательный образ воина, который формировался его сородичами помещением в погребение необходимого набора вещей [Корякова, 1994б. С. 158]. Это хорошо фиксируется археологически, а в наиболее сложившемся (ярком) виде представлено в комплексах первых веков н.э. Другой сопряженный с ним вариант объяснения можно найти за пределами саргатского ареала. Так, позднесарматским профессиональным воинским коллективам М. В. Кривошеев отводит выполнение контролирующих функций на территории племенных объединений. Возглавлялись эти группы вождями разного уровня. Появление впускных захоронений для этой группы могло отражать отсутствие в воинской дружине достаточного количества людей для сооружения индивидуального кургана. Эти дружины не обязательно должны были быть многочисленными [Кривошеев, 2020. С. 320–321]. Богатые, но все же расположенные на периферии подкурганной площадки, могилы в саргатских некрополях Исаковка 1 и Сидоровка интерпретируются как захоронения вождей [Матющенко, Татаурова, 1997. С. 83–96], предводителей таких воинских групп. Кроме того, не стоит исключать, что фиксируемые археологически различия могли маркировать не прижизненный, а приписываемый социальный статус [например, Trigger, 1978. P. 153–166].

На имеющемся материале можно предположить, что оба представления – принадлежность конкретному человеку и собирательный образ – взаимодополняли друг друга в саргатском ритуале. Тем более что особые семантические ассоциации или символическое мышление имели, вероятно, преобладающее влияние в различных обществах, в том числе изучаемых археологически [Kobyliński, 1989. P. 126]. В какой-то мере иконография предметов Сапоговского клада (рис. 124) визуализирует представление о вертикальной иерархической структуре обществ лесостепи и степи Урала. В ней просматриваются три страты: военная элита (рис. 124-1–6), профессиональные

воины-дружинники (рис. 124-7–9), а также свободные общинники¹²⁹(?) (рис. 124-10–18), выделенные В. Ю. Зуевым на основании размера фигурок и наличие оружия и украшений [Зуев, 1993. С. 97–101. Рис. 1–3]. Соглашается с ним и В. Д. Викторова, усматривая в этом подтверждение предложенной Л. Н. Коряковой формы организации лесостепного социума – вождество [Корякова, 1988. С. 156; Викторова, 2017. С. 57]. Каноничность саргатского курганного обряда, практиковавшегося на протяжении столетий, оставалась неизменной, а сопроводительный инвентарь был практически унифицированным. Существовавший в саргатском социуме социально избирательный подход (социальная легитимация) к формированию курганных могильников не позволяет анализировать сегмент, не относящийся к социальной верхушке.

В завершение представляется целесообразным привести некоторые этнографические параллели, которые прямо или косвенно позволяют говорить о наличии социальной верхушки в среде местного зауральско-западносибирского населения. В этнографии исследования жизнеобеспечения этноса подчеркивают связь жизненно важных биологических потребностей и социальности человека. Необходимость самосохранения обеспечиваются, в том числе, и появлением людей, значимых для жизнедеятельности коллектива [Козлов, 2017. С. 12–16], с их потребностью престижа [Арутюнов, 1979. С. 95]. Относительно недавно различия в образе жизни социума и в формировании элиты получили объяснения с позиций эко- и социоадаптации, что привело к появлению концепции локальных и магистральных культур на просторах Северной Евразии, материальные остатки которых маркируют массовую культуру и культуру элиты [Головнев, 2009. С. 22]. Первая формируется в течение длительного времени, меньше зависит от инноваций, но больше – от среды обитания. Вторая – культура вождей, воинов – ориентирована на престижное потребление, она более динамична [Федорова, 2019. С. 7–9]. Существует мнение, что формирование элиты сопряжено с контролем над пространством [Головнев, 2013. С. 119]; при принятии этой

¹²⁹ Последняя группа у В.Ю Зуева достаточно размыта, включает еще и жрецов, и жен богатырей [Зуев, 1993. С. 99], поэтому определение этих персонажей свободными общинниками едва ли можно признать удачным. При этом трехчленность в такой интерпретации вполне соотносится с археологическим материалом.

гипотезы наиболее отчетливые ассоциации возникают с евразийскими сообществами эпохи железа, экономической основой которых было скотоводство различных форм подвижности. Развитие опыта предшествующей эпохи, связанного с разведением скота, неизбежным образом привело к появлению верховой езды и соответствующей формы социальной организации, включавшей, в том числе систему коммуникаций и иерархии. Кочевание, как известно, всегда считалось среди скотоводов занятием более престижным, чем любая из форм оседлости [например, Першиц, 1994; Хазанов, 2002; Головнев, 2013].

В скотоводческих сообществах прошлого стратегии выживания подчинены не только воздействиям экзогенных факторов – контактам с внешним миром и миграционным потокам, но и процессам, направленным на самосохранение [Балабанова, 2016. С. 15]. История саргатской социально-политической системы в целом наглядно подкрепляет существующее утверждение о консолидирующей роли элит в обществе. Уже на этапе становления и укрепления элита выступала социокультурной основой (или фактором), интегрировавшей мозаичные группы местного лесостепного населения, восходящего к культурам эпохи бронзы. На начальном этапе материальная атрибутика претерпела трансформацию, наиболее заметную в погребальной обрядности, – курганный способ захоронения и появление «царских» курганов. Допускалось, что формирующаяся аристократия вела свое происхождение от кочевников, а потому социальные различия на раннем этапе совпадали с этническими [Корякова, 1994б. С. 126–127, 152]¹³⁰. В дальнейшем вертикальные различия в саргатской погребальной обрядности становятся не столь контрастными (с меньшим объемом трудозатрат), но неизменно маркируются материальными (статусными) символами. С исчезновением/сменой элиты происходит распад системы, представленной археологическими памятниками саргатской культуры. Поздние саргатские материалы демонстрируют лишь отдельные элементы некогда целостного

¹³⁰ Однако для сообществ, проживающих в условиях близких географических зон и ведущих схожий тип хозяйства, в основах социально-политической культуры может наблюдаться вариативность. В современных исследованиях феномена власти и лидерства в традиционных обществах Западной Сибири отмечается, что у угров и самоедов оно основано на родстве и свойстве, при этом в традициях лидерства угров заложена элитарность, самоедов – эгалитарность [Первалова, 2017].

культурного механизма. Ранее Л. Н. Корякова именно с богатыми родами связала уход из лесостепи Тоболо-Иртышья носителей саргатской культуры в последние века до н.э. [Корякова, 1988. С.169]. Этот тезис не оспаривается [Могильников, 1992а. С. 311; Зыков, Федорова, 2001. С. 20–21; Матвеева, 2016. С. 217–220].

Будучи генетически, идеологически и географически связанной с кочевниками, саргатская элита формировала и поддерживала такую модель социального порядка, которая позволила ей стать социокультурной доминантой в Тоболо-Иртышской лесостепи, а в определенный момент – весьма существенным компонентом кочевого мира. Показательными во временном отношении являются относительно недавние исследования происхождения позднесарматской культуры, в формировании которой не исключается участие лесостепного (саргатского) населения [Малашев, Мошкова, 2010. С. 48–49; Малашев, 2013. С. 156; Балабанова и др., 2019. С. 29].

Подводя итог необходимо подчеркнуть, что предпринятое разностороннее исследование доступного археологического материала зауральско-западносибирской лесостепи с привлечением данных палеоантропологии и палеогенетики населения саргатской культуры позволило преодолеть ограничения, имеющиеся у каждой из дисциплин по отдельности, приблизив нас к реконструкции разных сторон жизни древнего социума.

Заключение

В диссертационном исследовании рассмотрены основные проблемы изучения саргатской культуры, проведено переосмысление некоторых социальных аспектов, что стало возможным благодаря разнообразию направлений работы с палеоантропологическими коллекциями, а также позволило учесть факторы среды. Привлечение современных подходов междисциплинарной направленности естественным образом определило обращение к истокам накопления и формирования научного знания о лесостепных древностях Зауралья и Западной Сибири середины I тысячелетия до н.э. – начала I тысячелетия н.э.

История изучения саргатской культуры столь же интересна и многогранна, сколь богат материальный мир населения лесостепи Зауралья и Западной Сибири. Открытие археологических памятников сопровождалось разными сюжетными поворотами, порой лишенными какой-либо научности. Сибирское бугрование, охватившее районы от Урала до Енисея, явило собрание высокохудожественных находок, носящее имя Петра I. Однако бóльшая часть древних сокровищ была утрачена, а сохранившаяся – лишена своего контекста. Материал, накопленный до начала XX в., малопригоден для развернутой характеристики, хотя, несомненно, попытки его научного осмысления предпринимались. Полученные в ходе первых любительских изысканий археологические коллекции содержали типологически и хронологически разнородные предметы, поступавшие в губернские и уездные музеи. Полевые работы сопровождались несовершенством методики, а их темпы во многом опережали научное осмысление, многое сводилось к поиску ценных и редких вещей. Вплоть до середины XX в. сведения об археологических памятниках к востоку от Урала исчерпывались дореволюционными данными, полученными на протяжении почти двух столетий, составленными иностранными путешественниками, краеведами-любителями, реже – профессионалами.

Несмотря на то что древности эпохи железа изучались попутно, археологическое знание пополнялось общими представлениями о находках, типах памятников, впоследствии объединенными под названием «саргатская общность» [Корякова, 1991а; 1991б; 1993]. «Археологический бум» полевых работ второй половины XX в. не только выявил новые поселения и могильники, но и позволил связать часть предметов Сибирской коллекции с саргатскими курганами. Однако еще некоторое время саргатская культура оставалась малоизвестной, а ее географическое положение на периферии цивилизаций оценивалось как нарицательное.

Ситуацию изменили исследования 80–90-х гг. прошлого века: в них были проанализированы вещевой материал и данные раскопок поселений и могильников, реконструирован погребальный обряд населения, имевшего сложные внутренние и внешние связи, а также определены ареал распространения и хронология культуры (Л. Н. Корякова, А. В. Матвеев, Н. П. Матвеева, В. А. Могильников, Л. И. Погодин, Н. В. Полосьмак). Проведенный коллегами анализ массовых проявлений в материальной атрибутике позволил повысить значение немногочисленных ярких находок из богатых погребений, включив их в культурный контекст. Не только изучались отдельные аспекты культуры, но и была заложена основа для новых исследований, в том числе и социальных [Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 2000; 2005; Берсенева, 2005, 2011б].

В диссертации охват археологического материала в терминах «саргатской общности» позволил анализировать древности, в хронологическом отношении предшествующие сложению саргатской культуры на обширном пространстве Урало-Иртышской провинции или совпадающие с ним, а также аборигенные группы, впоследствии включенные в сферу влияния саргатского населения. Однако степень изученности погребений обитателей северных районов лесостепи и их слабая археологическая представленность не позволяют конкретизировать наблюдаемую погребальную вариативность. В общих чертах она предполагает некурганый обряд, использование огня.

Основным результатом проделанной работы является то, что саргатские древности впервые стали предметом междисциплинарного изучения в масштабах

всего ареала распространения, а анализируемые источники представлены максимально доступными материалами. Привлечение результатов палеоантропологического анализа в качестве отправной точки исследования не только сформировало источник, равноценный археологическому, но и позволило дать всестороннюю характеристику древним обитателям региона.

С одной стороны, это дало возможность обратиться к «старым» проблемам на новом уровне, с другой – поставить новые вопросы, возникшие в ходе решения «старых» задач. При этом для ряда памятников Притоболья стратегия исследования предусматривала последовательность и непрерывность работы с источником с момента его получения до полной обработки.

Существующие характеристики погребальной обрядности как отдельных локальных вариантов [Полосьмак, 1987; Берсенева, 2005; 2011б], так и на всей территории распространения саргатской культуры [Корякова, 1988; 1994б; Матвеева, 2000] содержат антропологические данные в ограниченном объеме – установление пола и возраста. Анализируемые в диссертации результаты изучения палеоантропологических материалов представляют широкий спектр данных: полевой антропологии, палеопатологии и палеогенетики. В полной мере они реализованы на материалах Притоболья, что делает памятники этого района опорными в археологии саргатской культуры.

Участие полевых антропологов в раскопках могильников в Притоболье выявило прежде неизвестные для древнего населения региона случаи отсроченных (мог. Карасье 9, Сопининский 1) и наземных (мог. Куртугуз I, Скворцовская гора V) погребений. Особенности расположения скелетных останков в неграбленных захоронениях позволили реконструировать наличие погребальных свертков и/или покровов из мягких (ткань, войлок) или более грубых (кожа, древесина) материалов (мог. Гаевский 1, кург. 3, погр. 5; кург. 6, погр. 1, 2; Сопининский 1, кург. 1, погр. 1, ск. 3; Карасье 9, кург. 11, погр. 2; Щучье 1, кург. 3, погр. 3). Новые сведения принципиальным образом детализировали существующие в зауральско-западносибирской археологии представления о посмертных обрядовых действиях и устройстве погребальных

камер. Ранее на основании обнаруженных в погребениях фрагментов древесины утверждалось наличие срубов, гробовищ, деревянного пола [Корякова, 1988. С. 49; 1994б. С. 142]. Крайне редко использование подстилки или кошмы допускалось по находкам растительных волокон или бересты [Могильников, 1992а. С. 299–300]. Новая информация, полученная с учетом тафономических процессов, впервые включена в характеристику погребальной обрядности древних коллективов. Проведенный еще на стадии раскопок методами полевой антропологии анализ является весьма ценным источником для демографической характеристики населения раннего железного века. В ряде случаев для неоднократно ограбленных саргатских могильников соотношение скелетных останков с археологическим материалом, происходящим из разрушенных впускных могил, позволило реконструировать тафокомплекс отдельно взятого кургана без потерь, а также восстановить последовательность совершения захоронений (например, мог. Сопининский 1, кург. 1, 2; Щучье 1, кург. 3; Карасье 9, кург. 11; курган Новопокровка 16).

Фиксируемый археологами погребальный обряд зауральско-западносибирского населения предполагал ингумацию под курганом или в уже имеющейся насыпи. Из-за фрагментарности данных и небольшого количества неграбленных могил по-прежнему нет однозначности в определении коллективных синхронных захоронений, однако там, где это было доступно, проведена верификация данных (например, мог. Богдановка, кург. В, погр. 13; Карташево 2, кург. 2, погр. 4; Кокуйский 3, кург. 3). В погребениях начальной стадии железного века зафиксировано воздействие огня различной степени интенсивности: от частичного обугливания до кремации (мог. Скворцовская гора V; Щучье, кург. 3, погр. 2). Примеры альтернативы курганному обряду (мог. Скаты 1, кург. 3, погр. 3; Сопининский 1, бескурганное погребение), половозрастная деформация курганной выборки, дисбаланс между количеством людей, похороненных в курганах и проживавших на поселениях, позволили говорить, что антропологический материал саргатской курганной выборки представлен останками индивидов, относящихся к социальной верхушке. Этот постулат

основополагающий в диссертации. С учетом выбранной исследовательской парадигмы биологические параметры выступают в качестве независимого исторического источника.

Проделанная работа показала принципиальную возможность применения анализа посткраниального скелета в социальных реконструкциях, поскольку гипотетические построения основаны не на принципе отсутствия/наличия признака в изучаемой выборке (что наблюдается в различных археологических исследованиях). Учетные характеристики физического состояния изучаемых индивидов (стрессы, нагрузки, травматические поражения и т.д.) даны в археологическом контексте. Опираясь на фактологический материал погребений и результаты палеоантропологического изучения скелетных останков, можно допустить, что представители «активного» морфотипа из-за повышенных нагрузок могут рассматриваться как выходцы из более низкой страты, а их принадлежность к социальной верхушке – благодаря личным заслугам. Мужчины и женщины «спокойного» морфотипа, вероятно, принадлежали к наследственной аристократии по факту рождения, они чаще хоронились в центральных могильных ямах. Как показало проведенное исследование, эти отличия проявляются наиболее ярко во взаимосвязи с маркерами питания и патологиями, и археологическим контекстом.

Совместное рассмотрение археологических и антропологических данных позволило выявить некоторые детали, недоступные этим областям по отдельности, и иначе взглянуть на известные материалы. Наиболее наглядно это демонстрирует женская выборка. Контекстуальный анализ погребений и данные палеопатологических исследований не позволяют принять гипотезу о существовании в саргатском обществе вооруженной группы всадниц или занятии женщин военным делом, выделяя этот эпизод из известных примеров за пределами саргатской ойкумены. Достижение старшего возраста женщинами отражено в количестве фиксируемой ритуальной пищи, остатки которой найдены в виде костей животных (преимущественно лошади) и сосудов. Погребения мужчин не столь выразительны, хотя для них более свойственен воинский по

составу инвентаря. Тем не менее в саргатском погребальном источнике встречаются случаи несоответствия биологического пола и погребального инвентаря, что не только привлекает пристальное внимание, но и получает особую интерпретацию. В частности, помимо нахождения единичных наконечников стрел, своеобразные проявления девиантности в вещевом комплексе представлены находками в мужских погребениях предметов, относимых к пряслицам. Анализ их места в пространстве могилы, состава инвентаря и результатов антропологических определений позволил говорить, что в ряде случаев имеет место ошибочная интерпретация дисковидных, шаровидных или цилиндрических предметов с отверстиями исключительно как пряслиц. В каждом конкретном случае функциональное назначение предмета могло быть различным: навершие меча (Сидоровка, кург. 1, погр. 1), темляк (Исаковка 1, кург. 3, погр. 6), пряслице (в подавляющем большинстве случаев). Находки пряслиц отдельно от остального инвентаря связывают не только с подношениями, но и с амулетами-оберегами [Мошкова, 2012], однако они могли быть и атрибутами игры или игрушками. Подобные интерпретации редко рассматриваются археологами, чаще всего предлагается культовая или утилитарная функция предмета. Очевидно также и то, что в большинстве случаев мы не можем установить их назначение и отдать предпочтение одному из вариантов.

Считается, что сакрально отмеченными были головной и ножной участки камеры [Корякова, 1988. С. 57], именно там находят нетипичные для биологического пола предметы. Обнаруженные в женских погребениях удила, плетки (например, мог. Богдановка, кург. 3, погр. 4; Тютринский, кург. 5, погр. 2) получают одностороннее толкование [Матвеева, 2005. С. 145, 147; Берсенева, 2011а. С. 74–76]. Как правило, при анализе таких ситуаций за рамками обсуждений остаются различия между объективной реальностью, стоящей за археологическим предметом, и субъективным истолкованием в сознании исследователя. В целом можно отметить, что выбор инвентаря маркирует вертикальный социальный статус и отражает существовавшие возможности для

определенных не столько возрастных, сколько социальных страт. Все вышесказанное подтверждает гипотезу о том, что саргатское общество в том варианте, в котором оно реконструируется по археологическим и антропологическим материалам, было стратифицировано и включало группы «избранных».

Выявленные изменения в составе инвентаря для разных когорт невзрослых (с возрастом он становится разнообразнее) позволяют осторожно предположить, что полоролевая социализация у девочек происходила чуть раньше, чем у мальчиков. В то же время не исключается факт достижения «социальной взрослости» уровнем физического развития ребенка. Отдельные различия саргатской и гороховской погребальной обрядности, столь ярко выраженные в захоронениях детей IV–III вв. до н.э., отмечают локальные и хронологические особенности, которые позднее стали менее заметны.

Рассмотрение ременных гарнитур в составе вещевого комплекса позволило обособить пряжки. Возникновение в лесостепном ареале новых потребностей отразилось в появлении застежек с подвижным язычком в качестве неотъемлемой части материальной культуры. Истоки их появления на основе римских образцов в азиатском регионе можно отнести ко времени не ранее второй половины I в. до н.э.

В саргатском обществе социальные маркеры, помимо элементов костюма и вооружения, представлены и обычаем кольцевой деформации головы. Планиграфия погребений, из которых происходят такие черепа, позволила предположить, что изменение естественной формы головы все же не гарантировало этим людям высших ступеней. Их могилы располагались преимущественно на периферии подкурганной площадки, заметно уступая погребальным комплексам, устроенным с особой пышностью и огромными трудозатратами. Другой отличительной особенностью распространения этой практики в саргатской среде является ее малочисленность. Не менее показательны археологические проявления: узкие могильные ямы, наличие нишеобразных расширений для установки заупокойных даров, погребальный инвентарь

соотносится с предметами, распространенными в позднесарматской культуре. Хронологическая оценка этой группы укладывается в рамки от рубежа эр до II-III вв. н.э. В целом кольцевая деформация на черепах некоторых индивидов отличает этот немногочисленный сегмент от остальных носителей саргатской культуры. На данном этапе результаты палеогенетического анализа однозначно не подтверждают, но и не опровергают гипотезу о южных истоках обычая изменения естественной формы головы в лесостепных коллективах. Несомненно, нужны дальнейшие исследования в этом направлении.

Рассмотрение травматических повреждений позволило подойти к обсуждению степени воинственности саргатских коллективов. С одной стороны, фиксируется заметная распространенность предметов вооружения и доспеха в сопроводительном инвентаре, что позволяло утверждать военизированность быта саргатских коллективов. В качестве дополнительного аргумента приводились масштабность и усложнение фортификации городищ как следствие военной напряженности и длительных вооруженных противостояний. С другой – в ходе исследования выявлено семь черепов со следами повреждений, относимых к категории боевых. С учетом травм посткраниального скелета такие ранения могли иметь около трети мужчин и женщин саргатской курганной выборки. Все же эти показатели значительно скромнее, чем боевой травматизм, наблюдаемый в других группах железного века. Более того, не позволяет считать гибель в результате боевых действий основной причиной смерти мужчин саргатского общества и модальный возраст смерти 35–39 лет в этой группе. Этот показатель отличается от реконструируемой ожидаемой высокой военной смертности юношей в интервале 15–24 лет [Ражев, 2009. С. 51, 53]. Согласуются с этими данными и материалы раскопок саргатских городищ, где не зафиксированы сколько-нибудь заметные следы пожарищ, нет и следов опустошительных вторжений и их жертв. Небольшое количество травм позволяет говорить о контактности и открытости социокультурной системы, представленной саргатскими древностями, а «изобилие» оружия следует считать социальным маркером.

Следствием принятия лесостепным социумом понимания престижности импортных вещей стало не только формирование набора статусных предметов – оружия, посуды, украшений, – но и в определенной мере наблюдаемая практичность саргатского населения по отношению к этим вещам (в ряде случаев все же контрастирующая с богатством инвентаря). Такой прагматизм выражался депонированием в погребение неместного происхождения предметов со следами ремонта или их фрагментов. Например, северокавказский кувшин в элитном погребении 6 кургана 3 могильника Исаковка 1 имел многочисленные сколы, которые первоначально ремонтировались (и не раз!), а после того, как были утрачены отколовшиеся фрагменты, их края были заглажены. Не менее показателен и реконструируемый ритуальный напиток на основе местного сырья; кроме того следы ремонта присутствуют и на некоторых золотых изделиях, обнаруженных в могилах [Шарапова и др., 2022].

В саргатских погребениях практически не выявлены конституирующие инсигнии, тем не менее захоронения элиты среди категории избранных демонстрируют наличие репрезентативных инсигний. В обществах высокого уровня сложности (вождества и ранние государства) их состав практически универсален [Мордвинцева, 2016] и связан по происхождению с мужской субкультурой, характерной для лесостепного и степного населения железного века Евразии. Все известные саргатские погребения элиты, где обнаружены предметы импортного происхождения, включая оружие, определены как мужские (Исаковка 1, Сидоровка). Фиксируемая гендерная дихотомия, вероятно, отражает главенство мужчин как в реальной жизни, так и в ритуальной сфере. Преобладание мужских захоронений свидетельствует о том, что практиковавшийся в саргатском социуме курганный обряд погребения предназначался для них. Но каковы критерии такого отбора?

Изначально гипотезы о вероятном родстве строились преимущественно на анализе археологического материала [Корякова, 1988. С. 156; 1994б. С. 155; Матвеева, 1993б. С. 148], затем дополнялись результатами палеоантропологии [Культура зауральских..., 1997. С. 86–107; Ражев, 2009. С. 54–63]. Существенные

уточнения вносят палеогенетические исследования [Пилипенко и др., 2017; Шарапова и др., 2020]. Сопоставление разнообразных данных позволяет говорить о социальной легитимации в саргатской погребальной практике. Хотя значимость родственных связей и не отрицается полностью (например, для некоторых индивидов в кург. 5 и 6 мог. Гаевский 1 биологическое родство установлено по сходству морфоостеологических признаков), они не были обязательным условием для захоронения в одном кургане. Практика отсроченных похорон отражает сложный и разносторонний характер мотивов погребения и/или подхоронения в кургане. Среди них – не только сезонный характер захоронений, но также и социальное родство, когда умершие не являлись близкими родственниками по материнской и отцовской линиям. Так, намерение похоронить в одном кургане может указывать на принадлежность к определенной социальной группе – воинской элите (мог. Венгерово 6, кург. 1; Погорелка 2, кург. 8; Гаевский 1, кург. 6, погр. 1 и 2) [Пилипенко и др., 2017. С. 141–142; Шарапова и др., 2020. С. 361]. Другим возможным объяснением могут быть отдаленные варианты родства, при которых преемственность структуры мтДНК и Y-хромосомы не сохранилась бы.

В ходе исследований палеодНК выявилось внешнее генетическое влияние, свидетельствующее о смешении разных компонентов в сложении саргатского генофонда. В нем заметно выраженное, но не столь значительное в плане доли в генофонде влияние с юга – ираноязычных племен из более южных и юго-западных по отношению к Барабе регионов [см.: Пилипенко и др., 2013; Шарапова и др., 2019]. Предварительные результаты сравнительного анализа палеоантропологического и палеогенетического материалов сарматских популяций Нижнего Поволжья обнаруживают заметное генетическое сходство с саргатскими группами [Балабанова и др., 2019. С. 29; Пилипенко и др., 2020. Рис. 3]. Эти данные показательны для оценки характера и векторов культурных связей, а также некоторых археологических соответствий, фиксируемых в степных и лесостепных комплексах.

Выявленная практика отсроченных похорон предполагает также длительное нахождение социума вне пределов досягаемости родового кладбища, что

допускалось ранее при анализе материалов саргатских могильников [Ковригин и др., 2006. С.202]. Принятие этой гипотезы не исключает предположения о ведении саргатской элитой более подвижного (номадического), по сравнению с основной массой населения, скотоводческого хозяйства. Упрочению связей саргатской социальной верхушки со степняками не в последнюю очередь способствовало ее формирование выходцами из кочевой среды (причем не только в середине, но во второй половине I тысячелетия до н.э.). Первые результаты изотопного анализа стронция органично дополняют этот тезис.

Устоявшиеся представления о хронологических рамках саргатской культуры охватывают интервал V в. до н.э. – IV-V вв. н.э. Исследования последних лет, как на основной территории, так и за пределами саргатского ареала, дают основания для уточнения верхней хронологической границы. За неимением убедительных датировок отдельных памятников, но с учетом яркого позднесарматского облика некоторых саргатских погребальных комплексов, референтными могут быть позднесарматские находки Южного Приуралья, ограничивающие преимущественно нижнюю дату позднего этапа саргатской культуры. По ним в настоящее время не только накоплен богатый материал, но и детально проработана хронология [Малашев, Яблонский, 2008; Малашев, 2013], а сходство сарматских и саргатских древностей в типологическом контексте археологии железного века Евразии никем не отрицается.

Поздние саргатские памятники есть только в двух районах – в Притоболье и Приишимье. Предложенная корректировка поздней даты культуры базируется с учетом внешних по отношению к радиоуглеродному методу данных, то есть по археологическому материалу. К группе комплексов, маркирующих верхнюю хронологическую границу культуры, могут быть отнесены погребения из семи могильников в Притоболье и Приишимье (мог. Савиновский, кург. 5, погр. 3; Тютринский, кург. 3, погр. 3, 4; кург. 10, погр. 3; Гаевский 1, кург. 3, погр. 4, кург. 6, погр. 1, 2, кург. 7, погр. 3; Ипкульский, кург. 1–5, 13, 18, 20, 24; Абатский 3, кург. 1, погр. 5 и кург. 6, погр. 8; Покровский, кург. 2, 4; Явленка 1, кург. 5, 6). В коллекциях саргатских могильников неизвестны предметы, начало

употребления которых приходится на III в. н.э. Нет таких свидетельств и на поселениях. Судя по имеющимся материалам, количество таких комплексов невелико, инвентарь довольно беден. Вероятно, во второй половине III в. н.э. происходят угасание и размывание основных черт саргатской культуры, она отсутствует на большей части лесостепи к востоку от Урала. Если эти допущения верны, то исчезновение ярких выразительных комплексов, определявших облик саргатской социокультурной системы, выглядит довольно резким. На обширном лесостепном пространстве саргатские памятники IV в. н.э. и позже мне не известны. Таким образом, синхронность заключительного этапа саргатской культуры и позднесарматской культуры Южного Приуралья второй половины II – III в. н.э. не исключается. Однако материалов, позволяющих раскрыть механизм взаимодействия лесостепных и степных групп, пока явно недостаточно. Время, предшествующее финалу III в. н.э. вплоть до сложения бакальской культуры в лесостепи, можно считать «темными веками». Сказанное не означает тотальную депопуляцию лесостепной территории и ее окраин, в большей мере оно справедливо к археологическим проявлениям, не позволяющим фиксировать смену культур (или сложения и распада).

Таким образом, с момента возникновения саргатской культуры ее население всегда выступало активным участником транскультурного диалога с кочевым миром и центрами древних цивилизаций, но с устойчивостью местных традиций (проявившихся, прежде всего, самобытностью жилой среды и керамического производства) и спецификой социокультурной адаптации к внешнему окружению (в частности, относительно невысокой воинственности). Такая ситуация в немалой степени была стимулирована внутренним развитием локальных культур, что отразилось в появлении новых потребностей (функционирование иткульского очага металлургии в высокой зоне активности своих соседей [Бельтикова, 1997]). Однако этому способствовало и сложение новой социально-экономической системы – подвижного скотоводства, в том числе в лесостепном зауральско-западносибирском регионе, экологические условия которого благоприятствовали ведению полукочевого/полуоседлого скотоводства населением саргатской

культуры [Среда, культура..., 2009. С. 264; Корякова и др., 2010. С. 62–63].
Природные условия региона (расположение вблизи степной экосистемы) неизбежным образом повлияли на формирование характерного облика материальной культуры и погребальной обрядности – среды обитания – лесостепных коллективов.

В заключение можно отметить, что выбранная исследовательская парадигма в русле междисциплинарного подхода позволила полнее раскрыть информационный ресурс имеющихся данных, в том числе полученных из разрушенных погребений. Сложение саргатской культуры было стимулировано не только внутренним развитием лесостепных групп, но определялось и внешним окружением, что отразилось и в появлении новых потребностей социальной верхушки, включая вещевой комплекс и курганный обряд, и в формировании особой социокультурной адаптации к внешним и внутренним условиям среды.

Помимо материальной атрибутики и фиксируемых элементов обрядности, анализ включал и скелетные останки некогда живых людей – непосредственных участников тех далеких процессов. В то же время необходимо признать, что представленную характеристику нельзя считать исчерпывающей, поскольку проведенное исследование не только дает готовые ответы на многие вопросы, но и ставит новые. В определенной мере это обусловлено спецификой археологического источника, поэтому предложенные интерпретации и заключения носят вероятностный характер. Не все направления аналитической работы с материалами раскопок прошлых лет завершены, другие разработки еще предстоит осуществить в ходе новых исследований, научная необходимость которых очевидна. Методически такая работа сложна, и единый код описания тоже едва ли возможен: сказываются и разрушительные последствия тафономических процессов, и предпочтения в выборе и возможностях научных проектов. Однако, оглядываясь назад – на время интенсивных раскопок памятников саргатской культуры, можно сказать, что возможность применения новых методов к анализу фрагментарного источника уже реальна.

Список источников и литературы

Архивные материалы

1. Булакова Е.А. Отчет об археологической разведке в Горьковском районе Омской области в 2019 г. / Архив ИА РАН. – Ф. 1. – Р. 1. – № 66561.
2. Викторова В.Д. Археологическая карта бассейна рр.Туры и Тавды (опыт систематизации и периодизации археологических памятников): дисс. ...канд. ист. наук. – Свердловск, 1969. / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. III. – Д. 89, 89А.
3. Зотов И.А. Историко-культурные изыскания (археологическая разведка) на территории Большереченского, Горьковского, Саргатского и Черлакского районов Омской области в 2019 году / Архив ИА РАН. – Ф. 1. – Р. 1. – № 64973, 64974, 64975, 64976, 64977.
4. Ковригин А.А. Отчет об археологических исследованиях могильника Куртугуз I в Богдановичском районе Свердловской области, проведенных в 2001 году / Архив ИА РАН. – Ф. 1. – Р. 1. – № 43215.
5. Корякова Л.Н. Отчет о раскопках Ипкульского могильника в 1986 г. / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. II. – Д. 352.
6. Корякова Л.Н. Отчет об археологических исследованиях в зоне строительства и эксплуатации газопровода «Уренгой-Челябинск» (в 1984 г.) / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. II. – Д. 411.
7. Корякова Л.Н. Отчет о раскопках Ипкульского могильника в зоне строительства и эксплуатации газопровода «Уренгой-Челябинск» (в 1985 г.) / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. II. – Д. 436.
8. Корякова Л.Н. Отчет о раскопках Мурзинского 3 могильника в Каргапольском районе Курганской области в 1992 г. / Архив ИА РАН. – Ф. 1. – Р. 1. – № 17407.
9. Корякова Л.Н. Отчет о раскопках могильника Скаты 1 в Белозерском районе Курганской области летом 1996 г. / Архив ИИиА УрО РАН. – Ф. II. – Д. 61.

10. Малашев В.Ю. Позднесарматская культура Южного Приуралья во II – III вв. н.э.: дисс. ...канд. ист. наук. – М.: ИА РАН, 2013. / Архив ИА РАН. – Р. 2. – № 2824. – 301 с.
11. Матющенко В.И. Отчет о раскопках курганов у с. Новооболонь Горьковского района Омской области, произведенных кафедрой всеобщей истории Омского госуниверситета в 1977 г. / Архив МАЭ Музейного комплекса ОмГУ. – Ф. II. – Д. 11-1.
12. Могильников В.А. Отчет о работах Иртышского отряда Западно-Сибирской экспедиции летом 1966 г. / Архив ИА РАН. – Р-1. - №3325, 3325а.
13. Могильников В.А. Отчет о работе Иртышского отряда Западносибирской экспедиции в 1967 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 3464, 3464а.
14. Могильников В.А. Отчет о работах Иртышского отряда Западносибирской экспедиции в 1968 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 3716, 3716а.
15. Могильников В.А. Отчет о работах Иртышского отряда Западносибирской археологической экспедиции летом 1969 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 4000, 4000а.
16. Могильников В.А. Отчет о работах Иртышского отряда ИА РАН СССР в 1970 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 4252, 4252а.
17. Могильников В.А. Отчет о работах в Прииртышье в 1973 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 5715.
18. Могильников В.А. Отчет о работах Иртышского отряда в 1974 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – №5350.
19. Могильников В.А. Отчет о работах Иртышского отряда в 1976 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 6659.
20. Могильников В.А. Отчет об археологических исследованиях в Среднем Прииртышье в 1977 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 6678.
21. Могильников В.А. Отчет об исследованиях Иртышского отряда Западносибирской экспедиции в 1980 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 7762.

22. Могильников В.А. Отчет об археологических исследованиях курганов у д. Карташево, в зоне мелиоративного строительства колхоза «Заветы Ленина» Муромцевского района Омской области в 1981 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 10072.
23. Молодин В.И. Археологические исследования в Западной Сибири летом 1977 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 6375, 6375а, 6375б, 6375в, 6375г.
24. Молодин В.И. Отчет об археологических раскопках памятников Тартас-1, Яшкино-1 и Венгерово-2 в Венгеровском районе Новосибирской области в 2013 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 40962, 40963, 40964, 40965, 40966, 40967, 40968, 40969.
25. Погодин Л.И. Отчет об археологических раскопках курганов Стрижевского-II и Стрижевского-III могильников в Нижнеомском районе Омской области, проведенных Омским государственным университетом в 1987 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 12374, 12374а, 12374б, 12374в.
26. Погодин Л.И. Отчет о раскопках курганов у д. Бещаул Нижнеомского района Омской области, проведенных Омским государственным университетом в 1988 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 13209, 13210, 13211, 13212.
27. Погодин Л.И. Отчет об археологических исследованиях в Нижнеомском и Горьковском районах Омской области в 1989 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 13932, 13933, 13934, 13935.
28. Погодин Л.И. Отчет об археологических исследованиях в Горьковском и Нововаршавском районах Омской области в 1990 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 14928, 14928а.
29. Погодин Л.И. Отчет об археологических исследованиях у б. д. Стрижево Нижнеомского района Омской области в 1991 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 16289, 16290.
30. Савинов Д.Г. Отчет о полевых исследованиях Южносибирского палеоэтнографического отряда в 1980 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 8762.

31. Савинов Д.Г. Отчет о полевых исследованиях Южносибирского палеоэтнографического отряда кафедры этнографии и антропологии в 1981 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 9814.
32. Стефанов В.И. Отчет о разведочном обследовании археологических памятников в Богдановичском районе Свердловской области (Куртугузский 1 могильник, Кашинское городище) в 1992 г. / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. II. – Д. 511.
33. Стефанов В.И. Отчет о раскопках могильника Куртугуз 1 в Богдановичском районе Свердловской области в 1996 г. / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. II. – Д. 581.
34. Стоянов В.Е. Ранний железный век Западносибирской лесостепи (опыт классификации и периодизации): дисс... канд. ист.наук. – Свердловск, 1969. / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. III. – Д. 176, 176а.
35. Татауров С.Ф. Отчет об археологических исследованиях на объекте культурного наследия регионального значения «Курганный могильник Новооболонь 1» у д. Новооболонь Горьковского района Омской области в 2012 г. / Архив МАЭ Музейного комплекса ОмГУ. – Ф. II. – Д. 250-1.
36. Татаурова Л.В. Отчет о раскопках 2 кургана Новооболонского могильника в Горьковском районе Омской области в 2008 г. / Архив МАЭ Музейного комплекса ОмГУ. – Ф. II. – Д. 230-1.
37. Труфанов А.Я. Отчет о работах в Крутинском и Омском районах Омской области, проведенных в 1989 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 14513.
38. Труфанов А.Я. Отчет об археологических работах в Омском, Крутинском и Черлакском районах Омской области в 1990 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 15886, 15887, 15888, 15889.
39. Чернецов В.Н. Результаты археологической разведки в Омской области в 1946 г. / Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 13.
40. Чикунова И.Ю. Отчет о полевых исследованиях в 2010 и 2011 гг. Раскопки Ипкульского курганного могильника в Нижнетавдинском районе Тюменской области / Архив ИА РАН. – Р.1. – Б/н.

41. Шарапова С.В. Отчет о раскопках Баитовского городища в Белозерском районе Курганской области в 1995 г. / Архив кабинета археологии УрГУ. – Ф. II. – Д. 595.

42. Шарапова С.В. Отчет о раскопках погребального комплекса Карасье в Заводоуковском районе Тюменской области в 2000 г. / Архив ИИиА УрО РАН. – Ф. II. – Д. 73.

43. Шарапова С.В. Отчет о раскопках Сопининского могильника в Шатровском районе Курганской области в 2002 г. / Архив ИИиА УрО РАН. – Ф. II. – Д. 96, 96а.

44. Шарапова С.В. Отчет об археологической разведке в Шатровском районе Курганской области в 2003 г. / Архив ИИиА УрО РАН. – Ф. II. – Д. 111.

45. Шарапова С.В. Отчет о раскопках кургана Новопокровка 16 в Горьковском районе Омской области в 2021 г. / Архив ИИиА УрО РАН. – Ф. II. – Д. 261.

Литература

46. Абрамзон С.М. Черты военной организации и техники у киргизов (по историко-этнографическим данным и материалам эпоса «Манас») // Труды Института языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР. – Вып. 1 – Фрунзе, 1944. – С. 167–180.

47. Абрамова М. П. Подкумский могильник. – М.: Наука, 1987. – 178 с.

48. Акимова М.С. Антропология населения лесостепной полосы Западной Сибири // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени / отв. ред. К.Ф. Смирнов. – М.: Наука, 1972. – С. 150–159.

49. Алексеев А.Ю. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа – СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2012. – 272 с.

50. Алексеев В.П. Этногенез. – М.: Высшая школа, 1986. – 176 с.

51. Алексеев В.П. Палеодемография: содержание и результаты // Историческая демография: проблемы, суждения, задачи / отв. ред. Ю.А. Поляков. – М.: Наука, 1989. – С. 63–90.

52. Алексеев В.П., Гохман И.И. Палеоантропологические материалы гунно-сарматского времени из могильника Кокэль // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции / ред. Л.П. Потапов. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1970. – Т. III. – С. 239–297.
53. Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниметрия. Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.
54. Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1975 (САИ; Вып. Г1–12). – 94 с.
55. Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1978 (САИ; Вып. Г1–12). – 120 с.
56. Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Историко-этнографические области (проблемы историко-этнографического районирования) // СЭ. – 1975. – №3. – С. 15–25.
57. Антипина Е.Е. Методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. – 1997. – №3. – С. 20–32.
58. Артамонов М.И. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. – М.: «Искусство», 1973. – 280 с.
59. Арутюнов С.А. Культурологические исследования и глобальная экология // Вестник АН СССР. – 1979. – №12. – С. 92–98.
60. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. – 247 с.
61. Ахмедов И.Р., Белоцерковская И.В. Культура рязано-окских могильников // Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. (Раннеславянский мир. Вып. 9) / отв. ред. И.О. Гавритухин, А.М. Обломский. – М., 2007. – Глава 3. – С. 133–275.
62. Багашев А.Н. Палеоантропология Западной Сибири: лесостепь в эпоху раннего железа. – Новосибирск: Наука, 2000а. – 374 с.

63. Багашев А.Н. Формирование древнего и современного населения Западной Сибири по данным краниологии: автореф. дис. ...д-ра ист. наук. – М., 2000б. – 52 с.
64. Багашев А.Н. Материалы к биографии Сергея Михайловича Чугунова (в связи со 150-летием со дня рождения) // Некоторые актуальные проблемы современной антропологии / отв. ред. И.И. Гохман, А.В. Громов. СПб.: Изд-во МАЭ, 2006. – С. 168–172.
65. Багашев А.Н. Антропология Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 2017. – 408 с.
66. Балабанова М.А. Демография поздних сарматов // Нижневолжский археологический вестник. – 2000. – Вып. 3. – С. 201–208.
67. Балабанова М. А. О древних макрокефалах Восточной Европы // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – Вып. 3. – М.: ИА РАН, 2004. С. 171–185.
68. Балабанова М.А. Половозрастная структура населения позднесарматского времени Нижнего Поволжья // РА – 2009. – № 3. – С. 79–88.
69. Балабанова М.А. Стратегия выживания в кочевых обществах Восточной Европы в древности и средневековье // Экология древних и традиционных обществ: мат-лы V Междунар. науч. конф., г. Тюмень, 7-11 ноября 2016 г. / под ред. доктора исторических наук, профессора Н.П. Матвеевой. – Вып. 5: в 2 ч. – Ч. 1. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. – С. 15–18.
70. Балабанова М.А., Клепиков В.М., Коробкова Е.А., Кривошеев М.В., Перерва Е.В., Скрипкин А.С. Половозрастная структура сарматского населения Нижнего Поволжья: погребальная обрядность и антропология. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2015. – 272 с.
71. Балабанова М.А., Перерва Е.В., Клепиков В.М., Кривошеев М.В., Демкин В.А., Ельцов М.В., Скрипкин А.С., Удальцов С.Н., Яворская Л.В., Дьяченко А.Н. Курганный могильник Перегрузное I. Результаты междисциплинарных исследований. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – 360 с.

72. Балабанова М.А., Пилипенков А.С., Черданцев С.В., Трапезов Р.О. Данные палеоантропологии и палеогенетики о наличии восточного компонента у ранних кочевников Нижнего Поволжья // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.). V. Материалы X Межд. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» / отв. ред. И.Н. Храпунов. – Симферополь: ООО Фирма Салта ЛТД, 2019. – С. 25–31.

73. Балабанова М.А., Скрипкин А.С., Клепиков В.М., Коробкова Е.А., Кривошеев М.В., Перерва Е.В. Погребальная обрядность сарматского населения Нижнего Поволжья (половозрастной аспект) // Археология Восточно-Европейской степи. – 2013. – Вып. 10. – С. 468–479.

74. Батиева Е.Ф. Антропологические материалы из скифских погребений Беглицкого некрополя // Античная цивилизация и варварский мир. – Краснодар: Крайбибколлектор, 2002. – С. 37–46.

75. Бачура О.П. Определение сезона и возраста забоя животных из городища Пвлиново // Экология древних и современных обществ. Материалы конф. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2003. – Вып. 2. – С. 5–8.

76. Безбородова Л.Г., Семенова В.И. Деятельность И.Я. Словцова по изучению археологического наследия Западно-Сибирского региона // Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 1994. – Тюмень: б.и., 1997. – С. 31–43.

77. Безуглов С.И. Позднесарматское погребение знатного воина в степном Подонье // СА. – 1988. – №4. – С. 103–115.

78. Безуглов С.И. Воинское позднесарматское погребение близ Азова // Историко-археологические исследования на Нижнем Дону в 1994 г. / отв. ред. В.Я. Кияшко. – Азов: Азовский краевед. музей, 1997. – С. 133–142.

79. Безуглов С.И. Позднесарматские мечи (по материалам Подонья) // Сарматы и их соседи на Дону / отв. ред. Ю.К. Гугуев. – Ростов-на-Дону: Терра, 2000. – С. 169–193.

80. Безуглов С.И., Глебов В.П. Раннесарматское погребение с двумя мечами из могильника Сухо-Дюдеревский II // Война и военное дело в скифо-

сарматском мире: мат-лы Междунар. науч. конф. памяти А. И. Мелюковой. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. – С. 49–56.

81. Бельтикова Г.В. Иткульские поселения // Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1977. – С.119–133.

82. Бельтикова Г.В. Иткульское I городище – место древнего металлургического производства (предварительное сообщение) // ВАУ / отв. ред. В.Т. Ковалева. – Свердловск: Уральский государственный университет, 1986. – Вып. 18. – С. 63–79.

83. Бельтикова Г.В. Памятник металлургии на острове Малый Вишневый // ВАУ/ отв. ред. В.Т. Ковалева. – Свердловск: Уральский государственный университет, 1988. – Вып. 19. – С. 103–117.

84. Бельтикова Г.В. Развитие иткульского очага металлургии // ВАУ / отв. ред. В.Т. Ковалева. – Свердловск: Уральский государственный университет, 1993. – Вып. 21. – С. 93–106.

85. Бельтикова Г.В. Зауральский (иткульский) очаг металлургии (VII-III вв. до н.э.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1997. – 23 с.

86. Бельтикова Г.В. Среда формирования и памятники Зауральского (иткульского) очага металлургии // Археология Урала и Западной Сибири (К 80-летию со дня рождения В. Ф. Генинга) / науч. ред. В.А. Борзунов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – С. 162–186.

87. Бельтикова Г.В., Борзунов В.А., Корякова Л.Н. Некоторые проблемы археологии раннего железного века Зауралья и Западной Сибири // ВАУ / отв. ред. В.Т. Ковалева. – Свердловск: Уральский государственный университет, 1991. – Вып. 20. – С. 102–114.

88. Березуцкий В.Д. Грунтовые погребения Мастищенского городища // Археология Доно-Волжского бассейна: межвуз. сб. науч. работ / отв. ред. А.Т. Синюк. – Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1993. – С. 71–79.

89. Березуцкий В.Д. Курганы скифского времени Лесостепного Дона (к реконструкции социальных отношений). – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 1995. – 73 с.

90. Берлина С.В. Жилая и оборонительная архитектура населения западносибирской лесостепи в раннем железном веке (по материалам саргатской культуры): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Тюмень, 2010. – 18 с.

91. Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей // Мат-лы 1-й науч. конф. по истории Екатеринбурга-Свердловска. – Свердловск: [б.и.], 1947. – С. 129–142.

92. Берс Е.М. Археологическая карта г. Свердловска и его окрестностей // МИА. – 1951. – №21. – С.182–244.

93. Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей – Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1963. – 116 с.

94. Берсенева Н.А. Керамические пряслица из погребений саргатской культуры (по материалам Среднего Прииртышья) // XIV Уральское археологическое совещание (21-24 апреля 1999 г.): Тезисы докладов / отв. ред. С.А. Григорьев. – Челябинск: Изд-во «Рифей», 1999. – С. 115–117.

95. Берсенева Н.А. Пряслица и проблема гендера в саргатских погребениях (по материалам Среднего Прииртышья) // Шестые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова: Мат-лы всероссийской научной конференции / отв. ред. В.И. Матющенко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – С. 198–201.

96. Берсенева Н.А. Погребальная обрядность населения Среднего Прииртышья в эпоху раннего железа: социальные аспекты (по материалам саргатской культуры): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2005. – 25 с.

97. Берсенева Н.А. К вопросу о сходстве «модели» погребальной обрядности степных и лесостепных культур Урала и Западной Сибири в эпоху раннего железа // Этнические взаимодействия на Южном Урале / отв. ред. А.Д. Таиров, Н.О. Иванова – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – С. 110–113.

98. Берсенева Н.А. Женские погребения с оружием: реалии жизни или отображение социальной идентичности? // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2011а. – № 1. – С. 72–79.

99. Берсенева Н.А. Социальная археология: возраст, гендер и статус в погребениях саргатской культуры. – Екатеринбург: УрО РАН, 2011б. – 204 с.
100. Берсенева Н. А. Погребения людей старшей возрастной группы (саргатская культура) // РА – 2013. – №1. – С. 22–29.
101. Берсенева Н.А. Некоторые проблемы и перспективы изучения саргатской культуры Зауралья и Западной Сибири // Археология Южного Урала. Лес, лесостепь. Ранний железный век и средневековье (проблемы культуригенеза) / ред. колл.: С.Г. Боталов, А.Д. Таиров, Н.А. Берсенева, Н.О. Иванова. – Челябинск: Рифей, 2016. – С. 31–44.
102. Берсенева Н.А., Берсенев А.Г. Трасологические аспекты изучения керамических пряслиц // I Северный археологический конгресс: тезисы докладов / гл. ред. А.В. Головнев. – Екатеринбург: Академкнига, 2002. – С. 221–222.
103. Берсенева Н.А., Берсенев А.Г. К проблеме функционального определения артефактов: керамические пряслица саргатской культуры // Шестые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова: Мат-лы всероссийской научной конференции / отв. ред. В.И. Матющенко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – С. 202–204.
104. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. – М.: Наука, 1978. – 272 с.
105. Бойко Ю. Н. «Золотая плеть» в скифской культуре // Проблемы истории и археологии Украины. Тезисы докл. науч. конф. 21-23 октября 1999 г. Харьков. [URL:http://annales.info/life/small/harkiv99.htm#_Toc21549](http://annales.info/life/small/harkiv99.htm#_Toc21549) (дата обращения 07.07.2020)
106. Борзунов В. А. Зауралье на рубеже бронзового и железных веков – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992. – 188 с.
107. Борзунов В.А. Укрепленные поселения Западной Сибири каменного, бронзового и первой половины железного веков // Очерки культуригенеза народов Западной Сибири / отв. ред. Л.М. Плетнева. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1994. – Т. 1, книга 1: Поселения и жилища. – С. 203–244.

108. Борзунов В. А. Гамаюнские, иткульские и «гамаюно-иткульские» древности: история изучения и проблема интерпретации // Проблемы сохранения и использования культурного наследия: история, методы и проблемы археологических исследований: Мат-лы VII научно-практической конф. «Сохранение и изучение недвижимого культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», посвященной 90-летию со дня рождения В. Ф. Генинга (Нефтеюганск, 14–16 мая 2014 г.) / отв. ред. Г.П. Визгалов, О.В. Кардаш. – Екатеринбург: Изд-во «Магеллан», 2014. – С. 212–245.

109. Борисенко А.Ю. Изучение «татарских древностей» Д.Г. Мессершмидтом и Ф.И. Таббертом на пути от Тобольска до Абаканска (по материалам полевого дневника Д.Г. Мессершмидта за 1721 год) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2012. – Том 11, выпуск 3: археология и этнография. – С. 42–49.

110. Бортвин Н.Н. Доисторическое прошлое Курганского округа // Курганский округ. Сборник краеведческих работ. Курган: Изд-е Курганского общества краеведов, 1930. – Вып. 1. – С. 3–14.

111. Боталов С.Г. Большекараганский могильник II–III вв. н.э. // Кочевники урало-казахстанских степей / отв. ред. А.И. Таиров. Екатеринбург: Наука, 1993. – С. 122–143.

112. Боталов С.Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция). Челябинск: Рифей, 2009. – 672 с.

113. Боталов С.Г. Историко-культурные горизонты в эпоху раннего железного века и средневековья лесостепного Зауралья // Археология Южного Урала. Лес, лесостепь. Ранний железный век и средневековье (проблемы культурогенеза) / ред. С.Г. Боталов, А.Д. Таиров, Н.А. Берсенева, Н.О. Иванова. Челябинск: Рифей, 2016. – С. 468–531.

114. Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Изд-во «Рифей», 2000. – 267 с.

115. Боталов С.Г., Тидеман Е.В., Лукиных А.А., Вохменцев М.П. Новые материалы исследований Большого Бакальского городища // Проблемы

бакальской культуры / науч. ред. С.Г. Боталов. – Челябинск: Рифей, 2008. – С. 6–44.

116. Бочаров В.С. Власть и символ // Символы и атрибуты власти: генезис, семантика, функции. – СПб.: МАЭ РАН, 1996. – С. 15–37.

117. Бужилова А.П. Древнее население (палеопатологические аспекты исследования). – М.: ИА РАН, 1995. – 189 с.

118. Бужилова А.П. Homo sapiens: история болезни. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 320 с.

119. Бужилова А.П. Палеопатологические исследования в России: история вопроса // Вестник Московского университета. – Серия 23: Антропология. – 2009. – № 1. – С. 27–34.

120. Бужилова А.П., Козловская М.В., Медникова М.Б. Историческая экология человека. Методика биологических исследований. – М.: Старый Сад, 1998. – 260 с.

121. Булакова Е.А., Карапетян М.К., Киселева Д.В., Шарапова С.В., Якимов А.С. Погребальная посуда и пищевые стратегии в древности // УИВ. – №4 (73). – 2021. – С. 60–70.

122. Булдашов В.А. Погребальная обрядность гороховской культуры: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1998. – 27 с.

123. Булдашов В.А. Могильник эпохи раннего железа Мурзино 1 // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2001. – Вып. X. – С. 468–516.

124. Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии на материале скифских могильников IV–III вв. до н.э. – Киев: Наукова думка, 1985. – 121 с.

125. Бурков С.Б. Амулеты и талисманы из «египетского фаянса» с территории Осетии // Народы Кавказа: история, этнология, культура. К 60-летию со дня рождения В.С. Уарзиати. Материалы всероссийской научной конференции с международным участием. ФГБОУ ВПО СОГУ им. К.Л. Хетагурова; ФГБУН СОИГСИ ВНИЦ РАН и РСО-А. – Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНИЦ РАН и РСО-А, 2014. – С. 177–186.

126. Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 180 с.
127. ван дер Плихт Й., Шишлина Н.И., Зазовская Э.П. Радиоуглеродное датирование: хронология археологических культур и резервуарный эффект // Труды ГИМ. – 2016. – Вып. 203. – 112 с.
128. Васютин С.А., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Тишкин А.А. Методологические проблемы реконструкции социальных структур в археологии // Социальная структура ранних кочевников Евразии / под ред. Н.Н. Крадина, А.А. Тишкина, А.В. Харинского. – Иркутск: Изд-во Иркутского ин-та общественных наук, 2005. – С. 129–151.
129. Вдовин А.С. История организации археологических исследований на территории Приенисейской Сибири : XIX – конец 20-х гг. XX вв.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Красноярск, 1998. – 26 с.
130. Вибе П.П. Омский период Ивана Яковлевича Словцова // Науч.-практ. конф. «Словцовские чтения». Сборник №2. – Тюмень: Типография ТВВИКУ, 1993. – С. 12– 13.
131. Викторова В.Д. Население эпохи железа лесной полосы Среднего Зауралья (опыт систематизации археологических памятников): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Свердловск, 1970. – 20 с.
132. Викторова В.Д. Научный поиск в археологии. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 152 с.
133. Викторова В.Д. Вещь и знак в археологии. – Екатеринбург: Изд-во Квадрат, 2017. – 272 с.
134. Викторова В.Д., Кернер В.Ф. Памятники эпохи железа у озера Осинового // Материальная культура древнего населения / отв. ред. В.Т. Ковалева. – Свердловск: УрГУ, 1988. С. 129–141.
135. Викторова В.Д., Морозов В.М. Перейминский могильник // Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. / гл. ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург: Академкнига; УрО РАН, 2000. – С. 407–408.

136. Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сыр-Дарьи в VII-V вв. до н.э. // Труды ХАЭЭ. Т. VIII / отв. ред. С.П. Толстов. – М.: Наука, 1973. – 160 с.
137. Володин С.А. Погребальные традиции на Среднем Дону в скифскую эпоху: к вопросу об интерпретации бескурганных захоронений // РА – 2018. – №1. – С. 69–81.
138. Воронин К.В., Малашев В.Ю. Погребальные памятники эпохи бронзы и раннего железного века равнинной зоны Республики Ингушетия: Материалы охранных археологических исследований. – Том 6. – М.: ИА РАН, 2006. – 152 с.
139. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть: Учебник для студентов географических факультетов университетов. – М.: Мысль, 1978. – 512 с.
140. Генинг В.Ф. Объект и предмет науки в археологии. – Киев: Наукова думка, 1983. – 224 с.
141. Генинг В.Ф. Древняя керамика: методы и программы исследования в археологии. – Киев: Наукова думка, 1992. – 188 с.
142. Генинг В.Ф., Борзунов В.А. Методика статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обряда // ВАУ / отв. ред. В.Ф. Генинг. – Свердловск: УрГУ им. Горького, 1975. – Вып. 13. – С. 42–72.
143. Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С. Периодизация поселений эпохи неолита и бронзового века среднего Прииртышья // ПХКПАПЗС / отв. ред. В.И. Матющенко. – Томск: Изд-во ТГУ, 1970а. – С. 12–51.
144. Генинг В.Ф., Корякова Л.Н., Овчинникова Б.Б., Федорова Н.В. Памятники железного века в Омском Прииртышье // ПХКПАПЗС / отв. ред. В.И. Матющенко. – Томск: Изд-во ТГУ, 1970б. – С. 203–228.
145. Генинг В.Ф., Позднякова М.К. Прыговское городище на реке Исети // ВАУ / отв. ред. В.Ф. Генинг. – Свердловск: Изд-е УрГУ им. Горького, Курганский обл. краевед. музей, 1964. – Вып. 6. – С. 34–71.

146. Герман П.В. Сибирской период научной деятельности Г.О. Оссовского // Вестник Томского государственного университета. История. – 2013. – №3 (23). – С. 116–119.
147. Геродот. История в девяти книгах. – М.: Олма-Пресс Инвест, 2004. – 640 с.
148. Глебов В. П., Парусимов И. Н. Новые сарматские погребения в бассейне реки Сол. // Сарматы и их соседи на Дону / отв. ред. Ю.К. Гугуев. – Ростов-на-Дону: Терра, 2000. – С. 61–89.
149. Глухов А.А. Сарматы междуречья Волги и Дона в I – первой половине II в. н.э. – Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2005. – 238 с.
150. Голдина Е.В., Липина Л.И. Бусы в захоронениях воинов (по материалам Тарасовского могильника) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2015. – т. 17. №3. – С. 287–294.
151. Голдина Р.Д. Тарасовский могильник I–V вв. на Средней Каме. Ижевск: Удмуртия, 2003. – Т. II. – 721 с.
152. Голдина Р.Д. Тарасовский могильник I–V вв. на Средней Каме. – Ижевск: УдмГУ: Ин-т истории и культуры народов Прикамья, 2004. – Т. I. – 318 с.
153. Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). – Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009. – 496 с.
154. Головнев А.В. Этничность и мобильность // Этничность в археологии или археология этничности? / отв. ред. В.С. Мосин, Л.Т. Яблонский. – Челябинск: Рифей, 2013. – С. 114–134.
155. Граков Б.Н. Ранний железный век (культуры Западной и Юго-Западной Европы). М.: МГУ, 1977. – 235 с.
156. Гугуев В.К., Безуглов С.И. Всадническое погребение первых веков нашей эры из курганного некрополя Кобякова городища на Дону // СА – 1990. – №2. – С. 164–175.
157. Гуляев В.И., Ольховский В.С. Погребальные памятники и обрядность: проблемы анализа и интерпретации // Погребальный обряд: реконструкция и

интерпретация древних идеологических представлений / отв. ред. В.И. Гуляев, И.С. Каменецкий, В.С. Ольховский. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – С. 10–18.

158. Гущина И.И., Засецкая И.П. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн, 1994. – 172 с.

159. Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. – Л.: ЛГУ, 1985. – 111 с.

160. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. – Том 1: Иволгинское городище. – СПб.: Фонд «Азиатика», 1992. – 290 с.

161. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. – Том 2: Иволгинский могильник. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996. – 176 с.

162. Данченко Е.М. Ранний железный век южнотаежного Прииртышья: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – М., 1991. – 21 с.

163. Демиденко С.В. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Пруралья (V в. до н.э. – III в. н.э.). – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 328 с.

164. Демкин В.А., Демкина Т.С. Роль природной среды в жизни ранних кочевников евразийских степей // Античная цивилизация и варварский мир: Мат-лы конф. / отв. ред. Б.А. Раев. – Ч. 1. Краснодар, 1998. – С. 3–5.

165. Длужневская Г.В. Археологические исследования в Центральной Азии и Сибири в 1859-1959 годах (по документам Научного архива Института истории материальной культуры РАН). – СПб.: ЭлекСис, 2011. – 296 с.

166. Дмитриев П.А. Мысовские стоянки и курганы // ТСА РАНИОН, 1928. – Т. 4. – С. 180–203.

167. Дмитриев П.А. Раскопки стоянки Калмацкий Брод на р. Исети. Свердловск: Свердловский областной Государственный музей, 1934. – 24 с.

168. Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: НГУ, 1990. – 164 с.

169. Добровольская М.В. Человек и его пища. – М.: Научный мир, 2005. – 367 с.
170. Добровольская М.В., Свиркина Н.Г. Жители античной Фанагории (реконструкция образа жизни по палеоантропологическим материалам). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 233 с.
171. Довгальок Н.П. Анализ признаков составления ожерелий Исаковского-1 могильника // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала: тез. докл. XII Уральского археологического совещания, 19–22 апреля 1993 г. / отв. ред. И.Б. Васильев. – Екатеринбург: ИИиА УрО РАН; УрГУ им. А.М. Горького, 1993. – С. 53–54.
172. Довгальок Н.П. Стекланные украшения Западной Сибири эпохи раннего железного века (по материалам саргатской культуры): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1995. – 18 с.
173. Довгальок Н. П. Происхождение стекланных бус из могильников саргатской культуры // Вестник Омского университета. – 1997. – Вып. 1. – С. 51–55.
174. Довгальок Н.П. Характеристика химического состава стекланных бус из памятников саргатской культуры // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром / отв. ред. Н.П. Довгальок. – Омск: Омск. гос. ун-т, 1998. – С. 54–79.
175. Домрачева Д.В., Хорькова А.Н., Данилов Д.А., Киселева Д.В. Применение хроматографических методов при анализе археологической растительной смеси // Тезисы XI Всероссийской молодежной научной конференции «Минералы: строение, свойства, методы исследования-2020». – Екатеринбург: УрФУ, 2020. – С. 80–82.
176. Дремов В.А. Обычай искусственного деформирования головы у древних племен Западной Сибири и его происхождение // Проблемы археологии и этнографии / под ред. М.И. Артамонова, Р.Ф. Итса. – Л.: Наука, 1977. – Вып. 1 – С. 99–110.

177. Евдокимов Е.Е. Народонаселение степного Притоболья в эпоху бронзы: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Киев, 1984. – 21 с.
178. Епимахов А.В., Ражев Д.И. Тафокомплекс и социальная реальность (по материалам синташтинских памятников) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2003а. – Серия: Metallургия. №2 (18). – С. 29–32.
179. Епимахов А.В., Ражев Д.И. Тафокомплекс и социальная реальность: постановка проблемы // Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и средневековье) / отв. ред. В.В. Бобров. – Кемерово, 2003б. – С. 24–28.
180. Ефремов И. А. Тафономия и геологическая летопись (Труды палеонтологического института; Т. XXIV). – М.: АН СССР, 1950. – 179 с.
181. Жиров Е. В. Об искусственной деформации головы // КСИИМК – 1940. – Вып. VIII. – С. 81–88.
182. Жук А.В. Отсутствие археологического интереса в средневековой культуре (на примере Западной Сибири) // История археологических исследований Сибири. – Омск: Изд-е ОмГУ, 1990. – С. 32–41.
183. Жук А.В. Организация археологических исследований в Западной Сибири. 1860-1920-е годы: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Барнаул, 1995. – 18 с.
184. Жук А.В. В.П. Левашева в до-минусинский период ее деятельности. II. Государственный исторический музей. Прибытие в Омск // Вестник Омского университета. – 2002. – Вып. 1 (23). – С. 58–60.
185. Завитухина М.П. Об одном архивном документе по истории Сибирской коллекции Петра I // Сообщения государственного Эрмитажа. – Л.: Аврора, 1974. – Вып. XXXIX. – С. 34–36.
186. Завитухина М.П. К вопросу о времени и месте формирования Сибирской коллекции Петра I // Культура и искусство петровского времени / ред. Г.Н. Комелова. – Л.: Аврора, 1977а. – С. 63–69.

187. Завитухина М.П. Собрание М.П. Гагарина 1716 года в Сибирской коллекции Петра I // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – Л.: Аврора, 1977б. – Вып. 18. – С. 41–45.

188. Завитухина М.П. Некоторые вопросы изучения Сибирской коллекции Петра I // Археологические культуры Евразии и проблемы их интеграции: Крат. тез. докл. науч. конф., посв. 60-летию Отдела археологии Восточной Сибири Государственного Эрмитажа. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 1991. – С. 29–31.

189. Завитухина М.П. К. Витсен и его собрание сибирских древностей // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 1999. – Вып. 34. – С. 102–114.

190. Зайцева О. В. Погребения с нарушенной анатомической целостностью костяка: методика исследования и возможности интерпретации: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Новосибирск, 2005. – 28 с.

191. Зданович Г.Б., Иванов И.В., Хабдулина М.К. Опыт использования в археологии палеопочвенных методов исследования (курганы Кара-Обалы и Обалы в Северном Казахстане) // СА. – 1984. – №4. – С. 35–48.

192. Зеленков А.С. Культурогенез лесостепного и подтаежного населения Тоболо-Иртышья в эпоху раннего средневековья: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Тюмень, 2022. – 22 с.

193. Зимина О.Ю. Иткульская культура в Нижнем Притоболье (восточный локальный вариант): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Новосибирск, 2006. – 22 с.

194. Зиняков В.Н. Железообрабатывающее производство саргатской культуры // Проблемы изучения саргатской культуры /отв. ред. А.Я. Труфанов. – Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1991. – С. 53–60.

195. Зиняков В.Н. Черная металлургия и металлообработка Западной Сибири эпохи раннего железного века и средневековья. – Кемерово: ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 168 с.

196. Золотарев П.М. Новые материалы скифо-сарматского времени в районе с. Мастюгино // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской (б. Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001–2003. – М.: ИА РАН, 2004. – С. 127–151.

197. Зорина Л.И. Уральское общество любителей естествознания. 1870-1929. Из истории науки и культуры Урала / Ученые записки Свердловского областного краеведческого музея. Т.1. – Екатеринбург: Банк Культурной Информации, 1996. – 208 с.

198. Зубова А.В. Одонтологические особенности населения западной сибиряи эпохи раннего железного века (саргатская и кулайская культуры) // Вестник Томского государственного университета. История. – 2009. – №1(5). – С. 79–85.

199. Зубова А.В., Ермолаева М.С., Поздняков Д.В., Чикишева Т.А. Патологические особенности скелета из саргатского кургана Яшкино-1 // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 555–560.

200. Зуев В.Ю. «Пляшущие человечки» Сапоговского клада // Ad Polus. Археологические изыскания. – Вып. 10. – Спб.: Фарн, 1993. – С. 95–102.

201. Зыков А.П. Гуннские погребения у села Черноозерье и проблема этнокультурной ситуации в лесостепном Прииртышье в эпоху Великого переселения народов (Саргатский район Омской области) // Матер. V Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири» (Тобольск, 9–11 дек. 2002 г.). Тобольск, 2002. – С. 47–50.

202. Зыков А. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековое и новое время. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2012. – 232 с.

203. Зыков А.П., Ковригин А.А. От каменного века до «Сибирского взятия» // Щит и меч отчизны. Оружие Урала с древнейших времен до наших дней: научно-популярное издание / гл. ред. А.В. Сперанский. – Екатеринбург: ООО «Издательство «Раритет», 2008. – С. 19–119.

204. Зыков А.П., Косинцев П.А., Трепавлов В.В. Город Сибир – городище Искер (историко-археологическое исследование). М.: Наука – Восточная литература, 2017. – 559 с.
205. Зыков А. П., Федорова Н. В. Холмогорский клад: коллекция древностей III–IV веков из собрания Сургутского художественного музея. Екатеринбург: Сократ, 2001. – 176 с.
206. Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа (I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.). – М.: Наука, 1984. – 88 с.
207. Иванов И.В., Табанакова Е.Д. Изменения мощности гумусового горизонта и эволюция черноземов Восточной Европы в голоцене (механизмы, причины, закономерности) // Почвоведение. – 2003. – № 9. – С. 1029–1042.
208. Иванова Н.О., Батанина И.М. Павлиново городище – памятник раннего железного века лесостепного Притоболья // Кочевники урало-казахстанских степей / отв. ред. А.Д. Таиров. – Екатеринбург: УИФ Наука, 1993 – С. 102–121.
209. Ильюков Л. С., Власкин М. В. Сарматы междуречья Сала и Маныча. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1992. – 288 с.
210. Казанский М. М. Об искусственной деформации черепа у бургундов в эпоху Великого переселения народов // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – Вып. 5. – М.: ИА РАН, 2006. – С. 127–139.
211. Калинина И.В. Очерки по исторической семантике. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. – 268 с.
212. Каменецкий И.С. Код для описания погребального обряда // Древности Дона. Материалы работ Донской экспедиции. – М.: Наука, 1983. – С. 221–250.
213. Каменецкий И.С., Шер Я.А., Маршак Б.И. Анализ археологического источника (возможности формализованного подхода). – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1975. – 174 с.

214. Карапетян М.К., Шарапова С.В., Якимов А.С. Материалы к характеристике населения эпохи бронзы Южного Зауралья // УИВ – 2019. – №1(62). – С. 2–37.
215. Карапетян М.К., Шарапова С.В. Патологические изменения на скелетах из Неплюевского могильника эпохи поздней бронзы (курган 1) // НАВ – 2022. – Т. 21, №2. – С. 100–119.
216. Каргалы. Т. IV: Некрополи на Каргалах. Население Каргалов: палеоантропологические исследования. – М.: Языки славянских культур, 2005. – 241 с.
217. Киселева Д.В., Анкушева П.С., Анкушев М.Н., Окунева Т.Г., Шагалов Е.С., Касьянов А.В. Определение фоновых изотопных отношений биодоступного стронция для рудника бронзового века Новотемирский // КСИА – 2021. – Вып. 263. – С. 176–187.
218. Киселева Д.В., Червяковская М.В., Шишлина Н.И. Изотопный анализ стронция в современном сырье и ископаемом текстиле. Геохронология и археологическая минералогия. – 2019. – Вып. 6. – С. 25–28.
219. Киселева Д.В., Данилов Д.А., Домрачева Д.В., Труфанов А.Я., Хорькова А.Н., Шарапова С.В. Хроматографическое (ГХ-МС) изучение растительной смеси из элитного погребения саргатской культуры в Среднем Прииртышье // Российские нанотехнологии. – Том 15. №5. – 2020. – С. 657–663.
220. Китова Л.Ю. История сибирской археологии (1920–1930-е годы): Изучение памятников эпохи металла. – Новосибирск: ИАЭ СО РАН, 2007. – 272 с.
221. Китова Л.Ю. Организация археологической науки в Сибири на переломе эпох // 1917 год: российская археология на переломе эпох. Материалы Международной научной конференции / отв. ред. И.А. Сорокина. – М.: Институт археологии РАН, 2017. – С. 33–35.
222. Клейн Л.С. Проблема определения археологической культуры // СА. – 1970. – №2. – С. 37–51.

223. Клейн Л.С. Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов. // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии / отв. ред. А.И. Мелюкова, М.Г. Мошкова. – М.: Наука, 1976. – С. 228–234.
224. Клейн Л.С. Археологические источники. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1978. – 119 с.
225. Клейн Л.С. Археологическая типология. – Л.: Изд-во Академия наук СССР, ЛФ ЦЭНДИСИ, Ленинградское археологич. научно-исследоват. объединение, 1991. – 448 с.
226. Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2 т. Тт. 1-2. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2011. – 688 с. (т.1), 626 с. (т.2).
227. Клейн Л.С. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога. – Кн. 1. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2012. – 622 с.
228. Клейн Л.С. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога. – Кн. 2. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2013. – 599 с.
229. Клейн Л.С. Время в археологии. – СПб.: Евразия, 2014. – 384 с.
230. Клепиков В. М. Раннесарматские мужские погребения с двумя мечами (к вопросу о социальном статусе) // К.Ф. Смирнов и современные проблемы сарматской археологии: мат-лы IX Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории», посвященной 100-летию со дня рождения К. Ф. Смирнова. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. – С. 104–109.
231. Клер О.Е. Уральское общество любителей естествознания. Исторический очерк (1870-1888). – Екатеринбург, 1889. – 30 с. (отдел. отт.).
232. Клер О.Е., Фаддеев К.И.. Гончарное производство доисторического человека у д. Палкино // Материалы по археологии восточных губерний России. М., 1895. – Т. 2. – С.1–12.
233. Кобелева Л.С. Технология изготовления керамики саргатской культуры (восточный ареал): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Новосибирск, 2009. – 26 с.

234. Ковригин А.А. К датировке Абатского 3 могильника // XVII Уральское археологическое совещание: Мат-лы науч. конф. (Екатеринбург, 19–22 ноября 2007 г.). / отв. ред. А.Я. Труфанов. – Екатеринбург-Сургут: Магеллан, 2007. – С. 194–198.

235. Ковригин А.А., Корякова Л.Н., Курто П., Ражев Д.И., Шарапова С.В. Аристократические погребения из могильника Карасье 9 // Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время: Сб. статей к 70-летию А.Х. Пшеничнюка / отв. ред. Г.Т. Обыденнова, Н.С. Савельев. – Уфа: Гилем, 2006. – С. 187–203.

236. Ковригин А.А., Ражев Д.И. К вопросу о социальной структуре населения Зауралья в раннем железном веке // Россия и Восток: археология и этническая история: Мат-лы IV Междунар. науч. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». – Омск: ОмГУ, 1997. – С. 39–41.

237. Ковригин А.А., Ражев Д.И. Новые исследования могильника Куртугуз I // Охранные археологические исследования на Среднем Урале, 2007. – Вып. 5. – С. 157–175.

238. Ковригин А.А., Шарапова С.В. Культурно-хронологические комплексы Прыговского городища // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром / отв. ред. Н.П. Довгалоук. – Омск: Омск. гос. ун-т, 1998а. – С. 47–53.

239. Ковригин А.А., Шарапова С.В. Проблемы изучения древностей кашинского и прыговского типов // Урал в прошлом и настоящем / глав. ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург: НИСО УрО РАН; БКИ, 1998б. – С. 67–73.

240. Кожанов С.Т. Некоторые вопросы организации военного дела в Китае конца I тыс. до п. э. // Китай в эпоху древности / отв. ред. В.Е. Ларичев. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – С. 76–87.

241. Козлов В.И. Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его экологические аспекты // Этнос и среда обитания / отв. ред. Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2017. – С. 9–34.

242. Козловская М.В. Экология древних племен лесной полосы Восточной Европы: антропологический очерк. – М.: ИА РАН, 1996. – 243 с.
243. Конигов Б.А. В.П. Левашева – археолог Омского краеведческого музея // Тез. докл. конф., посвящённой 275-летию города Омска / отв. ред. Н.С. Фалькович. – Омск: Омск. гос. Ун-т, 1991. – С. 109–115.
244. Конигов Б.А. Комплекс памятников «Омская стоянка»: история обретений и утрат // Творчество в археологическом и этнографическом измерении / гл. ред. Н.А. Томилов. – Омск: Издательский дом «Наука», 2013. – С. 34–39.
245. Копылов В.Е. И.Я. Словцов – директор реального училища // Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея / отв. редактор Н.М. Якимович. – Тюмень: Изд-во Слово Тюмени, 1992. – С. 21–61.
246. Корякова Л.Н. Ансамбль некрополя саргатской культуры (статистическая характеристика) // ВАУ / отв. ред. В.Е. Стоянов. – Свердловск: Изд-во Уральского госуниверситета, 1977. – Вып. 14. – С. 134–151.
247. Корякова Л.Н. Могильник саргатской культуры у с. Красноярка // СА – 1979. – №2. – С. 191–206.
248. Корякова Л.Н. Саргатская культура раннего железного века западносибирской лесостепи: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Москва, 1981а. – 19 с.
249. Корякова Л.Н. Хронология погребений саргатской культуры // ВАУ / отв. ред. В.Е. Стоянов. – Свердловск: Изд-во Уральского госуниверситета, 1981б. – Вып. 15. – С. 103–109.
250. Корякова Л.Н. Из истории изучения саргатской культуры // ВАУ / отв. ред. В.Е. Стоянов. – Свердловск: Изд-во Уральского госуниверситета, 1982. – Вып. 16. – С. 113–124.
251. Корякова Л.Н. Поселения саргатской культуры // ВАУ / отв. ред. В.Е. Стоянов. – Свердловск: Уральский государственный университет, 1984. – Вып. 17. – С. 61–79.

252. Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 240 с.

253. Корякова Л.Н. Культурно-исторические общности Урала и Западной Сибири (Тоболо-Иртышская провинция в начале железного века). – Екатеринбург: Изд-е ИИиА УрО РАН. – 1991а. – 52 с.

254. Корякова Л.Н. Саргатская культура или общность // Проблемы изучения саргатской культуры /отв. ред. А.Я. Труфанов. – Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1991б. – С. 3–8.

255. Корякова Л.Н. Культурно-исторические общности Урала и Западной Сибири (Тоболо-Иртышская провинция на ранней и средней стадиях железного века): дис. ... д-ра ист. наук в форме научного доклада. – Новосибирск, 1993. – 72 с.

256. Корякова Л.Н. Поселения и жилища Тоболо-Иртышской лесостепи // Очерки культуuroгенеза народов Западной Сибири / отв. ред. Л.М. Плетнева. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1994а. – Т. 1, книга 1: Поселения и жилища. – С. 259–275.

257. Корякова Л.Н. Урало-Иртышская лесостепь // Очерки культуuroгенеза народов Западной Сибири / отв. ред. В.М. Кулемзин, В.И. Матющенко. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1994б. – Т. 2: Мир реальный и потусторонний. – С. 113–169.

258. Корякова Л.Н. Золотой век Зауральской лесостепи // УИВ – 1997.– №4. – С. 76–101.

259. Корякова Л.Н. Некоторые проблемы изучения обществ поздней первобытности в российской и зарубежной археологии // // Урал в прошлом и настоящем / глав. ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург: НИСО УрО РАН, БКИ, 1998. – С. 75–83.

260. Корякова Л.Н. Социальный тренд в южной части Северной Евразии в эпоху бронзы и раннего железа // УИВ – 2006.– №14. – С. 5–24.

261. Корякова Л.Н. Стратификация, иерархия, власть и становление государств в архаичных обществах (обзор основных концепций) // Медиевистика

XXI века: проблемы методологии и преподавания. – Вып. 3: Запад и Восток: власть, социум, ментальность, особенности исторического развития. – Кемерово: КемГУ, 2007. – С. 74–93.

262. Корякова Л.Н, Морозов В.М., Суханова Т.Ю. Поселение Ипкуль XV – памятник переходного периода от раннего железного века к средневековью в Нижнем Притоболье // Материальная культура древнего населения / отв. ред. В.Т. Ковалева. – Свердловск: УрГУ, 1988. – С. 117–129.

263. Корякова Л.Н., Попова С.М. К вопросу сравнения саргатской и савромато-сарматской культур // Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского междуречья / отв. ред. Г.Б. Зданович. – Челябинск: Башкирский университет, 1987. – С.37–45.

264. Корякова Л.Н., Сергеев А.С. Некоторые вопросы хозяйственной деятельности племен саргатской культуры (опыт палеоэкономического анализа селища Дуванское II) // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале / отв. ред. В.Д. Викторова, Н.Г. Смирнов. – Свердловск: УрО АН СССР, 1989. – С. 165–177.

265. Корякова Л.Н., Стефанов В.И. Городище Инберень-IV на Иртыше // СА – 1981. – №2. – С. 178–196.

266. Корякова Л.Н., Федоров Р.О. Гончарные навыки зауральского населения в раннем железном веке (по материалам Ипкульского могильника) // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье / отв. ред. Л.Н. Корякова. – Екатеринбург: УИФ Наука, 1993. – С. 76–96.

267. Корякова Л.Н., Ковригин А.А., Сергеев А.С., Шарапова С.В. Новые раскопки на Павлиновом городище (предварительное сообщение) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 1995. – №2. – С. 17–28.

268. Корякова Л.Н., Шарапова С.В., Ковригин А.А. Прыговский 2 могильник: кочевники и лесостепь // УИВ – 2010. – №2(27). – С. 62–71.

269. Корякова Л.Н., Шарапова С.В. Кочевники и лесостепь: саргатская культура // Ранний железный век от рубежа эр до середины I тыс. н.э. Динамика освоения культурного пространства: Мат-лы IV междунар. науч. конф.

«Археологические источники и культурогенез» (Санкт-Петербург, 14–18 ноября 2017 г.) / отв. ред. Д.Г. Савинов. – СПб.: Скифия-Принт, 2017. – С. 80–83.

270. Корякова Л.Н., Краузе Р., Федорова Н.В., Косинцев П.А., Зайков В.В., Анкушев М.Н. Укрепленные поселения бассейна р. Карагайлы-Аят сквозь призму междисциплинарного подхода // История науки и техники. – 2018. – №1. – С. 22–36.

271. Корякова Л.Н., Краузе Р., Шарапова С.В., Пантелеева С.Е., Косинцев П.А. Археология образа жизни (по материалам исследований памятников эпохи бронзы Южного Зауралья) // УИВ – 2019. – №4(65). – С. 40–51.

272. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М.: Наука, 1981. – 282 с.

273. Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. – М.: Наука, 1984. – 248 с.

274. Косвен М.О. Амазонки: история легенды // СЭ – 1947. – №2. – С. 33–59.

275. Костров Н.А. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. – Томск: Печатано в Томской Губернской типографии, 1876. – 117 с.

276. Крадин Н. Н. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики) Владивосток: Дальнаука, 1992. – 240 с.

277. Крадин Н.Н. Политическая антропология. – М.: Ладомир, 2001. – 213 с.

278. Крадин Н. Н., 2004. Комплексные общества кочевников в кросс-культурной перспективе // Монгольская империя и кочевой мир. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. – С. 20–49.

279. Крадин Н.Н. Археологические культуры и этнические общности // Теория и практика археологических исследований. Вып. 5. – Барнаул: Азбука, 2009. – С. 9–19.

280. Кривошеев М.В. Волго-Донское междуречье в середине III–IV вв. н.э. этноисторические проблемы // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: Мат-лы V Междунар. Нижневолжской археологической конф. (Элиста, 15–18 ноября

2016 г.) / отв. ред. П.М. Кольцов. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2016. – С. 100–103.

281. Кривошеев М. В. К вопросу о выделении элитных погребальных комплексов позднесарматского времени // Этнические взаимодействия на Южном Урале: сарматы и их окружение / отв. ред. А.Д. Таиров. – Челябинск: ЮУрГУ, 2017. – С. 56–59.

282. Кривошеев М.В. К вопросу о существовании профессиональных воинов у кочевников позднесарматского времени // Археологическое наследие. Античность. Скифы. Сарматы. – 2020. – №1(3). – С. 317–324.

283. Кривошеев М.В., Борисов А.В. Грунтовые блоки в курганных сооружениях: почвенно-экологические аспекты проблемы // Материалы Всероссийской междисциплинарной научной конференции с международным участием «Палеопочвы, палеоэкология, палеоэкономика» / ред. А.В. Борисов, Л.Н. Плеханова, С.Н. Удальцов – Пущино: Товарищество научных изданий КМК, 2017. – С. 112–115.

284. Кривошеев М.В., Борисов А.В. Климатический оптимум как фактор кризиса экономики степных номадов // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2019. – Т. 24. № 3. – С. 47–57.

285. Кривошеев М.В., Лукпанова Я.А. Позднесарматское элитное воинское погребение из Южного Приуралья // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 24. № 2. – С. 98–111.

286. Кривошеев М.В., Малашев В.Ю. Хроноиндикаторы середины III–IV вв. н.э. из степных памятников Волго-Донского региона // Античная цивилизация и варварский мир Понто-Каспийского региона: мат-лы Всероссийской науч. конф. с международным участием, посвященной 70-летнему юбилею Б.А. Раева (Кагальник, 20–21 октября 2016 г.) / отв. ред. С.И. Лукьяшко. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – С. 138–147.

287. Кривошеев М. В., Перерва Е.В. Воинственность поздних сарматов по антропологическим и археологическим данным // Военная история России: проблемы, поиски, решения: Мат-лы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 75-

летию победы в Сталинградской битве, Волгоград, 20-21 окт. 2017 г.: в 2 ч. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2017. – Ч. 2. – С. 14–36.

288. Кривошеев М.В., Перерва Е.В., Ельцов М.В. Человек и степь в раннем железном веке. Итоги междисциплинарных исследований // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 24. № 2. – С. 98–111.

289. Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989. – 272 с.

290. Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 194 с.

291. Куббель Л.Е. Возникновение частной собственности, классов и государства // Первобытное общество. В 3-х томах. Т. 3. Эпоха классовообразования / отв. ред. Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1988. – С. 140–269.

292. Кузнецов-Тобольский Е.В. Кладоискание и предания о кладах в Западной Сибири. – Тобольск: Типография губернского правления, 1896. – 50 с.

293. Кузнецов-Тобольский Е.В. Кладоискание и предания о кладах в Западной Сибири // Ханты-Мансийский округ в зеркале прошлого / отв. ред. Я.А. Яковлев. – Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Томского ун-та, 2014. – Вып. 12. – С. 292–334.

294. Кузьминых С.В. Металлообработка Урала и Западной Сибири в эпоху раннего железа (лесостепь и тайга): основные этапы развития // Интеграция археологических и этнографических исследований: сборник научных трудов / гл. ред. Н. А. Томилов; отв. ред. М. А. Корусенко, А. А. Тишкин, К. Н. Тихомиров, М. Н. Тихомирова, Н. Н. Серегин. – Барнаул; Омск: Изд. дом «Наука», 2015. – С. 127–128.

295. Кузьминых С.В., Детлова Е.В., Салминен Т., Сафонов И.Е. А.М. Тольгрен и российская археология // Археология евразийских степей. – 2014. – Вып. 20. – С. 7–41.

296. Кузьминых С.В., Сафонов И.Е., Сташенков Д.А. В.В. Гольмстен: материалы к биографии. – Самара: Офорт, 2007. – 168 с.

297. Культура зауральских скотоводов на рубеже эр. Гаевский могильник саргатской общности: антропологическое исследование / В.А. Булдашов, А.А.

Ковригин, Л.Н. Корякова, П.А. Косинцев, П. Курто, Г.И. Махонина, Д.И. Ражев, Ж.-П. Потро, С.В. Шарапова. – Екатеринбург: Екатеринбург, 1997. – 180 с.

298. Куфтерин В.В. Население юго-восточного Туркменистана в эпоху бронзы (методологические аспекты исследования): автореф. дис. ...д-ра биол. наук. – М., 2022. – 48 с.

299. Куфтерин В.В., Воробьева С.Л. Травматические повреждения на черепах из Ново-Сасыкульского могильника // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2020. – № 2 (49). – С. 98–111.

300. Кызласов Л.Р. Сырский Чаа-Тас // СА. – 1955. – №XXIV. – С. 197-256.

301. Ларин С.И., Матвеева Н.П. Реконструкция среды обитания человека в раннем железном веке в северной части Тоболо-Ишимской лесостепи (по палинологическим материалам археологических памятников) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 1997. – №1. – С. 133–140.

302. Левашева В.П. Предварительное сообщение об археологических исследованиях Западно-Сибирского музея в 1926-1927 гг. // Известия Западно-Сибирского музея. – Омск, 1928. – №1. – С. 159–160.

303. Левашева В.П. Два сосуда из курганов Омской области // КСИИМК. – 1948. – Вып. XX. – С. 86–88.

304. Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // СЭ – 1955. – № 4. – С. 3–17.

305. Левина Л.М. Памятники джетысарской культуры середины I тыс. до н.э. // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М.: Наука, 1992. – С.61–72.

306. Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э. – М.: Восточная литература РАН, 1996. – 396 с.

307. Либеров П.Д. Памятники скифского времени на Среднем Дону // САИ. – 1965. – Вып. Д1-31. – М.: Наука. – 112 с.

308. Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. (Археологические и этнографические материалы по истории культуры

и религии Средней Азии). / Могильники западной Ферганы (Том IV). – М.: Наука, 1978. – 216 с.

309. Луайе Ж., Шарапова С.В. Палеопатологии детей из погребений бронзового века (на примере могильника Неплюевский) // УИВ – 2017. – №1(54). – С. 103–113.

310. Максименко В. Е. Сарматы на Дону (археология и проблемы этнической истории). (Донские древности. – Вып. 6). – Азов: Азовский краеведческий музей., 1998. – 304 с.

311. Максименко В.Е., Безуглов С.И. Позднесарматские погребения на р. Быстрой // СА – 1987. – №1. – С. 183–192.

312. Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону / отв. ред. Ю.К. Гугуев. – Ростов-на-Дону: Терра, 2000. – С. 194–232.

313. Малашев В.Ю., 2008. Хронология погребальных комплексов могильника Клин-Яр III сарматского времени // Проблемы современной археологии / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М. Таус. – С. 265–283.

314. Малашев В.Ю. Позднесарматская культура: верхняя хронологическая граница // РА – 2009. – №1. – С. 47–52.

315. Малашев В.Ю. Некоторые аспекты контактов носителей позднесарматской культуры южноуральских степей с населением лесной и лесостепной полосы Поволжья и Приуралья // Сарматы и внешний мир. Мат-лы VIII Всероссийской (с международным участием) науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» ИИЯЛ УНЦ РАН, 12-15 мая 2014 г. / отв. ред. Л.Т. Яблонский, Н.С. Савельев. – Уфимский археологический вестник. – Уфа: Издательство ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. – Вып. 14. – С. 130–140.

316. Малашев В.Ю. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Восточного Кавказа второй половины II – середины V в. н.э. – М.: ИА РАН, 2016. – 208 с.

317. Малашев В.Ю., Мошкова М.Г. Происхождение позднесарматской культуры (к постановке проблемы) // Становление и развитие позднесарматской культуры / отв. ред. А.С. Скрипкин. – Волгоград: Волгоградский ун-т; ИА РАН, 2010. – С. 37–56.

318. Малашев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время: по материалам могильника Покровка 10. – М.: Восточная литература, 2008. – 365 с.

319. Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию. – М., 1966. – МИА. № 136 – 232 с.

320. Мандельштам А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии. – Л.: Наука, 1975. – 228 с.

321. Маркарян Э.С. Глобальное моделирование, интеграция наук и системный подход // Системные исследования. Методологические проблемы / гл. ред. Д.М. Гвишиани. – М.: Наука, 1981. – С. 135–154.

322. Марсадоллов Л.С. Проблемы объяснения ряда «искажающих эффектов» При радиоуглеродном датировании археологических объектов // Экология древних и традиционных обществ: мат-лы V Междунар. науч. конф., г. Тюмень, 7-11 ноября 2016 г. / под ред. доктора исторических наук, профессора Н.П. Матвеевой. – Вып. 5: в 2 ч. – Ч. 2. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. – С. 107–113.

323. Марьина О.В., Скриган Г.В., Емельянчик О.А. Динамика адаптивной изменчивости населения Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2013. – 303 с.

324. Маслов В.Е. К вопросу о происхождении поясных накладок со сценой охоты из Сибирской коллекции Петра I // КСИА – 2018. – Вып. 250. – С. 25–42.

325. Маслюженко Д.Н., Мягкая, Ю.В. Н.Н. Бортвин: первый археолог советского времени в Кургане // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2016. – №2 (10). – С. 118–123.

326. Массон В.Е. Исторические реконструкции в археологии. – Фрунзе: Илим, 1990. – 96 с.

327. Массон В.Е. Первые цивилизации. – Л.: Наука, 1989. – 275 с.

328. Матвеев А.В. Известия о «бугровании» в Западной Сибири и проблема происхождения Сибирской коллекции Петра I // Вопросы истории археологических исследований Сибири / Межведомственный сб. науч. трудов. – Омск: Омский университет, 1992. – С. 161–179.
329. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Разведки и раскопки на Среднем Тоболе // Археологические открытия 1981 года. – М.: Наука, 1983. – С. 215.
330. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Исследования в междуречье Тобола и Исети // Археологические открытия 1982 года. – М.: Наука, 1984. – С. 219.
331. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Саргатский могильник у д. Тютрина (по раскопкам 1981 года) // КСИА – 1985. – Вып. 184 – С. 69–76.
332. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Ювелирные изделия Тютринского могильника (к проблеме Сибирской коллекции Петра I) // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство / отв. ред. Р.С. Васильевский. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 191–201.
333. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Будет ли решена загадка «плющеного золота» сибирских бугров? // Древние погребения Обь-Иртышья / отв. ред. В.И. Матющенко. – Омск: Омск. ун-т, 1991а. – С. 84–98.
334. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Савиновский могильник саргатской культуры. Итоги полевых исследований. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 1991б. – 53 с.
335. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Тютринский могильник // Источники этнокультурной истории Западной Сибири / отв. ред. Н.П. Матвеева. – Тюмень: ТюмГУ, 1991в. – С. 104–139.
336. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Раскопки могильников раннего железного века на Исети // Тюменский исторический сборник: Мат-лы науч. конф. – Тюмень: Тюм. ун-т, 1996. – С. 3–19.
337. Матвеев А.В., Маслякова Н.Н. Известия о «бугровании» в Западной Сибири и проблема происхождения Сибирской коллекции Петра I // Проблемы изучения саргатской культуры / отв. ред. А.Я. Труфанов. – Омск: Омск. ун-т, 1991. – С. 37–41.

338. Матвеева Н.П. Ранний железный век Среднего Притоболья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1987. – 21 с.
339. Матвеева Н.П. Начальный этап раннего железного века в Тоболо-Ишимской лесостепи // Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков / ред. М.Ф. Косарев, Т.Н. Троицкая, А.В. Матвеев, Н.П. Матвеева. – Тюмень: ТюмГУ, 1989а. – С. 77–103.
340. Матвеева Н.П. Опыт реконструкции состава семьи у племен саргатской культуры // Экономика и общественный строй древних и средневековых племен Западной Сибири / отв. ред. Т.Н. Троицкая. – Новосибирск: Новосиб. пед. ин-т, 1989б. – С. 46–51.
341. Матвеева Н.П. О соотношении гороховских и воробьевских памятников в Среднем Притоболье // Источники по этнокультурной истории Западной Сибири / отв. ред. Н.П. Матвеева. – Тюмень: б. и., 1991. – С. 148–164.
342. Матвеева Н.П. Рафайловское городище – памятник саргатской культуры Среднего Притоболья // РА – 1993а. – №1. – С. 148–163.
343. Матвеева Н.П. Саргатская культура на Среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993б. – 175 с.
344. Матвеева Н.П. Ранний железный век Приишимья. – Новосибирск: ВО Наука, 1994. – 152 с.
345. Матвеева Н.П. О гороховской культуре в Зауралье // Актуальные проблемы древней истории и археологии Южного Урала / ред. Н.А. Мажитов, М.Ф. Обыденнов. Уфа: «Восточный университет», 1996. – С.83–96.
346. Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры древнего населения Западной Сибири (ранний железный век лесостепной и подтаежной зон): автореф. дис. ...д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1998. – 45 с.
347. Матвеева Н.П. Материалы к палеодемографии саргатской культуры // Вестник археологии, антропологии и этнографии.– 1999а. – №2. – С. 87–97.
348. Матвеева Н.П. Половозрастная структура населения лесостепного Приобья эпохи раннего железа (по археологическим данным) // Вестник археологии, антропологии и этнографии.– 1999б. – №2. – С. 51–61.

349. Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. – Новосибирск: Наука, 2000. – 399 с.
350. Матвеева Н.П. Старо-Лыбаевский курганный могильник по раскопкам 1999 года // Вестник археологии, антропологии и этнографии.– 2001. – №3. – С. 981–113.
351. Матвеева Н.П. Саргатская культура Западной Сибири // Социальная структура ранних кочевников Евразии / под ред. Н.Н. Крадина, А.А. Тишкина, А.В. Харинского. – Иркутск: Изд-во Иркутского ин-та общественных наук, 2005. – С. 129–151.
352. Матвеева Н.П. Реконструкция социальной структуры древних обществ по археологическим данным: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2007. – 208 с.
353. Матвеева Н.П. Актуальные вопросы изучения древней караванной торговли (Западная Сибирь и Центральная Азия) // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях. Сб. памяти Е. Е. Кузьминой / отв. ред. В.И. Молодин, А.В. Епимахов. – Барнаул: АлтГУ, 2014. – С. 100–109.
354. Матвеева Н.П. Могильник Козлов Мыс-2 и проблема переходного периода от раннего к позднему железному веку. В Зауралье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – №4. – С. 38–76.
355. Матвеева Н.П. Субстратные и суперстратные компоненты в культуре раннесредневекового населения западной части Западной Сибири // Человек и север: антропология, археология, экология: мат-лы конф. Вып. 3 / ред. А.Н. Багашев. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2015. – С. 155–158.
356. Матвеева Н.П. Западная Сибирь в эпоху Великого переселения народов (Проблемы культурогенеза по данным погребальных памятников). – Тюмень: ТюмГУ, 2016. – 264 с.
357. Матвеева Н.П. Гороховская культура: на периферии мира уральских кочевников // Ранний железный век от рубежа эр до середины I тыс. н.э.

Динамика освоения культурного пространства / отв. ред. Д.Г. Савинов. – СПб.: Скифия-принт, 2017а. – С. 101–106.

358. Матвеева Н.П. Радиоуглеродная хронология памятников саргатской культуры (Западная Сибирь) // РА – 2017б. – №4. – С. 3–20.

359. Матвеева Н.П., Берлина С.В., Рафикова Т.Н. Коловское городище. – Новосибирск: Наука, 2008 (Древности Ингальской долины: Археолого-палеоэкологическое исследование; Вып. 2). – 240 с.

360. Матвеева Н.П., Волков Е.Н., Рябогина Н.Е. Древности Ингальской долины: Новые памятники бронзового и раннего железного веков. – Новосибирск: Наука, 2003. – 174 с.

361. Матвеева Н.П., Зеленков А.С. О западносибирских инвазиях в Приуралье в эпоху Великого переселения народов // Вестник Пермского университета. История. – 2018. – Вып. 1(40). – С. 71–86.

362. Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Берлина С.В., Чикунова И.Ю. Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири (проблемы социокультурной адаптации в раннем железном веке). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 228 с.

363. Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Захарова Л.А., Виль К.В. Некоторые аспекты палеоэкологического изучения населения западносибирской лесостепи в раннем железном веке (по результатам химического анализа костной ткани) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2004. – №5. – С. 172–186.

364. Матвеева Н.П., Рябогина Н.Е. Реконструкция природных условий Зауралья в раннем железном веке (по палинологическим данным) // Археология, антропология и этнография Евразии. – 2003. – №4. – С. 30–35.

365. Матренин С.С. Снаряжение кочевников Алтая (II в. до н.э. – V в. н.э.). – Новосибирск: СО РАН, 2017. – 142 с.

366. Матющенко В.И. Об отношении саргатского населения к так называемому скифо-сибирскому культурно-историческому единству // Проблемы изучения саргатской культуры / отв. ред. А.Я. Труфанов. – Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1991. – С. 14–16.

367. Матющенко В.И. История археологических исследований Сибири (до конца 1930-х годов). – Омск: Изд-во ОмГУ, 1992. – 138 с.
368. Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Могильник Сидоровка в Омском Прииртышье. – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. – 198 с.
369. Медведева Н.Н., Тарасов А.Ю., Рейс Т.М., Николаев В.Г. Динамика исторического и антропологического облика населения Восточной Сибири (на примере г. Красноярска) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – №1(17). – С. 126–132.
370. Медникова М.Б. К определению понятия и критериев понятия палеопопуляция в антропологии // РА – 1995а. – №3 – С. 92–96.
371. Медникова М.Б. Древние скотоводы Южной Сибири: палеоэкологическая реконструкция по данным антропологии. – М.: ИА РАН, 1995б. – 216 с.
372. Медникова М.Б. Жизнь ранних скифов: реконструкция по антропологическим материалам могильника Новозаведенное II // Скифы и сарматы в VII-III вв. до н.э. Палеоэкология, антропология и археология. – М.: ИА РАН, 2000. – С. 51–59.
373. Медникова М.Б. Трепанации в древнем мире и культ головы. – М.: Алетейа, 2004. – 208 с.
374. Медникова М.Б. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. – М.: Club Print, 2017. – 223 с.
375. Медникова М.Б., Лебединская Г.В. Пепкинский курган: данные антропологии к интерпретации погребений // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений / отв. ред. В.И. Гуляев, И.С. Каменецкий, В.С. Ольховский. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – С. 200–216.
376. Минор О.В. Височные кольца карасукского времени: вопросы атрибуции // Вестник НГУ. Серия История, Филология. – 2007. – Том 6, №3. Археология и этнография. – С. 104–108.

377. Миняев С. С. Бактрийские латуни в сюннских памятниках Забайкалья // Бактрийские древности. Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. – Л.: Наука, 1976. – С. 109–110.

378. Миняев С. С. Дырестуйский могильник. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 233 с.

379. Миняев С.С., Елихина Ю.И. К хронологии курганов Ноин-Улы // Записки ИИМК РАН / отв. ред. Е.Н. Носов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. – Вып. 5. – С. 169–182.

380. Михайлова Е.А. Съемные украшения народов Сибири / Е. А. Михайлова // Украшения народов Сибири. – СПб.: МАЭ РАН, 2006. –Т.51. – С.12–119.

381. Могильников В.А. Исследования курганной группы эпохи раннего железа Калачевка II // КСИА – 1968. – Вып. 114. – С. 94–98.

382. Могильников В.А. К вопросу об этнокультурных ареалах Среднего Прииртышья и Приобья эпохи раннего железа // ПХКПАПЗС / отв. ред. В.И. Матющенко. – Томск: изд-во Томского университета, 1970. – С. 172–190.

383. Могильников В.А. К вопросу о саргатской культуре // Проблемы археологии и древней истории угров / ред. В.Н. Чернецов, И.Ф. Эрдели. – М.: Наука, 1972а. – С. 66–86.

384. Могильников В.А. Коконовские и саргатские курганы – памятники эпохи раннего железа западносибирской лесостепи // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени / отв. ред. К.Ф. Смирнов. – М.: Наука, 1972б. – МИА №153 – С. 119–133.

385. Могильников В.А. К этнокультурной характеристике Западной Сибири в эпоху раннего железа // Из истории Сибири. – Томск: Изд-во Томск. Ун-та, 1973. – Вып. 7. – С. 175–189.

386. Могильников В.А. Некоторые аспекты хозяйства племен лесостепи Западной Сибири эпохи раннего железа // Из истории Сибири / ред. Л.М. Плетнева. – Томск: Томский университет, 1976. – Вып. 21. – С. 175–185.

387. Могильников В.А. К вопросу о контактах населения Среднего Приобья и Прииртышья в раннем железном веке // Ранний железный век Западной Сибири / ред. В.И. Матющенко. – Томск: Томский университет, 1978. – С. 84–92.

388. Могильников В.А. Некоторые особенности генезиса культур лесостепи Западной Сибири в раннем железном веке // ВАУ / отв. ред. В.Е. Стоянов. – Свердловск: Изд-во Уральского госуниверситета, 1981. – Вып. 15. – С. 100–103.

389. Могильников В.А. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху железа // Этнокультурные процессы в Западной Сибири / ред. В.И. Матющенко. – Томск: Томский университет, 1983. – С. 77–90.

390. Могильников В.А. К характеристике культуры лесостепного Прииртышья в VII-VI вв. до н.э. // КСИА – 1985. – Вып. 184. – С. 3–7.

391. Могильников В.А. Лесостепное Зауралье (бакальская культура) // Финно-угры и балты в эпоху средневековья / отв. ред. В.В. Седов. – М.: Наука, 1987. – С. 179–183.

392. Могильников В.А. Некоторые проблемы изучения саргатской культуры // Проблемы изучения саргатской культуры / отв. ред. А.Я. Труфанов. – Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1991. – С. 8–14.

393. Могильников В.А. Лесостепь Зауралья и Западной Сибири // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М.: Наука, 1992а. – С.274–311.

394. Могильников В.А. Хунну Забайкалья // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М.: Наука, 1992б. – С.254-273.

395. Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. – М.: ИА РАН, 1997. – 195 с.

396. Могильников В.А. К динамике внешних контактов саргатского этноса // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром / отв. ред. Н.П. Довгальук. – Омск: Омск. гос. ун-т, 1998. – С. 4–10.

397. Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 186 с.
398. Молодин В.И., Колонцов С.В. Туруновка-4 – памятник переходного от бронзы к железу времени // Археология юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 69–86.
399. Молодин В.И., Пилипенко А.С., Чикишева Т.А., Ромашенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р.О. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи IV–I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты / отв. ред. В.И. Молодин. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 220 с.
400. Молодин В.И., Соболев В.И., Зах В.А., Полосьмак Н.В., Елагин В.С., Мартынов Н.И. Раскопки в центральной Барабе // Археологические открытия 1978 года / отв. ред. Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1979. – С.256.
401. Монгайт А.Л. Археологические культуры и этнические общности (К вопросу о методике историко-археологических исследований) // Народы Азии и Африки. – 1967. – №1. – С. 53–69.
402. Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. – Симферополь: Универсум, 2003. – 216 с.
403. Мордвинцева В. И. Социальная структура населения городища у с. Золотая Балка // Stratum plus. – 2015. – № 4. – С. 115–142.
404. Мордвинцева В.И. Погребальные комплексы элиты как источник по выявлению политической идентичности на археологическом материале // Элита Боспора и боспорская элитарная культура. Мат-лы междунар. круглого стола (Санкт-Петербург, 22–25 ноября 2016 г.) / отв. ред. В.Ю. Зуев, В.А. Хршановский. – СПб.: Палаццо, 2016. – С. 251–259.
405. Мордвинцева В.И. «Варварские» элиты Нижнего Поволжья и Подонья в III в. до н. э. – сер. III в. н. э.: опыт выявления уровней социальной иерархии // Археологическое наследие. Античность. Скифы. Сарматы. – 2020. – №1(3). – С. 259–285.

406. Мордвинцева В.И., Хабарова Н.В. Древнее золото Поволжья из фондов Волгоградского областного краеведческого музея. – Симферополь: Изд-во Тарган, 2006. – 139 с.
407. Мошинская В.И. Городище и курганы Потчеваш // МИА – 1953. – №35. – С. 189–220.
408. Мошкова М.Г. Культовые сооружения Лебедевского могильника // Древности Евразии в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1984. – С. 196–201.
409. Мошкова М.Г. Прохоровская раннесарматская культура IV–II вв. до н.э. // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. А.И. Мелюкова. – М.: Наука, 1989а. – С. 169–177.
410. Мошкова М.Г. Среднесарматская культура // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. А.И. Мелюкова. – М.: Наука, 1989б. – С. 177–191.
411. Мошкова М.Г. Позднесарматская культура // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. А.И. Мелюкова. – М.: Наука, 1989в. – С. 191–202.
412. Мошкова М.Г. Назначение каменных «жертвенников» и «савроматская» археологическая культура // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология / отв. ред. В.И. Гуляев, В.С. Ольховский. – М.: ИА РАН, 2000. – С. 202–215.
413. Мошкова М.Г. Археологические памятники южноуральских степей второй половины II–IV вв. н.э.: позднесарматская или гунно-сарматская культура (погребальный обряд) // РА – 2007. – №3. – С. 103–111.
414. Мошкова М.Г. О назначении пряслиц в погребениях мужчин // Евразия в скифо-сарматское время. Памяти И. И. Гущиной / отв. ред. Д.В. Журавлев, К.Б.Фирсов – М. 2012. – Труды ГИМ. Вып. 191 – С. 338–351.
415. Мошкова М.Г., Генинг В.Ф. Абатские курганы и их место среди лесостепных культур Зауралья и Западной Сибири // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени / отв. ред. К.Ф. Смирнов. – М.: Наука, 1972. – МИА №153 – С. 87–118.

416. Мышкин В. Н. Воинский инвентарь в «савроматских» погребениях Самаро-Уральского региона // *Материалы по археологии Волго-Донских степей* / отв. ред. И.В. Сергацков. – Волгоград: ВолГУ, 2001. – Вып.1. – С. 142–160.
417. Наран Б., Тумэн Д. Травматические повреждения на черепах Чандманьского могильника // *РА* – 1997. – № 4. – С. 122–129.
418. Неразик Е.Е. Средневековые сельские постройки Хорезма в связи с проблемами формирования некоторых типов жилищ оседлого населения Средней Азии // *Жилище народов Средней Азии и Казахстана* / отв. ред. Е.Е. Неразик, А.Н. Жилина. – М.: Наука, 1982. – С. 164–179.
419. Никаноров В.П., Худяков Ю.С. Изображения воинов из Орлатского могильника // *Евразия: культурное наследие древних цивилизаций*. – Вып. 2. – Новосибирск: НГУ, 1999. – С. 141–154.
420. *Общая палеоэкология: Учебное пособие* / под ред. Г.Н.Киселева, А.В.Попова. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2000. – 132 с.
421. Овидий. Скорбные элегии // *Собр. соч.:* в 2 т. – СПб.: Студия Биографика, 1994. – Т. 1. – С. 231–336.
422. Окшотт Э. *Археология оружия. От бронзового века до эпохи ренессанса*. – М.: Центрполиграф, 2004. – 398 с.
423. Ольховский В.С. Погребальная обрядность: содержание и структура // *РА* – 1995. – №2. – С. 85–98.
424. Ольховский В.С. *Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII-III вв. до н.э.)*. – М.: Наука, 1991. – 256 с.
425. Ольховский В.С. *К изучению скифской ритуалистики: посмертное путешествие // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений* / отв. ред. В.И. Гуляев, И.С. Каменецкий, В.С. Ольховский. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – С. 114–136.
426. Оссовский Г.О. *Отчет о раскопках, произведенных Г.О. Оссовским в Томской губ.* // *Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1894 г.* –

Санкт-Петербург: Типография главного управления уделов, Моховая, № 40, 1896. – С. 139–147.

427. Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III-V вв. – Ижевск: Изд-во УИИЯЛ УрО РАН, 1997. – 327 с.

428. Палагута И. О методах исследования керамических комплексов и принципах локально-хронологического деления Триполья VI – Кукутень А // *Revista Arheologică, serie nouă*. – 2019. – Vol. XV, № 2. – P. 29-40.

429. Пантелеева С.Е., Хроностратиграфия Павлинова городища (по результатам анализа керамики): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2006. – 22 с.

430. Патачаков К. М. Очерки материальной культуры хакасов. – Абакан: Краснояр. кн. изд-во Хакас. отд-ние, 1982. – 88 с.

431. Пежемский Д.В. Информативность скелетных остатков плохой сохранности (по материалам некрополя Сиреневая Бухта) // *РА* – 2000. – № 4. – С. 64–76.

432. Первалова Е.В. Обские угры и ненцы Западной Сибири: этничность и власть: автореф. дис. ...д-ра ист. наук. – Екатеринбург, 2017. – 45 с.

433. Перерва Е.В. Палеопатология поздних сарматов из могильников Есауловского Аксая // *OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии*. – 2002. – Вып. 1/2. – С. 141–151.

434. Перерва Е.В. Население сарматской эпохи по антропологическим материалам из могильников Нижнего Поволжья и Нижнего Дона: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – М., 2005. – 26 с.

435. Перерва Е.В. Поздние сарматы Нижнего Поволжья и Нижнего Дона (палеопатологический аспект, сравнительный анализ с раннесарматскими и среднесарматскими сериями) // *Становление и развитие позднесарматской культуры / отв. ред. А.С. Скрипкин*. – Волгоград: Волгоградский ун-т; ИА РАН, 2010. – С. 231–262.

436. Перерва Е.В. Палеопатология: от опыта зарубежных и отечественных исследований к истории изучения древних людей в Нижнем Поволжье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – № 4(23). – 2013. – С. 71–79.

437. Перерва Е.В., Балабанова М.А., Зубарева Е.Г. Коллекция искусственно деформированных черепов научно-учебного кабинета-музея антропологии Волгоградского государственного университета (палеоантропология). – Волгоград: Волгоградский филиал РАНХиГИС, 2013. – 116 с.

438. Першиц А. И. Война и мир на пороге цивилизации: кочевые скотоводы // Война и мир в ранней истории человечества / ред. Ю.В. Бромлей, А.И. Першиц. – Москва: ИЭА РАН, 1994. – Т. 2. – С. 129–231.

439. Пилипенко А.С. Палеогенетика человека // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Том 17. №4/2. – С. 957–971.

440. Пилипенко А.С. Палеогенетика: происхождение человека и этногенетические реконструкции // Молекулярная и прикладная генетика. – 2014. – Том 18. – С. 148–159.

441. Пилипенко А.С., Полосьмак Н.В., Кобелева Л.С., Молодин В.И., Журавлев А.А. Первые данные о генофонде митохондриальной ДНК носителей саргатской культуры в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 555–558.

442. Пилипенко А.С., Ромащенко А.Г., Молодин В.И., Куликов И.В., Кобзев В.Ф., Поздняков Д.В., Новикова О.И. Особенности структуры генофонда митохондриальной ДНК населения городища Чича-1 (IX–VII вв. до н.э.) в Барабинской лесостепи // Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – С. 108–127.

443. Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование носителей пазырыкской культуры из могильника Ак-Алаха-1

(Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – № 4 (43). – С. 147–153.

444. Пилипенко А.С., Черданцев С.В., Трапезов Р.О., Молодин В.И., Кобелева Л.С., Поздняков Д.В., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование родства погребенных из курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи (Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – № 4 (45). – С. 132–142.

445. Пилипенко А. С., Черданцев С. В., Трапезов Р. О., Томилин М. А., Балабанова М. А., Пристяжнюк М. С., Журавлев А. А. К вопросу о генетическом составе сарматского населения Нижнего Поволжья (данные палеогенетики) // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 17–50.

446. Пилипенко А.С., Черданцев С.В., Трапезов Р.О., Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., Молодин В.И. Уникальное захоронение воина гунно-сарматского времени в Западно-Сибирской лесостепи: результаты палеогенетического анализа // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – № 4 (46). – С. 123–131.

447. Погодин Л.И. К характеристике погребального обряда саргатской культуры // Источники и историография. Археология и история. – Омск: изд-е Омского гос. ун-та, 1988. – С. 27–37.

448. Погодин Л.И. Проблемы хронологии саргатских памятников в связи с особенностями организации военного дела (по материалам Прииртышья) // Проблемы изучения саргатской культуры / отв. ред. А.Я. Труфанов. – Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1991. – С. 20–24.

449. Погодин Л.И. Золотное шитье Западной Сибири (первая половина I тыс. н.э.) // Исторический ежегодник / под ред. А.В. Якуба. – Омск: Омск. гос. ун-т, 1996. – С. 123–134.

450. Погодин Л.И. К характеристике военной структуры саргатской общности // Четвертые исторические чтения памяти М.П. Грязнова: мат-лы научн. конф. – Омск: Омск. Гос. ун-т, 1997. – С. 116–121.

451. Погодин Л.И. Вооружение населения Западной Сибири раннего железного века. – Омск: Омск. госуниверситет, 1998а. – 84 с.
452. Погодин Л.И. Лаковые изделия из памятников Западной Сибири раннего железного века // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром / отв. ред. Н.П. Довгалюк. – Омск: Омск. гос. ун-т, 1998б. – С. 26–38.
453. Погодин Л.И. Исследование в урочище «Батаково» // Новое в археологии Среднего Прииртышья / отв. ред. С.Ф. Татауров. – Омск: изд-во ОмГУ, 1999. – С. 52–85.
454. Погодин Л.И., Труфанов А.Я. Могильник саргатской культуры Исаковка-III // Древние погребения Обь-Иртышья / отв. ред. В.И. Матющенко. – Омск: Омск. ун-т, 1991. – С. 98–127.
455. Погодин Л.И., Труфанов А.Я. Костяные наконечники стрел поселения Новотроицкое I // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье / отв. ред. Л.Н. Корякова. – Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. – С. 97–111.
456. Погребова М. Н. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. – М.: Институт востоковедения АН СССР, 1984. – 248 с.
457. Поздняков Д.В. К вопросу о травматических повреждениях у населения пазырыкской культуры // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – 2004. – Вып. 3. – С. 133–141.
458. Полеводов А.В. Сузгунская культура в лесостепи Западной Сибири: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – М., 2003. – 22 с.
459. Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. – Новосибирск: Наука, 1987. – 144 с.
460. Полосьмак Н. В. Всадники Укока. – Новосибирск: Инфолио-пресс, 2001. – 336 с.
461. Полосьмак Н.В. Другая археология. Пазырыкская культура: моментальный снимок, 2015 г. Укок // Наука из первых рук. – 2015. – №5/6 (65/66). – С. 71–95.

462. Проконова М.М. Металлические изделия из памятников саргатской культуры Притоболья // Теория и практика археологических исследований. – 2021. – Т. 33, №4. – С. 221–243.
463. Прохоров Б.Б. Экология человека. – М.: Академия, 2010. – 320 с.
464. Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д. К интерпретации захоронений на Семилукском городище скифского времени // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. – М.: ИА РАН, 2000. – С. 249–258.
465. Пуздровский А. Е. Крымская Скифия II в. до н.э. – III в. н.э. Погребальные памятники. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. – 480 с.
466. Пузикова А.И. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья. – М.: Индрик, 2001. – 272 с.
467. Радлов В.В. Сибирские древности. Том I. Вып. 3 // Материалы по археологии России, издаваемые Императорской археологической комиссией. № 15 – СПб., 1894. – С. 81–132.
468. Радлов В.В. Сибирские древности: из путевых записок по Сибири / пер. с нем. и предисл. А.А. Бобринского. – СПб., 1896. – 70 с., 11 л. илл.
469. Раев Б.А. Железные «жезлы» сарматских жриц. Заметки на полях // Археологическое наследие. Античность. Скифы. Сарматы. – 2020. – №1(3). – С. 286–293.
470. Разуваев Ю.Д. Грунтовые погребения скифского времени у с. Кулаковка на Среднем Дону // Восточноевропейские древности. – Воронеж: Научная книга, 2012 (Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского; вып. 2). – С. 165–170.
471. Ражев Д.И. Комплекс остеологических признаков всадников // Новое в археологии Южного Урала / отв. ред. С.А. Григорьев. – Челябинск: Рифей, 1996. – С. 251–258.
472. Ражев Д.И. Погребение 3 могильника Куртугуз 1 // Урал в прошлом и настоящем: Мат-лы научн. конф. Часть 1. – Екатеринбург: НИСО УрО РАН; БКИ, 1998. – С. 107–109.

473. Ражев Д.И. Население лесостепи Западной Сибири раннего железного века: реконструкция антропологических особенностей: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – М., 2002. – 22 с.

474. Ражев Д.И. Биоантропология населения саргатской общности. – Екатеринбург: УрО РАН, 2009. – 492 с.

475. Ражев Д.И., Епимахов А.В. Феномен многочисленности детских погребений в могильниках эпохи бронзы // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2005. – Вып. 5. – С. 107–113.

476. Ражев Д.И., Ковригин А.А. Курганные могильники саргатской культуры и социально-демографическая структура древнего общества // Экология древних и средневековых обществ: тез. докл. конференции, посвященной 275-летию РАН / отв. ред. Н.П. Матвеева. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 1999. – С. 171–175.

477. Ражев Д.И., Ковригин А.А., Курто П. Насильственные травмы на черепах из могильников саргатской культуры // XIV Уральское археологическое совещание (21–24 апреля 1999 г.): Тезисы докладов / отв. ред. С.А. Григорьев. – Челябинск: Изд-во «Рифей», 1999. – С. 137–139.

478. Ражев Д.И., Курто П., Зайцева О.В. Бескурганное погребение Сопининского могильника: анализ с позиции полевой антропологии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2005. – Вып. 6. – С. 148–152.

479. Рапопорт Ю.А., Трудновская С.А. Курганы на возвышенности Чаштепе // Кочевники на границах Хорезма. Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции / под общ. ред. С.П. Толстого. – Т. IX. – М.: Наука, 1979. – С. 151–166.

480. Рафикова Т.Н. Бакальская культура лесостепного и подтаежного Тоболо-Ишимья: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Тюмень, 2011. – 19 с.

481. Ростовцев М.И. Сарматские и индо-скифские древности // Петербургский археологический вестник. №5. Скифика: Избр. Тр. Акад. М.И. Ростовцева. – СПб., 1993. – с. 39–56.

482. Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. – М.: Наука, 1965. – 302 с.

483. Руденко С.И. К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и о кочевниках // Материалы по отделению этнографии: Географическое общ-во СССР. – 1961. – Вып. 1. Л. – С. 2–14.
484. Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I // САИ – 1962. – Вып. ДЗ-9. М.; Л.: Наука – 52 с. + 27 табл.
485. Рыкун М.П. Материалы по краниологии населения Северного Алтая раннего железного века (Каменская культура) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 1999. – № 2. – С. 78–86.
486. Рыкун, М.П. Палеоантропология Верхнего Приобья эпохи раннего железа. – Барнаул: Изд-во Алт.ГУ, 2013. – 283 с.
487. Рябогина Н.Е., Ларин С.И., Семочкина Т.Г. Палеоэкологические условия обитания носителей доситторических культур Тюменского Притоболья (по данным споро-пыльцевого анализа) // Экология древних и средневековых обществ: тез. докл. конференции, посвященной 275-летию РАН / отв. ред. Н.П. Матвеева. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 1999. – С. 61–63.
488. Сабиров Т.Р. Погребальный обряд Тарасовского могильника (V–I века) на Средней Каме // Вестн. ЧелГУ. – 2010. – № 18 (199). История. Вып. 41. – С. 32–40.
489. Савельев Н.С. Население Месягутовской лесостепи в V–III вв. до н.э. Культурно-хронологическая принадлежность памятников айского типа. – Уфа: Изд-во БЭК, 1998. – 123с.
490. Савельев Н.С. Население Месягутовской лесостепи в V–III веках до н.э.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Ижевск, 2002. – 26 с.
491. Савинов Д.Г. Кокэльский могильник в Туве // Социальная структура ранних кочевников Евразии / под ред. Н.Н. Крадина, А.А. Тишкина, А.В. Харинского. – Иркутск: Изд-во Иркутского ин-та общественных наук, 2005. – С. 200–223.
492. Сальников К.В. Городище «Чудаки» в Челябинской области (по раскопкам 1937 г.). // СА – 1947. – №9. – С.221–238.

493. Сальников К.В. В глубине веков. Очерки о жизни первобытного населения Урала. – Свердловск: ОГИЗ, 1949. – 112 с.
494. Сальников К.В. Археологические исследования в Челябинской и Курганской областях // КСИИМК – 1951. – Вып. XXXVII. – С. 88–96.
495. Сальников К.В. Древнейшие памятники истории Урала. – Свердловск: Свердловское областное государственное издательство, 1952. – 159 с.
496. Сальников К.В. Исетские древние поселения. // СА – 1956. – №25. – С. 189–215.
497. Сальников К.В.. Царев Курган на р. Тобол // ВАУ / отв. ред. В.Ф. Генинг. – Свердловск: Изд-е УрГУ им. Горького, 1962. – Вып. 2. – С. 38–41.
498. Сарияниди В.И. Храм и некрополь Тилля-Тепе. – М.: Наука, 1989. – 240 с.
499. Сатаев Р.М. Общие принципы устройства и функционирования систем жизнеобеспечения традиционных обществ // Вестник археологии, антропологии и этнографии – 2017. – № 4 (39). – С. 126–134.
500. Сатаев Р.М. Использование понятий «жизнеобеспечение», «бытовая культура» и «культура повседневности» применительно к изучению обществ исторического прошлого // Этнографическое обозрение. – 2018. – №1. – С. 73–82.
501. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / ред., вступ. ст. М.Г. Дурмишьяна; пер. с англ.: В.И. Кандрора, А.А. Рогова. – М.: Медгиз, 1960. – 254 с.
502. Семенов Вл. А. Некоторые шаманистические элементы в культуре ранних кочевников Тувы // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы междунар. конф. – СПб.: ИИМК, Государственный Эрмитаж, 1996. – С. 27–29.
503. Семенов Вл. А. Суглуг-Хем и Хайыракан – могильники скифского времени в Центрально-Тувинской котловине. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – 240 с.
504. Сергацков И.В. Анализ сарматских погребальных памятников I–II вв. н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии.

– Вып. III: Среднесарматская культура. – М.: Восточная литература, 2002. – С. 22–129.

505. Серегин Н.Н. Общие и особенные характеристики женских погребений раннесредневековых тюрок Центральной Азии (к реконструкции некоторых аспектов гендерной истории) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2012. – №2(17). – С. 61–69.

506. Серегин Н.Н. Детские погребения раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2013. – Вып. 3 (22). – С. 87–94.

507. Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. – 328 с.

508. Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э. (погребения знати у с. Пороги). – Киев: Наукова Думка, 1991. – 112 с.

509. Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология / отв. ред. А.И. Мартынов, В.И. Молодин. – Новосибирск: Наука, 1987. – 180 с.

510. Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и её исторический аспект. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 300 с.

511. Скрипкин А. С. Сарматы и Восток. Избранные труды. – Волгоград: ВолГУ, 2010. – 370 с.

512. Скрипкин А. С. Клинковое оружие в разработке хронологии и некоторых вопросов этнополитической истории раннесарматской культуры Волго-Уральского региона // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: мат-лы Междунар. науч. конф. памяти А. И. Мелюковой. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. – С. 191–197.

513. Скрипкин А.С. Сарматы. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2017. – 293 с.

514. Слепцова А.В. Антропологический состав населения Западной Сибири раннего железного века по данным одонтологии: саргатская, гороховская и кашинская культуры: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Тюмень, 2023. – 19 с.

515. Слепцова А.В. Одонтологические особенности населения Нижнего Притоболья эпохи Великого переселения народов // Человек и Север: Антропология, археология, экология: Мат-лы всероссийской науч. конф., г. Тюмень, 2–6 апреля 2018 г. Вып. 4 / ред. А.Н. Багашев. – Тюмень: ФИЦ, 2018а. – С. 205–209.

516. Слепцова А.В. Одонтологическая характеристика носителей саргатской культуры Притоболья // Piles of bones: палеоантропология, биоархеология, палеогенетика. Мат-лы Всероссийской научно-практической конф. с международным участием, посвященной 90-летию И.И. Гохмана. 8–13 октября 2018 г. Санкт-Петербург / отв. ред. А.В. Громов, И.Г. Ширококов. – СПб.: МАЭ РАН, 2018б. – С. 147–152.

517. Слепцова А.В. Происхождение населения Западной Сибири раннего железного века по данным одонтологии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2021. – № 3 (54). – С. 163–175.

518. Смирнов А.П. К вопросу об археологической культуре // СА – 1964. – №4. – С. 3–10.

519. Смирнов К.Ф. Савроматы (ранняя история и культура сарматов). – М.: Наука, 1964. – 379 с.

520. Смирнов К.Ф., Попов С.А. Савромато-сарматские курганы у с. Липовка Оренбургской области // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени / отв. ред. К.Ф. Смирнов. – М.: Наука, 1972. – МИА №153 – С. 3–26.

521. Смирнов Ю.А. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения. Исследование, тексты, словарь. – М.: «Восточная литература» РАН, 1997. – 279 с.

522. Соколов Э.В. Культура и личность. – Л.: Наука, 1972. – 228 с.

523. Сорокин С.С. Погребения эпохи великого переселения народов в районе Пазырыка // Археологический сборник ГЭ. Л.: Аврора, 1977. – Вып. 18. – С. 57–67.

524. Сорокина Н.П. Стеклоделие античного мира первых веков н. э. (основные проблемы): автореф. дис. ...д-ра ист. наук. – М., 1988. – 42 с.

525. Сорокина Н.П. Основные направления изучения стекла первых веков н. э. Северного Причерноморья (по материалам отечественной литературы) // Археологические исследования на юге Восточной Европы. – М., 1989. – Труды ГИМ. Вып. 70 – С. 142–149.

526. Спицын А.А., Зауральские древние городища. // Записки Отделения русской и славянской археологии. – СПб., 1906а. – Т. 8. Вып. 1. – С. 212–226.

527. Спицын А.А. Сибирская коллекция Кунсткамеры // Записки Отделения русской и славянской археологии. – СПб., 1906б. – Т. 8. Вып. 1. – С. 227–248.

528. Среда, культура и общество лесостепного Зауралья во второй половине I тыс. до н.э. (по материалам Павлиновского археологического комплекса) / Л.Н. Корякова, М.-И. Дэйр, А.А. Ковригин, С.В. Шарапова, Н.А. Берсенева, С.Е. Пантелеева, Д.И. Ражев, П. Курто, Б. Хэнкс, Е.Г. Ефимова, А.А. Каздым, О.В. Микрюкова, А.О. Сахарова. – Екатеринбург-Сургут: изд-во Магеллан, 2009. – 298 с.

529. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. – Вып. I. Савроматская эпоха (VI–IV вв. до н.э.) / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М.: ИА РАН, 1994. – 224 с.

530. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. – Вып. II. Раннесарматская культура (IV–I вв. до н.э.) / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М.: ИА РАН, 1997. – 278 с.

531. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. – Вып. III. Среднесарматская культура / отв. ред. М.Г. Мошкова. – М.: Восточная литература, 2002. – 143 с.: карты.

532. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. – Вып. IV. Позднесарматская культура / отв. ред. И.М. Гарскова – М.: Восточная литература, 2009. – 176 с.: карты.

533. Стефанов В.И. Куртугуз I – могильник раннего железного века Среднего Зауралья // Урал в прошлом и настоящем: Мат-лы научн. конф. Часть 1. – Екатеринбург: НИСО УрО РАН; БКИ, 1998. – С. 112–116.

534. Стоянов В.Е.. Классификация и периодизация лесостепных памятников раннего железного века // ПХКПАПЗС / отв. ред. В.И. Матющенко. – Томск: Изд-во ТГУ, 1970. – С.238–253.

535. Стоянов В.Е. О могильниках зауральско-западносибирской лесостепи (ранний железный век) // ВАУ / отв. ред. В.Ф. Генинг. – Свердловск: Уральский государственный университет, 1973. – Вып. 12. – С. 44–57.

536. Стоянов В.Е. Носиловское II поселение (о зауральских памятниках начала железного века) // ВАУ / отв. ред. В.Ф. Генинг. – Свердловск: УрГУ им. Горького, 1975. – Вып. 13. – С. 115–138.

537. Стоянов В.Е. Некоторые черты социально-экономической организации древнего населения зауральско-западносибирской лесостепи (ранний железный век) // ВАУ / отв. ред. В.Е. Стоянов – Свердловск: УрГУ им. Горького, 1977. – Вып. 14. – С. 152–159.

538. Стоянов В.Е., Ширяев А.Г. Селище Речкино I // ВАУ / отв. ред. В.Ф. Генинг. – Свердловск: Изд-е УрГУ им. Горького, Курганский обл. краевед. музей, 1964. – Вып. 6. – С.72–90.

539. Стрижак М.С. О женских погребениях с оружием кочевников Приуралья и Поволжья в VI – начале IV в. до н. э. // Вооружение сарматов: Региональная типология и хронология: докл. VI междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» / отв. ред. Л.Т. Яблонский, А.Д. Таиров. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – С. 71–75.

540. Строков А.А., Шишлина Н.И., Леонова Н.В. Погребение среднесарматской культуры курганного могильника Песчаный IV: результаты сравнительно-типологического, радиоуглеродного и изотопного исследований // Stratum Plus. – 2022. – №4. – С. 365–383.

541. Судебная медицина: учебник / отв. ред. В.Н. Крюков. – М.: Норма, 2009. – 432 с.

542. Таиров А.Д. Фигурка воина из поселка Элеватор // Археология Волго-Уральских степей. – Челябинск: б. и., 1990. – С. 144–146.

543. Таиров А.Д. Ранний железный век лесостепной зоны Южного Зауралья // Археология Южного Урала. Лес, лесостепь. Ранний железный век и средневековье (проблемы культурогенеза) / ред. С.Г. Боталов, А.Д. Таиров, Н.А. Берсенева, Н.О. Иванова. – Челябинск: Рифей, 2016а. – С. 16–31.

544. Таиров А.Д. Взаимодействия населения лесостепи и степи Зауралья в VII-II вв. до н.э. // Археология Южного Урала. Лес, лесостепь. Ранний железный век и средневековье (проблемы культурогенеза) / ред. С.Г. Боталов, А.Д. Таиров, Н.А. Берсенева, Н.О. Иванова. – Челябинск: Рифей, 2016б. – С. 443–468.

545. Таиров А.Д. Мужские воинские погребения кургана 3 могильника Кичигино I // Археологическое наследие. Античность. Скифы. Сарматы. – 2020. – №1(3). – С. 182–196.

546. Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Притоболья // МИА. – 1953. – №35. – С.242–339.

547. Тарасова А.А. Население Ярославля по материалам раскопок массовых захоронений времени Батыева нашествия: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – М., 2019. – 35 с.

548. Тетерин Ю.В. Рукояти плетей кочевников хуннского времени Южной Сибири // Вестник НГУ. Серия История, Филология. – 2016. – Том 15, №3. Археология и этнография. – С. 87–96.

549. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. – 544 с.

550. Тишков В.А. Новая историческая культура. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2011. – Электронный ресурс. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-165660.html>. (дата обращения 09.10.2020).

551. Толмачев В.Я. Древности Восточного Урала // Записки Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург, 1913. – Т. XXXII. Вып. 2. – С. 195–225.

552. Третьяков Е. А. Хронологические комплексы средневековых памятников Западной Сибири // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2022. – № 1 (56). – С. 134–147.

553. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: Изд-е ИАЭТ СО РАН, 2004. – 136 с.

554. Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1992. – 184 с.

555. Труфанов А. А. Пряжки ранних провинциально-римских форм в Северном Причерноморье // РА – 2004. – № 3. – С. 160–170.

556. Труфанов А.Я. Материалы к происхождению и развитию красноозерской культуры лесостепного Прииртышья // Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопредельных территорий / отв. ред. В.И. Матющенко, Н.А. Томилов. – Омск: Изд-е ОмГУ, 1984. – С. 57–77.

557. Труфанов А.Я. Культуры эпохи поздней бронзы и переходного времени к железному веку лесостепного Прииртышья: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Кемерово, 1990. – 15 с.

558. Тур С.С. К вопросу о происхождении и функциях обычая кольцевой деформации головы // Археология, антропология и этнография Сибири / отв. ред. Ю. Ф. Кирюшин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1996. – С. 237–249.

559. Тур С.С., Матренин С.С., Соенов В.И. Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гунно-сарматского времени // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – №46(4). – С. 132–139.

560. Уарзиати В. Праздничный мир осетин. – Владикавказ: СОИГИ, 1995. – 232 с.

561. Уманский А.П. О культурной и этнической принадлежности курганов раннежелезного века в лесостепном Алтае // Барнаулу 250 лет: тез. докл. и сообщ. к науч. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 1980. – С. 50–53.

562. Устав УОЛЕ. – Екатеринбург, 1872. – 20 с.

563. Федоров В.К. Костяные ложечки в колчанах ранних кочевников // РА – 2013 – № 2. – С. 44–61.

564. Федорова Н.В. Север Западной Сибири в железном веке: традиции и мобильность. Очерки. – Омск: Типография «Золотой тираж», 2019. – 150 с.
565. Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. – М.: Высшая школа, 1987. – 216 с.
566. Федосова В.Н. Антропологическая палеоэкология и проблемы эпохальной изменчивости // Экологические аспекты палеоантропологических и археологических реконструкций. – М.: ИА АН СССР, 1992. – С. 51–78.
567. Фиалко Е.Е. Амазонки во времени и пространстве // Археологія і давня історія України. – 2015. – Вип. 4 (17). – С. 46–100.
568. Формозов А.А. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 124 с.
569. Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху раннего железа. – Алматы: Гылым, 1994. – 170 с.
570. Хабдулина М.К. Итоги изучения улубай-тасмолинской культуры Северной Сарыарки // Казахстан в сакскую эпоху. – Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2017. – Глава 2. – С. 35–58.
571. Хазанов А.М. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА – 1963. – №4. – С. 58–71.
572. Хазанов А.М. Сложные луки евразийских степей и Ирана в скифо-сарматскую эпоху // Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана / отв. ред. Н.А. Кисляков, М.Г. Воробьев. – М.: Наука, 1966. – С. 29–44.
573. Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука, 1971. – 172 с.
574. Хазанов А. М. Обычай побратимства у скифов // СА – 1972. – №3. – С. 68-75.
575. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. Изд. 3-е, доп. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 604 с.
576. Ходжайов Т. К. Обычай преднамеренной деформации головы в Средней Азии // Антропологические и этнографические сведения о населении

Средней Азии / отв. ред. Н. А. Дубова, Г. В. Рыкушина. – М.: Старый Сад, 2000. – С. 22–46. (Этническая антропология Средней Азии; вып. 2.).

577. Ходжайов Т.К. География и хронология преднамеренной деформации головы в Средней Азии // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – Вып. 5. – М.: ИА РАН, 2006. – С. 12–21.

578. Чаиркина Н.М. Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века Зауралья (па материалам погребально-культовой площадки Скворцовая гора V). – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – 224 с.

579. Чернецов В.Н. Результаты археологической разведки в Омской области (Работы Северобарабинской экспедиции 1945 г.) // КСИИМК. – 1947. – Вып. XVII. – С. 79–91.

580. Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в Приобье // МИА – 1953. – №35. – С. 221–241.

581. Черных Е.Н. Проявление рационального и иррационального в археологической культуре (к постановке проблемы) // СА – 1982. – №4. – С. 8–20.

582. Чикишева Т.А., Волков П.В., Кривошапкин А.Л., Титов А.Т., Курбатов В.П., Зубова А.В., Бородовский А.П. Технологии древних хирургов скифского времени: прижизненные трепанации у ранних кочевников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4 (60). – С. 146–154.

583. Чикунова И.Ю. К вопросу о хронологии кашинской культуры // II Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. 24–30 сентября 2006. / отв. ред. А.В. Головнев. – Екатеринбург–Ханты-Мансийск. Изд-во «Чароид», 2006а. – С. 128–129.

584. Чикунова И.Ю. Керамика кашинского типа в комплексах раннего железного века Зауралья // Современные проблемы археологии России. Материалы Всероссийского археологического съезда / отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006б. – С. 67–68.

585. Чикунова И.Ю. Хозяйство и быт населения саргатской культуры Притоболья (к реконструкции хозяйственно-культурного типа): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Тюмень, 2006в. – 22 с.

586. Чикунова И.Ю. Ипкульский курганный могильник (результаты раскопок 2010-2011 гг.) // АВ ORIGIN: археолого-этнографический сборник. – 2017. – Вып. 9. – С. 79–110.

587. Чикунова И.Ю., Поклонцев А.С. Палеоэкономические аспекты скотоводства саргатского населения Рафайловского городища и селища // Экология древних и современных обществ. Материалы конф. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2003. – Вып. 2. – С. 189–192.

588. Чочиев А.Р. Очерки истории социальной культуры осетин. – Цхинвали: Ирыстон, 1985. – 289 с.

589. Цетлин Ю.Б. Предисловие // Вестник «История керамики». – 2019. – Вып. 1. – С. 7–11.

590. Шарапова С.В. Керамика раннего железного века Среднего Притоболья // Третьи Берсовские чтения. К 95-летию А.А. Берса и 90-летию Е.М. Берс: мат-лы науч. конф. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1999. – С. 59–64.

591. Шарапова С.В. Керамика раннего железного века лесостепного Зауралья (опыт статистического анализа): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Ижевск, 2000. – 27 с.

592. Шарапова С.В. Символика престижа в саргатской культуре: на примере феномена кольцевой деформации черепа // Миф, обряд и ритуальный предмет в древности / гл. ред. С.А. Арутюнов. – Екатеринбург-Сургут: Магеллан, 2007. – С. 57–69.

593. Шарапова С.В. Стилистическая вариативность зауральской керамики эпохи железа // УИВ – 2010. – №1(26). – С. 43–52.

594. Шарапова С.В. Социокультурная идентичность и возможности интерпретации древней материальной культуры // Вестник НГУ. Серия:

История, филология. – Т. 11, вып. 3: Археология и этнография. – 2012. – С. 103–112.

595. Шарапова С.В. Биоархеология населения лесостепного Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура) // *Stratum Plus*. – 2018а. – №3. – С. 323–350.

596. Шарапова С.В. Искусственная деформация черепа в саргатской среде (биоархеологический аспект) // *КСИА* – 2018б. – №250. – С. 243–259.

597. Шарапова С.В. Верхняя хронологическая граница саргатской культуры // *НАВ* – 2020. – Т. 19, №2. – С. 218–246.

598. Шарапова С.В., Бачура О.П., Грачев М.А., Карапетян М.К., Киселева Д.В., Косинцев П.А., Костомаров В.М., Окунева Т.Г., Шагалов Е.С., Якимов А.С. Информационный потенциал разрушенных погребений саргатской культуры: курган Новопокровка 16 в Среднем Прииртышье // *НАВ*. – 2023. – Т. 22. №2. – С. 65–96.

599. Шарапова С.В., Берсенева Н.А., Корякова Л.Н., Ковригин А.А., Микрюкова О.В., Пантелеева С.Е., Ражев Д.И. Раскопки курганных могильников в Заводоуковском районе Тюменской области // *Археологические открытия 2000 года* / отв. ред. В.В. Седов, Н.В. Лопатин. – М., 2001. – С.263–265.

600. Шарапова С.В., Ковригин А.А., Корякова Л.Н., Микрюков, О.В., Ражев Д.И. Раскопки Сопининского могильника в Шатровском районе Курганской области // *Археологические открытия 2002 года* / отв. ред. В.В. Седов, Н.В. Лопатин. – М.: Наука, 2003. – С. 309.

601. Шарапова С.В., Луайе Ж., Солдаткин Н.В., Столярчик Э. Погребения бронзового века Южного Зауралья (палеопатологический аспект) // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. – 2016. – №1 (63). – С. 199–203.

602. Шарапова С.В., Малашев В.Ю. Хроноиндикаторы I–III в. н. э. из лесостепных памятников Тоболо-Иртышья // *НАВ* – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 171–192.

603. Шарапова С.В., Пилипенко А.С., Ражев Д.И., Трапезов Р.О., Черданцев С.В. Два мужских погребения из кургана саргатской культуры: биоархеологический и палеогенетический обзор // *Stratum Plus*. – 2020. – №3. – С. 353–378.

604. Шарапова С.В., Ражев Д.И. Биоархеология черепных травм саргатского населения // *Археология, этнография и антропология Евразии*. – 2013. – №1 (53). – С. 143–154.

605. Шарапова С.В., Ражев Д.И. Погребения саргатской культуры: новый взгляд на известные факты // *РА* – 2016. – №3. – С. 60–72.

606. Шарапова С.В., Ражев Д.И., Курто П. Новое в изучении женских погребений (по материалам саргатской культуры Притоболья) // *Вестник археологии, антропологии и этнографии*. – 2014. – № 1 (24). – С. 84–95.

607. Шарапова С.В., Труфанов А.Я., Киселева Д.В., Шагалов Е.С., Данилов Д.А., Хорькова А.Н., Окунева Т.Г., Солошенко Н.Г., Рянская А.Д., Упорова Н.С. Об одной находке северокавказской керамики в элитном погребении могильника Исаковка I (Западная Сибирь) // *История, археология и этнография Кавказа*. – 2022. – Т. 18, № 2. – С. 429–462.

608. Шарапова С.В., Черданцев С.В., Трапезов Р.О., Пилипенко А.С. Кочевники и лесостепь: археология, антропология, палеогенетика // *Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.)*. Т. 5. Мат-лы X Международной научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории» / отв. ред. И.Н. Храпунов. – Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2019. – С. 321–327.

609. Шведчикова Т.Ю. Искусственная деформация головы как исторический источник (на примере джетысарской археологической культуры Восточного Приаралья конца I тыс. до н.э.-VIII в. н.э.): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – М., 2010. – 25 с.

610. Шевченко А.А. Проблема соотношения подкурганых захоронений и населения городищ в скифское время на Среднем Дону (общая характеристика)

// Археологические памятники Восточной Европы. – Вып. 15. – Воронеж: ВГПУ, 2013. – С. 247–255.

611. Шевченко Е.Б. Раннекочевнические женские погребения с оружием из Южного Приуралья (VI—IV вв. до н. э.) // Нижневолжский археологический вестник. – 2013. – Вып. 3. – С. 25–33.

612. Шевченко Н.Ф. «Сарматские жрицы», или еще раз к вопросу о материнском роде у сарматов // ВДИ – 2006. – № 1. – С. 141–154.

613. Шер Я.А. Типологический метод в археологии и статистика // VII Международный конгресс доисториков и протоисториков. Доклады и сообщения археологов СССР. – М.: Наука, 1966. – С. 253–266.

614. Шилов С.Н. История археологического изучения Южного Зауралья (вторая половина XVIII – 90-ые года XX веков): автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Курган, 1997. – 22 с.

615. Ширококов И.Г. Возрастное распределение умерших в России XVII–XIX вв.: обманчивая палеодемография // Сибирские исторические исследования. – 2019. – № 4. – С. 180–196.

616. Шпакова Е.Г., Бородовский А.П. Факты искусственного повреждения черепов из Новосибирского Приобья в эпоху раннего железа (по материалам памятников Быстровка-2, 3) // Сибирь в панораме тысячелетий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. 2. – С. 684–692.

617. Шульга П.И. Могильник скифского времени Локоть-4а. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 204 с.

618. Шульга П.И., Уманский А.П., Могильников В.А. Новотроицкий некрополь. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 329 с.

619. Щукин М.Б. На рубеже эр: Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. – СПб.: Фарн, 1994. – 324 с.

620. Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. – 576 с.

621. Экологические аспекты палеоантропологических и археологических реконструкций / ред. В.П. Алексеев, В.В. Федосова. – М.: ИА РАН, 1992. – 204 с.
622. Элита в истории древних и средневековых народов Евразии / отв. ред. П.К. Дашковский. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. – 330 с.
623. Элитология: учебное пособие / под общ. ред. И.Ю. Киселева. – Ярославль: ЯрГУ, 2006. – 96 с.
624. Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья (археология и антропология могильников). – М.: ТИМП, 1996. – 185 с.
625. Яблонский Л.Т. Археология и параэтногенетическое исследование в современной России // Фальсификация источников и национальные истории. Мат-лы круглого стола. – М.: ИВ РАН, 2007. – С. 52-53.
626. Яблонский Л.Т. Осторожно: этническая археология (спички детям не игрушка) // XVIII Уральское археологическое совещание: культурные области, археологические культуры, хронология: Мат-лы науч. конф. (Уфа, 11–16 октября 2010 г.). / ред. Обыденнова Г.Т., Иванов В.А., Горбунов В.С., Овсянников В.В., Котов В.Г., Савельев Н.С., Шутелева И.А., Щербаков Н.Б. – Уфа: Башкирский гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы, 2010. – С. 52–63.
627. Яблонский Л.Т. Проблемы концепции этногенеза на современном этапе развития гуманитарных знаний // Этничность в археологии или археология этничности? / отв. ред. В.С. Мосин, Л.Т. Яблонский. – Челябинск: Рифей, 2013. – С. 32–47.
628. Яблонский Л.Т. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. – М.: Таус, 2012. – 384 с.
629. Ямсков А.Н. Системы жизнеобеспечения и хозяйственно-культурные типы // Этнос и среда обитания / отв. ред. Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2017. – С. 36–46.
630. Янакевич А.Н. Реконструкция условий обитания, среды жизни и этолого-трофической структуры бентоса среднемиоценовых морей юго-запада Восточно-Европейской платформы (обобщающий доклад по совокупности опубликованных работ) // Материалы чтений памяти доктора биологических

наук В.А. Собецкого (к 80-летию со дня рождения). – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2008. – С. 20–51.

631. Яценко С.А. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). – Москва: Восточная литература, 2006. – 664 с.

632. Acsadi G., Nemeskeri J. History of Human Life Span and Mortality. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. – 346 p.

633. Agarwal S.C., Glencross B.A. (eds.). Social bioarchaeology. – Oxford: Willey-Blackwell, 2011. – 449 p.

634. Agarwal S.C., Beauchesne P. It is not carved in bone: development and plasticity of the aged skeleton // Social bioarchaeology / S.C. Agarwal, B.A. Glencross (eds.). – Oxford: Willey-Blackwell, 2011. – p. 312–332.

635. Akhmedov I. Le harnachement de Tsibilium. A propos de la formation du type «pontique» de harnachement de l' époque des Grandes Migration // Kazanski M., Mastykova A. Tsibilium. La nécropole apside de Tsibilium. L' étude du site. Vol. 2. – Oxford, 2007 (BAR International Series S1721). – 67–72 p.

636. Armit I., Potrebica H., Črešnar M., Mason Ph. and Büster L. (eds.). Cultural encounters in Iron Age Europe. – Budapest: Archaeolingua, Series Minor, 2016. – 323 p.

637. Bennett C. C., Kaestle F. A. Investigation of Ancient DNA from Western Siberia and the Sargat Culture // Human Biology. – 2010. – Vol. 82. – P. 143–156.

638. Berger T.D., Trinkaus E. Patterns of trauma among the Neandertals // Journal of Archaeological Science. – 1995. – Vol. 22, no. 6. – P. 841–852.

639. Berseneva N. Women and children in the Sargat culture // Are all warriors male? Gender roles on the ancient Eurasian Steppe / K.M. Linduff, K.S. Rubinson (eds.). – Walnut Creek: AltaMira Press, 2008. – Ch. 7. – P. 131–151.

640. Blöcher J., Brami M., Feinauer I.S., Stolarczyk E., Diekmann Y., Vetterditz L., Karapetian M., Winkelbach L., Kokot V., Vallinig L., Stobbe A., Haakh W., Papageorgopoulou C., Krause R., Sharapova S., Burger J. Descent, marriage, and residence practices of a 3,800-yearold pastoral community in Central

Eurasia // Proceedings of National Academy of Sciences. – 21/08/2023. – Vol. 120. No. 36. – e2303574120.

641. Bonett D.G. Sample size planning for behavioral science research. 2016. <http://people.ucsc.edu/~dgbonett/sample.html> (дата обращения 15.07.2020).

642. Borisov A.V., Krivosheev M.V., Mimokhod R.A., El'tsov M.V. “Sod blocks” in kurgan mounds: Historical and soil features of the technique of tumuli erection // Journal of Archaeological Science. – 2019. – Reports 24. – P. 122–131.

643. Bothwell T. H., Baynes R. S., Macfarlane B. J., Macphail A. P. Nutritional Iron Requirements and Food Iron Absorption // Journal of Internal Medicine. – 1989. – Vol. 226, no. 5. – P. 357–365.

644. Bronk Ramsey C. OxCal 4.3. 2017. [URL:http://c14.arch.ox.ac.uk](http://c14.arch.ox.ac.uk) (дата обращения 10.09.2019).

645. Buikstra J. E. Biocultural dimensions of archaeological study: a regional perspective // Biocultural adaptation in prehistoric America / Blakely R.L. (ed.) – Athens: University of Georgia Press, 1977. – P. 67–84.

646. Buikstra J.E., Beck L.A. Bioarchaeology: the contextual analysis of human remains. – Amsterdam, Boston: Academic Press, 2006. – 606 p.

647. Burger O., Baudisch A., Vaupel J.W. Human mortality improvement in evolutionary context // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2012. – Vol. 109(44). – P. 18210–18214.

648. Chamberlain A. Demography in archaeology. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 235 p.

649. Clark J. D. G. Star Carr: a case study in bioarchaeology. Reading: Addison-Wesley, 1972. – 231 p.

650. Courtaud P., Rajev D. Osteomorphological features of nomadic riders: some examples from Iron Age populations located in southwestern Siberia // Papers from EAA 3rd annual meeting at Ravenna, 1997. Vol. 1: Pre- and protohistory / M. Pearce, M. Tosi (eds.). – Oxford, 1998 (BAR International Series 707). – 110–113 p.

651. Daire M.-Y., Koryakova L., Buldashov V., Courtaud P., Epimajov A., Gonzalez E., Kovrigin A., Kosintsev P., Langouet L., Makhonina G., Marguerie D.,

Pautreau J-P., Rajev D., Sharapova S., Ugé M-C. Habitats et necropolis de l'Age du Fer au Carrefour de l'Eurasie. Les fouilles de 1993 à 1997 // Memoires de la mission archeologique francaise en Asie Centrale. Tome XI. 2002. – Paris: Diffusion de Broccard. – 291 p.

652. De Witte S. N., Stojanowski C. M. The osteological paradox 20 years later: past perspectives, future directions // Journal of Archaeological Research. – 2015. – Vol. 23 (4). – P. 397–450.

653. Duday H. The archaeology of the dead. Lectures in archaeoethanatology. – Oxbow Books: Oxford and Oakville, 2009. – 158 p.

654. Earle T. Chiefdoms: power, economy and ideology. – Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge University Press, 1991. – 341 p.

655. Egg M. Sozialarchäologische Betrachtungen zu den Hallstattzeitlichen Fürstengräbern von Kleinklein (Bez. Leibnitz, Weststeiermark). Eine Zwischenbilanz // Aufstieg und Untergang (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 82) / M. Egg, D. Quast (hrsg.). – Mainz : RGZM, 2009. – S. 31–58.

656. Ember C.R., Ember M. Resource Unpredictability, Mistrust, and War: A cross-cultural study // Journal of Conflict Resolution. – 1992. – Vol. 36, N 2. – P. 242–262.

657. Evershed R.P., Davey Smith G., Roffet-Salque M., Timpson A., Diekmann Y., Lyon M.S., Cramp L.J.E., Casanova E., Smyth J., Whelton H.L., Dunne J., Brychova V., Šoberl L., Gerbault P., Gillis R.E., Heyd V., Johnson E., Kendall I., Manning K., Marciniak A., Outram A.K., Vigne J.-D., Shennan S., Bevan A., Colledge S., Allason-Jones L., Amkreutz L., Anders A., Arbogast R.-M., Bălăşescu A., Bánffy E., Barclay A., Behrens A., Bogucki P., Carrancho Alonso A., Carretero J.M, Cavanagh N., Claschen E., Collado Giraldo H., Conrad M., Csengeri P., Czerniak L., Dębiec M., Denaire A., Domboryczki L., Donald C., Ebert J., Evans C., Frances-Negro M., Gronenborn D., Haack F., Halle M., Hamon C., Hulshoff R., Ilett M., Iriarte E., Jakucs J., Jeunesse C., Johnson M., Jones A.M., Karul N., Kiosak D., Kotova N., Krause R., Kretschmer S., Kruger M., Lefranc Ph., Lelong O., Lenneis E., Logvin A., Luth F., Marton T., Marley J., Mortimer R., Oosterbeek L., Oross K., Pavuk J., Pechtl

J., Petrequin P., Pollard J., Pollard R., Powlesland D., Pyzel J., Raczky P., Richardson A., Rowe P., Rowland S., Rowlandson I., Saile T., Sebők K., Schier W., Schmalfusch G., Sharapova S., Sharp H., Sheridan A., Shevnina I., Sobkowiak-Tabaka I., Stadler P., Stäuble H., Stobbe A., Stojanovski D., Tasić N., van Wijk I., Vostrovskaja I., Vuković J., Wolfram S., Zeeb-Lanz A. & Thomas M.G. Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in Europe // *Nature*. – №608 (7922). – 08/2022. – P. 336–345.

658. Fox N., Hunn A., and Mathers N. Sampling and sample size calculation. The NIHR RDS for the East Midlands. – Yorkshire: the Humber, 2007. – 41 p.

659. Fowler C. The archaeology of personhood: an anthropological approach. – London, New York: Routledge, 2004. – 192 p.

660. Gender and the Archaeology of death / B. Arnold, N. Wicker (eds.). – Walnut Creek: AltaMira Press, 2001. – 203 p.

661. Gerling C. Prehistoric mobility and diet in the West Eurasian steppes 3500 to 300 BC. – Berlin, Boston: De Gruyter, 2015. – 402 p.

662. Guliaev V.I. Amazons in the Scythia: New Finds at the Middle Don, Southern Russia // *World Archaeology*. – 2003. – Vol. 35, N 1. – P. 112–125.

663. Halcrow S. E., Tayles N. The bioarchaeological investigation of children and childhood // *Social bioarchaeology* / S.C. Agarwal, B.A. Glencross (eds.). – Oxford: Willey-Blackwell, 2011. – P. 323–360.

664. Hales S., Hodos T. (eds.). Material culture and social identities in the ancient world. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 339 p.

665. Hodder I. (ed.). The meaning of things: material culture and its symbolic expression. – London: HarperCollins Academic, 1989. – 265 p.

666. Hodder I. The “social” in archaeological theory: an historical perspective // *A companion to social archaeology* / L. Meskell, R.W. Preucel (eds.). – Oxford: Blackwell Publishing, 2007. – 23–42 p.

667. Hodder I., Hutson S. Reading the past: current approaches to interpretation in archaeology. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 293 p.

668. Hollimon S.E. Sex and Gender in Bioarchaeological Research // Social bioarchaeology / S.C. Agarwal, B. A. Glencross (eds.). – Oxford: Willey-Blackwell, 2011. – P. 149–182.

669. Jankauskas R. The Incidence of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis and Social Status Correlations in Lithuanian Skeletal Materials // International Journal of Osteoarchaeology. – 2003. – Vol. 13. – P. 289–293.

670. Jankauskas R., Kozlovskaya M. Biosocial differentiation in Lithuanian Iron Age population // Anthropologie. – 1999. – XXXVII. – P. 177–185.

671. Jiménez-Brobeil S.A., Souich Ph.Du, Oumaoui I.AI. Possible Relationship of Cranial Traumatic Injuries with Violence in the South-East Iberian Peninsula from Neolithic to the Bronze Age // American Journal of Physical Anthropology. – 2009. – N 140. – P. 465–475.

672. Jurmain R.D. Paleoepidemiology of trauma in a prehistoric Central California population // Human paleopathology: current syntheses and future options: Zagreb Paleopathology Symposium. – Washington: Smithsonian Institution press, 1991. – P. 241–248.

673. Kamp K. Where have all children gone?: the archaeology of childhood // Journal of archaeological method and theory. – 2001. – №8 (1). – P. 1–34.

674. Kiseleva D.V., Chervyakovskaya M.V., Chervyakovskiy V.S., Okuneva T.G., Soloshenko N.G., Bulatov V.A., Grachev M.A., Karapetian M.K., Sharapova S.V., Shagalov E.S. Assessment of Diagenetic Transformations in Bioapatite for the Determination of the $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ Isotope Ratio: A Case Study on an Early Iron Age Human Tooth from the Sargat Culture // Journal of Analytical Chemistry. – 2023. – Vol.78. No.12. – P. 1642–1650.

675. Knipper C. Die Strontium isotopen analyse: eine naturwissenschaftliche Methode zur Erfassung von Mobilität in der Ur- und Frühgeschichte // Jahrbuch des RGZM. – 2004. – №51(2). – P. 589–685.

676. Knüsel C. Bioarchaeology: a synthetic approach // Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. – 2010. – № 22. – P. 62–73.

677. Kobylński Z. Ethno-archaeological cognition and cognitive ethno-archaeology // The meaning of things: material culture and its symbolic expression / I. Hodder (ed.). – London: HarperCollins Academic, 1989. – P. 122–129.

678. Koryakova L.N. Between steppe and forest: Iron Age societies of the Urals // Ancient interactions: East and West in Eurasia / K. Boyle, C. Renfrew, and M. Levine (eds.). – Cambridge: McDonald Institute for Archaeological research, 2003. – P. 265–292.

679. Koryakova L.N., Epimakhov A.V. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. – New York: Cambridge University Press, 2007. – 383 p.

680. Kossack G. Ostentatious graves. Remarks about their nature and interpretative value // Selected Studies in Archaeology. – Rahden: Marie Leidorf Verlag, 1998. – P. 13–38.

681. Kradin N.N. A panorama of Social archaeology in Russia // Comparative archaeologies: a sociological view of the science of the past / L. Lozny (ed.). – N. Y.: Springer, 2011. – P. 243–271.

682. Larsen S.C. Bioarchaeology: interpreting behavior from human skeleton. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 462 p.

683. Littleton J. Moving from Canary in coalmine: modeling childhood in Barhrein // Social bioarchaeology / S.C. Agarwal, B.A Glencross (eds.). – Oxford: Willey-Blackwell, 2011. – 361–389.

684. Lysenko A.V., Mordvintseva V.I. Metal jewellery in the context of a sanctuary: interpretation potential. A Case Study of Eklizi-Burun (Crimean Mountains) // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. – 2019. – No 25. – P. 255–307.

685. Madyda-Legutko R. Die Gürtelschnallen der römischen Keiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. – Oxford, 1986 (BAR International Series 360). – 233 p.

686. Martin D.L., Harrod R.P., Perez V.R. Biarchaeology. An integrated approach to working with human remains. – New York: Springer, Science+Business Media, 2013. – Vol. XVII. – 262 p.

687. Mays S. The archaeology of human bones. – London: Routledge, 1998. – 432 p.
688. Meindl R.S., Lovejoy C.O., Mensforth R.P. and Walker R.A. A revised method of age determination using the os pubis, with a review and tests of accuracy of other current methods of pubic symphyseal aging // *American Journal of Physical Anthropology*. – 1985a. – No 68. – P. 29–45.
689. Meindl R.S., Lovejoy C.O., Mensforth R.P. and Carlos L.D. Accuracy and direction of error in the sexing of the skeleton: implications for paleodemography // *American Journal of Physical Anthropology*. – 1985b. – No 68. – P. 79–85.
690. Meskell L., Preucel R.W. (eds.). *A companion to Social archaeology*. – Oxford: Blackwell Publishing, 2007. – 430 p.
691. Ortner D.J. Issues in paleopathology and possible strategies for dealing with them // *Anthropologischer Anzeiger*. – 2009. – Vol. 67 (4). – P. 323–340.
692. Pikirayi I. Ceramics and group identities: Towards a social archaeology in southern African Iron Age ceramic studies // *Journal of social archaeology*. – 2009. – Vol. 7, No. – P. 286–301.
693. Pilipenko A.S., Trapezov R.O., Cherdantsev S.V., Babenko V.N., Nesterova M.S., Pozdnyakov D.V., Molodin V.I., Polosmak N.V. Maternal genetic features of the Iron Age Tagar population from Southern Siberia (1st millennium BC) // *PLoS ONE*. – 2018. – Эл. ресурс: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204062> (дата обращения: 09.09.2020).
694. Piontek J. Paleodemography and taphonomy // *Archaeologia Polona*. – 2001. – Vol. 39. – P. 55–74.
695. Price T.D., Burton J.H., Bentley R.A. The characterization of biologically available strontium isotope ratios for the study of prehistoric migration // *Archaeometry*. – 2002. – Vol. 44(1). – P. 117—135.
696. Ražev D., Šarapova S. Warfare or Social Power: Bioarchaeological Study of the Iron Age Forest-Steppe Populations in the Trans-Urals and Western Siberia // *Praehistorische zeitschrift*. – 2012. – Band 87. Heft 1. – P. 146–160.

697. Ražev D., Šarapova S. Peopling the past: female burials of the Iron Age forest-steppe in the Trans-Urals // *Praehistorische zeitschrift*. – 2014. – Band 89. Heft 1. – P. 157–176.

698. Reimer P.J., Bard E., Bayliss A. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP // *Radiocarbon*. – 2013. – No 55(4). – P. 1869–1887.

699. Renfrew C., Bahn P. *Archaeology. Theories, methods and practice*. – London: Thames and Hudson, 1997. – 608 p.

700. Scott A., Reinhold S., Hermes T., Kalmykov A.A., Belinskiy A., Buzhilova A., Berezina N., Kantorovich A.R., Maslov V.E., Guliyev F., Lyonnet B., Gasimov P., Jalilov B., Eminli J., Iskandarov E., Hammer E., Nugent S., Hagan R., Majander K., Onkamo P., Nordqvist K., Shishlina N., Kaverzneva E., Korolev A.I., Khokhlov A.A., Smolyaninov R.V., Sharapova S.V., Krause R., Karapetian M., Stolarczyk E., Krause J., Hansen S., Haak W. and Warinner C. Emergence and intensification of dairying in the Caucasus and Eurasian steppes // *Nature Ecology and Evolution*. – 2022. – №6 (6). – P. 813–822.

701. Shanks M., Tilley C. (eds.). *Social theory and archaeology*. – Cambridge: Polity Press, 1987. – 243 p.

702. Sharapova S. It is traced on bone: social identity in bioarchaeological research of Iron Age population of the Trans-Urals and Western Siberia // *Cultural Encounters in Iron Age Europe* / I. Armit, H. Potrebica, M. Črešnar, P. Mason and L. Büster (eds.). – Budapest: Archaeolingua (Series Minor 38), 2016. – P. 305–323.

703. Sharapova S., Razhev D. Skull deformation during the Iron Age in the Trans-Urals and Western Siberia // *The bioarchaeology of the human head. Decapitation, decoration and deformation* / M. Bonogofsky (ed.). – Gainesville: Florida University Press, 2011. – Ch. 8. – P. 202–227.

704. Sauer N.J. The timing of injuries and manner of death: distinguishing among antemortem, perimortem, and postmortem trauma // *Forensic osteology*:

advances in the identification of human remains / K.J. Reichs (ed.). – 2nd ed. – Springfield: Charles C. Thomas, 1998. – P. 321–332.

705. Trigger B.G. Time and traditions. Essays in archaeological interpretations. – Edinburg: Edinburg University Press, 1978. – 273 p.

706. Trigger B.G. A History of archaeological thought. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 710 p.

707. Trigger B.G. Cross-cultural comparison and archaeological theory // A companion to social archaeology / L. Meskell, R.W. Preucel (eds.). – Oxford: Blackwell Publishing, 2007. – 43–65 p.

708. Walker P.L. A Bioarchaeological Perspective on the History of Violence // Annual Review of Anthropology. – 2001. – N 30. – P. 573–596.

709. Will P. Zwei kleine Goldringe aus Grab 1 // Die „Fürstengräber“ vom Glauberg: Bergung – Restaurierung – Textilforschung / U. Recker, V. Rupp (hrsg.). – Wiesbaden: Rudolf Habelt GmbH, 2018. – P. 161-164.

710. Wood J., Milner G., Harpending H., Weiss K. The osteological paradox // Current Anthropology. – 1992. – Vol. 33. – P. 343–370.

Список сокращений

- БКИ – Банк культурной информации
- ВАУ – Вопросы археологии Урала
- ВГПУ – Воронежский государственный педагогический университет
- ВДИ – Вестник древней истории
- ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук
- ИИиА УрО – Институт истории и археологии Уральского отделения
- ИИЯЛ УНЦ – Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра
- ИПОС – Институт проблем освоения Севера
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии
- КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры
- МИА – Материалы и исследования по археологии
- ОГИЗ – Объединение государственных книжно-журнальных издательств
- ОмГУ – Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
- ПХКПАПЗС – Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири
- РА – Российская археология
- РК – Республика Казахстан
- РФ – Российская Федерация
- СА – Советская археология
- САИ – Свод археологических источников
- СОИГИ – Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований
- ТСА РАНИОН – Труды секции археологии Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук
- УИВ – Уральский исторический вестник
- УрГУ – Уральский государственный университет им. А.М. Горького

УрФУ – Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ФГБОУ ВО РАНХиГС – Федеральное государственное бюджетное учреждение Высшего образования Российская Академия народного хозяйства и государственной службы

ХАЭЭ – Хорезмийская археолого-этнографическая экспедиция

ЯрГУ – Ярославский государственный университет

BAR – British archaeological report

EAA – European association of archaeologists